

А·И·ЛЕВИТОВ



А·И·ЛЕВИТОВ



А. И. ЛЕВИТОВ



ИЗБРАННОЕ

Московский
рабочий
1982



А. Левитов

А·И·ЛЕВИТОВ



МОСКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ
1982

Р1
Л34

Составление, предисловие, примечания
Е. М. Жезловой

Художник *Н. Крылов*

Левитов А. И.

Л34 Избранное / Сост., предисл., примеч. Е. М. Жезловой.— М.: Моск. рабочий, 1982.— 415 с.

Александр Иванович Левитов (1835—1877) принадлежит к числу видных представителей плеяды писателей-демократов. Вступив на литературную дорогу в начале 60-х годов прошлого века, он в своем творчестве отразил существенные черты литературного движения своего времени; его произведения полны тревожных раздумий над процессами пореформенного развития России, поисков путей практической деятельности для передовой разночинной интеллигенции, в них глубоко изображена жизнь народа.

Л $\frac{4702010100—072}{М172(03)—82}$ **Без объявл.** **Р1**

А. И. ЛЕВИТОВ

О своих героях — жителях предместий и городских застав, ночлежек и столичных трущоб — Левитов как-то сказал с любовью и горечью: «Ах, какой там милый народец проживает!.. Боже мой!.. Лик божий, кажись, давно утерял, давно уж он весь от жизни измызган и заброшен за забор, как бабий истоптанный башмак, а эдак вот проживешь с ним, побеседуешь по душе, ан там, на глуби-то, внутри-то, она и светится, как светлячок, душа-то божья и мигает. А кто к нему подойдет, к этой бедноте-то, вблизь-то, лицом к лицу, кто это будет до души-то этой в глуби докапываться?.. Никого нет, голубчик, никого. А ведь какие силы были!.. Вот хоть бы Лермонтов... Силища! ...Если бы с этим поэтическим-то чутьем, какое было у Лермонтова, да кабы он к этой бедноте подошел (а уж он пробовал ведь!), что бы он там открыл!»[1]

В этих словах и мир писательских интересов Левитова, и особенность его художественного дарования — поэтичность и сентиментальность, и реакция на то суровое, беспокойное время, которое требовало от литературы жесткой правды о народе — без умилений и поэтических прикрас.

Не только Лермонтов, действительно прикоснувшийся к теме будущей натуральной школы[2], но и говорившие о народе в полный голос Григорович, Писемский и даже Тургенев, «Записки охотника» которого вышли далеко за пределы социально злободневной темы и обрели огромную художественно-историческую масштабность,— все

[1] Цит. по кн.: *Н. Н. Златовратский.* Воспоминания. М., Гослитиздат, 1956, с. 293.

[2] Например, в «Княгине Лиговской» (линия «нищего разночинца» Красинского) и позже — иначе — в очерке «Кавказец».

эти писатели в накаленной атмосфере 60-х годов уже не удовлетворяли потребностям времени. Они привлекли внимание современников к крестьянству как мощной силе нации[1], но общая концепция народа, присущая «сентиментальному натурализму» 40—50-х годов XIX века, в условиях следующего десятилетия уже была недостаточно активной. Писатели-разночинцы, очень близкие по происхождению и жизненному опыту к своим персонажам, сконцентрировали внимание на нескончаемой борьбе «маленького человека» за то, чтобы выжить,— борьбе, составлявшей смысл и выражение его бытия.

Как литературное направление демократы-шестидесятники оформились в период подъема революционных настроений середины прошлого века и, вобрав множество самых разных творческих индивидуальностей, были объединены широким стремлением возместить тот нравственный, умственный, душевный ущерб, который нанесли народу века рабства. Пути к этому им виделись самые разные, в зависимости от политической зрелости и идейно-художественной смелости писателя. Одни (Чернышевский, Некрасов, Слепцов) были убеждены в необходимости революционного преобразования общества, другие (Левитов, Помяловский, Решетников) — постепенного изменения его путем всеобщего просвещения. Сила теоретического мышления и художническая дерзость Чернышевского дали ему возможность воплотить идеал в литературных образах. Но Чернышевский понимал необходимость для своего времени и литературы высоких звучаний, и «будничной» литературы «народного реализма», сила которой — в ее документальности, этнографической скрупулезности, в изображении не замечательных, богатых натур, а косных, «рутинных» характеров, составлявших основную массу народа. На таящуюся в подобных произведениях взрывную силу Чернышевский указал в статье о Николае Успенском («Не начало ли перемены?», 1861 г.), очерки которого отразили общую тенденцию перехода литературы «на почву общественную»... На первый план выступили «сила вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности»[2],— говорил Щедрин. Писатели стремились постичь объективные истоки народного бедствия.

---

[1] Отныне герою из народа «суждено было стать одним из основополагающих типов русской литературы, пройти через значительное количество произведений русских реалистов, видоизмениться, испытать полемические удары, пережить критические разборы. Это тип «маленького человека», который может быть поставлен в один ряд с мировыми типами» (*Л. М. Лотман.* Реализм русской литературы 60-х годов XIX в. Л., Наука, 1974, с. 109).

[2] *М. Е. Салтыков-Щедрин.* Собр. соч. в 20-ти т. М., Художественная литература, 1970, т. 9, с. 276, 277.

Не все были так жестки и категоричны, как Н. Успенский, концентрировавший внимание только на убожестве быта и духовной нищете крестьян (это была и полемическая крайность, проводящая резкую грань между «дворянской» и новой демократической литературой о народе). Глубже понимал «силу вещей» Помяловский, и у него было больше сострадания к своим персонажам; отдает должное инициативному началу в народе Решетников: его герои стремятся изменить свою судьбу. Многообразие характеров усматривает в народе Левитов; он видит и новую расстановку сил в деревне: мироед и жертва. Критический взгляд на народ не мешает Левитову поэтизировать его лучшие черты. Но все писатели-разночинцы, хотя и в разной степени, были привержены к «факту». Социальный очерк стал ведущим жанром литературы 60-х годов. Благодаря своей мобильности он обнаруживал темы и проблемы, получавшие у больших писателей-романистов широкую разработку на психологической и философской основе.

И судьбы писателей-разночинцев были очень схожи. Почти все они происходили из духовного звания и все оставляли церковное поприще, ища иного бога для себя и для народа. Большинство из них так и не обрело новой твердой веры, сломившись в борьбе с более мощным противником; между ними и их идеалами стояла оказавшаяся им не по силам стена российской действительности.

Этот, как будто предначертанный, круг свершил и Александр Иванович Левитов.

Он родился 20 мая 1835 года в большом степном селе на Тамбовщине. У отца, дьячка деревенской церкви, была в доме школа. Мальчик помогал учить детей и сам посещал духовное училище, а потом был отдан в тамбовскую губернскую семинарию. Воспоминание о ней мрачным кошмаром преследовало Левитова многие годы. Он будет описывать потом «коростовое стадо разношерстных ребятишек, голодных и потому воровавших у всякого все, что только попадало под руку; беспризорных и потому по-зверски изодравшихся; без хороших руководящих примеров и, следовательно, в самом детстве уже обреченных на гибель... Шипенье гибких двухаршинных розог, рев десятка детей, которых в разных стойлах полосовали ими...» («Петербургский случай»). Доносительство, слежка, бессмысленная и тупая жестокость растлевали ум, убивали душу.

Потрясением, оставившим след на всю жизнь, было перенесенное им наказание розгами: Левитов говорил, что у него выпороли душу из тела и что живет он «как бы чужой, сморщенной душой».

Это было не так. Душу он сохранил с ее неизменной и чуткой способностью мгновенно откликаться на чужую боль. Но детство кончилось. О духовном поприще больше не было помыслов. Его влекли столица, университет. Это было предреформенное время. Всеобщее брожение докатилось до глубин России и всколыхнуло степную глушь. «В мою голову ударил откуда-то летучий, но светлый луч убеждения, что мне неминуемо нужно быть там... потому что там битва... и я пошел...» Разночинская молодежь вырывалась из своей среды. Ею двигало стремление оповестить мир о «многоразличных видах нашего русского горя», пробудить в народе сознание собственного рабства как первый и необходимый импульс к освобождению. Но прежде всего самим обрести знания, стать наравне со своим временем.

Трудно было Левитову в столице с его наивностью и непрактичностью. В университет поступить не удалось. Он становится студентом Петербургской медико-хирургической академии (в августе 1855 г.). Началась повседневная битва с «невидимым врагом» — нуждой и житейскими невзгодами. Она будет длиться много лет и создаст тот общий фон, тот колорит левитовского творчества, который останется неизменным на протяжении всей его жизни.

По собственному признанию Левитова, тогда, в Петербурге, бывали минуты, когда он хотел «разом избавиться от всех мучений». А судьба нагнетала испытания. Осенью 1856 года его исключили из академии и отправили в ссылку — в Вологду, а затем еще дальше — в Архангельскую губернию, город Шенкурск, где он проработал фельдшером почти три года. О том, что произошло тогда в академии, точных сведений нет. Одни биографы неопределенно повторяли слова сестры Левитова: «Это какая-то ужасная тайна», другие считали, что, во всяком случае, «политики» не было, третьи видели здесь именно «политику» — отражение событий, происходивших в академии летом 1856 года. Герценский «Колокол» (10 октября 1857 г.) сообщал: «Трое студентов Петербургской медико-хирургической академии, посланные в виде депутации от своих товарищей, лично жалуются государю, что их морят с голоду. Назначается следствие. Оказывается, что студенты говорят правду; тем не менее несчастных студентов, осмелившихся, мимо лестницы кравшего начальства, жаловаться лично государю, отправляют фельдшерами в армию». Есть предположение, что Левитов был одним из этих депутатов [1].

Годы ссылки были роковыми для Левитова. Натура нервная, не-

---

[1] См.: *Б. П. Козьмин.* «Ужасная тайна» Левитова.— Каторга и ссылка, 1932, № 6.

устойчивая, он не находил в себе силы противостоять разлагающим нравам российского захолустья. Дикость, пошлость, водка. В Шенкурске резко проявилась та болезненная раздражительность, которая обозначилась еще в семинарии.

Друзья не оставляют его. Они хлопочут о возвращении в Петербург, посылают деньги и, главное, убеждают писать. Он стал заниматься литературой еще в студенческие годы. Первым опытом его были «Ярмарочные сцены», получившие впоследствии название «Типы и сцены сельской ярмарки» (1856—1860). «Ты начал прекрасную повесть, зачем же не кончить ее?..— Прошу тебя, продолжай свою работу — это единственное средство выйти тебе из дурного положения»[1]. Так пишет Левитову в ссылку старый друг по семинарии, с которым пришли они из Тамбова в Москву. И Левитов пытается стряхнуть оцепенение. Он присылает еще не оконченные очерки, но опубликовать их тогда не удается. И Левитов опять надолго замолкает. Сестра даже получила известие о его смерти. И вдруг осенью 1859 года он приходит в свою деревню — пешком из Вологды — измученный, больной, в тяжелейшем состоянии духа. «Явился почти раздетым и в каких-то опорышах... Вместо кожи на подошвах были куски мяса, а в это мясо врезались клочки холста»,— вспоминала сестра.

Он нашел место домашнего учителя и продолжал писать. Левитов следил за назревавшими событиями общественной жизни, за ростом демократической литературы, за обсуждением современных проблем. И мысль об университете снова завладевает им. Весной 1860 года он вновь отправляется в путь — в Москву. Множество встреч и дорожных впечатлений дали обильный материал для последующего творчества.

В дороге, в скитаниях Левитов провел почти всю свою жизнь — подобно тем бродягам его очерков, которых гнало вечное беспокойство. Как и они, он так и не создал домашнего очага, «не обзавелся своей иконой». На полях одной из его рукописей выписано стихотворение Лермонтова:

Глупец! где посох твой дорожный?
Возьми его, пускайся вдаль;
Пойдешь ли ты через пустыню
Иль город пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигде приют себе не строй...

Эти строки дают понять, что в вынужденных скитаниях его была

---

[1] *Ф. Д. Нефедов.* Александр Иванович Левитов.— В кн.: Собр. соч. А. И. Левитова. М., 1884, т. 1, с. LXV. (В дальнейшем: *Нефедов.*)

и доля подвижничества. Но, в отличие от многих своих героев, Левитов не был счастлив бродяжничеством. Так и не попав в университет, он долго мыкался без работы, без крова, ночуя на Москворецкой набережной под лодками, заводя знакомства с будочниками, которые готовы были и приютить и поговорить о жизни.

А темы для бесед и взаимопонимание возникали легко: боли и нужды этих людей, вчерашних крестьян, Левитов знал хорошо, знал, как лихо приходится им в столицах (эта пора впоследствии получила отражение в ряде очерков: «Погибшее, но милое создание», «Дворянка», «Девичий грешок» и др.).

Когда пришли неожиданные деньги из дому, Левитов снял на Грачевке «комнату снебилью», как значилось в прибитом на воротах объявлении. И здесь вдруг наступил резкий поворот в его судьбе. Его соседом оказался наборщик типографии «Русского вестника», познакомивший Левитова с Аполлоном Григорьевым, который вел тогда в журнале отдел критики. Левитову предложили место помощника секретаря редакции. Впервые в жизни был постоянный заработок, был аванс в счет будущего гонорара, рядом — люди, принимающие в нем участие. Левитов поверил в свой талант. 1861—1863 годы были самыми плодотворными в его жизни. Московские и петербургские журналы охотно его печатают. Только в 1861 году появляются в «Русской речи» «Целовальничиха», «Проезжая степная дорога», «Накануне Христова дня», несколько очерков о московских нищих. В журнале «Время» наконец увидело свет его первое произведение — «Ярмарочные сцены» (впоследствии оно станет называться «Типы и сцены сельской ярмарки»); а в 1862 году щедро печатают Левитова журналы «Зритель» и «Развлечение».

«Теперь я не тот, что был три года назад: столицы эти меня отрезвили... практицизма этого чертовски много во мне сидит»,— говорил он. Но «практицизма» не было. Очень скоро он уходит из «Русского вестника», потом задумывает издавать альманах, в котором намеревается объединить беллетристику, критические статьи, обозрение современной жизни; обещали свое участие Марко Вовчок, Слепцов, Глеб Успенский. Но этот замысел срывается. Правда, в 1865 году выходит первый том сборника сочинений Левитова под названием «Степные очерки» и в последующие два года — второй и третий тома, а «Современник» (1866, № 4) помещает на них сочувственную рецензию. Но это был единственный пространный печатный отзыв при жизни Левитова. Деньги разошлись быстро. Со здоровьем было опять плохо, и, главное, вернулось болезненное состояние духа. Он пробует учительствовать (к этому времени Левитов закончил учительские курсы при Петербургском университете) — сначала в про-

винции, потом в московской гимназии и в частных пансионах. Но внутреннее беспокойство, неуверенность в себе вновь мешают ему работать.

«Да, есть что-то фатальное, что преследует меня в продолжение всей моей жизни, с самой семинарии»,— говорил он. В эти годы Левитов постоянно ездит между Москвой и Петербургом, из столиц переезжает в провинцию или деревню, как будто убегая от самого себя. Он ищет покоя и вместе с тем боится одиночества. Мнительность и нелюдимость порой граничат у него с душевным заболеванием. «Петербургский случай» особенно ясно передает состояние Левитова в эту пору.

Он мечтал о том, как уедет в «Рязанскую губернию», как славно заживет там в «какой-нибудь маленькой, малюсенькой деревнюшечке» и будет писать большой роман. В мечтах Левитова «Рязанская губерния» была такой же землей обетованной, как для многих его героев мифические «вольные земли» где-то в южных краях России. Но необходимость постоянного заработка отодвигала мечты и о деревне и о романе, хотя роман был начат и в его названии—«Сны и факты» — звучала горькая ирония собственной жизни. Трудно сказать, как справился бы Левитов с «большой вещью. Лирический характер его дарования, субъективная основа всего творчества, не слишком глубокое теоретическое мышление не способствовали рождению эпического произведения. Тем не менее роман стал всепоглощающей целью его жизни. Образы романа преследовали его до бреда, до галлюцинаций: «Мне так и кажется, что изо всех углов и стен, отовсюду глядят эти тени и хохочут надо мной душу раздирающим смехом»[1],— говорил он Златовратскому. Уйти от них Левитов не мог. Но трагедия заключалась в сознании, что и воплотить их в художественное творение он не в силах. Сохранившаяся переписка с редактором «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичем, которому он обещал будущий роман, пестрит просьбами об авансах, обещаниями завершить работу, как только уедет в деревню, куда он так никогда и не попадет. И вдруг неожиданно в одном из писем Стасюлевичу просьба: «Нельзя ли мне как-нибудь устроиться при вашем журнале в качестве корректора, или конторщика, или секретаря редакции? Чувствую, что без определенных занятий обстоятельства неизбежно запутают меня»[2]. Он взялся редактировать еженедельник «Сияние» (зимой 1871 г.), потом пытался издавать журнал «Русский художник» — ничего не получалось. С 1872 по 1877 год Левитов живет на

---

[1] Цит. по кн.: *Н. Н. Златовратский.* Воспоминания, с. 297.

[2] М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1913, т. 5, с. 256.

окраинах Москвы, в убогих каморках, больной, в состоянии глубокой апатии. Его мучило молчание критики. Вышедший в 1874 году сборник под названием «Горе сел, дорог и городов», третье издание «Степных очерков», сборник «Жизнь московских закоулков» не имели откликов. «Песенка моя спета. Меня уже больше не замечают»,— говорил он.

Несмотря на лишения и беды, душевная щедрость, способность разделять чужое горе были в нем неизменны и поразительны. Каким-то чудом обретались, казалось, совсем иссякшие силы, когда кто-то нуждался в его поддержке. «Про него можно сказать: «Вот человек, несмотря на все грустные перипетии своей жизни, сохранивший в себе «душу живу»[1],— писал П. Засодимский. При всей вспыльчивости, невыдержанности, особенно в последние годы жизни, это был человек тончайшей деликатности. «Ты пишешь, чтобы я тебя не смел жалеть,— обращается он к другу, отказавшемуся принять его помощь.— Как же ты мог, голубчик мой, написать это? Разве ты не знаешь, что я только молчаливо могу смотреть на чужое горе,— грудь лопается и болит, а все молчишь. Разве не знаешь, сколько раз меня, бедное, нервнобольное, всякому горю сочувствовавшее животное, прогоняли к черту с моими сочувствиями? С какой же стати я буду стараться, чтобы ты-то еще отогнал меня? Разве ты не знаешь, что я додумался и дострадался до таких гибелей, от которых спасают не сожаления, а либо крутые повороты, либо могила?»[2]

Болезнь прогрессировала. Туберкулез, нервное истощение уносили последние силы. В декабре 1876 года Левитов попадает в университетскую клинику. Он продолжал здесь работать над своим последним очерком «Всеядные». «Дорогой Н. Н.,— пишет он Златовратскому,— поздравьте меня: я наконец в самом центре самого лучшего тепла и какой-то милой безмолвной тишины, то есть в клинике... Жду Вас как можно скорее, потому что мне очень нужно переговорить с Вами по делу моему... об исправлении и окончании очерка, что мне, поправившись, здоровым сделать будет очень удобно»[3].

Но он не поправился. Умер Левитов в январе 1877 года на сорок втором году жизни. Его хоронила студенческая молодежь на деньги, собранные по подписке. Это были его читатели, среди которых многие разделяли и его образ жизни, и его образ мыслей.

---

[1] *П. Засодимский.* Из литературных воспоминаний.— «Русское богатство», 1881, декабрь, с. 128.

[2] Цит. по кн.: *Нефедов,* с. CXVII—CXVIII.

[3] Цит. по кн.: *Н. Н. Златовратский.* Воспоминания, с. 302, 428.

* * *

Жизнь уводила Левитова от земли и крестьянского труда, а он все возвращался в своем творчестве к степям и посадам родины. Первые же очерки, написанные вдали от дома — «Типы и сцены сельской ярмарки» (1856—1860),— возрождали многокрасочную картину степного южного края. Юмором, наивностью, ярким лиризмом они напоминают украинские повести Гоголя. Трудно сказать, невольное ли это подражание любимому писателю или согревающие душу воспоминания о родине, ее природе и людях диктовали смешные и грустные сюжеты. В этом первом труде уже вполне определилась та поэтическая тональность, которая отныне будет проникать почти все творчество Левитова и поставит его особняком среди демократических писателей-разночинцев.

Многие произведения Левитова звучат как монолог, полный воспоминаний и размышлений. Вот на степной дороге встречаются два путника («Степная дорога днем», 1862). Один уже побывал в столицах, вкусил их горького хлеба, познал, как «тяжелы ступени чужого крыльца». Это alter ego автора. А другой, полный надежд и веры, бежит от «нравственного зловония» провинции («Ежели буду жить здесь дольше, я чувствую, что непременно скоро умру»). Надежда на свет университетских аудиторий, на добрую и громкую славу выманивала героев Левитова из темных теплых углов и устремляла в неведомые дали. «Весь этот тернистый, до кровавого пота трудный путь» прошел писатель сам. Тернистый еще и потому, что рабский дух изживался с огромным трудом: упроченный веками крепостничества, он растлевал и человека зависимого, и обретшего маломальскую власть. Не случайно так обнаженно воспроизводится самоистязающая исповедь левитовского героя, постигшего вдруг всю бездну своего падения («Я радовался, что у меня есть возможность пожать человека в своих лапах, как меня жали и жмут. Такие случаи доставляли мне какое-то одуряющее до сумасшествия наслаждение»). Как ни уповал Левитов на просвещение, долженствующее указать путь ко всеобщему благу, мысль, что «ученье» само по себе еще не гарантия честности, нравственности, благородства,— в основе очерка: «Наука это меч обоюдоострый... Этим мечом в равной степени можно и защитить и убить». Гарантией может служить только способность сохранить в себе «душу живу», которая не притупляется от привычного вида всеобщего страдания и готова ответить активной, действенной помощью.

Этим живым, глубоко личным чувством продиктовано все, что писал Левитов о народе. Его очерки автобиографичны не столько сюжетно, сколько психологически — через настроение и размышления героев. Чувство личной причастности, вообще принципиально

отличающее творчество шестидесятников от литературы о народе предшествующего десятилетия, особенно глубоко проникает все творения Левитова.

Как бы ни были близки и дороги Левитову те или иные впечатления, они никогда не заслоняют его прямого трезвого взгляда, не мешают здравой оценке явлений. Неизбывная живучесть патриархальных нравов оборачивается жестокостью поселян, отказавших измученному путнику в ночлеге потому только, что на нем не виданное здесь европейское платье: «вендерец» или «цыцарец» какой-то («Насупротив», 1862). Как будто заснул деревенский люд много веков назад и спит без просыпу, а мимо бежит бурная жизнь эпохи, с «крестьянским вопросом», с призывом учиться у народа или поднимать его на возмущение.

«В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство, беззаконие»[1],— писал Л. Толстой. Интуитивно уловил эту пропасть и Левитов. Он понимал—жестокость в народе и от невежества, и от «бескормицы», и все от тех же рабских, веками выработанных понятий: нас гнут, и мы этого случая не упустим. Вот беглый солдат скрывается в лесу, уповая на помощь божью и человеческую. Но не различают крестьяне — разбойник ли, добрый ли человек попался им: хватают, и страшное наказание шпицрутенами обрывает «вольную» жизнь беглеца. Только старики мудрецы ворчат про себя: «Своего горя мало — чужое ловить вздумали» («Уличные картинки— ребячьи учители», 1862).

А сколько физических калек и слабоумных детей бродит по страницам левитовских сочинений — жертвы своеобразных представлений о родительских правах и способах воспитания («Блаженненькая», «Колокол», «Деревенский случай» и т. д.).

Знал он и истинную цену той крестьянской общине, в которой многие усматривали наилучшую форму общественной организации. Понятие справедливости оказывалось беспомощным перед косушкой водки, выставлявшейся мужикам деревенским мироедом, а страх перед кулацкой силой истреблял в их душах чувства сострадания и справедливости. Сплошное «жизненное объюродивание». Редко-редко слышался человеческий голос: «Все ж таки господа бога мы позабыли, правду в кабаке пропили!» («Расправа», 1862).

Даже религиозность — наиболее устойчивое свойство патриархального миросозерцания — для громадного большинства левитовских

[1] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. в 90-та т. М., Гослитиздат, 1949, т. 60, с. 222.

крестьян остается внешней, не затрагивает ни их душ, ни основ жизни. Сделать пожертвование в церковь, поселить в доме юродивого, отдать дочь в «чернички», притом без ее согласия, полагалось достаточным средством для искупления грехов («Яков Петрович Сыроед», «Верное средство от разорения»).

И почти всеобщая глухота к чужой беде. Побежал крестьянин в метель за барской коровой, и нет его трое суток. Но никто не шевельнется поискать или хотя бы пожалеть, а с рабской тупостью повторяют приказ барина считать беглым («Беспременно он таперича в Одест убег!.. Страсть как в этом краю беглые богатеют».— «Моя фамилия», 1863).

Но Левитов не старался сгущать краски. Несмотря на бездну горя, разверзавшуюся перед его читателями, он находил в своих героях сокровенные человеческие черты, то доброе начало, в котором усматривал залог будущего нравственного обновления жизни. Он умел ценить в народе те духовные силы, которые дали жизнь пословице «Не стоит село без праведника». Писатель видел их в поэтических женских натурах («Дворянка», 1863; «Целовальничиха», 1861), в неуемных заступницах за слабых и несмышленых («Бабушка Маслиха», 1864), в отшельниках-старцах, слывших «ведунами»,— мудрых и бесхитростных, как сама природа. Эти люди хранили верность человеческим и «божеским» заветам, а если под их сильное и доброе влияние попадала душа ребенка, свое существование на земле они считали оправданным: «Вот и мое дитё бога узнало... слава тебе господи!.. Все же по крайности и моя теперь копеечка не щербата» («Аховский посад», 1873).

Среди «праведников» и детей, чьи души не тронуты растлевающим хищничеством, среди тех, кто не разучился слышать «бога-природу», в их идиллической любви и сердечности укрывался Левитов от меркантильного века. Но он прекрасно понимал, что подобные натуры, хоть и скрашивают духовную нищету деревни, еще долго не смогут стать явлением всеобщим («Какие такие устои могут быть у бедняка, у человека голодного?..»[1] — говорил он). А в новой, перевороошенной деревне они и вовсе стали не в чести. И хотя писателя всегда тянуло к тем, кто сохранил в тяжелом крестьянском труде способность слышать «шелест дремучего леса, птичьи крики и взлеты», обретать светлое чувство в церковных службах, забывать себя в чужом горе, он понимал: все последовательней уважение деревенского люда снискивают не эти «блаженные» и «поэты». «Основательные» мужики, исподволь припасавшие на черный день, почувство-

---

[1] Из письма А. И. Левитова к И. Сурикову 21 октября 1875 г. (Русская мысль, 1903, кн. 4, с. 148).

вали свое время («Сельское учение»). Сельская трудовая жизнь изменяла свои нравы.

Давно замечено, что в переломные периоды истории искусство оказывается кое в чем подвижней общественных наук, опережая их в отображении психологических особенностей различных социальных типов[1]. Демократический очерк благодаря гибкой природе своего жанра давал возможность запечатлевать *движение* жизни, не психический склад тех или иных классов, а именно психический *сдвиг*[2].

В произведениях Левитова ясно видно, как шатались патриархальные установления в семейных, в религиозных, в мирских сферах. Достоинства определялись по умению «добывать деньгу»—не зарабатывать, а именно добывать. Дочери ли, отпущенные в город, в «горничные», обирают незадачливых поклонников «из благородных», сыновья ли разбойничают на большой дороге — все это «ради семейства», следовательно — умно, следовательно — одобряется. А деревни близ больших городов и вовсе крестьянское дело оставили — ни пахотой, ни торговлей, ни «рукомеслами» не занимаются. «Мы, сударыня ты моя, кормимся от вашего брата, потому как приезжают к нам господа для вольного воздуха... По шоссе опять много всякого народа и ходит и ездит, ну, значит, от другого...» — многозначительно добавляет недавний хлебопашец («Беспечальный народ», 1869). Исконные деревенские «предания» рушились.

Левитова особенно занимало нарождение «хамского хамства». Кулачество, купечество прибирало к своим рукам и разоряющиеся «дворянские гнезда», и мужицкую нищету. Распад общины, господство кулака, отсутствие патриархального единства, что так мучило впоследствии чуткий талант Глеба Успенского, почти на десятилетие раньше были отмечены Левитовым («Накануне Христова дня», 1861; «Сладкое житье», 1861; «Расправа», 1862; «Именины сельского дьячка», 1863, и др.).

Но знамением времени были и характеры, заключающие в себе «инициативу народной деятельности» (Салтыков-Щедрин). Левитова влекли натуры вольнолюбивые, независимые, чуждые рабского духа или стремящиеся стряхнуть его с себя. Их неосознанный, стихийный протест приобретал порой уродливые формы — бродяжничества или разбоя; но им была чужда та сытая неподвижность, о которой меч-

---

[1] См.: *Б. Д. Парыгин.* Социальная психология как наука. Лениздат, 1967, с. 15.

[2] См.: *Л. М. Пивоварова.* Мастерство социально-психологического анализа в очерках А. И. Левитова.— В кн.: Мастерство очеркиста, вып. 1. Изд. Казанского университета, 1970, с. 95.

тал глубинный «российский селянин». Редко и смутно мелькало у героев Левитова классовое ощущение несправедливости мироустройства, как, например, у маленького дворового в «Моей фамилии», который долго не мог понять, почему его отец, самый сильный человек в деревне, робел перед «жиденьким» барином и отдал ему сына на расправу: «Под самой розгой как-то я успел задуматься о слове дворовый мальчишка... Собака — дворовая, Агафью зовут дворовой... значит, и я дворовый?» В минуту прозрения в себе Человека молодой художник, сын деревенского дьячка, на окрик барина: «Ты отчего, каналья, не кланяешься мне?» — бросает в ответ: «А ты мне отчего не кланяешься?» («Степная дорога ночью», 1861). Но чаще, свободные и бесшабашные, левитовские «бунтари» просто бродят по белу свету в поисках земли обетованной (и видится она им в «Одесте» или в «Аршаве»). Они убегают от крестьянского труда, интуитивно ощущая унизительность его подневолья, его нечеловеческой тяжести. Бродяжничество для них единственное средство раскрепощения духа и освобождения от рабской прикованности к сохе. Былинно-песенными интонациями звучит рассказ о «диве степном, молодце-непоседе», чьи приключения обрастают легендами, пока докатываются до односельчан, втайне завидующих и его воле, и воображаемому богатству, уж непременно нажитому в дальних краях («Степная дорога днем»). В поэтическом строе как будто подслушанных у народа историй — в их певучих периодах, цветистых образах — извечная мечта народа о вольности. Иной раз такой молодец, «голова удалая, до новых людей и до новых краев жадная», устав от одиночества и превратностей бродяжей жизни, поселяется в жилом месте, обзаводится хозяйством, находит даже «милую душу» себе по сердцу, но очень скоро опять безудержно тянет его на волю — «голода и холода наприматься, буйного ветра вволю наслушаться» («Степные выселки», 1864). Не умели эти мятежные натуры употребить свои силы себе и другим на пользу. Жизнь их, «при известной обстановке самая замечательная и разнообразная, в конце концов истрачивается на пустяки»,— говорил Щедрин.

Левитов понимал, что даже самые сильные из них не могли противостоять застою и дикости российской степной глуши. Есть у него рассказ об истинном самородке по прозвищу Шкурлан. В приподнятом тоне народного сказа повествует автор о его удали, смелости, готовности вступиться за обиженных перед сильными мира сего. Но в какой-то момент, как будто боясь увлечься, Левитов возвращает своего героя на реальную почву: ни грамотность, ни одаренность не спасли Шкурлана от обычной участи российского бедолаги,— пьянство и самодурство сгубили и его. Как бы в двух ракурсах видим

мы этого человека: восторженными глазами его односельчан и трезвым взглядом автора. Увлеченность Левитова поэтической стороной народного быта, народного характера никогда не затмевала у него здравого понимания вещей.

Но и возвышенность народного духа, и бездны нравственного падения, следствие темноты или «соблазнов» новой жизни,— все стороны быта и психологии народа предстают у Левитова в неизменном ореоле сострадания. Оно смягчает тяжелое впечатление от мрачных сюжетов пореформенной поры и высветляет облик самого автора, часто сопровождающего своих персонажей напутственным словом, открытым обращением к героям и читателям. Герой и автор очень близки у Левитова, а в лирических «степных очерках» их голоса сливаются, создавая единый образ. В «Степной дороге днем» возглас рассказчика при виде всеобщего народного страдания («Идете вы и думаете: что было бы, ежели бы все это, не вынесши своей тяжкой боли, вскрикнуло вдруг?») — это открытое излияние автором своего чувства. Позже, в очерках, посвященных «московским нравам», автор несколько отдаляется от рассказчика,— не случайно под многими очерками стоит подпись «Иван Сизой». Это не псевдоним, это лирический герой Левитова, на которого автор смотрит уже несколько со стороны. Но не сразу ему удается уйти от самого себя. В очерке «Крым» можно видеть движущие нити этого поединка. Пьяный Сизой беседует в трактире со своим двойником — «респектабельным господином», пописывающим в газетах. Реплика этого незадачливого литератора в адрес «погибшего создания» («Она исправится, ее только возвысить нужно»), такая нелепая в трактирной оргии «пропащих людей», пародирует надежды самого Левитова. «Мой приятель свысока смотрел на этот спектакль, а я, облокотясь на стол, рыдал болезненно о всем «Крыме». «Я» — это Иван Сизой. Он еще остается любимым и кровно близким писателю образом. (Совсем объективизируется повествование много позже — в очерках «Не к руке», «Девичий грешок», 1874 г.)

Иван Сизой пришел из степей левитовского детства, так и не сумев приспособиться к темпам и ритмам пореформенного города. Он — обитатель московских «комнат снебилью», гость «девственных улиц», посетитель трактира «Крым». (Эти названия стали у Левитова обозначением примет нового времени.) Иван Сизой прошел те же круги ада, что и его создатель; как и Левитов, он не мог найти опоры в мире жестоких законов и беззаконий; как и Левитов, припоминал не раз «широкие дороги в родную степь, к родимой сохе, к которой... окончательно положил себе возвратиться», но, как и Левитов, не преодолел гипнотического воздействия города. Они оба были одиноки в шумном многолюдье столицы, в дешевых меблиро-

ванных комнатах, битком набитых ремесленным людом, бездомными женщинами (все «гувернантки без мест, сироты полковника или даже генерала»), опустившимися «господами» и «скудентами», старающимися за выпивкой «становить разные глубокие вопросы» («Московские комнаты снебилью»). Предвосхищение горьковского дна — и в пестром составе обитателей доходных домов, и в общем колорите повествования, в том настроении минутного забвения, которое приносит в мир отверженных старинная песня. Она прорывает одиночество каждого, на миг объединяя разобщенных в своих бедах людей. Чуть-чуть устойчивей этого мимолетного отрешения их наивные фантазии и надежды: все кажется, смени опостылевшее платье (сарафан на кринолин), смени имя (Прасковью на Амалию), полюби «барина», а не мастерового, то есть такого же горемыку, но в «немецком» платье,— и жизнь станет легкой, нарядной, беззаботной. (Так же будет прятаться в своей мечте о «Рауле» или «Гастоне» горьковская Настя.)

Сюда прибивает и тех вечных правдоискателей, которые надеются в столице отыскать ответ на неизменные вопросы «кто виноват?» и «что делать?». И Левитов находил здесь кров, и он ощущал здесь то звериное одиночество, которое неотступно преследует его героя. Концентрированным выражением всеобъемлющей разобщенности звучит причитание всеми покинутой старухи: «Где бишь у меня сын... какой это у меня сын был, никак я не вспомню?..» Водоворотом нового времени люди разбросаны по миру. В очерке «Адресный стол» их отчаянные попытки отыскать друг друга натыкаются на лаконичные, стереотипно равнодушные приговоры: Умер. Выбыл. Уехал. Не значится. В смятении и ужасе, подав запрос на самого себя, ожидает герой один из этих ответов.

При свойственной Левитову чрезмерности употребления ярких эпитетов, ритмически пространных периодов — «щедрой словоохотливости сердца» (М. Горький) — он умел быть афористически кратким, вмещая в точный образ целое общественное явление. До страшных символов вырастает в глазах Ивана Сизого картина городской праздничной гульбы, когда одиночество ощущается особенно остро. По улицам «ходили и ездили не люди... а громадные бутыли. С бесстыдством холопа, случайно попавшего в господа, задирали они кверху свои зеленые головы, заткнутые толстыми пробками, толстым и длинным туловищем своим совершенно загораживая от вашей наблюдательности людей, сгибавшихся под их тяжестью» («Перед Пасхой», 1862). И некуда деться от этих призраков, только спрятаться в мечту или в воспоминания о прошлом, далеко не безмятежном, но все же осененном родительской лаской, детской дружбой, верой в бога, вызывавшей когда-то слезы умиления. Вот герою

«Петербургского случая» в ночных грезах видится мальчик, привезенный отцом в духовное училище. Он переживает муки «цивилизации», поразившей когда-то Левитова. Автор открыто беседует через десятилетия со своим маленьким двойником: «Брось эту глупую книжонку, мальчик!.. Не учись восторгаться грабежом и убийством победителей, учись любить и помогать побежденным!.. Не слышит меня бедное дитя...» Этим откровенным вмешательством в судьбы своих героев Левитов будто возвещает об опасности, стремится уберечь их от бед, постигших его самого. Но он не в силах спасти их. Захваченный потоком праздничной обреченности, приобретает «полведерную бутыль» Иван Сизой, ужасавшийся повальным пьянствам («Перед Пасхой»); из мира воспоминаний в мир безумия попадает мечтатель «Петербургского случая».

Героя Левитова преследовали образы того скорбного мира, из которого он вышел и от которого никогда не мог уйти. Он обрел способность глубже и шире понимать истоки человеческого страдания, но не обрел в себе сил претворять в дела высокие помыслы. Мечтатель Левитова трагически переживает свой крах, свою вину перед людьми, которые так и не дождались от него обещанной помощи («Подлец, подлец! Что же ты не заступишься?.. Зачем же в книжках твоих про заступу всегда слабому говорилось?» — «Нравы московских девственных улиц»).

Трагический образ мечтателя, рожденный русской действительностью, прошел долгий путь через фельетон 1830—1840-х годов, «Невский проспект» Гоголя, «физиологии» натуральной школы, через «Петербургскую летопись» Достоевского, его повести и дальше, трансформируясь, почти через весь XIX век.

Облик и судьбу левитовского мечтателя определило жестокое время, обрекавшее на гибель тех, кто не постиг страшных законов борьбы за существование, кто не обрел в себе духовной и душевной устойчивости. Достоевский объяснял этот тип общественной несостоятельностью, невозможностью или неумением «обусловить свое *я* в действительной жизни»: «Тогда в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностию, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — *мечтателем*»[1].

Кажется, что это сказано о героях Левитова. И хотя у Левитова эта тема не осмыслена так глубоко, как у больших русских пи-

---

[1] *Ф. М. Достоевский.* Полн. собр. соч. в 30-ти т. Л., 1978, т. 18, с. 32.

сателей — Достоевского или Гоголя, а призрачный город «Петербургских сновидений» не похож на плотный, земной Петербург Левитова, с его «безобразным гомоном многотысячных столичных жизней»; «петербургский» образ интеллигента, затерянного в громаде города,— кровный левитовский образ. Уходя в мир фантазий, его герой парит не так высоко, как неустанный мечтатель Достоевского, героико-романтические видения которого звали к борьбе и подвигам. «Мечтателя» Левитова влекут степные просторы, тишина провинциальных улиц, патриархальный домашний уют — все то, от чего когда-то бежал он в большой и суровый мир.

Рожденные временем темы и образы разночинской литературы были многим обязаны натуральной школе. А Левитов — при всей типичности своего облика писателя-разночинца и при всей оригинальности своего дарования — был ближе других шестидесятников к поэтике натуральной школы. Личный момент, превалирующий в его творчестве, давал возможность легко переходить в автобиографические признания и даже в исповедь — особенность, пришедшая из фельетона 1840-х годов. Исповедальность, эмоциональные излияния, пространно-восторженные описания природы — по словам Горького, «хмельная и многословная лирика» — порой совсем заглушали сюжет. Из «физиологий» 40-х годов в «разночинский» очерк пришел интерес к социальной анатомии — от общего изображения толпы, масс до проникновения в мельчайшие клетки социального организма. Там это было внимание к профессиональной или социальной общности, у писателей-шестидесятников — и к психологической.

«Знаток души российской», Левитов умел улавливать и коллективные настроения, и внутреннее состояние своих героев. Он показал общественные отношения пореформенной эпохи через поток разнообразных людских настроений. Большой мастер коллективного портрета[1], он воссоздает в жанровых сценах, в блестящих диалогах все бурное движение Руси в середине века — и в деревне, и в городе, и на оживленных дорогах России («Не к руке», 1874). Его «шоссейные типы», бесшабашный и не всегда безопасный люд, поднятый на поверхность бурным и мутным потоком, передают ощущение всеобщей экономической неустойчивости, нравственной ненадежности («Беспечальный народ», 1869).

Напряженность и темп времени Левитов рисует широкими мазками: безличными репликами, ощущением повсеместного и как будто бесцельного движения.

---

[1] См.: *Л. М. Пивоварова.* Мастерство социально-психологического анализа в очерках Левитова.—В кн.: Мастерство очеркиста, вып. 1.

«— Пошел! Пошел! Сторонись — раздавлю! — яростно свистела железная дорога.— Проходи! Проходи! — с злостью кричали друг на друга встречные шоссейные извозчики... А издали, сзади, в каких-то неясных, но богатырских очертаниях, рисуется город. Мощно смеясь, он вытискивает от себя толпы ненужного ему народа, шаг за шагом следит за его тревожным движением — и, невзирая ни на усталь толпы, ни на ее разнообразные муки, безжалостно шумит: «Иди! Иди! Тебе же хуже будет, ежели остановишься, тебя же стопчут» («Беспечальный народ»). Это уже предвосхищение образов XX века. В угрожающих интонациях брезжит капиталистический город Горького, образы-маски Леонида Андреева. В неоконченном романе Левитова они концентрируют трагическое ощущение незащищенности таланта в мире всеобщего безверия и цинизма: «Если где-нибудь на провинциальном горизонте загорится действительная звезда и осветит непроглядную тьму своей родины... целым рядом демонских искушений столичный город сманивает звезду с неба, на котором она светила, и устанавливает ее на своих проспектах, вместе с различными фальшфейерами и мертвенно блестящими гнилушками. Бедная! Как она страдает тогда, как беспомощно то на ту, то на другую сторону склоняется ее бледное, как бы испуганное пламя от цинготного дыхания праздных пустоголовых шалыганов, плешивых Мефистофелей, с широкими, тщательно прилизанными рожами». Андреевские образы проглядывают в описании фанатичной толпы, ожидающей от кумира или пророка чуда избавления: «В этой тьме, пугающей своей мертвенной синевою, прорезанной по всем направлениям свинцово-бледными нервами, примечается бесчисленное множество всклоченных голов, устремляющихся к свету новой звезды, виднеются белые мускулистые руки матерей, которые поднимают над морем голов своих кудрявых веселых младенцев... Они уже счастливы тем, что их малютки, их ангелы звонко плещут кому-то своими так художественно уродливыми ручонками и радостно смеются чему-то...» («Говорящая обезьяна». Эпизод из романа «Сны и факты»).

Никогда не изменявшая Левитову эмоциональность меняла свою окраску. Юмор и теплый лиризм деревенских сюжетов сменился экспрессивными интонациями. Только неизменное обращение к образам степной природы выпрямляло душу, возвращало лирическое настроение, приносило пусть минутное, но спасительное отдохновение от нравственных уродств жизни. Левитов всегда боялся отчуждения от природы: говорил, что оно «оскопляет душу». Природа для Левитова была символом высшей гармонии. Человек насильственно отлучен от нее вечной борьбой за существование. В своих просветительных устремлениях (к концу жизни он начинал понимать их уто-

пичность) писатель мечтал о том времени, когда по всей степной ширине «разольется благодетельный свет живых мыслей и знаний, который неминуемо поставит угрюмого, печального человека этой стороны в полное согласие с ее веселой, цветущей природой...» («Насупротив»).

Не все писатели-шестидесятники понимали, что в рамках существующего порядка вещей достичь этой гармонии невозможно. Когда Левитов задумывал свой роман «Сны и факты» (первые сведения о нем относятся к весне 1870 г.), он мечтал показать в нем «положительные идеалы русской действительности». Но у писателя эти идеалы были неопределенны, и широкие замыслы романа остались неосуществленными. Он послал в печать лишь отрывок (под названием «Говорящая обезьяна») с характерной заменой эпиграфов. Он хотел предпослать роману некрасовские строки: «От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови уведи меня в стан погибающих за великое дело любви»,— опубликованная же глава сопровождалась эпиграфом (из Полежаева), свидетельствующим о крушении надежд и полном отчаянии: «Я погибал. Мой злобный гений торжествовал». Она увидела свет уже после смерти Левитова и стала ему реквиемом. В ней отразились все крутые повороты его судьбы — биографические и нравственные, сознание собственной несостоятельности, утрата иллюзий. Левитов был уверен, что в век меркантильных страстей, в атмосфере всеобщей, как ему казалось, бездуховности («с одной стороны скорбь и уныние, с другой безобразная оргия под оглушительный звон балалаек») его просветительские идеалы никем не будут услышаны. В тексте пробиваются саркастические ноты, так несвойственные Левитову в пору раннего творчества. Там был «свет цивилизации»,— здесь — «змея цивилизации», извивающаяся «всем своим беспозвоночным хребтом». За широковещательным требованием прогресса кроются корыстные интересы тех, кто на спекулятивных лозунгах наживает денежный или политический капитал. Цель этих деловых людей настроить «науку таким образом (да уж и довольно успели в этом), что она концом, венчающим ее усилия, будет считать возможность как можно удобнее и легальнее возместиться на чужие неученые плечи» («Говорящая обезьяна»). Слышатся интонации и лексика Салтыкова-Щедрина, рожденные той же силой ненависти и боли. Отчаянное вопрошение героя: «Да где же люди-то?» — звучит не менее трагически, чем оклик великого правдоискателя: «Есть ли в поле жив человек?» Русские мыслящие люди — большие и малые таланты — искали пути в «золотой век человечества».

Левитов не обладал умением провидеть будущее и в этом черпать силу и твердость борца. Но горькая правда о народе, сказан-

ная им и всеми писателями-демократами, тревожила совесть, возбуждала умы, способствуя формированию общественного самосознания и нарастанию революционного движения в России. Демократическая литература шестидесятников облегчала дело тех, кому была уготована историей «инициатива великих решений».

«Я чувствовал, что эти разнообразно и размашисто талантливые люди, сурово и поспешно рассказывая тяжелую правду жизни, предъявляют мне какое-то неясное для меня требование»[1],— писал Горький.

Е. ЖЕЗЛОВА

---

[1] *М. Горький.* Собр. соч. в 30-ти т. М., Гослитиздат, 1953, т. 25, с. 347.



СТЕПНАЯ ДОРОГА НОЧЬЮ

I

Пора была самая глухая: сено скошено, рожь сжата, а до уборки проса, овсов и гречихи было еще далеко. К тому же был какой-то большой праздник, чуть ли не успеньев день; следовательно, народу на проезжей дороге совсем не было.

В воздухе ощутительно распространялись прохлада и тишина наступающего вечера. Маленькие птички, не видные во время зноя, теперь замелькали по степи, тогда как самая степь постепенно облекалась в какую-то необъяснимую, мрачную тайну, обыкновенно примечаемую в природе, когда, утружденная жизнью дня, она отходит к ночному покою.

Таким образом поля, и дороги, и вешки — все это глубоко задумалось в своей обычной вечерней думе, между тем как и с высоты неба, и из самой глубины непроницаемой дали веяло на вас каким-то едва слышным шорохом, сыпалось и неприметно вливалось к вам в душу что-то в высшей степени сладостное и томительное — и виделось вам, что все это будто бы закрывает собою природу, сообщая ей то особенное выражение, какого не увидите вы в ней никогда, кроме вечера.

На левой стороне дороги, по которой шел я, протекал Дон. Бесчисленными огнями сверкало в его волнах догоравшее зарево; а за ним так привольно расстилалась луговая, низменная сторона, зеленея раздольными покосами и пестреясь неоглядными запашками. Изредка даже и ко мне на большую дорогу заносило оттуда ветром

тонкий звон колокольчиков, привязанных к жеребятам, и крики сельских ребят, которые их сторожили.

Пугаясь этого мрачного, молчаливого пространства, особенно тоскливо ныла душа моя и желала встречи с живым человеком; но как ни напряженно смотрели глаза, ни человека на дороге, ни крыш деревенских изб вдали не показывалось.

Совсем свечерело. Заблагоухали травы и деревья, покрытые обильною росой, загорелись звезды на совершенно безоблачном небе; а на всем видимом протяжении Дона клубилось какое-то седое, неопределенное облако, ярко освещенное молодым месяцем. На востоке постоянно один и тот же угол неба резала, как обыкновенно называют ее в селах, сухая молния.

Ничто в этот раз не нарушало молчания ночи, только что разве сонного грача шагом своим испугаешь, так он каркнет, с одной вешки на другую перелетит, да там на целую ночь совсем уж и останется.

Вдруг позади меня раздался едва слышный скрип колеса. Я обернулся и начал присматриваться. Не далее как в четверти версты от меня спускалась с горы телега, в которую была запряжена слон-лошадь, так называемая купецкая. Грузно ступала она по туго убитой дороге, побрякивая медными бляхами своей наборной сбруи.

Рядом с телегой шли кто-то двое. До меня доносились их голоса; но я не мог ни расслушать того, что говорилось, ни ясно рассмотреть самих говоривших. Я закурил папироску и сел ожидать их.

— И у этого, милый ты мой, римского папы все цари ненашенские под началом находятся,— с расстановкой говорил один из подъезжавших ко мне.— И этот папа, как таперича об нем в книгах написано, не то штоб стар, не то штобы молод, а годов ему, свет ты мой ясный, ни мало, ни много — всего-то две тыщи. Месяц взойдет молодой — и папа молод, месяц к концу — и папа стареется, и так (сказывают вон, историю-то кто читал) до самого конца мира и смерти ему не будет. Вот што!..

— О, господи! — послышалось в ответ на историю о римском папе.

— Да! Вот ты с ним, с таким-то, и совладай поди!.. А вот войну прошлую, помяни ты мое слово великое, по

его науке французы с нами затеяли, потому он России не любит — веры она не его. Истинно!..

— А Бел-Арап? — спрашивал встревоженный голос.

— Бел-Арап што? Ты Бел-Арапа не бойся. Воевать он на нас пойдет, это я тебе верно сказываю,— да когда? Ты вот о чем посуди. При последних концах он пойдет воевать — вот когда, с антихристом вместе! Так и в Писании сказано: лицом черны и зверообразны, аки мурины эфиопстии...

— Говорят, уж народился антихрист-то?

— Это точно. Тридцать годов уж прошло, как народился, и держат его за двенадцатью дверьми и за двенадцатью замками, а держат его те замки и те двери, потому как млад он очень таперича есть, а как возмужает, так двери и замки он сразу расторгнет, расторгнумши, уж и на народ бросится; а дожить нам, грешным, до той поры лютой не приведи господи.

Наконец говорившие подъехали ко мне. Один из них был еще молодой парень, весь обсыпанный мукою, а другой — старик. По его широкому синему халату и по старой пуховой шляпенке я принял его за духовного. Действительно, как оказалось, это был сельский дьячок.

— Бог в помощь, земляки! — приветствовал я моих новых спутников.

Они подозрительно осмотрели меня с головы до ног. Короткий сюртук мой, очевидно, привел их в большое недоумение относительно законности моего пребывания на степной дороге в такую позднюю пору.

— Откуда бог несет? — спросил меня старик.

— Да вот из Данкова иду. Тяжело на жаре стало идти,— ночью-то, думаю, не полегче ли будет?

— Знамо, полегше ночью-то будет,— подтвердил мои слова белый парень.— Што это у тебя в зубах-то, любезный?

— Курево такое — папиросой зовут.

— Дай попробовать, брат, што-то хитро она сделана-то.

— Поди, с табаком она? — спрашивал старик.— Не приучайся к этому, голубчик. Грешней табаку, я тебе скажу, ничего на всем свете нет.

— Какой же тут грех? — полюбопытствовал я.

— Што ж это вы в городском сюртуке ходите, а грамоте, надо думать, не знаете?

— Нет, благословил бог, грамоту знаю.

— Ну, так книг божественных не читаете. А в книгах прямо говорится, кто табак-то посеял. Черт его, для людского соблазна, на блудницыной могиле посеял. Вот кто!

Между тем белый парень долго и сомнительно повертывал папироску между пальцами, улыбался чему-то, глядя на нее, курнул, наконец, и возвратил мне.

— Что? Ай не духовито? — спросил я.

— Духовито оно, духовито, да не забористо,— объяснил парень.

— А по-моему, чревобесие это выходит одно...— заключил старик.

Наконец белый парень вспомнил будто что-то и торопливо стал нас приглашать садиться к нему в телегу.

— Пошагистей поедем холодком-то,— говорил он.— Хошь бы улицу для праздника застать,— разошлись, поди.

— Да хошь и не застанешь, еще тебе лучше: соблазна не будет,— заметил старик.

— Хорошо это тебе говорить,— вспыльчиво возразил белый парень.— Неделю-то целую работаешь, рук не покладываешь, а тут еще и улицы не застань. Оно, пожалуй што, куда складно слова-то у стариков выходят, когда они об соблазне толковать начнут; а сами небось тоже в старину-то не очень на соблазн-то глядели.

— Это ты верно про стариков говоришь; но плоть свою усмирять тоже должен, дабы власти над собою врагу не давать,— продолжал резонировать старик.

— Нечего ее усмирять-то! И так она у нас небось не очень-то разыгрывается. Я вот, двое-то суток на мельнице бымши, может, двумя фунтами одного сухого хлеба продовольствовался,— так уж какая тут плоть будет?..

— Сам виноват! Отчего больше хлеба с собой не взял?

— Отчего? На полдня всего ехал-то, а мельник (провалиться ему!) двое суток меня продержал. В сердцах они с хозяином моим, так вот он меня и продержал. На-ка, дескать, посмотри, какую я над твоим хозяином власть большую имею.

— За што ж они в сердцах-то?

— Поди разбери их! Первое дело: мельник у нашего дочь за сына сватал. Не отдал наш-то: я, говорит, дочь свою за мужика отдать не намерен; а отдам либо, гово-

рит, за попа, либо за приказного,— потому из вольноотпущенных он у нас и живет как есть на барскую стать. А другое дело: вздумали у нас церкву строить; а хозяин-то мой с мельником первые, стало быть, насчет деньгов обыватели во всем приходе. Вот мироеды и доложились к мельнику прежде: «Сколько, говорят, ты на божий храм жертвуешь?» А он им и говорит: «Весь кирпич на свой счет берусь изготовить, ежели вы церкву на имя Петра и Павла состроите» (а его Петром зовут, а сына-то Павлом,— вон метил куды!). Мироеды и согласились, да к нашему-то и толкнись. И так-то наш мироедов этих самых по шеям со двора гнал, так-то он их ругал ругательски,— услыхал потому, как они к мельнику первому за советом ходили...— Видят мироеды — не изнять им без нашего церкви, всем сходом просить его стали, штобы, значит, смиловался. «Стройте, говорит, во имя Миколая-чудотворца»,— и его-то, к примеру, Миколаем зовут... Тут на сходке-то до драки чуть не дошло с мельником. Один говорит: Петру и Павлу, другой — Миколаю. Наш-то чудак такой — усовещивать стал было мельника: «Куды ты, говорит, в храмостроители собираешься, а грамоте не знаешь?» — «Да оно,— мельник-то ему,— грамоте-то хошь я и не знаю, одначе холопом несчастным никогда не бывал, так ты нас грамотой не кори»,— обиделся, значит. Наш опять тоже не уступил: «Эх ты, говорит, прямой шут! Я тебе настоящее дело, по доброте души, сказал, а ты лаешься. Истинно, говорит, сказываю вам, братцы, не его ума эта вещь...» Кто из миру-то поверил нашему, кто мельнику, только с этого времени весь приход надвое раскололся: одни микольскими назвались, другие петровскими — и годов с пять уж прошло, тягаются все меж собой. Драки какие насчет этого самого дела ежечасно бывают — сказать невозможно; а материал, на церкву-то какой сгоряча навезли, кое растащили — лесок-то да железцо, а кое — кирпич там, што ли, али известку — все это дождем да снегами размыло... И уж каких штук ни подпускал хозяин-то мой, штоб по его сделалось. Соберет, бывало, мужиков со всего прихода, выставит им пеннику ведра два и почнет рассказывать, как это к нему во сне аки бы каждую ночь почитай Миколай-угодник является и как он наказывает ему, штоб церкву-то, значит, на его имя поставил. «Ничего, говорит, ты, раб, не жалей, только, говорит, волю мою испол-

няй,— спасенье души от этого дела получишь»,— угодник-то будто ему растолковывает. «Вот,— наш-то говорит,— сами вы видите, православные, што я для вас ничего не жалею», а сам вином-то все стариков и накачивает. Сначала и поверил народ, и многие из петровских на нашу сторону перешли, а потом и верить перестали, потому больно уж часто угодник являться ему почал, и ходили к нам мужики больше как выпивки и смеха одного ради. И допекли же его этими явлениями. Как только услыхал мельник про такие дела, на зубок его сейчас взял: «Станет, говорит, святой угодник холопу несчастному такую милость оказывать,— я вот становому про него объявлю, что народ он только смущает»,— и объявил. Тут сперва-наперво становой такую-то хозяину вещь сказал, таково-то тазал его, что он народу святым себя объявляет,— долго он с этого случаю повесимши нос ходил. А там и мужичонки, кто поазартней-то, захочет выпить, к нашему и идет: угости, говорит. Ну, уж наш-то и знает, что ежели не угостить, так слушать придется, как он начнет тебя по всему поселку срамотить. Так и теперь еще не забыли этого дела и все опивают за него хозяина-то,— прост больно!.. Вот мельник и меня таперича за хозяина на мельнице проморил. Доведу, дескать, парня до вечера — пусть праздник промаячит в дороге. Ну, шагай, што ль, верблюд проклятый,— обратился белый парень к лошади и вытянул ее ременным кнутом.

— Вот они, вражьи-то плевелы — по всему приходу разрослись,— уныло промолвил старик.— Цепки лапы-то у проклятого — всех он их к себе перетаскает. О-о-хо! Велики, велики, братцы мои, грехи-то наши!

— А вы куда ездили? — спросил я старика.

— Благочинный по селам с бумагами посылал. Бумаги такие из консистории присланы: внушение духовенству о приложении вящего прилежания относительно распространения в черном народе грамотности и нравственных чувств... Очень уж донимают нашего брата этими дежурствами. Разносишь, разносишь эти бумаги-то, а, как я теперича понимаю, все это одни грехи, потому чувства у всякого человека и так есть, а грамоте кто захочет, сам выучится... Вот хоть бы теперь: двадцать два села выходил — таково разломило, а покормить нигде порядком не покормили,— не то штобы кашки али убоин-

ки старику, а и щей-то чрез великую силу вольют. Скупищие эти сельские попадьи — страсть какие скупищие; всего-то у них, по их сказам, нет, всего-то им мало!.. Да кстати, ходимши по селам, к лекарке одной заходил, в дворне тут у одного барина живет, ловкая старуха, рассказывают. Сынины волосы к ней носил, рассказывали, потому, искусница великая она напущенные болезни лечить. Вот они, волосы-то,— добавил старик, вытаскивая из-за пазухи прядь черных волос.

— А разве на сына вашего напустил кто-нибудь? — спросил я.

— Бог его знает! Он у меня с самого малолетства чудной какой-то был. Все бы ему углем да мелом стены чертить; а потом в семинарии с живописцами знакомство свел, рисовать от них научился. С этого самого и сталось ему, как я понимаю, потому учиться совсем бросил, и хошь из одного класса в другой его и перетаскивали,— певчим он, видишь ли, был,— однако все в третьем разряде держали, и всегда я думал, что не кормилец он мне, ибо из третьего разряда только священниковы дети, и то при больших хлопотах и расходах, достигают священства, а дьячковы никаких прав не имеют,— все одно что пастух, даром что лет двенадцать там он — и сам лямку-то трет, и родитель-то, при бедности при своей великой, содержит его в губернии. А там ведь расход-то — о-ох какой! Все животы свои, бывало, туда перевозишь,— сам-то хошь без хлеба сиди... И никак таперича не могу я понять, сколь бы долго ни придумывал, отчего это ему такая блажь в голову зашла?.. И добро бы еще божественные картинки писал либо, что всего лучше и спасительнее, образа святые, а то бог знает что изображает. Была тут у нас в селе девица одна дворовая,— правду надо сказать, что ни есть прекрасная девица, истинно ангельской красоты, только очень уж вольным нравом и, следственно, зазорным поведением обладала,— так он ее листах на тридцати написал: то она у него на картинке за водой идет, то корову гонит, то на яблоню по лестнице лезет. Дивом дивился я, откуда у него такое мастерство взялось: живая совсем на его листах выходила эта девица — стоит и смеется... Полтора года прошло, как он совсем курс окончил, и не то чтобы отцу при старости лет помогать, он сам же на моих хлебах живет. А у меня какие хлебы-то? Известно, что двадцатая дьячковская

часть — один-то рот иной раз куды тяжело продовольствовать. Пробовал я ему говорить: што ты, мол, Петруша, места себе не ищешь? Молчит, и ведь не то чтоб он молчал тогда только, когда его упрекать почнешь,— нет! Как от молчальника какого, никогда почитай слова-то не добьешься, и так, я тебе сказываю, скучен он у меня, так-то скучен, что и мое-то сердце все изболело да исстрадалось по нем. Сначала, как пришел он ко мне из губернии, господа наши узнали как-то, что он рисует хорошо, к себе его стали звать,— ну и ходил он к ним, и припасы они мне всякие, ради его, присылали. Только однажды старый барин и говорит мне: хорош у тебя, Степаныч, сынок; артистом даже может быть по живописной части, только, говорит, горд, почтенья никакого благородным лицам не отдает, посократи-ка, говорит, его немного. Ну, я было в эту силу увещевать его стал: помни, мол, Петруша, кто у тебя родитель такой! Дьячок у тебя родитель, последние мы с тобой спицы в колеснице суть,— так не должен ли ты, говорю, сугубое почтение дворянину и благодетелю отдавать? С этого-то разу, как я теперича вспомню, он и помешался-то больше, ровно он на господ озлился через это, никогда к ним после такого случая уже и не ходил; а присылали они за ним частенько-таки, и приказы от старого барина строгие выходили, чтобы беспременно дьячков сын явился на барскую усадьбу картинки писать... Вот, сударь ты мой, что, думаю, делать? Не слушает мой малый барских указов; едят меня за него и господа, и поп, и дворовые — все едят. А тем временем сынок к барину с Кавказа и приезжай, молодой еще, лютый такой — все у него по-военному пошло. Вот и приезжает он однажды к обедне, и мой у обедни-то был. Только примечаю я с клироса, что барский сын так-то пристально в моего вглядывается и с матерью потихоньку что-то пошептывает. Пред концом обедни выношу я барыне просвиру, а он мне и говорит: «Это твой сын, что ли?» — «Мой, говорю, ваше благородие!» — «Вот, говорит, посмотри, как я его учить буду. Их, говорит, в семинариях учат воду толочь, а я теперь почтению его поучу...» — «Ваша, мол, власть, ваше высокоблагородие! Што хотите над нами, то и делайте». Отошла обедня, вышли в ограду мужики, и барский сын вышел, а мой-то впереди идет. Как зыкнет на него барский сын: «Ты отчего, говорит, каналья, не кла-

няешься мне?» А мой-то (подумать-то страсть берет!) покраснел даже весь, дрожит так-то и говорит ему: «А ты, говорит, мне отчего не кланяешься?..» Вон оно — слышь? Барину-то и ляпнул: «А ты, говорит, мне отчего не кланяешься?» — и сам тоже канальей его обозвал... Так и обомлел народ-то!.. Так даже пополовел барич-то весь, как осиновый лист затрясся — и ни слова, только, значит, стоит перед моим да глазами его меряет, ровно он его съесть в это время хотел. И сын тоже стоит перед ним и словно даже как будто улыбается ему. Только вдруг, глазом моргнуть, кажется, не успеешь, лицо барич сыну-то и искровяни,— и какая тут страсть была, что народ-то весь попрятался даже, потому случай-то этот очень уж грозен был, как это сын-то барича схватит за грудь да об земь его грянет, так даже стон пошел... Таково тут горько барыня стонала да охала, таково грозно сам старый барин на сына моего наступал и мужикам своим приказывал бить его, что сердце у меня замерло словно; одначе мужики не послушались — испужались, надо полагать, потому как сын церковную скамеечку схватил и до смерти убить богом божился, кто подступит к нему... Ну, засадили тут его в сумасшедший дом,— очень уж барин хлопотал об этом... Больше же, дивлюсь я даже, насчет там судов или инова чего — ничего не сделали. За это им надо благодарность отдать — помиловали. Целый год в сумасшедшем доме держали сына, а теперь тоже опять у меня живет. Много колдунов смотрели его у меня — испорчен, говорят,— и вылечить его нет средств, потому, первое дело, как узнает он, что я колдуна какого позвал лечить его, сейчас его вон гонит и становому жаловаться грозит; а второе: бес-то в него, говорят, очень уж лют и силен посажен — трудно его из тела-то выжить...

— Что ж вам сказала лекарка, к которой вы заходили?

— Ничего почти внове-то не сказала. Посмотрела только на волосы и говорит, что действительно по злобе испорчен, и вот трав каких-то дала, по зорям поить его этими травами наказывала,— может, говорит, и пройдет.

— Все это, я полагаю, врет она, лишь бы деньги содрать,— вмешался в разговор белый парень.— Она многих так-то надула, лекарка-то эта, слышал я про нее.

Сам посуди: как она про человеческую болезнь по одним волосам узнать может?

— Этого ты не говори, свет! Не только по волосам, по одному крошечному клочочку от рубашки всякую болезнь узнают,— на то они ведьмами и называются. Была вон тоже в нашем селе такая-то (умерла теперь): «за двадцать верст, говорит, насквозь всякого человека вижу, а больше, сказывала, мне не дадено». У них ведь тоже, свет, одному одно дается, другому другое — не всякому поровну.

— Как это таперича они всю эту науку постигают? — спрашивал белый парень.

— Разно постигают. Иные вон от старших со смертной постели принимают. Было это на виду у меня: сосед был у меня, славный мужик такой, никто про него худого-то и думать не мог; а он, как стал умирать, так-то мучился жестоко, что некому передать науки своей, так-то стонал да скорбел! Не выйдет у такого человека душа из тела без того, чтобы он колдовства своего кому-нибудь не передал. Вот в это время ты только подойди к нему да скажи: дай, мол, мне,— он тебе и даст, одну руку только дает, и ничего в этой руке ты не ощупаешь, а колдуном сделаешься. После этого колдун и умереть может, потому наследника по себе оставляет — есть где нечисти-то адовой усесться... И тут ты, без всякой помочи, зверем каким захочешь перекинуться — зверем будешь, птицей — так птицей,— только, слышно, все это они через ножи делают. А куда трудно, говорят, им через ножи-то перекидываться, особенно поначалу,— таково-то визжат они в это время, словно режут их.

— Была и у меня бабка такая-то, сказывают,— добавил белый парень,— мачехой отцу моему приходилась, так отец-то подкараулил, как она через ножи-то в свинью перекидывалась, да и украл ножи-то эти и сжег их, так она свиньей навсегда и осталась. Бывало, говорят, подойдет к избе-то в полночь,— хрю, хрю: ножи-то, значит, свои все разыскивала; а отец дубиной ее и разварганит, так она в свином образе и издохла...

Фамильное предание белого парня так же сильно озадачило дьячка, как сам он час назад озадачил его своими страшными рассказами про римского папу и про нарождение антихриста. Полночная тишина, очевидно, увеличивала страх суеверного старика. Притворяясь неве-

рующим в бабку, умершую в свином образе, он тем не менее судорожно-скоро шевелил губами.

II

Долго таким образом ехали мы. Разговор не клеился. Белый парень начал было рассказывать, как в Ельце одного мещанина (и ведь непьющий совсем человек-то был!) черти на мельничную сваю втащили, а свая на самой середине реки стояла; но рассказ вышел вялый какой-то. «И как это ухитрило его забраться туда?» — неоднократно в глубоком раздумье спрашивал себя белый парень; но полночь не давала ему никакого ответа на этот интересный вопрос.

— Батюшки! А ведь сверток-то к нам на село мы пропустили,— возопил старик.

Неподдельный ужас отразился на лицах моих спутников.

— Обшел! — сказал шепотом белый парень.

— Обшел! — еще тише повторил дьячок.

Оба они были решительно неподвижны. Как будто воочию видели они, что эта тайная сила, которая, по их выражению, обошла их, взяла лошадь за узду и ведет совсем не туда, куда им следует ехать. Выше облака ходячего, ниже леса стоячего летит как будто за ними сила эта, хватает их всею сотнею когтистых рук своих, и тащит их за собою в непроходимый и дремучий лес, и гогочет от радости. Так велик был страх моих приятелей, с которым они произносили роковое: обшел!

— С малолетства езжу по этой дороге,— заговорил старик,— каждый куст почитай заприметил, а теперь вот сверток потерял. Подержи лошадь-то, свет, пойду-ка я с богом. Господи благослови! — молился старик, отправляясь как будто на верную смерть.

— Иди, иди, дед! Двух смертей не будет, одной не миновать,— прервал белый парень.

Меня очень занимал этот детский страх, эта не колеблемая ничем вера в вещи, никогда и никем не виданные. Я никак не мог согласить фактов, только что виденных мною, с давно известным положением, которым думают характеризовать русского человека: не пощупавши, дескать, не увидит и не поверит.

Да ощупаешь ли ты эдакую степь-то страшенную?

Да почем ты узнаешь, на какие царства пошли те дороги ее бесконечные? Нет! Ничего такого ты в степи не проведаешь. А ты уж лучше так ступай по ней — по кормилице — со крестом да с молитвой. Потомит тебя в ней, как посудишь, и жаром и холодом, и голоду всякого вволю напримешься; а то на лихого человека, может, по дороге-то набежишь, так в овраге загинешь; а то и без лихого человека, вьюга как-нибудь, пожалуй, прихватит; а все-таки ничего! Все-таки она, степь-то, твое молодецкое счастье жалеючи, иным разом возьмет тебя да куда надо и выведет...

— Перьхрестись, братец ты мой! — неожиданно посоветовал мне белый парень.— Сторона здесь такая дикая — провалиться бы ей — нечистая сила над ней власть большую имеет.

А сторона была как и всякая другая сторона: огромный буерак, поросший мелким кустарником, который, по мере отдаления от большой дороги делаясь все более и более крупным, превращался, наконец, в дремучий строевой лес, перерезывал дорогу; мост какой-то навозный, неведомо как и на чем утвержденный, пролегал через буерак; верста со сбитой макушкой и, следовательно, не показывающая верст, пестрелась на той стороне моста, а дальше торчали вечно думающие вешки-сироты. Вот и все. Представляя обыкновенную дорожную картину, местность эта, облитая месячным светом, тем не менее была полна какой-то невыразимой прелести.

— Видишь, вон лесище-то какой здоровый по буераку пошел,— конца ему нет, сказывают. В самую, говорят, Сибирь тем краем уперся... И теперича, ежели лошадь у кого сведут, беспременно ее тут искать следует, потому раздолье тут конокрадам. И какие они дела в старину тут обделывали, старики-то почнут рассказывать — слушать страсть. Теперь ничего. Давно уж про разбойников не слыхать; а только вот нечистая сила больно уж завладела этим местом. Редкий кто проедет, чтобы она не издевалась над ним.

— Что же, может, с тобой что-нибудь здесь случалось? — спросил я.

— Нет, самому мне, признаться, ничего не доводилось, а вот мужичок один, правду надо сказать, через это самое место смерть принял. Едет он однажды, братец ты мой, из города, после полуден уж едет, и видит,

как это на небушке туча показывается — такая-то, сказывал, страшная туча. Вот он себе и думает, как бы, дескать, туча-то в поле меня не застала. (Страсть как грома покойник боялся.) Думает он себе так-то, как бы поскорее до дома догнать,— глядь: барашек ему навстречу по дорожке-то и бежит — такой-то хороший барашек, белый как кипень. Дай-ка, думает, возьму я барашка-то,— хороша, мол, скотинка-то больно. Подозвал он тую скотинку к себе, в телегу ее посадил, и так-то почал ластиться к нему ягнышек! Вишь, умный какой, думает мужик, понимает, должно, что я его от смерти спас, потому беспременно волки бы его одного на степи разорвали. А молонья-то так и сверкает, так, то есть, в очи прямо тому мужику и сыплется. Чтой-то, мол, господи, молонья ныне какая, живая словно — так и жужжит около телеги. Жмется к мужику барашек, под тулуп все норовит, да вдруг (на-кась!) человечьим голосом и говорит ему: «Бя-а-а, дядюшка! пусти-ка, говорит, ты меня в рот...» Что ж ты думаешь? Как это он сказал почеловечьему-то, так и остолбенел мужик. Языка, говорит, лишился — и уж не помню, говорит, как я его с телеги-то спихнул. Только что, говорит, успел я его с телеги спихнуть, гром в него как грянет, так и разразил всего — только зола одна на дороге осталась, да такая, выходит, смердящая да черная та зола. И ровно в это самое время вихорь по лесу-то взметался, ровно волки голодные, взвыла проклятая нечисть, как это громом-то ее колотило... Вот он, барашек-то, какой вышел! В рот мужику от грома господня забраться задумал! А то еще: только уж это, милый ты мой, приятель мне один говорил (и теперь он по соседству от нас в батраках живет), так тот не соврет — все единственно, значит, как бы теперича все это со мной случилось. Было это дело зимой, после Рождества вскорости,— только был он как в это самое время без места, поп наш и говорит ему: «Повези-ка, говорит, ты меня в город,— больно уж у меня свой работник-то занят».— «Что ж, говорит, пожалуй, повезу»,— и поехали. Едут так-то они в самую полночь по этому месту, поп-то и усни, да и парень-то, говорит, и я-то, кажись, тоже грешным делом маленечко прикурнул. И вижу, говорит, я во сне: таково-то мы шибко едем с попом, сердце мрет. Знаю, говорит, сам, что сплю, и думаю: ох, мол, проснуться бы надо, а то, пожалуй, ра-

зобьют нас лошади-то,— и проснулся. Что же? Стоят лошади на этом самом месте проклятом, снежок эдак моросит, и такая-то светлы́нь стоит — смотреть любо,— тоже, вот как и теперь месяц тогда светил. Глаз-то говорит, как следует не продрал еще хорошенько, а уж чертями лошадей выругал: что, мол, стали-то, леший вас побери! Ну, обнакновенно, значит, кнутом и по той и по другой знатно раза два съездил — всё стоят. Что, мол, за притча такая? Да как глазами-то, говорит, вскину вперед, такое-то увидал, в жисть, говорит, никогда не забуду. Перед самыми носами у лошадей, поперек дороги-то, чучело эдакое-то, разве сажон в пять, черный-расчерный весь, и стоит и ехать им не дает. А около его, словно вон мошки весной, так-то толкутся, так-то прыгают да визжат здорово разные эдакие чертенята маленькие, с птицу вон какую-нибудь — воробья не больше, и такая их тьма-тьмущая летала и кружилась над ним, эдаким высоким столбом,— до самого до неба, говорит, тот столб доставал... Долго тут, сказывает, слова одного не мог вымолвить, потому смотрит на него чучело (такие-то буркалы красные, так и жгут наскрозь!), и уж насилу-то с передка в кибитку к попу и свалился. Что ты, поп-то спрашивает, ай, говорит, приехали? Батюшка, говорю, взглянь-ка, что на дороге-то делается. Молитвы тут поп стал читать всякие, они так-то помаленечку редеть начали, разлетаться, да так (не скоро, одначе ж) все до единого и изгасли... Вот оно какое это место! Недаром исстари еще названье ему, проклятому, положили: *Большими гробищами* прозвали.

— А ты не слыхал ли, отчего же льнет нечистая сила к этому месту? — спросил я.

— Проклято оно пустынником одним в старину. Тут (видишь ли) село когда-то стояло, старики сказывают,— здоровое такое, говорят, селище было, верст на пять тянулось. И был пустынник родом из этого самого села, и спасался он в недальних местах отсюда в пещере. (Показывают место-то это и теперь, еще в целости сохранилось.) Только мужики-то, родичи-то его,— все до единого страшенные разбойники были. Запоздает, бывало, кто-нибудь на дороге, попросится к ним ночевать, уж они живого никогда не выпустят, потому ежели и удавалось иным разом вырваться из избы, так соседи ловили и опять в ту же избу беглеца представляли. Так уж у них

заведено было — помогали друг дружке... Очень жалел их пустынник и часто к ним на село приходил сучинять их: оставьте, говорил он, жисть вашу беззаконную, братцы, руки-то свои, говорил, вы бы помыли, в крови они у вас, руки-то! Колотить они его, по сказам выходит, здорово под пьяную руку колотили, а советов не больно слушали что-то. Только видит пустынник, что ничего с разбойниками поделать нельзя, взял однажды богу помолился и проклял у них реку. (Река у них тут в буераке-то протекала.) Остались мужики без воды и завыли. Уж они его умоляли, умоляли, чтобы он заклятие с реки снял,— не смиловался. Много денег тут потрачено было. Всё, значит, разным докам платили, чтобы разговорили реку. Известное дело: колдуны любят с человека завсегда деньгу взять — и тут так: деньги-то обирали, а с рекой поделать ничего не могли. Вот разозлились мужики на пустынника и убили его, а он перед смертью-то не то что реку, а и село-то все проклял. Вот теперича сами-то и завладели этим местом; а село давно все запропало: коих, значит, в Сибирь послали, кои пожаром выгорели, а то на новые места выселились... Наш поселок недалеко от этих местов, так тоже и наши мужики знают, что река тут текла, затевали было мельницу строить. Авось, думали, родничок найдется, одначе тоже уж каких док в овраге-то не перебывало,— не нашли родничка. Англичин тоже один из Питера приезжал, колдунище, сказывают, единственный. Долго он тут с горки на горку похаживал, канавы да ямы разные рыл, тоже до причинного-то места дорыться не мог. Только англичин этот надул-таки наших посельщиков здорово. Пришел однажды с похода своего из буерака и говорит мужикам: заклятье, говорит, великое, братцы, на вашу реку наложено, только я, говорит, в чем тут сила — сразу узнал, и беспременно, по моим наговорам, река опять по-прежнему потечет. Вот, говорит, через неделю у меня составы такие будут готовы, которыми я, говорит, шутов из родников выгонять буду, так вы мне к тому времени тысячу целковых да коня самого лучшего припасите. А по сказам-то его выходило, что самый большой родник, из какого, значит, река, почитай, всю воду имела, лошадиной головою пустынник заткнул. И ежели, говорит, голову ту ототкнуть, так такой столб воды из родника засвиристеть должон, что всю губернию, пожалуй, затопил бы,

ежели бы, то есть, заговоров таких против воды не знал он. Отдали ему деньги, и лошадь тоже отдали. (Мужичок тут один жеребчика на корму держал,— важный жеребчик такой,— тысячи бы две за него, поди, лемонтеры на Покровской отвалили.) Точит разные балясы англичин и жеребчика пробует. «Как бы, говорит, мне, братцы, голову свою в буераке за вас не сложить? Беда, говорит, если лошадь не резва и вывезть меня в пору не вывезет, совсем, говорит, затону...» — «Авось бог! Авось вывезет?» — наши-то его утешают. Только пробовал, пробовал англичин жеребчика-то да и пропал вдруг и с деньгами, какие с мира собрал. Так родник-то и теперь стоит лошадиной головою заткнут... Эх ты ма!.. Все-то нас обманывают, все-то надувают!..

— Одначе ж слезай, милый человек, и мне сверток пришел. Вишь, вон крыши-то завиднелись,— тут наш поселок и есть. Зашел бы ты к нам ночевать-то, а то как ты теперича пойдешь один?

— Нет, спасибо! Привык я по ночам-то ходить. Пятачка будет тебе за труды, землячок? — спрашивал я белого парня.

— Кой там пятачок? Свечу про мое здоровье поставь. Прощай! Дай бог путь-дорогу.

И я остался один в ярко светлевшейся степи. Против воли зарябились у меня в глазах и чучело в пять сажон, и маленькие чертенята — воробья не больше, по выражению белого парня. Слышалось мне даже, что белый барашек бежит за мной,— и по телу пробегали какие-то холодные, заставлявшие вздрагивать струйки.

И была, если можно так выразиться, самая глубина ночи. Ни малейшего следа жизни нельзя было подметить на этом неоглядном пространстве. Только по обеим сторонам большой дороги выстроились громадные стоги сена — и незнакомому с местностью проезжающему кажутся они гигантами, быстро несущимися по степи. Слышится ему топот их тяжелый и быстрый — и невольному чувству страха поддается пугливое сердце. То овсяник-медведь напугал табун лошадиный. Вон они, вытянувшись в струнку, полетели к светлому Дону. Не кто другой это, как лошади, потому что при всем том, что далеко ускакали они, еще можно видеть, как месячный луч скользит по хребтам их, жидким и слабым как будто, но

которые с такою славой и так долго носят на себе славное войско донское.

А вот из-за густой купы вешек мелькнули белокаменные избы придонского села — и тут тоже беспробудная тишь. Спит село — и спит, можно смело сказать, крепко и сладко, потому что летние работы, характерно называемые в степях *страдой,* заключают в себе редкое усыпляющее свойство, так что будь хоть какой удалой молодчина, а если он день-деньской промаячится на покосе, так в полночь небось не будет он волком степным красться к гумну своей любы. Нет! Не слыхать ему в эту ночь медовых речей своей разлапы сердечной,— огненных глаз ее целовать молодцу не придется; а если он кого и поцелует, так сонный поцелует подушку свою, к которой пригвоздит его страда; а если он кого и приголубит, так только подобие одно голубицы своей, которое в душе человека, устали и сна не знающей, обыкновенно рисует сон благодатный.

Спит все; на этой общей могиле раздается однообразная, крикливая песня сверчка. Сквозь дальний и редкий перелесок чуть заметной звездою мелькает чумацкий огонь. Густым клубом расстилается по небу сизый дым от этого огня. Смотрит в задымленное окно лачужки своей одинокая бессонная старуха на дым этот и крестится,— крестится и думает: отчего бы этот дым такой сильный был? И пришла к ней в старую голову мысль, что над тем селом, надо полагать, расстилается дым этот, куда отдана замуж ее ненаглядная дочка... И еще пуще, чем прежде, затужила и заскорбела старуха в своей одинокой избенке,— и так-то слезно взмолилась она тогда к матери царице небесной, чтоб дала она ей крылья легкой пташки певучей, чтобы полетела она, сирота горемычная, на тех крыльях легких чрез поля, через Дон и сверх лесу к красавице дочке своей, проведать — не соделалось ли над ее домишком горького горя — пожара лютого?..

Ложись, спи, старая бабка! Еще больше, пожалуй, загорюешь и затоскуешься ты, когда ненароком увидишь, как на дорожном кургане загорятся очи нечистого духа — сторожа старинного клада, зарытого в этом кургане; а я еще послушаю сладко-мучительного безмолвия ночи...

Как река в половодье, заширела дорога при выходе из

села. Гигантскою птицей вскинулась она на гигантскую гору, осеребрил ее там, окаймленную пушистою травой, светлый месяц, и потекла она дальше, как река какая серебряная, по неизмеримым пределам своим.

Хорошо в это время вольному человеку думать и знать, что волен он, как орел-птица, и что нет тебе конца, русская дороженька привольная!..

1861



ПОГИБШЕЕ, НО МИЛОЕ СОЗДАНИЕ

I

Америка имеет девственные леса, девственную почву, а Москва имеет девственные улицы. Говорю о таких лесах и таких улицах, где ни разу не бывала нога человека. Я, по-настоящему, должен был бы показать, каковы именно эти леса, для того, собственно, чтобы читатель знал, как именно думать ему о девственности московских улиц; но в первом случае я рекомендую ему романы Купера, а во втором — мой собственный рассказ, и результат этой рекомендации будет таков, что из романов Купера он почерпнет настоящее понятие о девственности американских лесов, а из моего рассказа — о девственности московских улиц.

Во время моего первого знакомства с Москвой меня всего более поразило следующее обстоятельство. Идешь, бывало, по широкой, людной улице и видишь, что на каждом пункте ее кипит та деятельная, столичная жизнь, которая, как известно всякому мало-мальски порядочному фланеру-наблюдателю, заставляет любопытных провинциалов останавливаться чуть ли не на каждом шагу и смотреть на ее суету с неприличным даже раскрытием рта. Так вот, говорю, идешь по такой улице, и постоянно тебе мечутся в большие глаза эти чудаки, до глупости заинтересованные разыгрывающеюся на ней ярмаркой столичного тщеславия, до болезни глушит тебе уши грохот экипажей, и так это всего тебя распалит и разозлит

эта «людская молвь и конский топот», что, натурально, озлобляешься против этого ничем не смущаемого зеваки.

«Эдакой балбес!.. Чего он тут зевает? — с какою-то злобой думаешь про любопытного.— Так спокойно загородил тротуар, как будто он устроил его исключительно для своего удовольствия».

Но не в этом дело. Главная сила вот в чем: оглушенные страшным шумом одной из главных улиц столицы, вы вдруг совершенно неожиданно, как бы по воле могучего чародея, переноситесь из этого места будто за тридевять земель. Так велика бывает разница в жизни московских местностей, находящихся в самом близком соседстве, что, перешагнувши иной раз из одной улицы в другую, вы только возможностью волшебства объясняете себе эту странную перемену домов, людей и даже самого климата.

Разозленные грохотом экипажей, навязчивостью разносчиков, неотразимыми претензиями на вашу щедрую милостыню тьмы темных личностей, извозчиками, которые, как будто с намерением, злят ваше плебейство титулом сиятельства, наконец, полным счастьем восторгающегося всеми этими прелестями провинциала, вы кисло морщитесь, поворачиваете направо или налево — и декорация в мгновение ока окончательно изменяется.

Пред вами уже не те изумительно грандиозные четырехэтажные дома в половину квартала, невольно заставляющие вас, при взгляде на них, раздуматься: обыкновенными ли человеческими силами строили их владельцы или они прибегали в этом случае к каким-нибудь волхвованиям?.. Таких палат, говорю, нет и в помине.

Перед вами робко вытянулся ряд скромных домиков, с этими милыми кисейными или ситцевыми оконными занавесками, дающими вам неотъемлемое право предполагать, что за ними скрывается бедное, но благородное семейство,— с заборами, утыканными гвоздями и увенчанными наследственными деревьями, с туго припертыми воротами, с голодной и слепою собакой, равнодушной ко всему окружающему и глубокомысленно молчаливой. Ряд этих патриархальных приютов обыкновенно начинается мелочною лавкой, а оканчивается будкой. У лавки стоит краснощекий хозяин в засаленном, как чумацкая рубаха, фартуке, всегда без картуза, с руками знаменательно заложенными за спину. На губах его сияет улыбка. Из

окна, противоположного лавке, его высокоблагородие Роман Ефимыч, отставной майор и кавалер из палочной академии, «вежливенько», как бы и своего брата майора или титуляра, приглашает лавочника на чашку чаю. На крыльце будки сидит неразгаданный будочник: я потому употребляю этот эпитет, что обыкновенно решительно невозможно отгадать, дремлет ли будочник, утомленный долгим бодрствованием, или он так же бесцельно, как бесцельно бодрствует, смотрит на широкое картинное всполье, раскидывающееся за такою будкой.

В подобных улицах только и есть эти два пункта, откуда еще проглядывает жизнь. Остальные точки их решительно необитаемы и безжизненны, следовательно, девственны. Дальше слышно и видно только, как наследственные деревья, осеняющие гвоздистые заборы, дремотно качают верхушками и тихо шуршат листьями. Мертвая, ничем не прерываемая тишина и молчание самое усыпляющее завершают картину...

Почва этих, редкому смертному известных стран должна быть очень плодородна, потому что вся весьма тщательно удобрена всеми принадлежностями, негодными в хозяйстве: старыми, дотла изношенными подошвами, золой и разного рода, весьма легко поддающимися гниению, остатками от некогда, по всем вероятиям, пышных одежд. Распаханная неизвестно когда и неизвестно зачем проехавшими тут колесами, почва представляет все возможности прозябать на ней разной травке, достаточно высокой для того даже, чтобы в ней резвились и прятались разношерстные котята.

Приехавши в столицу из глубины степей более или менее откормленным парнем, я некоторое время был объят глубокою тоскою по родине. Эта тоска усиливалась до тяжкой болезни, когда, бывало, городской шум прерывал золотую цепь моих представлений о тишине степей наших, о их могущественной красоте, о их, наконец, своеобразной, неприметной для постороннего глаза жизни, которая в неисчислимое количество раз казалась мне тогда и деятельнее, и разумнее жизни, так возмущавшей своим громом мою степную натуру против столичной деятельности.

И вот когда я в первый раз, случайно, попал в одну из девственных улиц, когда я увидел за забором одного домика развесистую яблоню, а на улице невыполотую

траву, в которой играли котята и чирикали молодые воробьи, когда я почуял в воздухе нечто напоминавшее аромат степи, я почувствовал к этим улицам необыкновенную слабость. В их успокаивающей тиши очень скоро проходила хандра от отношений и обязанностей, которые неумолимо принуждает меня выполнять городская жизнь; поэтому вот уже несколько лет брожу я по этим улицам, ищу их близ застав, в Замоскворечье, ищу в сердце Москвы, и я даже открыл такую местность, которую сами обыватели не могли назвать мне. Недавно только, когда я изучал прилегающие к ней улицы, со мной встретился необыкновенно дряхлый старец, который сказал мне, что место это называется «Марьиной слободкой», что это очень хорошее место, потому что живут они себе здесь тихо да смирно, ровно у Христа за пазухой.

Теперь я очень хорошо познакомился с этим стариком. Мой новый знакомый, когда я проникнул к нему в гости, представил меня другу своему, зашивальщику, тоже старику, живущему с ним на одной кровати, и потом уже на именинах у старика-зашивальщика я самым тесным образом сблизился с одним удивительно искалеченным ветераном и с соседом-будочником. Будочник, в свою очередь, обязательно пригласил меня к себе на именины.

— Смотрите же не забудьте, сударь, третьего числа,— говорил он, прощаясь со мною.— Пророчица Анна и Симеон Благоприимец: это и есть мой ангел.

Таким образом, третьим февраля и начинается мой рассказ, характеризующий девственность московских улиц.

II

Только моя необыкновенная страсть смотреть, как поживают на белом свете разные добрые люди, заставила меня ехать «к черту на кулички» — на именины к будочнику. Мороз был необыкновенный; треск промерзнувших крыш и заборов нарушал в этот раз мертвое молчание, обыкновенное в девственных улицах.

По приметам, сообщенным мне новым знакомым, я узнал дом, в котором квартировало его семейство. Маленькая, отощавшая собачка звонко ответила на скрип

калитки, произведенный мною; ей откуда-то из угла отозвались куры сонным, продолжительным воркотаньем. Какой-то человек в мерлушечьем халате, с кокардой на фуражке, вероятно хозяин дома, пользуясь ночною темнотой, нисколько не компрометируя значка, рекомендовавшего его благородную породу, мел двор.

— Кого тебе? — сердито допросил он меня.

— Знакомого одного: будочником в здешнем квартале служит.

— Служит?! Разве будочники служат?.. Служат только чиновники... Вон, ступай наверх.

Собачонка, тая от злости, подкатывалась мне под ноги. Мерлушечий халат ожесточенно прикрыл ее своей страшною метлой.

Я отворил тяжелую дверь, сколоченную самым медвежьим образом из толстых дубовых досок. За дверью царила непроглядная тьма; где-то вверху раздавались громкие голоса; плач охрипшего ребенка смешивался с гармоникой и с разухабистою песней.

Наконец я отыскал ступень лестницы и, с твердою верой в благость провидения, полез куда-то. По мере моего приближения к небесам гармоника становилась слышнее, и я уже явственно слышал слова песни. Это был лихой хорей, сложенный, вероятно, поэтом-закройщиком и производивший в гостях гомерический хохот. Мне даже слышно было, как певец, окончив куплет, извинялся перед кем-то.

— Извините-с! — доносилось до меня.— Из песни слова не выкинешь. Ха-ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха-ха! — раздавалось во тьме, охватывавшей меня.— Не выкинешь: это точно. Того складу не будет, ежели выкинуть. Валяй всю!

— Ничего, ничего. Пойте,— отвечал на извинения певца женский голос.

Гармоника снова сделала несколько аккордов, как будто умирал какой-то самый бесшабашный удалец и при последнем конце своем захотел потешить отлетающую душу самою любимой, самою удалой песней. Вот из ослабевшей груди вылетели две-три ухарские ноты, шутившие над смертью, и замерли вместе с веселою жизнью. В тот самый миг, когда следовало окончиться последнему аккорду, певец вдруг подхватил его своей оригинальной, хореическою поэмой, и снова темноту, в

которой блуждал я, прорезал музыкальный поток слов, возбудивший новый хохот со стороны публики и вызвавший новое извинение со стороны певца.

Зная очень много всяких народных хореев и ямбов, я тем не менее с большим наслаждением слушал эту песенку. Она представляла для меня всю прелесть новизны как по своим мотивам, так и по содержанию. Первые, будучи необыкновенно однообразны (они состояли из одного вздоха, безустанно продолжавшегося во все четыре строфы каждого куплета,— такого вздоха, который, прерываясь каждую секунду и, следовательно, ослабевая в конце, каждую же секунду с новою силой вылетал из здоровой груди), удивительно варьировались гармоникой. Последнее же, повествуя о похождениях некоторой вдовы, деревенской барыни, отличалось той крупною русскою солью, которою так забористо просолены наши доморощенные поэмы.

Облокотившись на какую-то стену, я выслушивал неимоверно забавные приключения вдовой барыни, и передо мною уже понемногу начинали рисоваться и одинокая глухая деревня, и ее безответная улица, наивно названная мужиками *красною,*— весь этот мирный быт далекого захолустья с каждою минутой яснее и яснее вставал в моей голове, и издали чуял уже я, как в конце улицы показалась эта барыня-домоседка. Бойко несет она свою благородную голову, храбро задравши ее к светлому небу, и крик ее, разносясь по всей красной улице, до самого основания возмущает всегдашнюю тишину последней. Я начинал уже видеть барыню действующею в тех комических событиях, которые рассказывались и песней, и гармоникой, как вдруг стена, о которую я опирался, не выдержав моего напора, с скрипом валится набок; я лечу вместе с ней и отчаиваюсь в моей драгоценной жизни, но, благодаря богам-хранителям, оказалось, что это была не стена, а просто дверь, отворявшаяся внутрь.

Я ввалился в комнату или, лучше сказать, в какую-то пещеру. Огромная русская печь и кровать занимали пять частей пещеры. На лавке, противоположной кровати, подле крошечного стола сидели две женщины. Человек шесть мужчин необъяснимым образом лепились около кровати, на которой не то сидел, не то лежал певец с гармоникой — молодой солдатик. При всем старании

публики потесниться и дать мне пройти, я с трудом освободился от кулька, в котором, зная родные обычаи, привез имениннику штоф Руже и приличную закуску, чем (объясняю это символическое обыкновение) я как бы желал и даже давал ему некоторое право на пользование благами еще смачнейшими.

— Напрасно беспокоились,— говорил именинник, принимая от меня кулек, который в момент снискал мне расположение всех гостей.

— С ангелом! — приветствовал я.— Примите, не побрезгуйте.

С меня насильно стащили шубу, которую было хотел я снять сам, и посадили к дамам. Ко мне подвели маленькую девочку и строго, с подзатыльниками, приказывали ей поцеловать у дяденьки ручку. Охрипшею, простуженною грудью, ровно треск маленьких стенных часов, девочка прохрипела:

— Дяденька! Пожалуйте ручку.

Я поцеловал бедное дитя, осужденное родиться в пещере с промерзшими стенами, среди атмосферы, неминуемо влекущей молодую жизнь к раннему гробу, и в колыбели уж обреченное страданиям. В глубине души моей я благословил это дитя всевозможных нужд на добрый труд в бедной жизни, на силу бороться с соблазном, который щедро рассыпается в подобных приютах праздностью и бессердечием молодых и старых богачей.

Я осмотрелся. Совершенно обледенелое окно пещеры, разогретое самоваром, как-то особенно грустно слезилось. От него и промерзнувших стен, тоже согретых и именинным истопом печи, и дыханием гостей, шли волнистые седые пары, наполнявшие всю комнату. Единственную сальную свечу, горевшую на столике, особенно густыми клубами накрыли эти пары, отчего она разливала по пещере слепой, ненастный свет, сообщавший всем предметам какой-то седовато-убогий цвет.

Прежние приятели мои — зашивальщик и искалеченный ветеран — грустно уединились в самую темноту к печке, широкое отверстие которой, сияя во мраке, делало из них как бы волшебных стражей заколдованного входа в подземное царство. Нисколько не вмешиваясь в общий разговор, они серьезно и терпеливо ожидали, когда наконец дойдет до них очередь принять из рук хозяина рюмку и, пользуясь этим случаем, пожелать ему

от бога всяких благ — душевных и телесных. Они, очевидно, были в загоне, то есть внимание на них почти не было обращаемо, потому что очередная рюмка доходила до них после всех. Высокий старик, отставной фельдфебель с бобровыми усами и подковообразными бакенбардами, убедительнейше приставал к каждому гостю, чтоб он одолжил ему заимообразно до завтра гривенник, который он хотел подарить хозяйскому ребенку. Молодецки повертываясь на каблуках от одного гостя к другому, он уверял всякого с какою-то, так сказать, воинскою энергией, что такой милой и умной девочки он сроду еще не видал.

— Христос свидетель! — басисто и размашисто говорил он,— не доводилось никогда видеть, а в каких-каких губерниях не побывал. Дайте до завтра гривенник, сейчас подарю, потому люблю ребят и опять же я прост.

Отсутствие в его кармане собственного гривенника, который бы на деле мог доказать его любовь и простоту в отношении ребят, вызывало у гостей недоверчивые улыбки. Хозяин просил фельдфебеля не беспокоиться, однако же очередную рюмку подносил ему только третьему от конца, несмотря на его относительно высокий ранг. Бравый фельдфебель нисколько, впрочем, не претендовал на такое пренебрежение к военным доблестям. Он пил, когда ему подносили, и любо было смотреть на него, как он, приняв от именинника рюмку, говорил ему покровительственным басом начальника:

— А это можно, можно выпить: вино в пользу солдату, а паче фельдфебелю.

При этом он быстро опрокидывал рюмку в рот, настойчиво отвергая всякую закуску.

— Кавардак выйдет, ежели всякую рюмку закусывать будешь,— наставительно поучал он.— По-моему: выпил одну, хватил другую, так много уж. Ну, после этого и насядь на закуску. Поешь вплоть и пей сколько хочешь; а как таперича неблагополучно себя почувствуешь, курни трубочки и шабаш.

— А по-моему, как я завсегда рассуждаю, без закуски пить — чревобесие выйдет одно; а чтоб оно, то-ись, в пользу человеку пошло — пустяки,— возразил молодой солдатик.

Бравый фельдфебель завел с ним продолжительный дебат весьма горячего свойства.

Я начал присматриваться к другим личностям.

Самым почетным гостем был, очевидно, молодой полицейский унтер-офицер, урезавший, как говорится, до ризположения. На всякую внимательность, на всякое потчеванье хозяина он отвечал одним бессмысленным, икающим смехом.

— Не р-разберу,— кричал он, мотая головой.— Обстоятельней говори: я — твой начальник!

— Кушайте, кушайте рюмку-то. Очередь за вами,— отвечал хозяин, видимо робея.

— Ну, выпил. Што ты еще можешь мне говорить?

— Кроме, как угощенья, могу ли с начальником о чем говорить?

— Вер-рно! На чистку снега не ходи завтра. Сиди дома: я тебе позвол-ляю.

— Благодарствую, сударь. Позвольте ручку поцеловать.

— Целую! Я тебя за твое почтение оченно люблю. На вот, твоей девчонке двугривенный.

И ундер, не зная почему, залился своим икающим смехом.

Выпивка с каждою минутой принимала более и более широкие размеры. Бравый фельдфебель пустился в пляс с самыми неистовыми выкрутасами. У него сыпались необыкновенно смелые поговорки, поминутно вынуждавшие его извиняться перед дамами.

— Простите, Христа ради, старику,— умолял он скороговоркой, постепенно делаясь бравее и бравее.— Ради именинника простите. Мне, по-настоящему, уж пора бы и перестать черта-то потешать, да куда ни шло! Может, за мою службу богу и великому государю мои грехи на том свете и простятся.

Фельдфебельский пляс увлек всех. Разговоры сделались живее, движения порывистее. Молодой солдатик, заливаясь самым лихим манером на гармонике, дружелюбно подмаргивал мне и сидевшей подле меня женщине в шелковом платье на пляшущего старика. До этого времени вся публика слишком заметно сторонилась нас обоих, называя мою соседку не иначе как барышней, а ко мне ежели кто относился, так с почетным титулом вашего благородия.

— Да это что? — говорил фельдфебель, останавливаясь, наконец, предо мною.— То ли в старину было!..

Укатали бурку крутые горки. Имеем, сударь, окромя Егория и всяких медалей, шестьдесят годов на плечах, а по божьему-то сказать, на баранью морду всех этих штук не накупишь. Выходит, я их заслужил. Заслужил? Истинно заслужил, потом да кровью во владенье свое приобрел. Оттого теперь и кости болят. Зато, чтоб обидеть меня кто мог — подожди!.. На офицерской линии состою, в сусалы-то ко мне не больно доберешься... Вот что!.. Хозяин! Поднеси нам по рюмочке с барином, храбрости ради.

Хозяин поднес нам. Фельдфебель чокнулся со мной и хватил; я тоже.

— Офицером быть бы вам,— сказал он,— знатно вы пьете, потому и ум, надо полагать, не малый имеете. Не люблю я, как барич какой рюмку поднесет ко рту и рожу скорчит да отплевывается, ровно его в лоб ошарашили. У меня сразу: марш! — орал он, в одно мгновение ока уничтожая другую рюмку, которую, не дожидаясь потчеванья хозяина, налил уже сам.— По дружбе говорю: пивал прежде,— продолжал он,— то-ись столько этого добра употреблять мог, что офицеры, бывало, в полку нарочно складываются: четверть купят — как это я пьяный буду? Часика с два посидишь за ней — и аминь; только голос покрепче сделается. А нынче вот, кроме как сила не та уж стала, жена завелась. По дружбе сказываю: бьет, коли что насчет водки пронюхает... А насчет жены вот что скажу я тебе, друг ты мой сладкий: черт да баба хоть кого околпачат. Вот со мной какой случай был. Года три тому будет, приходит ко мне приятель один, тоже унтер-офицер. Дело на масленице было. «Пойдем, говорит, выпьем для праздника. Есть, говорит, у меня знакомая женщина такая, так мы к ней в гости пойдем. Не подумай, говорит, какая-нибудь: в корпусе прачкой числится, вдова, говорит, солдатская, с матерью и с детьми в казенной квартире живет».— «Что ж, говорю, пойдем». Захватили мы, знаешь, койчего по мелочам: водчонки да закусчонки, сколько смогли, и приходим. Приходим и видим: так это чисто каморка у той вдовы прибрана, сама в белом чепце сидит, на пяльцах шьет; лицом, признаться, не так чтобы, даже прямо сказать: страсть страстью! На девчонке на ее платьице новенькое надето, ситцевое, на двух ребятишках рубашонки такие новенькие; канарейка у окна в

клетке висит, и цветы стоят. Фу, ты, мол, господи! Вот у нас солдатки-то как поживают! «Очень, говорит, рада вам, господа! Милости просим садиться». Сели. Посидемши, выпили, выпимши, разговор завели, а там опять выпили. Ничего. Детишки это такие ласковые: не боятся, как в других местах, а так прямо на колени и лезут. Мы им с ундером на гостинцы сейчас, а мать, это к нам: напрасно беспокоитесь, говорит. Тут мы еще выпили, матери поднесли,— древняя эдакая старуха,— та благодарна осталась. Хорошо-с!.. Нам, сударь, не наказать ли еще хозяина-то по рюмочке? — вдруг предложил мне фельдфебель, задумчиво покручивая усы.

— Не часто ли будет? — пожелал я узнать.

— Не часто,— ответил он.

— Ну, так накажем,— согласился я.

Хозяин весьма обязательно подверг себя этому наказанию.

— Вот я, приятель ты мой дорогой, и разогрелся у этой самой вдовы. Так это мне после выпивки хорошо у ней показалось. Стыдно сказать, а всплакнул я горько у ней за полштофом. Думаю себе: господи, господи! Дожил я до седых волос, чин по своему солдатскому званию не малый заслужил, опять же жалованье, по тогдашней службе по моей в швейцарах, двенадцать с полтиной ежемесячно получал— и нет у меня ни роду, ни племени, ни друзьев, ни приятелей. Думаю я так-то себе, а сам плачу, словно река разливаюсь, и показалась она мне тогда, эта вдова, бог знает какою красавицею. «А что, говорю, вдова божья, давай-ка, братец ты мой, мы с тобой перевенчаемся...» Бухнул я это ей, а она ничего, что пьяный человек присватался за нее, с лапками ко мне. «Давай»,— говорит. Мать за попом сейчас побежала, честь честью образом благословили нас, и стали мы жених и невеста. Не мало я радовался в пьяном-то виде... Проснулся поутру, трещит голова. Куда это, думаю, попал я. Уж и забыл про все. Ребятишки ко мне сейчас: тятей почали звать,— она их уж навострила. Невесту тоже увидал, пришла откуда-то. Увидал ее, ужаснулся да все и вспомнил. Куда, думаю, дену я эту ораву? Чем я ее прокормлю? Трое детей, мать-старуха еще, сам наприбавок, всего шесть человек выходит: по два рубля на душу приходится. Сумленье меня тут проняло: не маловато ли жалованья будет? Опять за вином я послал и

говорю невесте: «А что, мол, невестушка моя милая, не простишь ли ты мне шали моей пьяной вчерашней? Я бы, говорю, отходу тебе, что касается то-ись насчет денег, не пожалел дать».— «Ты, говорит, пустого не болтай. Я давно такого случая выжидала; а ежели ты, может, спятиться хочешь, так в суд пойдем. Я, говорит, тебя осрамлю, а жениться на мне все-таки присудят тебя беспременно». Смолк я тут, потому увидал, что не миновать мне женитьбы. О том только беспокоиться стал, как это с такой чучелой на свет показаться. Женился. Баба ничего, хорошая вышла, только что муштрует она меня очень. Выпить мне чтобы когда по-старому, и не на свои, а в гостях,— ни-ни, ни под каким видом нельзя. Слаба баба, и мог бы я ее, разумеется, пальцем одним придавить,— ну, никак я супротив ее лютости выстоять не могу, когда она меня пьяного по всем суставам, по всем-то суставам, словно собаку, чем ни попало колотить почнет... В других разах ничего — хозяйка как надо быть, и детишками тоже очень утешен, хошь, признаться, по доброте по своей частенько-таки приходится мне хлеб один черствый с водой есть, чтоб они без говядины не сидели,— любят тоже ребятишки говядину-то. Потому мое дело солдатское, привычное: они меня за это и любят... Значит, ничего! Жить можно, потому другие мужья и не с такими зверями живут. Главное, не думал жениться, не люблю я этих баб, а тут шут прорвал: в первый раз увидал — и обабился. Не подбей меня приятель на выпивку, и о сю пору холостой бы ходил, сам бы себе барином был; а теперь — на-ка!.. Не знаю, как сейчас и домой показаться, потому, сам ты видишь: проштрафился я здорово,— жаловался мне фельдфебель, грустно качая головой и отплевываясь.— Не велико, правду сказать, несчастье, когда пьяного мужа жена бьет,— продолжал он,— только до гроба до самого, должно быть, горевать мне, потому за расторопность свою от всего полкового начальства всегда одни милости получал, а тут, напоследок, сглупил, на старости лет к бабе под палку добровольно пошел. Мне это горько — от бабы терпеть, а втрое мне горести, что сам я в эту петлю, так сказать, не подумавши, в пьяном образе влез.

Последние слова своей рацеи фельдфебель произносил уже сквозь слезы. И, конечно, это были слезы пьяного человека, но тем не менее мне было очень жаль его,

потому что я видел ясно, как человек умный по-своему, только что освободившись из служебного тридцатилетнего ярма, закончил свою жизненную дорогу, так трудно и так хорошо пройденную, какою-то роковой, непроизвольною глупостью, надевшей на него другое ярмо, которое он должен нести уже до самой могилы...

III

— О чем ты задумался, Сизой? — неожиданно отнеслась ко мне вдребезги разодетая женская особа, доселе ничего не говорившая.

Я выпучил на нее глаза.

«Почему это она знает меня?» — думаю себе.

— Напрасно ты притащился сюда,— продолжала она,— нечем тебе тут поживиться. В этом царстве мрака, как там это у вас литературно называется, едва ли что увидать твоим слепым глазам. Ты ведь слеп; я давно знаю.

Я остолбенел.

— Однако, Сизой, ты черт знает как постарел, и лицо у тебя, не взыщи за правду, как-то скверно вытянулось, поглупело, позеленело, измялось. Не очень давно еще ты был такой здоровый мальчишка. Помнишь?

Тут я вспомнил ее. Вспомнил, как несколько лет назад приехал я в столицу с разными детскими восторгами и, увидевши, что грозное слово и тяжелая рука тятеньки за пятьсот верст от меня, весь отдался влиянию некоторых угорелых ребят, и как эти угорелые ребята, воспользовавшись своим влиянием надо мною, осквернили мою шестнадцатилетнюю молодость.

В числе принадлежностей этого времени была и эта разодетая особа, известная тогда под именем разбойницы Саши.

Это была высокая, стройная брюнетка с размашистыми приемами, громкой и всегда, даже над самыми любимыми предметами, злобно насмехающеюся речью.

— Ребята! — говаривала она тогда, пародируя наши же фразы,— пьяницы вы, негодяи и глупцы здоровенные, это правда, но вы всегда найдете во мне добрую мамзель, готовую вам дать самые полезные советы, потому что я всех вас умнее и доброты у меня у одной тоже

больше, нежели у всех у вас вместе. Целуйте у меня ручки за это — и выпьем.

Мы целовали у нее ручки и выпивали. В настоящую же минуту я почти ничего не помнил об этом, но, при виде разбойницы, старинные, давно прошедшие дни молодых увлечений живо воскресли в моей памяти, обширная программа разнообразных глупостей, наполнявших эти дни, повторилась в голове против воли и окрасила румянцем стыда лицо, давно уже от румянца отвыкшее.

— Это ты, Саша? — промолвил я.

— А то кто же? — ответила она, улыбаясь.— Глупо так долго меня не узнавать. Я не то, что ты: я ничуть не изменилась. Я, кажется, никогда так не подурнею, как ты. Скажу тебе по секрету, одного боюсь: как бы еще больше не поумнеть, тогда я еще злей буду...

— Скажи, пожалуйста, только, ради бога, без острот, как ты попала сюда? Знакома, что ли?

— Напрасная просьба, Сизой; ты знаешь, я без остроты слова не могу сказать. А попала я сюда потому, что сей макарка (ты знаешь, что макарками будочников зовут) — мой единоутробный братец.

— Ты, помнится, говорила, что ты дочь полковника какого-то, потерявшаяся от гибельных обстоятельств.

— Все ты перевираешь, забывчивый! Дочь майора, я тебе говорила, получившая прекрасное воспитание и погибшая вследствие пьянства родителя и собственной невинности. Но ты не должен был верить этому, литератор близорукий, потому что все мы — когда будешь писать обо мне повесть, скажи, чтобы «все мы» кривыми буквами напечатали,— все мы так говорим. Поглупей какие скажут, пожалуй, что тятенька был капитан, а маменька майорша; оно, может, это и правда, только отчасти, всегда же это вздор. Я просто подмосковная крестьянка, Дунька Мизгирева. Могла бы я и княгиней быть, ежели бы была прежде так же умна, как теперь, и немного злее того, как теперь. Верь ты этому, заступник простых русских людей, говорю тебе, и радуйся: я достойно бы украсилась сиятельным титулом.

В былые времена я действительно угорал от такого рода фраз. В устах разбойницы они способны были тогда томить мое сердце великой тоскою о том, что такая натура погибает безвозвратно: они волновали ребячью кровь мою до страстного желания посвятить молодые си-

лы на то, чтобы поднять с болезненного одра прекрасную жизнь, изуродованную нравственными болезнями, и исцелить ее, но в настоящую минуту мне противно было слушать эти цинические выходки и вместе с тем хотелось услышать их до конца.

— Что ты нынче поделываешь? — расспрашивала она меня.— По-прежнему ли с своими просвещенными приятелями несешь чепуху?

— Какие приятели, Саша? — отвечал я.— Тех уж нет: я давно с ними разошелся.

— Какой ты благонравный! В этом ты ничего не переменился. И тогда ты был такой же благонравный. Другие хоть пили и скандальничали, как повелевал долг службы, а ты ни в дудочку, ни в сопелочку; руки только всем связывал,— две рюмки тебя сваливали. Теперь-то хоть, по крайней мере, исправился ли?

— Кажется, исправился.

— О, добрый мальчик! Ишплявилься!.. Не видала я, ты думаешь, как с фельдфебелем вы сейчас наказывали моего брата рюмочками? Впрочем, может, ты поступал так вследствие высших литературных соображений,— так это по-вашему говорится? Показала бы я тебе соображения,— ну, да уж бог с тобой: не хочу я больше быть Сашкой-разбойницей. Хочу опять быть Дунькой Мизгиревой и жить по завету отцов.

— Значит, ты тоже исправилась?

— Как тебе сказать? Право, не знаю. Вы тогда толковали: исправиться — значит вперед двинуться. А мне бы назад отодвинуться, к детству. Много то время лучше было.

— Конечно, то время гораздо лучше, только легко ли тебе будет возвратиться к нему?

— Я не говорю, что легко. Да шатания-то мои мне опротивели до тошноты, а главное — старости страшно!.. Видишь ты этого солдатика? Вот все икает-то который? Это, милый ты мой, важная птица, завидный для девицы нашего сорта жених. Единоутробный мой и хлопочет теперь об этом из всех сил. И не почувствует, сердечный, как я стану унтер-офицершей и честною женой. Венец, брат, ведь все, не в одном нашем омуте, покрывает. Может, лет эдак через тридцать, прапорщицей буду, в большой свет попаду...

— Да, это хорошо! — сказал я в рассеянности.

— Да ты, я вижу, забавник! — ответила она с громким хохотом.— Поддакиваешь. Исполнение желаний и без твоих слов полное... Давай исправляться, Сизой!

— Давай,— согласился я.

И мы выпили.

— Скверная у меня привычка есть, Jean: выпью одну рюмку, хочется другую. Выпьем по другой!

Мы выпили по другой.

— И другая у меня привычка есть, еще глупее: когда выпью другую, уж не могу никак,— надо третью.

— Это ты шутишь?

— Ни-ни,— говорила она, наливая третью рюмку,— привычка; оттого я могу ишплявитьшя, как ты, а исправиться совершенно нет силы, потому что за третьей рюмкой у меня непременно следует кутеж, на-квит: через реки прыгаю, моря перехожу... Я, Сизой, больше всего люблю такие приятные занятия и уважаю на свете одного тебя да выпивку, а выпивку больше тебя,— имей это в соображении.

Между тем оргия, разгораясь, становилась час от часу безобразнее. Фельдфебель доказывал солдатику-музыканту, что он молокосос и что, ежели он не будет оказывать старшему почтения, старший ему может в морду накласть, как и закон будто бы повелевает.

— Ну, это увидим! — отвечал солдатик, задумчиво и уже не так смело, как прежде, перебирая на гармонике.

— И не увидишь, как я тебе поднесу! — горячился фельдфебель.

— Увидим,— отстаивал солдатик.

— Ну, что, Сизой, пьян ты? — спросила меня Саша, раскидываясь на лавке и закуривая папироску.

— Пьян.

— Скажи же мне, ученый ты человек, когда люди лучше бывают: пьяные или трезвые?

— Пьяные.

— Воп! Я с тобой согласна. Значит, мы теперь с тобой ребята славные?

— Славные! — коротко отвечал я, потому что думы, одна другой печальнее, зароились в голове моей и отнимали всякое желание говорить.

— Так будь же ты совсем славный,— говорила она, очевидно пьянея.— Мне что-то ужасно весело. Веселись и ты! От скуки я покажу тебе несколько картин из моей

жизненной панорамы, так как я очень часто хохотала над твоею всегдашнею страстью собирать материалы для изображения народных нравов. Вот эти картины! Смотри и слушай: вышла я замуж за икотника-ундера. Вот продала я и заложила благоприобретенные шелки да бархаты, купила что нужно детям, мужу, матери его и пою:

Подвязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

Хорошо? Нам не выпить ли, Jean?

— Пожалуй, я налью тебе.

— Я тебе, пожалуй, сама налью. Только ты не будь бабой, пей со мной. Ведь я, может, в последний раз кучу с барином. Ты барин, что ли?

— Столько же, сколько ты барышня.

— Я нарочно тебя спросила: думала, что врать начнешь. Тогда об тебе врали какую-то чепуху. Однодворцем тебя называли, поповичем и черт знает чем. Я всегда тебя за это любила, Сизой! Потому ты не плоше меня утирал носы разным ослятам. Я очень любила в свое время колотить и издеваться, в шутку будто бы, над разными тузами, и чем туз был толще и вельможнее, тем мне было слаще. Вспомнишь только — в восторг придешь... Сизой, брат мой, слепленный из одной глины со мной, предлагаю тебе тост за процветание доброты в той грязи, откуда мы с тобой выползли...

— Молодец ты, Саша, ей-богу! Ура!

— Ура! — ответила она громко.

Я решительно опьянел.

— Веселей держись! — говорила она.— Ты старайся не пьянеть; мы с тобой побольше выпьем и больше поболтаем. Брат, дай сюда холодной воды и лимонов: мы будем пить и освежаться.

Нам подали воды.

— Хорошо в меру выпить, Сизой, а лучше того не в меру, когда ничто не заставляет тебя не говорить того вздора, который лезет в пьяную голову. Я очень это люблю. Запрусь и пью... Ну, так вот, Jean, смотри же мои картины, они тебе будут полезны. Черт их возьми совсем, они, по-вашему сказать, рисуют общество.

— Говори, сделай милость, я слушаю.

— Помню я,— начала она,— как ты рассказывал про жизнь тех людей, которые родили тебя, воспитали, но ты говорил, что тебя так и тянуло от них. Мне очень нравился тогдашний твой рассказ: пьяна ли я была, ты ли пьяный хорошо говорил, или просто твое детство напомнило мне мое детство. Помню я себя вот с какого случая. Ребятишки и девчонки катаются на салазках с горы через всю реку. И я тут. Дорога наша лежит на аршин от проруби. На этом катании был ли кто моложе меня? Только я села в салазки, и мигнуть не успела, как очутилась вместе с ними подо льдом да столкнула туда ж соседку одну: белье она мыла. Меня соседка вытащила,— место было не глубокое, а салазки там и остались. Мне никогда не было так больно, как когда я, мокрая вся, бежала с катанья по улице. Резвая я очень была, бежала скоро, а шубенка овчинная с рубашонкой замерзнуть успели. И выдрали же меня, что я чуть не утонула! Сначала высекла мать, потом жена старшего брата потихоньку от матери рвала меня за волосы, а тут отец еще высек. Не диво, что мать высекла, но я не могла понять, за что меня высек отец. Мы его только и видали о праздниках, когда он, бывало, придет из Москвы и пропьет все: пьет в кабаке, пьет дома и всех колотит. Никогда я не видала, чтоб он с кем-нибудь не дрался или бы не бранился самым подлым образом. Никогда не видала я от него ни одной ласки, а говорили все, что он был умный старик и зарабатывал много; одна беда — пил!.. Долго я сидела на печи, обсушивалась, а сама, помню, все думала: за что этот мужик меня высек? Я всегда называла отца: чужой мужик. А он, знаешь, московская штука, сидит себе на лавке и кричит мне на печь: «Иди, Дунька, сюда, у тятеньки прощенья проси, ручку целуй...» А у меня грудь надрывается от злости: задыхалась я тогда от желанья быть большим мужиком и прибить его до смерти... Сижу на печи, плачу и шепчу: «За что дерется чужой мужик? Что он силен-то? Эка! Сладил!..» Теперь сам посуди, каким я зверем родилась. Увидала я, наконец, что может чужой мужик бить меня, сколько его душе угодно, а я сделать ему ничего не могу, и надумалась. Слезла с печи, подошла к нему, говорю: «Прости, тятенька! Дай ручку поцеловать».— «Давно бы так, говорит. На, целуй!» — и подал руку. Взяла я руку у него, смотрю на нее, а не целую, потому что, помню, передер-

нуло меня всю от радости в это время. «Что же ты, спрашивает, не целуешь?» Как вопьюсь я ему зубами в большой палец, как стисну его, так он застонал даже. Чувствую я, полон рот крови у меня, и жалко уж мне стало чужого мужика, а выпустить все не могу: замерла... Насилу он вырвал от меня палец — все тело было с него сорвано... Как увидала я кровь, плакать было принялась и в самом деле хотела прощенья просить. Только суждено мне, должно быть, никогда никому не показывать хорошего чувства, потому что сызнова принялись они меня все сообща сечь, и опять пуще разозлилась я на них, не за то, что они меня мучили, а за то, что они сильнее меня и что нет у меня у самой силы истиранить их... Так жила я до десяти лет. Перед Рождеством приехал из Москвы отец, как водится, пьяный. Пил он после своего приезда и колотил нас дня три, до того, что мать одна оставалась с ним, а мы все разбежались по соседям. Только раз пошел он в гости в ближнюю деревню, а оттуда принесли его уж мертвым: замерз на дороге. Остался наш дом без головы. Детей родные к себе разобрали, мать в Москву в кухарки ушла и меня с собой взяла. Тут и начинается моя настоящая история. Года два я шаталась с матерью по чужим домам, и у кого она живала, все на меня любовались, бездетные купцы вместо дочери просили меня,— не дала. Бог знает отчего. Не было ни одной хозяйки у матери, чтобы с кухни не взяла меня к себе в комнаты и платьев не нашила. Умерла мать,— осталась я по двенадцатому году одна на свете. Уж не знаю, какой добрый человек пристроил меня в учение к модистке. Тут я, должно быть, и приобрела свою силу мужскую, когда ведра тяжелые таскала, когда в морозы, кое-как прикрытая, по целым дням белье мыла на реке. Впрочем, я эту модистку не проклинаю за ее обращение и на мастериц не сержусь; бывало, они по ночам при нас, при маленьких, впускают любовников в окна,— такое уж у них заведение было. Терпенью я тут выучилась, что лошадь; пожалуй, теперь могу два дня не есть и не пить, и одеревенело, я тебе скажу, тело мое вот как: кажется, выдержу, не крикнув, какую хочешь пытку. Зато не обидел же меня после даром никто: оскорбил меня ежели мужчина, так я тоже непременно своими руками расправлялась с ним... Дотянула я эдаким манером до пятнадцати

лет, и молодежи, бывало, не отгонишь от нашего магазина. Тут найдись у меня родня — вдова старшего брата. Стала она меня брать к себе по праздникам в гости. Мастерства никакого, а живет, погляжу я, в достатке. Квартира хоть куда, комнат много... Сижу я у ней раз, вижу: подкатила к крыльцу коляска,— офицер в ней из уланов. Это князь один был, дурак и мерзавец такой, что я другого и не видывала. За тысячу целковых она ему меня и спустила. Квартиру мне нанял князь, одел как куклу, вещей надарил, и приятели его тоже. С год я так жила, и хоть бы раз пришло в голову, что ведь надо же этому, рано ли, поздно ли, кончиться. Платья, золота, серебра накопилось у меня в то время, так я думаю, тысяч на пять. Только приезжает вдруг князь ночью ко мне с каким-то другим. Поговорили они что-то, пересмотрели вещи, мебель и уехали. Наутро опять приезжает и говорит: «У меня, душа моя, обстоятельства очень плохи. Ты мне позволь на время заложить твои вещи вот этому самому. Я, говорит, скоро выкуплю». Вывезли все из моей квартиры. Осталась я в одном салопе и жду, когда это он вернется. А он день за днем реже да реже ко мне стал ездить и денег почти что давать перестал: сидела я тут и без чаю и без обеда частенько-таки. Хозяин приходит, деньги за квартиру стал требовать. Я пошла к князю в дом. «Ты что же, мол, денег за квартиру не платишь? Отчего у меня не бываешь?» — «Я, говорит, нынче на службе состою и бывать у тебя не могу больше; прощай, говорит. На вот тебе денег. Только ты из них не плати хозяину; пусть он мебелью остальной пользуется». А мебели оставалось на три гроша всего... «Изредка, говорит, пиши ко мне; я к тебе приезжать буду».— «А что же, говорю, когда ты на мне женишься?» — «С ума ты сошла, видно?» Такая я тогда дура была: верила ведь, что может он жениться на мне. Стою я перед ним красная вся, а в голове у меня точно колесо вертится: «Какой же ты подлый! Какой же ты мерзкий обманщик!» Смотрела-смотрела я так-то в лицо ему и все думала, что это он шутит, потому часто, бывало, нарочно принимался дразнить меня,— да пачкой этой с деньгами, что дал он мне, прямо в рожу ему угодила... Ну, веришь ты, что это за человек подлый был? Саблища у него эта в углу стояла, так он с ней на меня и ножнами меня по спине. Может, он и больше бы при-

бил меня, только вырвала я у него саблю и всю ее об него обломала... И била же я его, негодяя, до тех пор, пока не бросила. Всю руку он мне, которой я его руки держала, искусал, собака скверная, когда вырывался, А людей не позвал. Стыдился показать-то, как его девка бьет. Я тебе вот что скажу, Сизой: все бы я на свете сейчас отдала, только бы его в другой раз еще так же поколотить... Выпьем же мы с тобой за конец моей первой любви. С князем у нас тут дела и кончились.

— Выпьем.

— Прибежала я в ту же ночь к старушке одной знакомой. Квартиры она со столом держала. Рассказала я ей все,— она меня к себе приняла. «Живи, говорит, пока я тебе работу найду». И не могу я даже понять, за каким чертом, когда жила у этой старухи, каждый я вечер шаталась к квартире князевой и в окна к нему смотрела? Ругаю себя, бывало, а иду и все хочу его встретить, взглянуть на него... Потому удивляюсь, что ежели бы он приехал тогда ко мне и сказал бы, что прямо под венец меня повезет, я бы его все-таки избила: так он мне противен был! Мороз по всему телу пробегает, как только вспомню, бывало, как он меня обнимал... Живу я у этой старушки. Работу она мне изредка доставляла. Нанимал у ней же комнату один гимназистик, хорошенький такой, только курс кончил и на место куда-то в дальнюю губернию сбирался. Прознал он мою историю, познакомился, читать и писать учил, помогал, чем мог. Такой был скромный и добрый, никогда ни одного слова, знаешь, эдакого не сказал мне. «Переходите ко мне в комнату,— говорит раз,— у меня веселей. Вы, говорит, не подумайте чего-нибудь... Я так... Мне одному скучно». А сам краснеет. Я и перешла. Месяца два жила я с ним, хорошо жила. Время это я никогда не забуду. Учил он меня, книги читал, стихи. Многому я от него научилась, и в голове свежей стало; князя совсем позабыла. Только вижу я: полюбил меня мальчишка, делом перестал заниматься, тоскует. Какие же глупые дети мы были тогда! Желается сказать о своей любви, и видим мы это друг в друге, а не говорим. Долго так тянулось. Читает он, бывало, мне что-нибудь, долго читает, забудется и примется смотреть на меня,— я тоже смотрю на него,— и сидим так, пока не опомнимся, а опомнимся, стыдно-стыдно нам станет!.. В жизни у меня только это одно счастье и бы-

ло. Больше бы хотелось, Сизой, да взять негде! Давай утешимся! Идет?

— Идет! — отвечал я, догадавшись, в чем дело, и мы еще выпили.— Как же ты покончила с гимназистом?

— Как покончила? Просто: новыми слезами покончила, новыми страданиями. Вечером сидим мы с ним, и так-то горячо, с такою-то лаской читает он мне:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...

Прочитал он мне это и стал говорить о снисхождении и о прощении тем, кто пал, и что какая великая заслуга поставить блудного на путь истинный, а сам все ближе ко мне. Я тоже не сторонюсь, потому что как в раю была я от этих стихов:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...

И думаю я себе, что вот он-то и позовет меня в свой дом, и млею, и уже не отвертываюсь от него... Ну и позвал он меня. Обняла я его, прижалась к нему и говорю: «Ведь вы знаете, какая я?»— «Что ж такое? — говорит.— За это я еще больше люблю тебя!..» Выпьем еще, Сизой, потому что порешили мы тут с гимназистиком пожениться... Зато, как узнал об этом решении его отец, нарочно притащился из глуши из своей в Москву и отнял его от меня: говорит старый плут: «Я вам, говорит, вместо свадьбы-то такие-то поронцы устрою жаркие! Тебя собственными руками, а к ней в квартале солдаты руки приложат...» Было мне муки тут, друг мой!.. Один раз в жизни на человека, надобно думать, такая скорбь посылается... Я и теперь еще его не забыла: как о чем задумаюсь, сама не чувствую, шепчу:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...

Познакомилась я после того с различными добрыми душами — и запила... Встретилась я с одним человеком. Он дал мне квартиру. Видела, что он ужасно ко мне привязался. У него-то я и лизнула этого вашего развития да образования,— будь оно проклято!.. Очень он пристально со мной занимался, читать по-французски учил. Только чем же все кончилось? Привязалась и я к нему и поняла, в чем дело. Это был герой нашего времени: все бы ему делать добро, да силы нет. Раскусила я это, и стало жалко мне его, слабого, и оттого я больше при-

вязалась к нему. Живу я с ним год, другой живу, вдруг он, здорово живешь, пить начинает, как сапожник какой. Убежала я от него. Пойми ты: навострил он меня настолько, что поняла я, отчего он стал пить. Стал скучать со мной, навела я на него хандру, да и обстоятельства его такие были, что я ему карьеру портила. Я и убежала от него... Хуже, думаю, как не трезвый, так пьяный к черту пошлет меня сам. Чего ж дожидаться-то? Лучше его избавить от пошлости от такой. В благодарность за нравственное добро, которое он сделал мне, я избавила его от тяжелой необходимости... Кажется, мы с ним квиты. Но странно, знаешь, что ни одного из *этих* никогда я не встречала. Выпьем, Jean, за упокой, коли они все умерли,— за здоровье, коли живы!

— Выпьем, Саша! Я главным образом люблю тебя за то, что ты умеешь находить резоны, подвигающие на выпивку. Без того бы совестно было так много пить.

— Очень рада, что угодила. Теперь мы будем с тобой больше пить: устала я говорить, да и говорить не об чем... Кого я потом ни встречала и с кем ни сходилась, с тем, ты так и знай, я уж непременно подралась. Оттого и хочу исправиться,— закончила она, наливая рюмку.

Вдруг неизвестная женщина, молодая еще, с криком вламывается в комнату и бросается на икающего ундера. Вместе со стулом повергает она его на пол и без церемонии начинает таскать за волосы.

Хозяин и гости пытаются отбить у нее ундера.

— За что ты его? — спрашивает хозяин.— Что ты это? Что ты делаешь?

— А ты что делаешь? — азартно осведомляется женщина.— Затянул в свою берлогу молокососа да на своей подлой сестре женить его хочешь? Пока жива буду, вот вам что!

И к самому носу будочника подносит она кулак свой.

Саша равнодушно смотрела на эту сцену и улыбалась.

— Чему смеешься-то, паскудница? — заорала на нее незваная гостья.— Ах ты, подлянка! Чужих любовников отбивать вздумала. Не по носу табак: хрящ переест.

— Что ж ты не пьешь, Сизой? — сказала мне Саша.— Пей, пожалуйста. Черт знает, как скучно!

— Ты не ругайся, матушка! — посоветовал бабе бравый фельдфебель.— Видишь: здесь барин сидит.

И он указал на меня.

— Черт с вами, с подлыми, и с барином совсем! — еще громче кричала бабенка.— Я сама барыня. Иди, иди домой, пьяница,— тащила она ундера.— Я тебе задам жару. Будешь ты у меня свататься шляться!

— Говор-рри пош-штительней! — бурчал ундер.— Я твой нач-ччальник!

— Ух ты, рожа дурацкая! — бесчестила его попечительница.— Вишь, начальник какой нашелся.

И она заехала его по физиономии.

— Вишь, какая проворная! — толковала публика про неизвестную бабу после ее ухода.

— Напрасно я тюти ей вот этой не поднес,— печалился фельдфебель, показывая кулак.— Ей бы ничего: на здоровье пошло бы...

— Истинно, что напрасно,— согласился хозяин.

— Ну что, Саша? — спрашивал я.— Улетело твое счастье, что ты сейчас мне рисовала. Нужно тебе другого ундера искать, а то ты, пожалуй, так никогда и не исправишься.

— Черт с ним, с этим счастьем,— с досадой и отрывисто ответила она.— Неужели ты не понял, что братнины хлопоты о моей, как он называет, пристройке забавляют меня? Мое счастье во мне, Jean! Мне бы только крошечку поумнеть, да злиться перестать понапрасну, да на месяц лаять перестать: вот я тогда и счастлива буду...

Пока придет это время, мы с тобой выпьем, веселей ждать...

— И я с вами! — ловко подскочил к нам на каблуках фельдфебель.

— Милости просим! — ответила ему Саша.

— Милости прошу ко мне в гости,— заискивающим тоном приглашал нас фельдфебель.— А ежели, может, насчет жены сомневаетесь — вздор!.. Когда она грубость какую скажет, я ей, Христос свидетель, рот передерну... Шуметь я с ней не буду тогда,— добавил он с громким смехом.— У меня ежели ты супруга, так ты меня спокой, потому на меня не налетай... Мы и без супруг на своем веку довольно много всякой коки с соком накушались! Ха-ха-ха!.. А то супр-руг-га!..

* * *

Очень поздно я вышел от именинника.

Девственная улица была совершенно пуста, и молчание самое невозмутимое угрюмо в ней царствовало. Вся заваленная страшными снежными сугробами, она представляла до того бездушную картину, что яркий свет молодого месяца нисколько не оживлял ее. Не было ни извозчиков, как в других улицах, ни просто людей. Ворота везде заперты тяжелыми замками, оконные ставни закрыты наглухо и опоясаны толстыми железными болтами.

Я очень хорошо знал, что тишина эта только кажущаяся, что не в одном только доме, откуда я вышел сейчас, кипит в настоящую минуту жизнь, разыгрываются веселые или печальные сцены. Оттого мне и казалось весьма странным, что ни разу не удалось мне подметить ни одного проявления этой жизни ни на улице, ни в нескромных окошках. Думаю я: ведь непременно же в одном из этих домов, сейчас же, может быть, попечительница икающего ундера бьет и ругает его: отчего же я не слышу этого крика? Отчего не слышу ни одного звука на улице, ни одной живой души в ней не вижу? Мне даже стало досадно оттого, что я не мог разрешить себе этих вопросов.

«Кто не имеет тени, тот не должен выходить на солнце»,— случайно попалось мне на язык.

Иду я и бессознательно пережевываю эту фразу. Передо мной заходили фантастические приключения Петра Шлемиля, о котором сказал еще Шамиссо, как вдруг приметил я, что от низеньких домов девственной улицы падают на снежную дорогу громадные тени. Я остановился и осмотрелся. Моя тень показалась мне в пять раз больше обыкновенной тени, от меня отражающейся. «Вот странность! — подумал я про себя.— Отчего это у меня такая длинная тень?» Показалось мне в это время, что уличный фонарь, прикрепленный к столбу, как-то иронически посматривает на меня. Подошел я к нему близко, осмотрел я его со всех сторон, и действительно, невинный висельник смотрел на меня необыкновенно насмешливо. Подперся он в бок железным локотком и, каждую секунду подмаргивая мне своим огненным глазом, так и покатывается от смеха.

— Чему ты смеешься? — строго спросил я его.— Можешь ли ты смеяться в такое позднее время?

«Могу, могу»,— отвечает он.

— Нет, не можешь! Ты светить должен, а не смеяться.

«Я смеюсь и свечу. Ты посмотри, какая у тебя длинная тень».

— Вижу. Ну что же?

«А моя, посмотри, длинна ведь?»

Я взглянул и на его тень. Боже! Она невиданным змеем каким-то растянулась вкось улицы, пробежала через соседнюю широкую площадь и скрылась из глаз моих во мраке уж другой части города.

Изумление мое возросло в высшей степени, тем более что тень фонаря не лежала, как бы следовало, позади столба, а с непостижимым нахальством выпячивалась вперед. Фонарь больше и больше издевался надо мной.

— Отчего это? — допытывался я у фонаря.

«Так!» — отвечал он, продолжая хохотать.

— Не может быть, чтобы так. Ты, наверно, знаешь, только не хочешь сказать. Ежели бы ты не знал,— усовещевал я его, — ты бы не смеялся.

«Клянусь, не знаю. Меня сюда недавно поставили. В Газетном переулке, где я прежде стоял, тени у всех были обыкновенные, а здесь, видишь, какие? Кто только проходит по этим местам, особенно ночью, все меня спрашивают: отчего это? Я этому и смеюсь».

— Будто уж все? — спросил я.

Обиженный отошел я от него, справедливо воображая, что он знает гораздо больше того, нежели сказал мне.

«Не может быть,— думаю я про себя,— чтоб обитатели девственной улицы все имели такие длинные и более обыкновенного черные тени, как у меня и фонаря».

«У всех до одного такие!» — крикнул мне издали фонарь тонкою фистулой.

— Врешь! — ору я ему басом.

«У всех, у всех!» — снова донеслась ко мне фистула.

— Врр-решь,— изо всех легких трублю я в ответ и сам остаюсь необыкновенно доволен, что бас мой звонко раскатился по сонной улице.

Согласным хором ответили мне обывательские собаки, пробужденные моим криком.

«Сейчас издохнуть, ежели вру!» — донельзя убедительно прозвенел фонарь тонким голоском.

— А ежели ты не врешь, так я знаю теперь, отчего все вы сидите за дверьми дубовыми, за замками железными,— именно оттого, что у всех вас здесь тени очень длинны,— бормочу я.— А кто имеет длинную тень, тому нужно дома сидеть,— пародирую я Шамиссо.

— Обстоятельней докладывай,— прохрипел чей-то знакомый голос.

Я останавливаюсь, нагибаю голову и стараюсь догадаться, кому принадлежит этот голос.

— Говор-ри деликатней: я — твой начальник!

Тут я догадался, что это икающий ундер. Сильный морозный ветер подул мне в лицо, и к первой догадке моей присоединилась другая, что я необыкновенно пьян. Только что пришел я к этому выводу, как, к крайнему моему удивлению, тень моя значительно уменьшилась...

Снова донесся до меня тонкий, насмешливый хохот фонаря; но голова моя была уж настолько свежа, что я теперь не обиделся на этот хохот.

«Вздор! — рассуждал я.— Это только так чудится мне».

Я перешел широкую площадь и повернул в другую людную улицу. Повстречался со мной какой-то барин в истерзанном пальто. Он спотыкался на каждом шагу, очевидно, направляясь в девственную улицу.

— Ежели они опять спрашивать станут,— бурлил он,— отчего я пью, не буду разговаривать с ними: прямо в зубы заеду...

Длинная тень бежала за истерзанным пальто...

«Вот это действительность!» — подумал я.

Над самым моим ухом сторож затрещал в трещотку; посередине улицы быстро мчалась карета, сверкая фонарями: где-то гудели часы.

«И это действительность»,— продолжал я пробовать свежесть моей головы.

— Ваше сиятельство! Что же на рысачке-то обещались прокатиться! — говорил совершенно незнакомый извозчик.— Полтинничек бы прокатали, ваше сиятельство. Ах! хорошо бы мне ночным-то делом на полтинничек съездить! Пра-а-ва!

Я совсем отрезвел, потому что мне предстояла длинная дорога до квартиры пешком, ибо полтинника, кото-

рый бы мог, по мнимому обещанию, прокатать на рысачке, ни в кармане, ни дома у меня не оказывалось.

— И это действительность! — сказал я вслух и бодро принялся гранить замерзшую мостовую.

Извозчик, обманутый в своих ожиданиях, загнул мне вслед неласковое слово. Мне почему-то стало веселее от этого слова.

1862



НАСУПРОТИВ!..

I

...Хотелось поскорее добраться до ночлега, потому что совсем свечерело и в воздухе ощутительно распространялись прохлада и тишина ночи.

Впереди меня, в влажном от вечернего тумана воздухе, неясно рисовались крыши деревенских изб. Может быть, впрочем, то были деревья леса, стоящего в стороне от дороги, а может быть, что облака туманные, закрывши собою верхушки придорожных вешек, обманывали меня.

Нет! Вероятно, это крыши домов, думаю я, и действительно вдали послышался лай собак и тот неопределенный гул, который обыкновенно несется из большого села, когда подойдешь к нему не так близко, чтобы можно было видеть его.

Потом я окончательно уверился, что близко село, что только или густые ветлы его огородов, или пригорок какой-нибудь мешают мне ясно видеть его. Навстречу мне попалась какая-то унылая баба. За плечами она несла связку хвороста и при встрече со мной низко мне поклонилась.

— Бог в помочь, тетушка! — сказал я ей.

— Спасибо, кормилец,— ответила она мне самым плачевным голосом.

— Далеко тут деревня-то?

— А вот за горкой-то. Подымешься как на горку-то, там тебе и деревня будет.

— Што ж это ты, в лес, што ль, ходила по дрова? Ай лошаденки-то нет, што сама несешь?

— Какие там лошаденки, голубчик ты мой! Шестнадцатый год вот так-то маячусь без мужа. От одних дров всю спинушку разломило. Летом-то еще ничего: выйдешь на большую дорогу, обломает ветром ветки,— ну и собирай, не ленись только; а зимой, как в лес-то за ними придется идти, и-их страсть какая под снегом-то их откапывать!..

— А ты бы к мужу шла, все бы, глядишь, полегче было,— посоветовал я.

— Где его найти, мужа-то? Он мне ни одной весточки об себе ни разу не дал. Ох! Далече, надо быть, загнали его.

Сильно задумался я, так что и не слыхал, как подошел к самому селу.

— Будьте вкладчики на каменное строение Николаю-чудотворцу,— растягивал древнейший старец, сидевший у часовни, выстроенной перед самым селом.

Его дребезжащий голос и звон колокольчика, которым старец сопровождал свое пение, вывели меня из моего раздумья. Я осмотрелся. Предо мной была одна из тех быстро разросшихся деревень, которые, вследствие местных обстоятельств, в какие-нибудь пять или десять лет из поселка в три-четыре избы вдруг превращаются в длинные села с постоялыми дворами, харчевнями и проч.

Около часовни болталась толпа ребятишек. «Будьте вкладчики на мягкие калачики!..» — голосили они целым хором, очевидно, поддразнивая сборщика-старца.

— Вот я вас, мошенники! — грозил им дед своею толстою палкой, не вставая с места.

Мещанин какой-то подъехал к часовне. «Будьте вкладчики...» — заголосил было дед, но мещанин предупредил его. Сняв картуз, он начал молиться, расправляя свои длинные волосы. Мальчишки между тем голосили громче прежнего: «Будьте вкладчики на мягкие калачики...»

Мещанин, по-видимому, не обращал на них ни малейшего внимания. Наклонившись к старику, чтобы сотворить ему милостыню на построение храма, он потихоньку сказал ему: «Поймать, что ли, дедушка?»

— Пымай, пымай, голубчик ты мой! Пымай какого-нибудь. Изняли они меня, разбойники! Страсть как изняли!

Вдруг мещанин бросился на стаю ребятишек, схватил какого-то мальчугана за всклоченный хохол и подтащил к деду.

— А, падлюка, попался! — шамшит дед и дерет мальчишку за вихры. Мальчишка орет во все горло. Мещанин стоит поодаль и приговаривает: «Вот это прекрасно! Вот это чудесно! Ай да дедушка! Половчей ему голову-то расчеши,— ему скоро жениться понадобится...»

От часовни к селу тянулся огромный сад, молодой еще. За садом начинался длинный деревянный забор с соломенными сараями, которые особенно помогают отличать в деревнях и селах помещичьи дома от купеческих. Дома первых обыкновенно строятся, как говорится, на юру. Одиноко торчат около них беспорядочно разбросанные разные барские пристройки и службы, разрушенные и гниющие, тогда как дома купцов непременно обнесены новым забором с воротами наподобие крепостных ворот, и видишь, что все это строение принадлежит одному хозяину, что так же крепко оно, как крепок хозяин сам, и что оно ново так же, как нов сад, который обыкновенно разводится за домом на таком страшном количестве десятин, какого достаточно было бы для того, чтобы поселить на нем целый город.

По всей длине садовой огорожи и деревянного домового забора быстро преследовали меня мальчишки, дразнившие старого сборщика.

— Цыцарцы, цыцарцы идут! — восклицали они, видя во мне передового тех несчастнейших шарманщиков, которые шатаются по уездным ярмаркам.

— Мотри, малый, заиграет сичас.

— Где заиграет? Вишь, у него короба-то нет на спине.

— А может, он глаза нам отвел, вот мы короба-то и не видим.

На крыльце купеческого дома, сад и забор которого только что прошел я, сидели две девицы, полноты и румянца изумительного. При моем приближении они пугливо вскочили и убежали в комнаты. Между тем я поравнялся с домом.

— Вендерец какой-то идет, маменька! — очевидно, про меня рассказывали румяные девицы.

— Пусть идет! Бог с ним! — послышалось мне из растворенного окна.

— У вас все бог с ним! Выдь-ка, Матрена, за ворота поскорей, посмотри, не сдул бы чего; а я с крыльца посмотрю,— говорил мужской голос.

— Эй, цыцарец, сыграй на музыке-то,— с хохотом кричали мальчишки, бежавшие за мной.

На крыльцо купеческого дома вышел толстый мужчина с бородой, в ситцевой рубашке и подозрительно смотрел на меня. Из-за его плеча пугливо выглядывали румяные девицы, в ворота выбежала маленькая сухощавая бабенка и тоже устремилась на меня с самым наблюдательным вниманием. Вместе с бабой выбежала огромная собака и азартно залаяла и заметалась около меня. Ни сам купец, ни сухощавая бабенка не удерживали собаки, и только толстая палка моя держала ее в почтительном отдалении...

— Не можете ли вы пустить меня ночевать? — сказал я, обращаясь к купцу.

С какою-то особенною ненавистью посмотрел на меня купец, отвернулся и ушел с крыльца. За ним убежали полные девицы.

— Ах вы, братцы мои! Ночевать просится,— говорила стоявшая у ворот бабенка, помирая со смеха.— Милые мои! — орала она кому-то на дворе в растворенную калитку,— гляньте-ка милые мои, цыцарец ночевать просится... Ох, черт ты проклятый! Уморил совсем...

А собака между тем неистово храбро подкатывалась мне под ноги, заливаясь валдайским колокольчиком. Я не вытерпел и дал ей палкой туза. Завизжала собака, как обваренная кипятком, и бросилась в подворотню.

— Ах черт ты, проклятый! — заорала с невыразимым азартом бабенка.— Ах ты, нехристь поганая! Собаку убил, вот я ребят вышлю — они те бока-то намнут...

Я скорыми шагами удалялся от сего прекрасного сельского убежища.

— А, идол ты эдакой,— собак бить стал. Моли бога, что ушел далеко, я бы тебе...— кричал за мной сам домохозяин.

Я очень хорошо знаю толк в степных идиллиях, чтобы нисколько не возмутиться незаслуженною бранью, кото-

рою-осыпала меня красная рубаха,— и шел искать себе более гостеприимного крова.

Мальчишки, встретившие меня в начале села, между тем уже предупредили меня. Я очень явственно слышал, как они, разбегаясь по сельским улицам и переулкам, орали во все свои звонкие горла:

— Собирайтесь, братцы, цыцарцы в село идут!

— Пусти, хозяин, ночевать,— спрашиваюсь я у мужика, сидевшего на завальне первой избы.

Не ответив мне ни одного слова, мужик торопливо вскакивает с места и скрывается в сени. Я иду за ним, но дверь затворяется — и я имею наслаждение слышать, как щелкнула перед самым моим носом ее железная запорка.

Вслед за мной раздается хлопанье избяного окошка. Из него любопытно высовываются несколько женщин.

— Этот? — спрашивают они у кого-то внутри избы, показывая на меня пальцами.

— Он и есть! — отзывается им мужской голос.— Откуда только наносит их к нам — короткохвостых?.. Пойти лошадей посмотреть, целы ли! Не сцарапал бы их цыцарец-то!..

— Пойдемте-ка и мы, бабы, взглянем, не намазал ли он стены либо плетня чем-нибудь. У них составы таки есть: намажет стену с вечера, а утром, только что солнце пригреет, стена-то и загорится.

На другой завальне сидят два мужика и женщина. Они бойко толкуют о чем-то. Женщина громко хохочет, слушая их.

— Пустите ночевать, братцы! — обращаюсь я к ним.

— Што?

— Ночевать пустите.

Мужики смотрят на меня, как на такого человека, который вдруг ни с того ни с сего дал им по самой ошеломляющей оплеухе. Бабенка, сидевшая с ними, видимо лопается, стараясь удержаться от смеха.

— Чужаки мы сами здесь, милый человек! У приятеля сидим. А ты вон на постоялом дворе поди попросись. Может, и пустят.

— А где же тут постоялый двор?

— А вон насупротив-то!

Я иду насупротив, а благоухающая вечерним запахом трав и дерев сельская улица оглашается басистым

хохотом мужиков, пославших меня насупротив, которому дружно вторит тонкий и неистово радостный хохот бабы.

На крыльце *насупротив* сидит пожилая женщина и кормит довольно взрослого ребенка.

— Бог в помощь, милая! — желаю я ей.

— Спасибо, касатик! Што тебе надоть? У меня ничем-ничего нет. Водицы испить дам, коли хочешь.

— Ночевать пусти, тетка, у тебя постоялый двор. Мне вон те мужики сказывали.

— Что ты им веришь-то, зубоскалам! Они тебя на смех поднимают — рази не видишь? Вот постоялый двор-то где, *насупротив*. А я, кормилец, одна с малыми детьми ночую. Мужики в поле, рабочей порою, живут. Так мне, женское дело, как же тебя ночевать пустить? Соседи смеяться станут...

Резонно! Пойду еще *насупротив*.

— Милый! — говорит резонная женщина своему ребенку, указывая на меня.— Вот они какие, цыцарцы-то, бывают — гляди! Они умеют глаза отводить. Они и малых ребят крадут. Он вот возьмет тебя и спрячет,— все будут видеть, как он тебя спрячет, а сыскать нельзя...

Ребенок пристально смотрел на меня,— и думаю, что он совершенно мог запомнить, какие бывают цыцарцы, и положительно ручаюсь, что, взрослый, он тоже, как и мать, едва ли пустит к себе ночевать кого-нибудь из короткохвостых.

Из окна следующего *насупротив* светится приветливый огонек. На крыльце никого нет, кроме злой собаки, пропустившей меня через крыльцо тогда только, когда я ломанул ее вдоль боков своей толстой палкой.

Только что вошел я в избу, ужинавшее семейство несколько секунд смотрит на меня с недоумением, а потом, по сигналу будто чьему, вдруг разражается хохотом.

— Цыц! — грозно прикрикивает на семьян седой большак, сидящий под самыми образами в переднем углу.

Все умолкает от этого повелительного, строгого «цыц!».

— Што тебе надоть? — спрашивает он у меня.

— Ночевать проситься пришел. Нигде не пускают.

Семейство, очевидно, не смеется потому только, что боится другого «цыц!». Впрочем, младшие из его чинов

не сдерживаются и потихоньку хихикают и перешептываются, во все глаза осматривая меня.

— Негде у нас ночевать. А коли голоден,— сурово говорит большак,— скажи, я тебе велю щей влить и хлеба дать...

— Спасибо за ласку. Ты ночевать-то пусти, а там я уж за все заплачу.

— Буде разговаривать-то по-пустому. Заплачу!.. Влей ему щей, Агафья! Поешь да ступай с богом! Ныне в поле тепло.

Я вижу, что мне еще предстоит идти в другой *насупротив,* потому что у большака при дальнейших моих просьбах начинают хмуриться сердитые брови...

— Где тут у вас постоялый двор есть? Меня все обманывают. Не хотят отчего-то правды сказать.

— И там не пустят...— уклончиво отвечал старик.

Я отправляюсь на божию волю искать постоялого двора. Наконец вот он — этот новый сруб из толстых сосновых бревен, с пучком серебряного ковыля над красным крыльцом, с ставнями, выкрашенными зеленою краской, с растворчатыми окнами, с скрипучими воротами и с огромными сараями, которые в вечернем мраке рисуются такими грозными крепостными валами.

Вхожу в избу, извозчиков никого нет. Из-за перегородки виднеется половина бабы, другая половина которой уткнулась в широкое отверстие русской печи. У стола пред фонарем сидит дремлющий хозяин.

— Здесь постоялый двор? — спрашиваю я дремлющего мужика.

Хозяин торопливо вскакивает с лавки, мечет на меня наказательные взоры и говорит такую речь:

— Ах ты шут эдакий кургузый! Што ты тут шатаешься? Я было уже засыпать стал, а тебя тут бес подмывает добрых людей будить. О господи-и! — растягивал он, крестясь и зевая.— Никогда-то тебе покоя от православного народу нет, а тут еще всякая голь нехрещеная лезет в избу.

— Какой же я некрещеный? Я такой же русский, как и ты. Вот посмотри: и крест есть у меня, и крещусь так же, как и все.

Работница наставительно подмаргивала хозяину с видом такой пройдохи, которая довольно на своем веку насмотрелась на всяких цыцарцев и вендерцев и которой

поэтому все их обманы известны как пять пальцев.

Я между тем в доказательство своих слов показывал, какой у меня крест есть на груди и как я крещусь.

Хозяин, видимо, соглашается, что мой крест и мой способ креститься такой же, как и у всех православных. К моей неописанной радости я примечаю в нем некоторое колебание.

Работница, доселе только молчаливо подмаргивавшая, вклеивает наконец свое слово, окончательно сгубившее меня.

— Што ты ему в зубы-то глядишь? — азартно кричит она.— Ты всамделе ночевать его не оставь. Он те таких хрестов наставит в избе-то, вон убежишь. Небойсь, кабы мы по-христиански-то жили, сразу бы увидали, какой он такой хрест показывает. Невесть что он, может, кажет нам вмёсто хреста-то! Она вить, нехристь-то, хитра!.. Отведет глаза-то тебе, а сам что хочет, то и покажет.

— Што ты бабьи глупые слова слушаешь! — усовещиваю я хозяина.— Баба — дура, сам знаешь, что ей соврет в смех кто-нибудь, она и верит тому.

— Перекрестись-ка еще, я погляжу,— задумчиво приказывает мне хозяин.

Я крещусь в другой раз.

— Так! Прочти «Отче наш»...

Я читаю «Отче наш» от начала до конца.

— «Да воскреснет» знаешь? — продолжает он осведомляться, насколько я силен в богословии.

Видя, что дело идет на лад, я читаю «Да воскреснет».

Мужик самым недоумевающим образом смотрит в грязный пол и слушает даже и тогда, когда я уже окончил чтение.

— Язык, братец, у тебя что-то не больно-то тверд! — выражает он свою сентенцию.— Не пущу ночевать, как хочешь. Кто тебя знает, какой ты такой на сем свете человек есть.

Меня наконец начинает бесить это.

— Да ведь я же тебе заплачу,— говорю я ему.— И деньги вот у меня — гляди.

— Знаем мы эти деньги-то,— отвечают они с кухаркой в один голос.— Возьмешь их, а они после тебя угольем смердящим сделаются.

— Да не сделаются, чудак ты, право, какой. Ведь это колдуны только одни делают, а вот ты послушай, что про меня в моем паспорте написано.

— Ну, вон оно! — пренебрежительно отказывается он от слушания, что́ именно в моем паспорте написано.

— У исповеди и святых таин ежегодно бываю,— начинаю я.

— Эвося! — лаконически возражает он мне.

— Поведения примерного, характера смирного...

— Господи! Что это за жид привязался ко мне? — вопиет хозяин и направляет меня к дверям.

— Давно бы так! — радуется работница.— Проводи его в три шеи от двора-то. Кабы он в колодезь яду какого не влил, алибо дворов не поджег. Они ведь, вендерцы-то, удалы на такие дела...

Ночной мрак все больше и больше распространялся по сельским улицам и, следовательно, все больше и больше затемнял надежды мои на ночевку в избе, с живыми людьми.

Все мои просьбы пустить меня ночевать, обращенные к мужикам и бабам, встречавшимися со мною на улицах, остались без малейшего ответа.

Пристально осмотрит меня встречное существо с головы до ног, задумчиво выслушает мои доказательства, что нельзя же ночевать мне в чистом поле,— волки, пожалуй, могут заесть, и или без всякого ответа торопливо скроется в соседний переулок, или начнет выражать нескончаемые сомнения, что он не знает, какие такие народы расхаживают по белому свету, добрых людей обворовывают и глаза им отводят, а на избы, шутки ради, куролесов-домовых напущают, от которых после самим хозяевам житья в своем доме нет.

Слушая такую речь, забываешь и про усталость свою, и про необходимость ночевать без ужина одному под какими-нибудь копнами сена, когда под рукою такое большое село, потому что глубоко занимает вас в эту минуту мысль, каким путем эти люди, так здраво рассуждающие про множество разных вещей, пришли к твердой, никакими доказательствами необоримой вере в возможность существования таких людей, которые глаза добрым людям отводят, злых домовых, шутки ради, на дома напущают и прочее.

Ах ты, степь моя, степь, по песне, моздокская! Не одними только камышами заросла ты дремучими! Не одни они только седыми, хмурыми тучами темнят твой широкий простор,— темнят его всего больше дикие думы твои, разросшиеся в твоей недосягаемой глуши громаднее и темнее лесов самых темных... Пугают они и тоску на душу свежего человека наводят такую, какой не навести на нее самому мрачному, самому одинокому, безлюдному месту...

Думаю я так-то про себя и делаю последнюю попытку приютиться где-нибудь на темную ночь. Палка моя звонко стучит по готовой развалиться стене какой-то избушки. Соседские собаки отвечают на мой стук яростным лаем, чтó все вместе самым глубоким образом в тишине ночи задумавшегося человека непременно должно привесть в надлежащие чувства.

— Ты, што ль, это, Антропка? — слышится наконец из непроницаемого мрака какой-то замогильный голос.— Што тебя шуты-то там разбирают, потише бы можно стучать. Избу-то всю разворотил, леший, словно облопался чего-нибудь на мельнице-то.

— Нет, это не Антроп. Это я, странник,— говорю я.— Ночевать, хозяин, пусти, пожалуйста.

— Какой там еще полуношник шатается? — ворчит замогильный голос и осторожно шастает к двери.

В окно выставилась широкая черная борода.

— Сказывай: кто ты таков? — повелительно спрашивает борода.

— Странник, говорю я тебе. С богомолья иду,— приврал я немного.

— С какого богомолья? От Сергия-Троицы, што ли?

— В старом Иерусалиме бывали, не только что у Сергия-Троицы...

— Што же это, братец ты мой, такой ты великий богомолец, а по ночам ходишь?..— недоумевал хозяин.

— Запоздал, друже! — продолжаю я подделываться под тон тех шатунов в плисовых порыжелых скуфейках, за одного из которых я выдавал теперь себя для того, чтобы удобнее выпроситься ночевать.— Опять же, часа с два хожу по селу, не пускает никто, да и только.

— Что же это они не пущают? Грех не пущать к себе странного человека,— резонирует черная борода.— От этого-то, может, и напасти-то на нас всякие со всех сторон, аки лист глухой осенью, сыплются, что мы богомольщикам нашим не токмо чего другого, а тепла избяного жалеем.

— Известно, от этого,— поддерживаю я хозяйскую рацею, и сердце мое радуется великою радостью, потому что живо представилось мне в эту минуту, как я сейчас выпрошусь у мужика лечь в сеннице, где в один момент забуду все труды, все неприятности дня.

Борода между тем скрылась из окна. Через минуту дверь отворилась, и мужик вышел на крыльцо, чтобы пустить меня.

— Ну, иди, ночуй ступай,— говорит он, приглашая меня в сени. Счастие мое было полное, но, к моему величайшему сожалению, весьма непродолжительное. Лишь только разглядел гостеприимец мой короткий сюртук, мою белую соломенную шляпу с широчайшими полями, лишь только взглянул я на него сквозь мои громадные синие очки, как обхождение его со мною вдруг совершенно изменилось.

— Так такой-то ты богомолец, куцый черт? — спрашивал он, мгновенно скрываясь в сени и плотно запирая за собою дверь.— Я ж тебе покажу сейчас, как добрых людей надувать.

«Довольно с меня!» — подумал я про себя и быстро направился вон из села к непременно гостеприимным дорожным канавам и вешкам.

Ночное безмолвие вдруг прорезывает пронзительный скрип ворот того двора, от которого я отходил. Две гуртовые собаки с громким лаем и бренчанием тяжелых цепей летят вслед за мною. Я прислоняюсь спиной к толстому дубу, росшему на улице, и вступаю с ними в ожесточенный бой. Между тем вижу я, черная борода стоит в воротах, из которых выпустил он собак на куцего черта, и с азартом гогочет:

— Олю-лю! Олё-лёле. Возьми, возьми его, Арапка! Ого, го-го! Попридержи, попридержи его, Змейка!..

Но моя ременная, гнущаяся, как змей, палка с выпускным кинжалом, бывшая в то время последним делом лондонского досужества, скоро уладила дело, ко взаимному нашему удовольствию, то есть моему и собак.

В злости на охватившую меня сельскую чепуху я колотил собак так, что шерсть летела с них клочьями, и я имел удовольствие видеть, как враги мои с жалобным визгом еще ретивее бежали от меня в ворота, из которых так ретиво выбежали они на меня. Но честь победы над ними я никак не отнесу ни к моей энергии, с какою я бился, ни к моей в первый раз, вероятно, виданной в степи палке, потому что я очень хорошо знаю степных, гуртовых собак. В жарких схватках с своими всегдашними неприятелями — волками они обыкновенно действуют с тою доблестью, которой только можно ожидать от защитников таких робких, таких бессильных животных, каковы, например, наши курдюцкие овцы. Одна из двух мохнатых борющихся шкур непременно остается на поле битвы,— и если моя собственная шкура уцелела на мне, так это потому только, что степные собаки, как и степные мужики, испугались не столько моей палки, сколько широких полей моей шляпы, куцего сюртука и прочих атрибутов немецкого костюма, которые им так редко приходится видеть.

Иду я — и со мною вместе идет безотвязная дума о мысленном убожестве этой прекрасной стороны. Южная, темная, как глаза красавицы, ночь примирила меня с необходимостью ночевать в поле. В ее так выразительно молчащей тиши необыкновенно ясно и последовательно развивается эта дума, тихо скорбит и вместе надеется, что наконец по всей неоглядной ширине разольется благодетельный свет живых мыслей и знаний, который неминуемо поставит угрюмого, печального человека этой стороны в полное согласие с ее веселой, цветущей природой...

Потом вдруг, против воли моей, я начинаю припоминать неудачные происшествия дня, пересчитываю их по пальцам, и хотя, по собственному моему сознанию, сердиться тут было решительно не на что, я как будто в одно и то же время и сержусь на них, и люблю их... От этих неудач одного дня нечувствительно перешла моя мысль к неудачам целой жизни. Предо мною безотчетно рисовались местности различных городов, в которых я живал когда-то,— и казалось мне, что я иду уже не по большой дороге, а по улицам, давно известным мне,— в голове совершенно ясно возникают разные воспоминания о происшествиях, разыгравшихся на этих улицах,—

возникают представления о людях, с которыми я встречался на них,— и обман чувств делается наконец до того велик, что я начинаю вслух говорить сам с собою за себя и за знакомых людей.

Обаятельное величие пустынной ночи и благовонно-острый запах степной растительности побуждают мозг мой к какой-то особенно усиленной, весь мой организм раздраживший умственной деятельности.

С каждым шагом моим все шире и шире развертывалась в моем воображении так мало утешающая меня картина моего прошлого времени,— с каждым шагом все яснее и яснее становились предо мною образы людей, с которыми когда-то и где-то сходился я. В одно и то же время мне необыкновенно приятно было повторить в голове события моей прошедшей жизни, смотреть на людей, дорогих по каким-нибудь пережитым случаям, а вместе с тем я болезненно страдал оттого, что в этой тишине поля, так царственно обнявшей меня, я не могу перекинуться с кем-нибудь живым словом... Тоска и томление какое-то, от которых мучительно ноет грудь, попеременно заливает сердце волнами, то обдающими изнуренное тело холодом зимним, то летним зноем палящим.

Я сильно желал выйти из этого неправильного, болезненного состояния и в то же время пристально всматривался в эти рои знакомых лиц, стараясь уловить хоть что-нибудь из тех неопределенных, неуловимых звуков, которые монотонно и нераздельно неслись на меня из их воздушной среды.

Чувствую я, что не прочитать мне тайной азбуки, которую написала моему воображению глухая полевая ночь, и злюсь над своим бессилием и неуменьем прочитать ее. Надобно быть рассудительнее, думаю я. Надобно отрешиться от той задачи, которую нельзя разрешить. Вот другая задача, проще: попробую я сосчитать, сколько в версте будет моих шагов,— и начинаю.

— Раз, два, три! — считаю я.

— Раз, два, три! — повторяет за мною один призрак, принявший вдруг такие огромные размеры, что из-за него уже не видно было других образов. Я не обращаю на него никакого внимания и продолжаю считать: «четыре, пять, шесть...»

— Четыре, пять, шесть! — повторяет он и, безобразно

кувыркаясь в воздухе, спрашивает меня: — Что вас давно не видать?

— Что вас давно не видать? — в свою очередь, задает мне вопрос целая стая мучителей, неожиданно вылетевшая из-за широкой спины моего непрошеного собеседника.

— Семь, восемь, девять...— отвечаю я им и скрежещу зубами...

Наконец считать уже делается невозможным, потому что в то время, как делаешь шаг, трудно уже выговаривать: двести шестьдесят один, двести шестьдесят два, и, следовательно, рад был бы не считать, а все как-то считается; а знакомое видение все идет перед вами, так резво идет, и манит вас за собою, и считает: «двести восемьдесят три, двести восемьдесят четыре...»

Пораженный таким бесстыдством, я останавливаюсь и трясусь от злости как в лихорадке. Призрак, видимо, пугается моей решимости броситься на него и улетает, посылая мне на прощанье отвратительнейшую гримасу.

«Слава богу! — думаю я,— улетел».

— Хх-ва-а-лли-те и-имя господне! — беру я самую верхнюю ноту и зажмуриваю глаза из опасения встретить еще какое-нибудь новое чудовище.

— Триста тридцать пять, триста тридцать шесть! — никак не ниже меня запевает, в свою очередь, вдруг появившийся призрак.

Окончательно разбешенный, я швырнул в певуна своей палкой, и, на великую радость мою, я увидел, что она хватила его по самым коленкам.

Точно раненая птица, заколебалось видение от удара и тихо опустилось на землю. Боль предсмертных мук видел я в этом падении,— стоны отлетающей жизни громко раздалися в ушах моих...

— Х-ва-а-ли-те господа! — снова оглашаю я степь, чтобы своим голосом заглушить эти стоны.

«Хвалите господа!..» — налетает на меня сзади отголосок моего собственного пенья, далеко разнесшегося в непробудно спящем пространстве.

Моего призрака уже не было!

— Кто идет? — совершенно по-солдатски будит меня чей-то голос. Я осматриваюсь. Предо мной широко расстилались барские, должно быть, горохи,— на дорожной насыпи, по которой шел я, стоял одинокий соломенный

шалаш караульщика тех горохов, а из шалаша виднелся огонек жарко раскуренной трубки, который довольно ясно осветил мне какого-то человека, лежащего в шалаше.

Я остановился. Курильщик приподнялся. Это был громадного роста старик с той бравой осанкой, которая примечается вообще у отставных солдат *доброго старого времени...*

— Што это, господи,— удивляется сторож,— всех господ в околотке наперечет знаю, а вас, сударь, никогда не видал,— говорит он мне.

— Я не здешний,— сказал я ему.— Я странник.

— Што же это вы такою позднею ночью ходите?

— Что же станешь делать? В целом селе ночевать никто не пустил. Говорят, что я вендерец какой-то либо цыцарец. Поджечь, говорят, я могу, домового на избу напустить, украсть.

— Ах, музланы они эдакие необразованные! Да што у них, леших, украсть-то? Вы бы их, сударь, по сусалам-то заехали без разговору, небось бы всякий пустил. Истинно!.. У нас лаской мужика не проймешь — и точно, потому наш степной мужик — глуп...

— Ну, я этого не замечал,— сказал я.

— Это оттого вы не замечали, что вы не здешние... А я, как родился в эфтих местах, знаю, что иначе нельзя-с, потому сторона наша самая черная и образованности в ней капли даже единыя нет. Только што же это я делаю, разбойник я эдакой. Раздобары с господином осмелился заводить, а без одежи стою! — И он суетливо бросился в шалаш, рассыпаясь в извинениях.

В момент он зажег в шалаше огарок сальной свечи и вышел ко мне в длиннополом нанковом сюртуке и босой, той грандиозною поступью, какою обыкновенно ходят заслуженные *дядьки*.

— Не взыщите, что босой,— дело летнее. Не угодно ли вам, сударь, ночь со мной в шалаше разделить? Извините, что зову вас к себе.

— Помилуйте! Очень вам благодарен.

— Не подобает мне слышать, как мне барин «вы» говорит. Не стóю, сударь. Не говорите мне этого, Христа ради...

Такое самоунижение начинало так же меня коробить, как за час перед тем коробила необходимость ночевать в поле.

— Правду сказать: люблю я, грешный человек, когда меня по имени и отчеству зовут, потому у дедушки еще нашего барина был я за свою верную службу в немалом почете—вся, может, вотчина Максимом Петровичем меня величала и без шапки передо мною ходила; а чтобы это, то есть насчет *вы:* не люблю я этого слова...

«Спасибо за откровенность,— думаю я про себя,— Теперь, значит, мы будем действовать с точки величания Максимом Петровичем».

— Я не знаю, сударь, как же они, мужвари, ночевать вас осмелились не пустить? Сюртук на вас, как я вижу, суконный, хороший, и шляпа как есть самая господская, и очки. Как есть все на вас, сударь, по моде прилажено, а они говорят: вендерец. Рази такие вендерцы-то бывают? Экие дураки необузданные! Барина с вендерцем не различили. Ах! узнать бы мне, в каких это избах вас не пустили,— беспременно бы управляющему доложил. Так и так, мол, проходящему барину, хотя, может, он и бедный барин, потому пешком вы изволите идти, наши мужики нагрубили.

— Вот что, Максим Петрович! Ты уж управляющему-то ничего не говори. Что его беспокоить? Стоит ли с ними, музланами, связываться? — подделывался я под тон Максима Петровича, уразумев, из какого гнезда эта птица.

— Нет, это вы напрасно изволите говорить! Он у нас, управляющий-то, хошь немец, а человек очень хороший. «Меня,— всем он сказал,— барин послал к вам образовывать,— ну я и образую вас. Я, говорит, вас хоть в человечьи шкуры-то снаряжу, потому воистину в зверский образ вы облеклись и заснули...» Точно: видимо стало теперь, повеселее ходят мужики... Непременно завтрашний день обо всем в точности доложу управляющему. Пусть он их рассудит, как бог ему на сердце положит, потому мое дело сказать: так и так, мол, а его дело — судить...

— Нет уж, пожалуйста, Максим Петрович, не говори, потому сам ты знаешь: мужик — человек темный, образованности никакой не знает. За что же его под ответ подводить? Когда он умышленно сделает что-нибудь нехорошее, ну, тогда дело другое. Ты бы лучше сам внушил им, чтоб они не опасались прохожих ночевать пускать, потому хорошо, что теперь лето, везде ночевать можно, а зимой ведь, пожалуй, замерзнешь в поле. Они тебя послушают и без управляющего. Помнят они, я думаю, твою

службу старому барину и знают, какой ты такой человек есть: худого небойсь не посоветуешь...

— Известно, не посоветую! — говорил Максим Петрович, заботливо снаряжая мне постель из сена с расторопностью человека, не только знающего свое дело, но и душевно ему преданного.— Только я им же добра желаю. За битого, сударь, двух небитых дают. Поучит их управляющий, умнее будут. Им же от этого польза, а не мне... Ведь ежели бы вы изволили знать, сударь, что это за народ такой дикий — страсть! Ты к нему со всей душой, а он это упрет в землю бельма-то свои оловянные и молчит, только это исподлобья иногда взглядывает на тебя. «Што ты молчишь? — спросишь у него.— Ведь я тебе душевно советую на свою же пользу».— «Знаю, говорит, Максим Петрович, к моей пользе, и человек ты, говорит, хороший... да тово... Ты, говорит, все же тарелки эти барские лижешь... Скусны они очень, эти тарелки-то. Верить-то тебе поэтому и не так чтобы...» А, каково? Значит, как же вы теперича сладите с ним, сударь?..

Я ничего не возражал Максиму Петровичу.

— А точно, надо правду сказать, ежели бы, то есть, так глуп не был наш степной народ,— продолжал Максим Петрович,— хороший был бы народ, потому добр уже очень. Ведь вот теперича вас ночевать не пустили, а ежели бы пустил кто и увидал, что все благополучно, ни единой копейки с вас ни за ужин, ни за ночевку не взял бы, потому бога помнит и всякую нужду по себе знает. Это истинно!

— Я знаю об этом, Максим Петрович. Во многих селах с меня за ночлег ничего не брали. Только богу свечку просили поставить. Вон на шоссе очень обдирают, да зато во всякое время там ночевать пустят.

— Не говорите мне, сударь, про это шоссе. Идолы там, а не мужики живут. Разбойник на разбойнике, разбойником погоняет. С нашей простой стороной и равнять-то их грех...

— Вот то-то и есть, Максим Петрович. А ты все своих коришь. Значит, уж лучше быть простым человеком, да не грабителем. Вот, значит, управляющему-то не все нужно рассказывать.

— Так-то так, сударь! А все же я свое опять запою: дик народец у нас. Долго его выколачивать умным людям придется, пока из него все блохи повыскочат...

— Может быть, может быть, Максим Петрович! Только я думаю, что и без выколачиванья блохи-то из него поразлетаются.

— Ох, вряд ли, сударь! Ох, вряд ли они, блохи-то, разлетаются без колоченья,— сомневался Максим Петрович, покрывая приготовленное мне сенное ложе вместо простыни своим нанковым сюртуком, вместо которого он счел за нужное облачиться в какую-то менее парадную свитку; для этой цели, впрочем, он весьма деликатно выходил из шалаша... Когда я улегся совсем, он вытер пыль с сапогов моих, выколотил и осмотрел все мое платье — и потом уже этот хозяин своего шалаша, приютивший меня в нем, стал передо мной, опустил руки, что называется, по швам и говорил:

— Можно мне теперь спать, сударь?.. Не нужно вам ничего больше?..

Я *склонился* пред привычками старика и на его вопрос ответил *не так, как бы хотел я ответить,* а как ему самому, вероятно, отвечали многое множество лет:

— Спи ступай, Максим Петров! Ты мне не нужен больше...

— Слушаю, сударь! Покойной ночи!

— Покойной ночи!

Но, должно быть, сама судьба определила, чтобы не спать мне спокойно эту ночь. Яркое зарево, ударив мне прямо в глаза, разбудило меня. Максим Петрович облекался уже в свою свитку.

— Што, и вы изволили проснуться, сударь? — спрашивал он.— Не извольте беспокоиться. Это пожар в нашей деревне, завтра вы мимо пойдете — увидите; а теперь зорькой-то сосните пока. Здесь вас никто не тронет.

— Да пора уж и мне. Кажется, я довольно соснул. Пойду и я с тобой, Максим Петрович. Пожар, кстати, посмотрю.

— Ну, пойдемте, когда так,— согласился он, помогая мне одеваться так, как некогда он помогал еще дедушке своего настоящего барина.

Заря уже занималась, когда мы вышли. Зарево пожара разбудило не нас одних только,— грачи и вороны, спугнутые им с придорожных вешек, с громким криком сновали взад и вперед по расцвеченному заревом небу. До нас глухо доносился неясный гул множества смешанных голосов, обыкновенный при каждом смятении, высо-

ко взвиваемые ветром, прямо на нас летели так называемые блестящие галки, то есть загоревшиеся пучки соломы. Кружась и летая в еще темном небе подвижными звездами, они рассыпали на землю тысячи искр и, окончательно прогорев, спускались на головы наши еще горячим пеплом.

Домов пятьдесят кряду были обхвачены пламенем. Пожар был в полном разгаре, так что горела даже трава, росшая по улицам. Народ, видимо, отступился тушить, и только около домов, еще не загоревшихся, суетились мужики, вытаскивая пожитки и выгоняя скотину.

— Что же вы руки-то сложимши стоите? — прикрикнул Максим Петрович на кучку мужиков, которые действительно стояли праздно, сложив руки.

— Гнев божий, Максим Петрович! — отвечали из толпы.— Ничего не поделаешь. В церкву за Неопалимой купиной послали. Хотим кругом всего пожарища обнесть. Может, господь и смилуется...

— Бог-то бог, да сам не будь плох! — кричал Максим Петрович, ухватываясь за длинный багор.— Ломай избу! — командовал он, преграждая огню дальнейшую дорогу.— Разноси весь двор. Бабы! Живо у меня воду носить: коли замечу какую, што ленива, ох, проберу!.. Такого жару задам!..

Работа закипела тем деятельнее, что скоро показался священник с Неопалимой купиной в руках. Причт и громко плачущие бабы погоревших домов сопровождали процессию, обходившую с образом широкое пожарище...

— Вот какой дикий народец! — говорил мне запыхавшийся Максим Петрович, когда пожар значительно утих.— Ни до чего-то этот народец своим умом не дойдет. Не приди я, ей-богу, все село корова бы языком слизнула. Теперь ничего — утихает помаленьку.

— Ну и слава богу! Теперь прощай, Максим Петрович. Вот тебе за приют твой, за твою ласку.

— Очень благодарен, сударь! Позвольте ручку поцеловать! — И он бросился целовать мою руку, которую я не успел отнять.

— Эх, Максим Петрович, напрасно ты это делаешь,— сказал я ему.— Я этого так же не люблю, как ты не любишь, когда тебе «вы» говорят.

— Это дело другое, сударь... чего нельзя, так нельзя... Вы уж лучше не обижайте меня на прощанье-то; а то

я завтра же управляющему доложу, какой необузданный народ наши мужики и какую они вам грубость учинили! — заключил Максим Петрович, весело посмеиваясь.

1862



РАСПРАВА

I

Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.

Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо. На живую руку сбитые ворота с громким скрипом отворяются навстречу стада, и вот многоразличными голосами его наполнилось село от верху до самого, так сказать, до низу. Щелкание пастушеских кнутов, звонкие зазыванья баб, крики и побегушки детей за упрямыми баранами, наконец, оглушающий свист лихача — помещичьего кучера, мешаясь с переливами серебряного дара Валдая и с громким топотом ухарской тройки, всполошившей все стадо, делают из сельской улицы что-то такое, от чего какая-нибудь древняя старуха, случайно выползшая из избы на божий свет, невольно схватывает себя обеими руками за голову и приседает, как бы от чьей тяжелой тукманки. Обопрется старуха о дверную притолоку и стоит — не шелохнется; и довольно долго нужно времени, чтобы дождаться, как старый человек, опомнившись наконец, всем своим кротким и морщинистым лицом окинет уличный содом и, медленно перекрестившись, шепотом вымолвит:

— Знать, уж господь светопреставление наслал на нас!

Слышнее всего раздается по селу громкий бабий бас Федотовой старухи. Высокая и осанистая, стоит она у настежь распахнутых ворот коренастой избы с зелеными ставнями, с высокими скворечнями, с крыльцом из точеных балясин, и своим синим набивным сарафаном, своим ситцевым головным платком, больше всех этих принадлежностей украшающих ее избу, говорит проезжему люду, что изба эта построена первым сельским богачом, миру на удивленье, себе и детям на доброе здоровье.

— Экое житье какое у Федотихи чудесное! По будням уж стала ситцевые платки носить,— тихомолком толкуют соседские бабенки.

— Почто же ей, милая ты моя, в ситцевых платках не ходить?.. Сказывают: старик-то ее четвериком деньги-то меряет.

— Кы-ы-ыть! Кыть! Кыть! — зазывает голосистая старуха своих овец, и, послушные ее голосу, животные галопцем несутся в ворота хозяйкина дома.

— Раз, два, три,— пересчитывает их старуха.— Ох, чтоб вас совсем! Вишь, какие резвые: и перечесть не успеешь. Будет, бабы, тараторить-то вам! Ужинать идите! — зыкнула она на своих семерых снох, которые толковали у колодца с соседскими бабами.

— Погоди-кась маленечко, Федотьевна, ворота-то запирать. Слухай-ка, я те скажу что-то, голубка! — издалека кричала Федотихе маленькая бабочка в сером изорванном зипуне.

— Что надоть? — нехотя спросила старуха, готовясь затворить тяжелые ворота.

— Ох, кормилица ты моя! Кричала, кричала я тебе: погоди, мол, ворота-то запирать, а ты и не слышишь, желанная. Знамо, божья старушка не всякое слово расслышит. Пусти-кась ты меня на двор к себе. Ярочка моя к тебе с твоим табуном забежала. Я у ней, кормилица, ушки выстригла,— сразу узнаю. Пусти, пожалуйста, я взгляну только.

И бабочка хотела было пронырнуть мимо Федотихи на двор к ней.

— Что насилкой-то лезешь? Ай на свой двор пришла? — гневно закричала на нее сварливая старуха.—

Одни только наши овцы пришли,— чужих ни одной нет. Сама видела, как пускала.

— Где тебе увидать-то, божьей старушке? — возражала бабенка.— Ведь они резвые, овцы-то! И не увидишь, как прошнырит мимо тебя.

— Не слепей тебя! — рычала старуха.— Проваливай, проваливай от двора-то, покель цела.

— Что же ты, кормилица, затягать ее хочешь, что ли, ярочку-то? — спрашивала серая бабенка, разгораясь, в свою очередь.

— Нужно мне у тебя, у нищей, последнюю ярку затягивать?.. Поклонись, приди, свою на бедность пожертвую. Вот что!

— Да ишь должно нужно, коли на двор не пускаешь.

— А не пущу — и только. Вот те и вся недолга!

Дальше да больше, слово да другое — и закипела брань. А там за каменья,— насилу мужики розняли. Серая бабочка была прогнана в три шеи сыновьями Федотихи.

— Из ума выжила, старая кочерга! — покрикивал на свою старуху Федот.— Не было за что людям осуждать, так она драться на улице выдумала. Старость твою стыдить не хочу, а плетюганом взбодрить бы надо тебя...

— Ра-а-збойники! — шумела серая бабочка с другого конца села.— Затянули ярку к себе, да еще и хозяйку прибили.

— Что это, в самом деле, Федотовы ребята расходились? — толковали старики, сидя на завалинах.— Словно это они, деньги имеючи, суда на себя знать не хотят. У вдовой последнюю ярку боем отбили! Точно, что следствует завтра за такой ихний разбой в правление всю их семью притянуть.

Вместе с росой, обильно напоившей пожженные летним солнцем травы, пала на село тихая ночь. Вместо людской крикливой жизни по сельским улицам и огородам, по реке, лесу и окрестным полям разлилась могучая молчаливая жизнь ночи; какими-то живыми, приковывающими к себе глаза молниями засверкали на месячных лучах речные волны; из леса полетел чей-то шепот, как бы мощное дыхание какое; в дальнем поле чуть слышно курлыкали журавли. Ежели вы когда одни смотрели в глухую полночь на сельскую природу,— не приметили ль вы,

как в это время обнимает человека что-то такое, от чего сладкий трепет вливается в сердце и дыбом поднимается волос?..

II

Утро. На крыльце волостного правления и расправы кипит огромный, ярко вычищенный самовар. Дымные клубы, вылетающие из него, расстилаются по всей улице и далеко отогнали с крыши воробьев, ласточек и других мелких пташек: расселись они по соседним плетням и деревьям и так-то громко чирикают, словно бы ругают едкий дым, согнавший их с привычной насести, или бы хотят развеселить волостного писаря, который, «расклеимшись маленечко» со вчерашнего похмелья, пьет чай на вольном воздухе, ежеминутно поджидая кого-нибудь из обывателей, с кого бы можно было сдернуть, по крайности, на полуштоф.

— Погляжу, погляжу я на тебя, Василий, мало, братец ты мой, политики в тебе! — говорит писарь своему сторожу, который завтракает огромным ломтем черного хлеба, посыпанным крупною солью.— Натура у тебя самая что ни есть необузданная!

— Што так? — спрашивает Василий.

— Да так! Образованных обычаев ничуть ты не знаешь. Не успел ты, музлан, со сна бельмы протереть, а краюху уписал как следствует. Инда мне тошно смотреть на тебя.

— Эфто, Микита Иваныч, от того вам тошно, что вы вчера оченно много вина эфтого красного пили. Кабы стали, то ись, по одной сивухе ходить, никакого бы, истинно, сумнительства не было.

— Пустяки ты это рассказываешь. Я таперича, кроме как красного, в рот ничего не возьму, потому ты рассуди: что благороднее — красное или простое?

— Точно что, Микита Иваныч, красное малость поблагороднее, зато сивуха — занятнее.

— По морде бы тебя хватить — еще бы занятнее было; да вот вставать лень.

— Ах, и чудаки же вы, Микита Иваныч, страсть какие надсмешники! Только хоть бы што, а Федот Иванов беспременно к вам в правление валит на Козлиху жалиться. Старуху его вчера вечером страсть как Козлиха-то избранила.

— А вот мы их рассудим,— сказал писарь.— Здравствуй, дядя Федот,— отнесся он к богачу.— Подсаживайся-ка вот к самовару: погреемся.

— Это нам к руке,— согласился Федот.— Только будь милостив, Микита Иваныч, пошли-кась ты Василья-то за пол-осьмухой, потому как нам дело до тебя есть, так угостить, поди, тоже потребуется.

— Да уж это как есть. Безотменно потребуется. Были тут у меня вчера барышники из города, вволю красным употчевали; так оно теперь и тово... выпить-то, дружище, самое что ни есть любезное дело будет.

— Вот она, сладость-то! — шутил сторож, вынимая полуштоф и предчувствуя здоровенную выпивку.

— А знаешь ли ты, грамотный человек,— спрашивал у писаря Федот, наливая ему водки,— кто самому этому вину главная причина и отец?

— Ничего мы эфтова не знаем,— отвечал писарь,— кроме как ежели вот дерябнешь с похмелья стаканчика три-четыре, так оно словно повеселее на животе сделается.

— А я тебе про эту причину расскажу. Шел черт по горе...

— Погоди с разговорами-то: я вот еще приспособлю,— перебил его писарь.— Заодно разоряться-то.

— На доброе здоровье... А под горой мужик землю пашет.

— Не так ты, Федот Иваныч, описывать начал,— вмешался сторож.— Оба они, примером, под горою бымши...

— Сидел бы, музланище, да слушал; перенимал бы, как поумней тебя люди разговаривать станут,— наставительно заметил сторожу писарь.

— А я к тому, Микита Иваныч, разговор подгоняю...— оправдывался Василий.

— А ты вот выпей лучше,— угощал его дядя Федот.— А поправлять меня вряд ли, надо полагать, придется тебе.

— Где нам!.. К слову пришлось,— благодарно согласился Василий, учтиво принимая стакан.

Проходившие мужики, чувствуя в воздухе полугарную струю, лакомо облизывались. Федот Иванов радушно приглашал всех, кто был побогаче и позначительней. Выпивка с каждой минутой принимала все более и более широкие размеры, и скоро правленское крыльцо все,

так сказать, зачерпнулось разными сельскими тузами. Сторож Василий бойкой иноходью раза два бегал в кабак, и уже не с полуштофом, а с пузатою четвертною бутылью.

— Запили наши мироеды, должно быть, на много рублев,— с завистью толковали не попавшие в пир мужики.

— Козлихе таперича, бедной, надо думать, дюже достанется, потому всех горлопятов-то Федот Иванов на правленское крыльцо пить созвал,— соболезновали бабенки.

И действительно, с правленского крыльца по всему селу раздавалось пьяное гуденье, обрекавшее на погибель серую бабочку, разбранившуюся вчера с Федотовой старухой. Голос угостителя покрывал собою голоса всех.

— Известно, бабы люты на брань,— толковал он собранию, обнося всех водкой.— Потачки своей старухе я не дал, потому ярка Козлихина в самом деле ко мне на двор забежала. Только рази могла Козлиха сыновей моих ворами и разбойниками, а меня жидом и иудой ругать? Хорошо она это сделала или нет?

— Што тут хорошего...— согласно отвечали прихлебатели.

— Приятности тут точно что малость,— поддерживал писарь, заряжаясь под шумок стаканищем.

— Бездельница она выходит, Козлиха-то, вот что! — с тихой, но просящей улыбкой ввернул свое словцо сторож Василий.

— Што же ты, братец ты мой, по очереди ко мне не подходишь? — с удивлением спросил его дядя Федот.

— Да так, Федот Иваныч; не пристойно нам, малым людям, вравне с богатыми компанию держать,— вежливо отвечал Василий, выламывая стакан.

— Поруху она чести моей великую нанесла,— ораторствовал дядя Федот.— Опять же, в бедности такой находимшись, Козлиха богатому человеку должна уважение всякое воздавать, а она вон куда затесалась — в брань! Ежели бы она с старухи моей за лютость ее не взыскала, я к ярке-то ее баранчика своего еще бы придал; а она, про богачество мое позабымши, сама, сказываю, при бедности при своей пустилась в брань.

— В брань? — раздавалось в толпе.— Ах ты господи!

— Следствует ее теперича сюда привесть и наказание

мирским судом положить,— за то я вас и пою,— закончил дядя Федот.

— Как не наказать? — согласно запел хор.— Бабенка она вдовая, убогая; уму-разуму беспременно научить ее надоть.

— Мы это живо скомандуем! Мы ее, Козлиху безрогую, с одного маху сюда предоставим,— улыбался сторож, накидывая на плечи дырявый армячишко.

— Ббу-у-у! Трры-рр-ры!— заревела пьяная толпа на предоставленную с одного маху Козлиху.

— Ты какими делами занялась? — азартно спрашивал ее писарь.

— Почто ты людей почище себя обижаешь? — кричали из толпы.

А Козлиха стоит так-то, сама в землю потупилась, красная вся. И конфузно-то ей и досадно, потому зло взяло, что за ее же добро ее же и судят теперь на миру и ругают.

— Православные! — взмолиться она было со слезами попробовала,— вы ведь все хресты носите...

А сама пред крыльцом наземь упала, как бы в ноги всему сходу кланялась.

— Вот, сейчас умереть, пречудная бабенка какая! — с насмешливой улыбкой толковал Козлихе арестовавший ее сторож.— Нечего в ногах-то валяться, а лучше штраф приготовь поскорей, потому без штрафу тебе быть невозможно. Рази не видишь, глупая, какая тут махина вина выпита? Должна ли ты после того нас угостить али нет? Сказывай?

— Васильюшка! Кормилец ты мой! Где же я теперича возьму этот самый штраф?

— Ах ты голова с мозгом! — возражал ей Василий.— Рази мир-то без угощения когда расходился? Ему, уж коли он собрался, вот как надобно выпить — вплоть!

— Веди-ка ты ее, Василий, без разговора в чулан,— скомандовал писарь.— Мы ее там ублаготворим. Перестанет она с богатыми людьми в ругательство вступать.

— Отец родной! Микит Иваныч! — завопила Козлиха.— За какую же провинность в сарай меня весть велишь?

— Разговаривай! — крикнул писарь.

Сторож как бы колебался тащить бабенку.

— Я так полагаю, Микит Иваныч, как мое рассужде-

ние есть, может, она насчет штрафу осилит как нибудь,— вмешался он.

— Вправду, может, она как-нибудь на четвертушку собьется. Выпить бы теперича, признаться, знатно бы,— вступились мужики.

— Штраф штрафом,— возразил заступникам дядя Федот,— а блох из нее выпужать беспременно следует, потому я вас для самого этого дела и вином поил.

— Ну ин в самом деле, ребята, прохворостить ее. Што же мы, вправду, задарма, што ли, вино-то пили? — единодушно согласились на крыльце.

Василий потащил Козлиху в пожарный сарай... а между тем услужливая сходка с шумом и гарканьем распивала третью четверть благодарного дяди Федота.

— Вот те и вся недолга! — радостно вскрикнул сторож, взбегая на крыльцо.— Пробрал я ее, как и быть надоть. До новых веников не забудет.

Козлиха съежилась в своем изорванном зипунишке, так что казалась гораздо меньше, чем на самом деле.

— Милая ты моя,— наставительно сказал ей толстый мужик, сходя с крыльца,— поклонись теперь миру да за штрафом как можно скорее сходи. Акромя того, делать тебе здесь нечего. Бежи-кась.

— За что же я буду платить штраф? И где я его возьму? — зарыдала Козлиха.

— Мир тебя на ум наставил, а ты его попоштовать не хочешь? Это, я тебе сказываю, большой ты грех на себя принимаешь, Козлиха,— резонировал толстяк, покачиваясь.— Ты то теперича возьми: чем ты господу богу угодить можешь? Постом и молитвой! Это я тебе истинную правду сказываю. Ты ее и понимай.

— Кормилец ты мой! Да я бы радостью рада, только всего-то на все и денег-то у меня дома два пятака да трынка. Как же вы — эдакая-то ли вас сила сидит на крыльце — пить на них будете?

— Об этом ты не сумлевайся. Об силе у нас другие разговоры будут. А теперича, как всем нам выпить очень потребно, так мы у тебя и избу пропьем, и кур пропьем, и ярку, потому спорить тебе одной со всем миром никак нельзя.

— Это точно! — запел хор на крыльце.

— Как же возможно тебе против всего мира идти, глупая ты эдакая? — суетливо спрашивал у Козлихи сто-

рож Василий.— Думать-то об этом и то нашему брату не приходится.

— Буде, ребята, по-пустому разговаривать с ней,— повел свою речь дядя Федот.— Много ли она со всей худобой-то своей стоит! Грош ей цена и с худобой-то! А вы вот как, я вам скажу, штраф стешите с нее: только бы согласие ваше вышло, а то упоштовать-то во как можно! По горло!

На лицах присутствующих изобразилось самое почтительное внимание.

— Знаете вы, православные, убогая баба Козлиха вдовая, ни роду, ни племени нет у нее. Так я теперича за избу ее даю пять рублев, за двор и за животину, какая у ней есть, тоже пять рублев. Пусть на миру знают, што не притеснитель я какой, не грабитель, а, примером, на убожество ее взираючи, призреть хочу. За ее самое, ежели, то ись, присудить вам захочется эдак, даю десять рублев за посмертную кабалу.

— Счастье к тебе невидимо подвалило,— завидовал Козлихе сторож.— Перекрести рожу-то: в богатом доме жить будешь.

— Это что же такое, Федот Иваныч,— загудели мужики.— Отчего не присудить? Присудить так можно, потому она баба вострая: работать будет исправно.

— Ну так, значит, бежи за ведром, Василий,— обратился Федот к сторожу.

— Это мы с одного маху.

— Отцы родные! — закричала Козлиха.— Ведь старуха-то Федота Иваныча поедом меня живую съест, коли вы так-то присудите.

— Счастья своего не понимаешь! — сказал ей толстый мужик.

— Истинно, господь-то велик и многомилостив к сирым,— закончил рыжий дьячок, тоже затесавшийся в мирскую ватагу.

III

Опять вечер, только уж поздний вечер. И стадо давно пригнали, и в ночное уехали. Тишь обняла сельскую улицу, млеющую от ласк прохладной росы ночной, задумчивую и печальную улицу, которую, как бы пугливую

молодую невесту, жених-месяц обливает своими золотыми и серебряными блестками.

— Вот чудесно мы Козлиху просватали,— говорил соседу урезонивавший ее толстый мужик, возвращаясь с ним с великого пира.

— Просватать-то мы, сусед, точно что ее просватали, только же и миру суд у господа бога, сам знаешь, будет какой! Не будет там отлички-то богатым от бедных, пойми ты это. Ведь мы ее, Козлиху-то, за ее же добро с корнем вон вырвали.

— А рази она первая? — спрашивал толстяк.— Рази теперича мир без угощенья может прожить? Опять же она не бранись! Знает, что богатый мужик, а на задор лезла. Рази он ее одну за свою обиду искоренил? Ведь видела она, что мир с ним спорить не может.

— Знаем мы эти пословицы-то: с сильным не борись, с богатым не тягайся; все же таки господа бога мы позабыли, правду в кабаке пропили...

— О господи! господи! — боязливо прошептал толстый мужик, перекрестившись.— Все-то дела вино сочиняет.

— Васька! — громко раздался из глубины правления голос пьяного писаря.

— Чего изволите, Микита Иваныч? — отзывается сторож.

— Поди к Кулаковым: квасу мне у них со льдом возьми. Скажи, мол, писарь велел.

— Ходил я к ним от вас онамедни: через великую силу выпросить мог. Говорят: часто вы к нам посылаете.

— А ты им скажи: «В бараний рог, мол, вас писарь согнет за такую обиду. Рази, мол, не видели, как ныне дядя Федот с Козлихой расправился». Искореню, ежели не дадут. Так и скажи.

Из угловой закутки Федотова двора по всей улице разносится громкое вытье закабаленной Козлихи.

— Поори, поори у меня еще, прынцесса. Я те тогда не так еще уши-то оболтаю! — орет на том же дворе басистая Федотова старуха.— Теперь наших рук не минешь. Сто на ассигнации мужу-то стоила ты.

— Известно, не мину твоих рук,— плачет Козлиха.— От них теперича и в гроб должна лечь.

Только и было во всем селе человеческих голосов в эту дивную пору ночи. За ее восторгающие красоты хва-

лили господа одни голоса животных и птиц, а люди все без исключения были глухи и слепы к чарам полночного мира.

Грозный, как эта грозно царящая ночь, грянет некогда суд на людей и обстоятельства, которые заслепили столько глаз, не видящих чужого несчастья, которые притупили столько душ, не благоговеющих теперь перед светлым лицом природы, перед этим вечным храмом истинного бога живого.

1862



«КРЫМ»[1]

I

Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами... И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что что́ умерло, то не воскреснет. Все эти пошлые и, когда находишься в редком припадке здравомыслия, комические жизненные комбинации, омертвившие меня, как бы при самом светлом сиянии солнца воочию проходили передо мной в тот вечер и несказанно бесили меня.

Но пусть не смущаются лица ваши! Вы, может быть, предположите, что я сейчас пущусь в подробные россказни о грустных думах моих, или же вам покажется, что я хочу несчастья мои, так сказать, перелить в ваши чувствительные души и тем хоть несколько облегчить их сокрушающую тяжесть. Ничего не бывало! При всем том, что я только Jean de Sizoy, у меня всегда найдется настолько такта, чтобы не становить вас в положение человека, которому насильно навязывают многотомную повесть о сокрушившем рассказчика горе. Такое положение, при всей

---

[1] Один из московских трактиров *(примеч. А. И. Левитова)*.

его видимой приложимости к нашему заведенному обществу, до крайности исполнено комизма. Я постараюсь нарисовать вам его, насколько перо мое окажется способным к этой рисовке.

Перед вами ваш бедный, несчастный друг. Сначала вы даже обрадовались ему; только, беседуя с вами, ваш друг все больше и больше начинает впадать в меланхолический тон, так что в вашем мозге пробегает наконец желание, чтоб он поскорее окончил свою исповедь.

— Так-то вот в жизни моей все располагало меня сделаться таким, каким ты меня видишь теперь! — дрожащим от волнения голосом говорит вам страдалец.

Может быть, он и в самом деле имеет основание говорить таким образом, но вы, не желая дать ему заметить, что такая история вам давно уже известна и давно уже наскучила, дураковато таращите на него глаза, тщетно стараясь выказать в них ожидаемое сочувствие, и думаете: «Боже мой! Что это за сентиментальный шут на меня навязался!»

Жалобы и глухота к этим жалобам, по моему мнению,— постоянная и неизлечимая болезнь человеческого рода. От века, верую, никто из людей не находил таких фраз, которыми бы он так удачно мог передать своему другу про свое несчастье, чтобы тот понял его как следует; точно так же верую и в то, что и я не найду их, да, пожалуй, если б и нашел, если бы вы даже поняли их и заплакали над моей горемычною долей, о которой я думал, не зажигая своей лампы, мне, собственно, невозможно было бы поверить искренности людских слез, потому что в моей жизни я очень много видел слез по чужим заботам и весьма мало дела, которое бы хоть несколько облегчило эти заботы.

Вам, не спорю, может быть, не стоит ни малейшего труда расказнить во мне такой нечеловеческий скептицизм по отношению к обоюдному сочувствию существ, созданных быть братьями; но поверьте же и вы мне, когда я скажу вам, что прозвище мое «Иван Сизой» я имею намерение в самом скором времени заменить псевдонимом «Иван Сивый», потому что то постоянное самое каменное равнодушие, то самое звериное непонимание, с которыми люди, от каких я имел право ожидать совершенно обратного, встречали и мои для них жертвы, и мои на них надежды,— сделали из меня, по-настоящему, еще

бы здорового, свежего малого, какого-то ни к чему не годного сивого мерина, разбитого на все четыре ноги.

Для всех вас вообще, конечно, нет большой беды, если какой-нибудь Иван Сизой, вследствие различных соображений, переменяет свою фамилию; но могу вас уверить, что, в частности лично для Ивана Сизого, нет больше беды, как тогда, когда он думает о том, куда именно разлетелись его силы, весьма необходимые ему в настоящем случае для того, собственно, чтобы не дать себя обуть в лапти тогда, когда на его ногах еще не совсем развалились кожаные сапоги. Не доказываю справедливости моей мысли на том основании, что для этого мне неизбежно пришлось бы удариться в лирический тон, с которым я дал себе слово распроститься навек, ибо лиризм — враг мой. Выходит всегда как-то так, что он уменьшает цену печатного листа...

По этому случаю идиллия моя да начнется таким образом: от ненастного, осеннего вечера и от безобразных мыслей, которые тискались в голове моей этим вечером, я ощутил какую-то кислоту во рту и до смерти томившую сердце боль. А когда я нахожусь в таком состоянии, мне обыкновенно начинает хотеться чего-нибудь такого острого, чтобы обожгло горло и грудь и, отуманивши голову, вместе с тем, как говорится, отшибло бы память. Аппетит на эти вещи, говоря в скобках, свойствен более плебеям, нежели аристократам, хотя и последние, по части удовлетворения сказанного аппетита, «тоже тово»... Выражаясь определеннее, я откровенно сознаюсь в том, что, когда представления о выпавшей мне «красной» доле уже слишком загомозятся в моей голове, я обыкновенно отправляюсь купать мое горе в волнах того моря, которое погубило у нас столько же печалей, сколько и радостей...

Мир вам, погибшие жизни! *Да не в суд и не в осуждение* вам, а в знак моей искренней печали о ваших судьбах бесталанных скажется слово мое о той широкой дороге, которою по следам вашим зашагал я ко цареву кабаку.

* * *

Всепоглощающею пропастью зияли длинные улицы, где шел я. Тускло освещенные ночными фонарями, они казались какими-то неведомыми областями, где безвоз-

вратно должно затеряться и погибнуть всякое живое существо. Так были мрачны и угрюмы лица этих каменных столичных громад, с такой пугающею силой выглядывали они из ночного мрака, что все существо ваше проникалось каким-то безотчетным томлением при виде этой силы, тем более что если бы вы глаза ваши, утомленные этой мучительною картиной, захотели развеселить блеском звезд ночного неба, на вас бы глянули оттуда серые, неопределенные массы, которые напугали бы вас более, нежели напугали бездушные здания. Волнуясь, как что-то живое, в необозримом воздушном пространстве, массы эти, казалось, быстрою мыслью летят на вас с дальнего неба — и давят и давят...

Мне очень трудно теперь, больному, передать мои дальнейшие дорожные ощущения. Я совершенно забыл тот момент, когда сознание покинуло меня. Вот, например, эту фразу говорил уже не я, а какая-то дикая машина, ударявшая кулаком по столу, уставленному графинами и рюмками:

— В прощении? Я, вы говорите, нуждаюсь в прощении моего общества, потому что безобразно якобы трачу свои заработанные деньги?

Передо мной сидел в это время юный еще господин, весь, впрочем, заросший бородой и бакенбардами. Мне и в голову не входило постараться определить себе, где и как я с ним встретился. В комнате носился удушливый чад; в чаду роились какие-то лица; где-то, весьма издалека, для моих ушей, по крайней мере, гремела музыка. Десятки тусклых свеч слепили глаза; общий шум разламывал голову.

— Чашу сию обойти весьма можно! — орала моя дикая машина в поучение господина, очутившегося со мной за одним столом.— Мне не нужно прощенья от общества, которое вынашивает в своей среде людей, способных так пошло, как вы и я, например, пьянствовать на заработанные деньги.

— Но ежели вы не будете искать в обществе снисхождения к вашим недостаткам, ежели вы намеренно не будете воздерживать себя от оскорбления общества вашим поведением, оно непременно выгонит вас! — в свою очередь, поучал меня мой юный приятель.

— А вы думаете,— гремел я,— человек, понимающий,

что он сосредоточил на себе справедливое презрение своего общества, сделается от этого изгнания несчастнее того, чем он есть? Не сделается! Тем более он не сделается несчастнее, когда будет иметь хоть какие-нибудь данные заподозрить справедливость этого презрения. А коль скоро вы имеете хоть маленькое понятие о том, как на наших базарах дешевы эти данные, вы сейчас же неминуемо согласитесь с тем, что вашу фразу об изгнании из общества можно перевернуть таким образом: я сам изгоню от себя общество, которое намеревается изгнать меня, потому что не кто другой, как только одни впечатления, навеянные на меня картинами этого общества, доставили мне честь пьянствовать с вами в этом бездонном омуте. Я очень хорошо понимаю, что лично от себя говорить такие вещи — пошлость; но разве это даст вам возможность не согласиться со мной, что ни одна из разлучающихся сторон не прольет друг по друге слез сожаления?

— Ваше высокоблагородие, соблаговолите до шкальчика доложить отставному служивому,— вмешалась в нашу беседу пьяная, оборванная личность.— Потому как,— продолжала личность,— собственно для-ради ненасытной погоды старые кости желательно разогреть.

— Скажи мне,— спросил я старика,— ты изгнал от себя общество или оно изгнало тебя?

— Точно что, ваше высокоблагородие, «обчество» выгнало меня — отставного солдата — из села, аки бы за пьянство и кражу; но мы эфтому — глаза лопни! — причинны никогда не бывали.

— Почему же ты сам не выгоняешь его от себя?

Служба ответил на этот вопрос тупым и бессмысленным взглядом.

— Да! — с громким хохотом переспросил его юный господин.— В самом деле, отчего ты сам не выгонишь его от себя?

— Позвольте папиросочкой затянуться,— с поощряющей к дальнейшим шуткам улыбкой разрешил старичина нашу спорную тему.— Стаканчик прикажете вам налить, ваше высокоблагородие? — мгновенно впадая в роль верного слуги и доброго собеседника, осведомился затем старик.

— Однако же отделаться бы от него как-нибудь! — заговорил по-французски мой юный друг, коверкаясь и

даже как будто изнемогая при виде стариковской фамильярности.

— А вы, должно быть, одни хотите изобразить собой презирающее и изгоняющее общество! Вам жаль водки этому солдату!.. В таком случае я один заплачу за него, чем вы и я фактически докажем друг другу справедливость наших убеждений.

— Помилуйте! — сконфуженно произнес волосатый юноша.

Я посмотрел на него с улыбкой победителя.

II

Теперь мне надо доложить вам, каким образом я дошел до пошлости спорить с первым встречным, бог знает о чем, в грязнейшем трактире. Быть может, вам подумается, что такая материя не займет вас. Уверяю, что займет, и даже очень.

Сказано уже: куда, по какому случаю и за чем именно пошел я. Так вот, иду я, а на дворе осенняя ночь,— знаете, такая ночь, которая делается в несказанное количество раз приятнее и усладительнее, когда ее частый и мелкий, как из сита сеющийся дождь падает не на циммермановскую шляпу и не на бобер рубликов эдак в полтораста с чем-нибудь, а просто на клеенчатую фуражку, оставшуюся, так сказать, от летнего сезона,— когда этот дождь хлещет вас прямо по разгоревшемуся лицу, холодными струйками закатывается за воротник вигоневого мешка, приобретенного за четыре рубля у парикмахера Борисова, который, как энергично свидетельствуют «Полицейские ведомости», живет на Лубянке в доме духовной консистории.

Не могу не сказать здесь в скобках, как приятно иметь дело с сим чародеем, могущим снабжать смертных пальто за четыре рубля; потому что купленная у него покрышка главным образом и располагает к надлежащей оценке прелестей осенних ночей. Покрышка эта имеет почему-то способность делаться еще более жалкою в такую пору. Она, говорю из собственного опыта, будит уснувшую злость, располагает к подлым и омерзительным помыслам о том, как бы купить сапоги не на толкучке, а у мосье Пироне, приобресть пальто не из мастерской Борисова в доме духовной консистории, а от Боргеза или

Айэ,— и главное: зазывает в голову грызущую мысль о том, почему еще не сделано тобою ничего такого, что бы стоило дороже того оборванного тряпья, которое в настоящее мгновение почти уже готово сползти с невыносливых плеч...

И в колеблющихся волнах ночного мрака, как бы какие живые картины, освещенные бенгальским огнем, восстают по этому поводу в задумавшейся голове мучительные думы о невыносливых плечах, о погибших жизнях, об обманутых надеждах. К самой груди пригнет голову эта тяжесть, и идешь, не примечая, как резкий ветер, забравшись к тебе в самую душу, дотерзывает там источенное различными червями существование,— идешь, не чувствуя на лице хлестанья крупных дождевых капель и не видя того тусклого, унылого света, которым уличные фонари освещают унылый путь.

Таким-то образом шел я и думал по поводу борисовского изделья, висевшего на мне, до тех пор, пока обильно лившиеся из окон «Крыма» огни не осветили мне широкой площади Цветного бульвара.

Мои собственные думы всегда немеют, лишь только я ступлю на эту площадь. И в настоящий раз онемели они при виде несчастья, которое обыкновенно снует по Цветному бульвару, оглашая его и хриплыми воплями разврата, и пугающим хохотом человека, ставшего в уровень с бессловесными животными...

Опьяневши от одного уже взгляда на «Крым», я ерундисто начинаю рассуждать о тех благоприятных обстоятельствах, которые бы могли положить конец несчастью Цветной площади, но обстоятельств этих ничуть не виделось мне во мраке осенней ночи...

Кто имеет право любить выпивку, тот вполне поймет, с каким неописанным наслаждением юркнул я, после помянутого похода, в глубокое крымское подземелье, где непременно должна закружиться всякая голова, если она имеет хоть немного желания и причин закружиться.

Пятнадцать или, может быть, десять ступеней, которые ведут в рекомендуемую мною могилу, не великая беда. Мы пройдем их если не без толчков, за которыми, по пословице, не угоняешься, по крайней мере, без особенных приключений.

— Господ уж стал сюда черт носить! — бурлит с злостью какая-то толстая колонна с большой черною бородой, выкатываясь снизу навстречу к нам.

Избави вас бог спрашивать у колонны, что ей за дело до вашего визита в «Крым»: на дворе такая темная ночь...

— Извозчик! — кричит молодей парень, видимо, мастеровой.— Что возьмешь на Девичье поле? Там ты меня подождешь, примером, пять минут, с Девичьего поля на Покровку, там тоже пять минут, с Покровки к Сухаревой и духом назад.

— Што взять-то? — спрашивает один дядя из целой толпы извозчиков, облепивших «Крым» своими калиберами.— Давай целковый.

— Облопаешься неравно! — с укоризной предполагает молодой парень.

— Сколько же дашь-то?

— Сколько дам-то?..

— Да, сколько от тебя будет?

— Трынку! — с хохотом отвечает парень, быстро сбегая в подземелье.

— О-ой, батюшки! Шлею с лошади в одну минуту сняли! — кричит кто-то за трактирным углом.

— Вот нам и чай! — продолжает хохотать промелькнувший сейчас парень, затворяя за собою визглявую трактирную дверь.

— А-а, чертов сын, попался! Мы тебе дадим таперича, как у своих извозчиков шлеи воровать.

Вслед за этими словами слышатся глухие удары обо что-то, будто кто в пустую бочку для своего удовольствия колотил собственным кулаком. Подумать, впрочем, чтоб это били человека,— нельзя было, потому что человек тот, по всем соображениям, непременно должен бы был закричать от этих ударов.

— Што тут такое? — вопрошает басистый начальственный голос, очевидно, принадлежащий городовому.

— А вот шлею украл.

— Кто ж это?

— Хто? Известно хто! Все Евланька Фуфлыга бедокурит.

— А! — строго вскрикивает басистый голос.— Так ты опять у своих воруешь?..

И замолкшие было удары раздались с новою силой.

— Брось его, судырь! — просят ундера уже сами извозчики.— Отойди уж ты лучше: мы его без тебя-то своим судом прокладней отделаем...

— Глядите вы у меня, чертоломы! Душу чтобы не тово...

— Што-о на-ам ду-у-шу? За-а-чем нам ее? — отвечал кто-то, судя по тону голоса, к чему-то напряженно прикладывающий руки.

— Батюшки, отпустите! Голубчики, дух у меня совсем займется!..

— Завопил небось! Мы те, ворище, не так разбодрим.

Ночью гораздо больнее, нежели днем, действуют на душу такие крики: так зло моргают уличные фонари, слушая их, и к тому же ночное небо такое серое, такое безучастное повисло над ними!

Вы как будто испугались этой маленькой отечественной сценки и уже боязливо ступаете назад. Напрасно! Она в моих глазах заключает в себе тот аромат национальности, который всегда притягивает меня к «Крыму», как пахучая гречиха притягивает к себе работницу-пчелу.

Повинуясь этому тяготению, я отверзаю трактирную дверь. Крикливое визжание рокового блока достойно приготовляет нервы к безболезненному восприятию сцен, разыгрывающихся в оригинальном подземелье.

Сначала ничего и не разберешь, потому что клубы густого и однообразно пахучего воздуха не вдруг показывают посетителю частности русской оргии. Они повисли над новым человеком плотною тучей, как бы пристально осматривают его, желая прежде узнать, рожден ли он с способностью участвовать в укрываемой ими каше или нет.

Кто благополучно проминет этот осмотр, тот пусть смело идет дальше: оргия уже не испугает и не оглушит его своим дружным и никогда не прерывающимся ревом. Надо, впрочем, сказать, что и такой счастливой головище покажется на первый раз, что этот тысячезевный шум происходит не от множества людей, крутящихся в подвале, а что самый подвал этот, его толстые серые стены, его маленькие грязные оконца, его закопченные потолки и мебель, газовые рожки, торчащие в стенах, и длинноногие столовые подсвечники — все это, как что-

то живое, будто обрадовавшееся новому гостю, двинулось к нему навстречу и заорало этим могучим гулом.

Но, говоря об этом вакхическим вихре, я или должен лить воду для того, чтобы не услышать упреков в излишнем лиризме, или, рассказывая о том, как под мрачными сводами харчевни экстазически бесновалась песня солдатского хора, как сияли лица, певшие и слушавшие ее, какими сердечными воплями радости и наслаждения отзывалась русская природа своим родным мотивам,— я сгорю в пламенном ливне жгучих фраз, который неизбежно польется с губ моих, когда я отдамся изображению этих, исполненных неудержимой страсти и невыразимого своеобразия, сцен.

Но что мне за дело до людских попреков, от которых ушел я сюда! Разве они не помогут мне забыть все на свете — эти скорбно-могучие мотивы родной песни!

Вот они всего заливают меня. Ого! Как здорово выносит их крепкая солдатская грудь! Бубен — так и тот ничуть не заглушает ни однообразную басовую ноту, которая невообразимо терпеливо тянет:

Сво-во празд-нич-ка дож-ду-ся,
Во гроз-на му-жа вцеп-лю-ся!—

ни горячих переливов занозистого тенора, с злостью подхватывающего:

Во грозна му-жа вцеп-люся,
На смерть раздеруся!

И фистула тут же — этот кудрявый, белокурый, маленький кантонист... Господи! Какими грустными, какими раздирающими тонами покрывает весь хор его серебряный голос:

О-о-о-ох! На смерть раздеруся!

А опять: этот черный кузнец-плясун, в пестром халате, в сапожных обрезках на босую ногу, в истасканной фуражке на бедовой голове,— как это он бойко и выразительно блеснул в толпу своими черными глазами, как незаученно ловко тукнул о пол толстою подошвой, когда хор дружно грянул изо всех грудей заключительную строфу:

На смерть раздеруся!

Оглушительный вскрик тенора, слившись с трелями колокольчиков бубна, закончил песню. Весь «Крым»

бесновался до неистовства. Один молодчина упал на четвереньки и ревел от наслаждения, как дикий зверь.

— А-а-атлична! — кричал он.— Подать солдатам водки на пять целковых!..

III

Только что спетая песня еще пуще разожгла оргию. Новые толпы ввалились в подземелье. Вскоре между прибывшими гостями и гостями старыми завязались драки из-за столов. Четвертаки за одну только очистку сиденья давались бесспорно даже такими людьми, которые, судя по их жалким отрепьям, четвертака во сне никогда не видали. Как собаки по стаду, метались половые в публике, усмиряя ее порывы; городовые, строго покручивая рыжие усы, тоже маршировали по залам, как бы высматривая что-то; но ничего не усмиряло публику. Она отдалась влиянию полночного кутежа и, нисколько не стесняясь рыжими усами, могуче бурлила.

— Што, дяденька, ходишь? Ай тятеньку с маменькой высматриваешь? — спрашивает у ундера молодой мастеровой с красною, как огонь, физиономией, с игриво горящими глазами.— Не бывали еще ваши, сударь, тятенька с маменькой. Вот мы таперича без них и погуливаем. Хорошо погуливаем, а?

Ундер бросает на парня взгляд, исполненный самого магнетического сурьеза, и приказывает ему посократить безделицу горло-то, на том основании, что он еще сосунок, которого из трактира следует по затылку турить.

— Ты-то стар ли? — спрашивает мастеровой ундера.

— Я-то стар! — с сознанием собственного достоинства отвечает полицейский.

— Постарее тебя у нас на селе кобели важивались, одначе же мы им хвосты знатно гладили.

— Это точно! — подхватывают с хохотом на других столах.— Гляди, как бы и тебе не погладили хвоста-то, а то он у тебя сер что-то, хвост-от.

Ундер в немалом конфузе ретируется в другую залу, стараясь, однако же, так устроить свое отступление, чтоб оно вслух говорило, что мы, дескать, грубостев таких не расслышали, а то бы беда была...

— Напрасно вы к этому ундеру, господа, своих рук

не приложите,— говорят некоторые кринолины,— мужчина самый что ни есть необразованный и гордый.

— Что ушло, то не уплыло! — отвечают господа кринолинам.— Попадется в руки, натерпится муки.

Между тем великосветские манеры моего случайного знакомого неимоверно бесили меня, потому что чем дольше сидели мы с ним в зловонном трактире, тем больше он пропитывал харчевенную атмосферу своими тончайшими духами, так что самые нахальные крымские глаза без какого-то смущения и даже как будто бы страха не могли выносить блеска опала в его золотой булавке, и в то время, когда, казалось, самые стены подземелья хотели лопнуть от шумного скопища, тискавшегося в нем, около нашего стола непонятным образом был некоторый простор.

«Черт его побери совсем! — злобно думал я про моего элегантного друга,— угораздит же человека, одетого в такую изящную жакетку, в галстухе которого блестит, наконец, такое сверкающее произведение фульды, затесаться в «Крым»! Кажется, мне придется хорошенько раскровянить его».

И, клянусь вам, раскровянить этого молодца непременно бы следовало, потому что его барство до крайности напугало присевшего к нашему столу старого солдата. По его задумавшемуся лицу я очень хорошо видел, что солдат так же, как и я, с большим удовольствием съездил бы в физиономию к баричу. Несмотря на мои поздравления с *поднесеньевым днем,* которыми я хотел расположить воина к усердной выпивке, он весьма нерешительно и с большим сомнением опоражнивал рюмки, видимо, стараясь улизнуть от нас, и если что-нибудь удерживало его от исполнения этого желания, так опять-таки опасение, чтобы франтовитый барич не учинил с него за это бегство какого-нибудь строгого взыска. Видя такое фальшивое положение, в которое компаньон мой, хотя, может быть, и неумышленно, ставил солдата, я с каждою минутой все больше уподоблялся бульдогу: в моей груди довольно громко послышалось, обыкновенное у меня в подобных случаях, хриплое ворчанье, потому что на людей, имеющих возможность устраивать другим положение вроде такого, в каком был отставной солдат, я не могу смотреть без бешеной злобы. Это мой недостаток, и говорить мне про него решительно не следовало бы,

но надобно же наконец карать общественные пороки. Я и караю их в моем собственном лице.

Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизм, ежели вам это понравится; но ведь я зачем пришел в «Крым»? Я пришел в «Крым» с тою целью, чтобы смотреть целую ночь многоразличные виды нашего русского горя, чтобы, смотря на эти виды, провесть всю ночь в болезненном нытье сердца, не могущего не сочувствовать сценам людского падения,— чтобы скоротать эту ночь, молчаливо беснуясь больною душой, которая видит, что и она так же гибнет, как гибнет здесь столько народа.

И вот когда уже настолько всмотришься в эти сцены, что по лицу каждого актера, участвующего в них, сразу будешь узнавать его жизнь, столь трагически заканчивающуюся теперь в кабаке, когда весь этот шумный рой лиц будет казаться тебе чем-то целым, самым тесным образом родственным с тобой, когда, наконец, в этом непонятном, как шум волн морских, гуле толпы я приучился слышать стоны заблудшего брата,— в это время между этой беснующейся толпой и мною вдруг стала посторонняя, безучастная фигура, приличная сама по себе и вдобавок, как бы назло, старающаяся казаться еще приличнее.

«Разве он не мешает тебе?» — нашептывало мне что-то донельзя ощутительно засевшее в моей груди под самою ложечкой.

«Я отойду от него: он мне действительно мешает»,— отвечаю я шепоту.

«Отойдешь? — презрительно вскрикнуло что-то в груди у меня.— Вот так воитель! Ха-ха-ха-ха!» — раскатывается оно звонким хохотом, покрывшим собою все крымские голоса.

Мне казалось, что все слышат этот хохот и смотрят на меня. С какою-то стыдливою боязнью я поникнул на стол головою, чтобы не видеть ожидаемого взгляда.

«Вот так воитель! — повторяло выскочившее из моей груди какое-то маленькое существо, вроде козлика, быстро прыгая по стаканам и рюмкам, наставленным на столе.— Тут не отходить нужно, а сцепиться нужно с ним насмерть. Либо тебе, либо ему! Вот как сцепиться, чтобы другие к вашей драке и подступиться боялись!..»

«Да за что же я драться с ним буду?» — спрашивал

я козлика, как бы умоляя его, чтобы он не наказывал меня в случае, если б я не стал драться.

«Как за что? — азартно кричал на меня бесенок.— Не видишь разве, как этот франт издевается над крымскою грязью? А ты сам разве не та же крымская грязь? Ну-ка размахнись во всю руку да царапни его хорошенько. Видишь, как он булавкой своею заслепил всех, как все сторонятся от нашего стола? Ты, впрочем, может, думаешь, что он лучше «Крыма»?»

«А ежели крымскую грязь отстраняет от этого господина не один блеск его булавки,— возражаю я моему искусителю, все еще лежа на столе,— но и...»

Бесенок не дал докончить мне мою речь.

«Ах ты, шут гороховый! — заорал он на меня своим пронзительным голоском.— Ну, договаривай: «но и нечто магнетическое, пожаром горящее в черных, бездонных глазах величественного незнакомца, потрясало до самого основания дикую толпу невежественной черни»... Пьяный паяс! — в крайнем гневе ругало меня маленькое существо,— когда перестанешь ты так пошло лиризировать?»

Разозлившись, в свою очередь, на чертенка, я бросился ловить его, но он, как молния, летал по залитой вином салфетке и с насмешливыми гримасами орал мне:

«Какой же ты Иван Сизой, когда не можешь дать трепки этому барину! Ты после этого просто-напросто негодная дрянь, а не Сизой».

— Ну, господа,— звучал в мои уши чей-то толстый бас,— барин-то, надо полагать, до чертиков тюкнул. Вишь, пальцами-то как перебирает. Представляются теперь ему черти-то: вот он их и ловит.

В моей голове, чувствовал я, будто бы птица в клетке, билось и трепетало что-то. Я старался уверить себя, что это пройдет, и продолжал гоняться за ругавшим меня чертенком.

— Было нас трое братьев у батюшки,— слышался мне чей-то голос,— а батюшка у нас по старой вере был, и все мы тоже по старой вере. Годов тридцать тому уж прошло. Выучил нас, братьев, читать один старец. Ну и пошли братья по своей торговле, а я к книжкам очень припал. Такая, то есть, охота учиться у меня была,— ночи, бывало, не сплю, думаю, как бы это мне книжку получше достать. Только познакомься я в это время с студентом одним,— все он у нас в лавке чай и свечи

покупал,— видит он такую мою охоту к ученью и говорит: «Беспременно вам надо в университет поступить, потому способности имеете чудесные».— «Тятенька,— говорю я отцу после таких речей,— наймите мне учителя, потому я в университет поступить имею желание». Как же со мной поступил тятенька?.. Взял меня, обратил лицом к двери и швырком на крыльцо бросил. «Вон! — говорит.— Чтобы нога твоя на мой порог не ступала!» Только все же я от швырка того горбы теперь и на спине и на груди имею... Не сробел я, однако. На своей воле, думаю, еще свободнее мне будет свое удовольствие сделать. Торговать стал и на пятый год в двадцати тысячах был. Узнал про это отец, напустил на меня людей, которые со мной тяжбу затеяли и в какой-нибудь год, таскаючи по судам, совсем меня разорили. Пришло дело к концу, я опять принялся и опять разбогател. Только и тут отец мне не дал спокою, опять разорил, потому капиталы у него и знакомство везде,— не всякий с ним сладит. Да так-то он меня, судари мои, три раза с корнем вон вырывал! В четвертый я уж и пробовать не стал. Заодно, мол, погибать-то!..

«Совсем позабыл, кто написал эту песню?» — думаю я про себя, потому что во время этого рассказа расстроенная шарманка наяривала какие-то мотивы, каких я отроду не слыхал.

Я, донской казак,
В тяжкий плен попал...—

уныло напевал кто-то, должно быть, подле самого нашего стола.

«Да! так это донской казак написал эти стихи»,— припоминаю я и чувствую, что мне очень хочется спать.

«Слышал?» — спрашивает меня чертенок, балансируя на носике чайника.

«Слышал»,— отвечаю я.

«Что же не бьешь?»

«Не могу».

— Да выпейте стаканчик водицы, пожалуйста! — упрашивал меня отставной солдат.— Ей-богу, сразу бы вас отпустило!

— И воды не могу.

— Да вы поневольтесь.

«Не можешь? Так-таки и не ударишь?» — настойчиво пристает ко мне миниатюрный козлик.

«Не могу».

«Пьяный шут!» — кричит он мне и, уклоняясь от моего порывистого за ним движения, быстро перелетает с носа чайника на газовую трубку над моею головой. Я бросаюсь за ним к газовой трубке, но он уже, видимо для меня, обратился в синий летучий дым, который насмешливо колебался в своем полете к мрачному трактирному потолку на высоте, недоступной для моего роста.

Бурный трепак бушевал между тем в зале. В одно и то же время мне страшно хотелось и смотреть на этот трепак, и поймать чертенка; но, почувствовав наконец, что ни одно из этих желаний исполнено быть не может, я горько заплакал...

— Не мог-гу! — враз отвечаю я и солдату, усиленно потчевающему меня холодною водой, и самому себе, когда лихая дробь низалась мне в уши и сманивала вскочить со стула, крикнуть изо всех легких: браво! и вырезать с плясуном по злейшему стаканищу.

— Как же мы, как мы жить с тобой будем? — спрашивал тоскливый женский голос.— Ведь он меня, барин-то, сам сюда подвез. «Вот, говорит, теперь твое место, а мне ты не нужна больше».

— Это нам единственно все равно,— смело отвечал кто-то на этот голос.— Потому как с самого того дня, как тебя к барину на сени взяли, а меня по оброку угнали, ни разу ты у меня из ума не выходила.

— Ведь дела-то делать,— продолжала женщина,— я ни одного не умею, кроме как чай по целым дням пить да платья дорогие носить. Я тебе, голубчик ты мой, большой тягостью буду, пока к работе не привыкну ко всякой.

— Об эфтом ты не крушись! Помаленьку привыкнешь.

Маленький чертенок вытянул в это время ногу свою так длинно, что с потолка достал ею до моей головы. Поталкивая меня ногой и в голову и в спину, он с какою-то презрительною злостью спрашивал меня:

«Пьяное животное! И тут не ударишь?»

«Не видишь разве, что не могу? Отстань!» — мысленно только мог отвечать я ему, потому что язык мой не ворочался, отчего я зарыдал сильнее прежнего. Впрочем, не от одного только отсутствия надлежащей силы в языке моем рыдал я. Все, что только мог я расслушать изо

всего этого гула, издаваемого крымскою ватагой, непременно были только одни рвавшие душу жалобы на горькую участь.

Вот перед нами маленькая безобразная старуха, давным-давно обрусевшая полька. В ней решительно нет следов человеческого образа: так передернули и изморщинили лицо ее зверские нужды.

— Будет, бабушка, показывать тебе виды Берлина и Лондона, Баден-Бадена и Ниццы,— ты лучше расскажи нам, как ты сама очутилась у нас.

Дрожит и трясется старуха, принимая угостительную рюмку. Обрадовалась она доброму случаю, дающему ей возможность хоть несколько времени покипеть старым, охладелым телом.

— Вот здесь родилась я,— начинает она свой рассказ и подводит к своей панораме, где, освещенная тусклою сальною свечой, показывается гордая Варшава.— Пустите-ка, пустите-ка, я сама посмотрю: давно не видала,— и старуха впивается глазами в родную картину.— Мати божия! — вскрикивает она,— как хорошо здесь было! Я забыла, сколько времени прошло тому,— прибавляет бедная в тяжелом недоумении, как будто до настоящего мгновения она верно помнила длинный срок того времени, а теперь вдруг забыла.— Наехали в эти места жолниржи ваши, а я тогда красавицей была: всех огнем палила. Маленькая такая, черная,— старуха становится в бойкую позицию и показывает, какая она была маленькая, черная и как она всех огнем палила.— Увез жолнирж — и бросил!..— грустно повторяет она таким тихим, молодым голосом, который всякому воображению непременно представил бы, как ее, грациозную и полную страсти, увозили тогда паны-жолниржи на свою потеху и ее страданье.

Обыкновенная история; но не понимающие эффектных драм люди отовсюду говорят старухе:

— На-кась тебе, бабушка, семитку.

— Поди, я тебе покажу нашу Варшаву,— благодарит старуха.

— Рюмочку, старушка, поди пропусти!

— И тебе покажу. Погоди только немного. Что, лучше небось Москвы-то?

— Москва, бабушка, прямо тебе сказать, не в пример лучше Аршавы.

— Папиросочки не хочешь ли? — спрашивает у польки кринолин, внимательно следивший за ее рассказом.

— Не курю я их, милая. Тогда девушки не курили, а у вас не привыкла.

Кринолин конфузится.

— На вот, бабушка-голубчик, продай кому-нибудь,— и при этом кринолин, в сильном замешательстве, сует старухе потертый бумажник.— Я вот только папироски выну.

— Самое, надо полагать, кто-нибудь так же обманул, вот и разжалобилась, — говорит закутившая чуйка. — Сейчас умереть, я теперь эту самую девку всем сердцем моим возлюбил!.. Эй, милая, сядь-ка к нам, воротись!

Кринолин послушно возвращается к столу кутилы и садится.

— Можешь ли ты понимать честь? — спрашивает чуйка девушку.

— Могу,— отвечает она без запинки.

— Так ты ее и понимай! Я с нонешнего дня даю тебе содержания десять рублев кажинный месяц. Донскова!

— Чудесно! — лютуют припевалы.— Андрей Ильич, уважь, милый человек, попляши!

— Умеешь плясать? — спрашивает у девушки раззадоренный Андрей Ильич.

Еще бы не умела плясать крымская старостиха, эта Волга-девка, увенчанная стразовой диадемой!

— Ярославка, што ли? — спрашивает Андрей Ильич, ухарски драпируясь для предстоящей пляски своею синею чуйкой.

— Оттуда были! — отвечает старостиха, воодушевляясь лихими манерами Андрея Ильича.

— Ну, мы с Дона!

Густая толпа окружает их.

— Валяй Спирю почаще! — кричит Андрей Ильич музыкантам, и при первых коленах его в воздухе повисли и дружный хохот, и загвоздистая похвала.

— Дашка! Не выдай московских-то! — умоляет старостиху оборванный кузнец, первый крымский плясун, в сапожных обрезках.— На свою сторону приедет, хвастать будет: никто-то-де его не переплясал у нас,— поощрял он Дашу, дрожа и замирая в лихорадочном волнении.

Гикает и гогочет, как казак в бою, Андрей Ильич, и за ним все гикают и гогочут, потому что, ровно огненный змей, жжет и палит он всех своею жаркою пляской степною. Вприсядку сел он, так-то и кружит,— кружит и соловьем голосистым свистит. Полштоф целый по самым маленьким рюмкам одному можно было бы разобрать в то время, как он козловыми каблуками крымский пол бороздил. А она, старостиха эта, все голубкой, голубицей такой ласковой вьется около него, словно с крыльями.

— Где такая девка родилась? — кричат.

— Э-эх, кабы не бедность!

А она все вьется около Андрея Ильича. Вилась, вилась так-то она да платьем своим голову казачью вдруг всю и закрыла — и посмеивается.

Тут и вспомнил «Крым», что это за мужик такой Спиря, смешливый Спиря мужик: всякому он норовит ногою нос утереть.

Близким громом загремел «Крым», когда вспомнил про Спирю.

— Вот он какой, Спиря-то,— орут двадцать голосов.

— Тут, брат, огнем не возьмешь!

— А возьмешь тут смешками.

— Верр-но! Молодец, Даша!

— Истинно лучше! — шумно соглашается с толпою казак.— Только же не может женщина ничего лучше нашего брата сделать... Валяй степную, братцы! — кричит он музыкантам.— На барыню переворачивай!

Замерли все. Тишь как в могиле стояла, когда первая скрипка на квинте потянула свое протяжное вводное и-и-я-ах!..

Молнией сверкнул на струне первый слог огненной песни. Дружно подхватили его другие скрипки, контрабас и звонкие флейты; но всех их заглушил своим ахом запылавший Андрей Ильич — и пошел...

Сыплется частая дробь, будто осенний дождик в стекло, воет Андрей Ильич неудержным ветром степным и прет в толпу черными глазами, так что дыхание у всех захватило, страх обуял.

— Ступнуть не дам, девка! — злобно и страстно кричит он уничтоженной Даше.— С белого света как былинку сдую!

— Братцы! — умоляет кузнец-плясун,— кричите ско-

рое: ура! Где ж нам, московской гольтяпе, по-евойному...

— Ур-рра-а! — берут враз сто грудей.

— У-р-рр-а! — подхватывают сидящие за столами.

И летит это ура, как какая грозная буря, в другую залу, увлекая за собою все дышащее в трактире, оттуда стремится на крыльцо, на вольный воздух и, здесь схваченное извозчиками, пронизывает собою густой мрак осенней ночи и, наконец, тихо улегается на липовых вершинах соседних бульваров, распугивая усевшихся на ней грачей и ворон...

— Тише, господа, пожалуйста, потише,— уговаривает публику седой приказчик,— полиция, пожалуй, придет, что толку?

— Поди ты старый черт! — азартно отвечают ему.

— Ласточка ты моя!— нежно говорил старостихе Андрей Ильич.— Уж где тебе тягаться со мной! Потому вряд ли кто на сем свете и может со мной потягаться...

Старостиха, слушая его, была такая смирная, такая ласковая.

IV

Все дело, следовательно, в моих глазах по крайней мере, остановилось на следующем: «Крым» бесновался и неистовствовал, мой приятель свысока смотрел на этот спектакль, а я, облокотясь на стол, рыдал болезненно о всем «Крыме» и злился на приятеля.

Но это громовое ура, сейчас только огласившее своды харчевни, разбудило меня, и я со стыдом приметил, что ни к рыданию, ни к злости повода у меня самого даже коротенького не имелось, ибо все шло своим чередом, и ежели из всей этой сумасшедшей толпы, включая в нее и моего приятеля, был кто-нибудь ненормален, так один только я, ловивший своего чертика.

Мой случайный знакомый на мой вопрос: кто он, когда и где я с ним встретился, благодушно уверял меня, что он будто бы один из шести московских корреспондентов «Санкт-Петербургских ведомостей», а также имеет основание думать, что будет вызван сотрудничать в «Голос», что, наконец, он приехал в «Крым» с целью запастись в нем мотивами для передовых статей в эти газеты.

— Вы, может быть, Ботиков? — спрашиваю я его, же-

лая короче познакомиться с человеком такой блистательной деятельности.

— Нет! — отвечал он, мотая головой и, видимо, пьянея.

— Дивово, может быть?

— И не Дивово! — отвергает он, радостно всхлипывая.— Я — Восходящее Солнце! Вот мой псевдоним. Настоящее же мое имя не должно быть известно никому, потому что я намерен затрагивать такие вопросы... О таких общественных ранах я буду заявлять на столбцах наших уважаемых газет, о которых до сих пор не плакал ни Николай Филиппович Павлов, ни наш тамбовский гегелиянец — *фон-Чичерен,* — с азартом уже совершенно пьяного человека орал он так громко, что я не мог не сказать себе:

«Однако же этот шут любопытен! Посмотрим-ка на него попристальнее и, если он составляет рану на нашем общественном теле, постараемся заявить о нем на столбцах наших, хоть не уважаемых, газет».

Увы! К крайнему моему огорчению, франт оказался даже не раной, а просто прыщом. Навязавшись на знакомство с ухарским Андреем Ильичом, Восходящее Солнце ломалось самым пошлым манером, стараясь показать себя русским человеком.

— Какая здоровая натура! — в пьяном экстазе говорило мне Солнце про Андрея Ильича.— И старостиха — тоже здоровая натура. Ее надо поднять, непременно нужно возвысить, так сказать... Эта наша прямая обязанность,— и, воодушевившись, он подарил старостихе свою изящную золотую булавку.

— А ты мне, как хочешь, Андрей Ильич, а на платье на хорошее подари,— говорила старостиха Андрею Ильичу,— потому как только имей я шелковое платье,— коси малина! Минуты бы одной в «Крыме» не пробыла...

— Пре-е-красно! — мямлило Восходящее Солнце.— Возвратись, старостиха, непременно возвратись к прежним мирным занятиям, на путь добра и чести...

— Ах ты, кобылятник! — ласково выругала советника старостиха, предполагая, что он своими шутками хочет ее привести в конфуз.

— Какая, Федичка, вчера история случилась, так ты издивиться должен! — рассказывала совершенно изнемогшему мастеровому толстая женщина в фантастиче-

ской повязке.— Часа в два ночи спим мы так-то; вдруг в окна забубенили. «Есть?» — спрашивают. «Есть!» — говорим. «Поедем, да живей у меня собираться, а то, говорит, раму вон выколочу». Приезжаем в одну гостиницу,— пьяные все, лыка не вяжут. Только как я теперича всю политику произошла, знаю уж, что попросту, без затей обходиться с ними лучше будет, и говорю им: «Что же, мол, вы, подлецы эдакие, привезть привезли, а водкой не потчуете?» Как тут бросится один на меня с столовым ножищем. «Я тебе, говорит, тварь ты эдакая, дам ругаться!» А другой, с такой ли бородищей большою, на него заорал: «Не смей, шумит, трогать ее,— она женщина!» Кричали-кричали они так-то, кулаки-то друг на друга насучивали-насучивали, только заступник-то наш схватил пистолет со стенки да и бацнул в приятеля. Слава богу, что не попал! «Моли бога, говорит, что не попал я в тебя, а мои убеждения честны». Долго я над ними смеялась. Вот, думаю, дураки-то необузданные! Только вслух я этого не сказала им, потому очень уж азартны.

— А хочешь, я тебя изобью? — спрашивал рассказчицу мастеровой, приходя почему-то в бешенство.

— Ну, уж это не хочешь ли вот чего? — в свою очередь, спросила рассказчица, показывая кукиш.

— Уйди, барин! — шумел на Восходящее Солнце Андрей Ильич.— Не твое здесь место.

— Как ты смеешь так говорить со мной?

— Так! Не мешай — вот и все тут.

— А как я тепеиця с гусалем по нацалю зиля,— раздавался картавый, охрипший голос из другого угла,— холясо тогда биля! Ми с гусалем в обцество еззивали, а в обцестве, биваля, цай-то с сейебъяними лезецками подавайся.

— Што же ты, братец ты мой, смотрел на него! — толкуют между собою два подозрительных персонажа.— Ты бы часы-то у него и чирикнул.

— Чего-чего не делал. Уж и пил-то я с ним вместе, и обнимался-то. Ничего не поделал, потому из наших никого не было,— кому передашь?

— Эх ты! Кому передать — спрашивает. В любой уголок положи,— не скоро найдут.

— Не сдогадался.

— А я, однава дихнуть! — выкрикивал картавый голос,— сказю, биваля, гусаеву деньсику: сьюзи мне, Се-

мен! Не посьюсяться он меня не смей тогда, потому от баина пьиказание такое быя ему, стобы он меня все явно как баиню съюсяйся.

— Ах ты, шкура! — кричит слушатель.— Што ж, Семен всегда тебя слушался?

— Всегда, ей-богу, всегда! Тойко тогда усь, как гусай уехай, и как у него за фатею впеёд за два месяца зпъяцено быя, я на той фатее и остаясь зить. Думаю, зачем даем деньгам пъяпадать? Тут Семен без баина-то и вздумай меня пъягонять. Ах ты, гаваю, халюй язнесцястний! Как ты смеесь меня пъягонять? А он меня взяй да по сее. Я и усья.

И картавый голос в этом месте своего рассказа перешел в слезные тоны.

— Што же ты плачешь-то, глупая? Ты вот выпей лучше.

— Нет! Не хоцю я пить. Я тебе пьямо сказю: я без гусая зить не могу...

— Ах ты, чудище морское. Нализалась, и жить не могу, кричит...

— Не бей ее! Слышишь ты, Андрей Ильич, не тронь ее! — умоляло Восходящее Солнце заезжего донца, который колотил старостиху.

— Не твоего ума это дело! — кричал рассвирепевший Андрей Ильич.— Я к ней всей душой, а она с моим товарищем, на моих глазах, заигрывать принялась.

— Это ничего! — твердил оригинальный псевдоним.— Она исправится, ее только возвысить нужно.

А вот я ее возвышу.

Восходящее Солнце попробовало было помешать Андрею Ильичу, но получило такой толчок, от которого завертелось кубарем.

— Я тебе говорю: пей! — приставал к картавому голосу какой-то мужчина.

— Я не буду пить! Я без гусая зить не могу! — слезно объяснял картавый голос грозному приказчику.

— Я с тебя дурь-то эфту собью! — с злостью рычит мужчина, и вслед за этими словами раздается звонкая пощечина.

— Бей, а не могу я зить без гусая... Там в обцестве-то сейебъяние лезецки подавались.

— За што ее бьешь? Што же, коли она, в самом деле, без своего полюбовника жить не согласна? — вмеши-

вается какой-то угрюмый сапожник в засаленном фартуке.

— А тебе што за дело?

— А то, не дерись понапрасну.

— Ты што за учитель?

— Я учитель!

— Учитель?

— Учитель!

И заварилась каша.

— Черти! За что вы полощетесь? — кричит седовласый приказчик.

— А вот мы тебе покажем, как ругать нас! — отвечают молодцы, сообща накидываясь на приказчика.

За приказчика налетают половые, и вообще в этот трагический момент «Крым» сделался каким-то еще не записанным в истории царством, густо населенным, вместо обыкновенных живых существ, неслыханною руготнею, многообразными потасовками и зуботычинами.

— Бежите за полицией! — командует приказчик половым, очевидно, проигрывающим битву.

— Убегём, братцы! Полица сейчас налетит! — кричит толпа, быстро направляясь к двери.

Восходящее Солнце и я отправляемся по ее следам. Освеживший меня уличный воздух окончательно погасил Восходящее Солнце.

— Кто идет? — спрашивал нас соседний будочник.

— Табак! — почему-то отвечал будочнику сей многоуважаемый литератор, с заметным наслаждением расквашивая себе нос о тротуарную тумбу...

1862



МОЯ ФАМИЛИЯ

(Из воспоминаний временнообязанного)

Яблочко из-под яблоньки
далеко не катится.
Сельская пословица

I

Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлою радостью на измятых жизнью лицах, говорить

про свое детство как про время *золотое, незабвенное*. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица. Слушаю и смотрю, как при воспоминании об этих родственных образах добрая радость рассказчиков сменяется какою-то тихой, исполненной невыразимой любви печалью и как они, наконец, забывши в эти моменты свой солидный возраст, с совершенно детской наивностью начинают страстно желать возврата и своего детства, и тех дорогих людей, которые некогда лелеяли их, но которые тем не менее в данную минуту бесповоротно жительствуют в тайном и никогда не выдающем своих обитателей царстве смерти.

Зная этот роковой закон темного царства — никогда не давать глазам своих обитателей любоваться на светлое солнце,— душа моя с злою, молчаливою радостью таким образом отвечает желаниям счастливцев — посмотреть такого-то, обняться и поплакать с таким-то:

«Не-ет! Погоди! Не так-то скоро, как ты хочешь, он к тебе явится *оттуда*. Разве уж сам к нему *туда* потрудишься спешешествовать...»

Грудь моя наполняется при этой безмолвной думе злым смехом, колыхающим ее до того сильно, что из глубины ее слышатся какие-то ужасающие грозные урчанья...

Без малейшего смущения сознаюсь, что эти звериные урчанья производят в моей груди зависть к чужому счастью, и так как заведено — завистливого человека всегда осуждать и чураться, и так как заведено еще и то, что и осужденные, в свою очередь, обыкновенно стараются оправдать себя, то я, в силу этих двух вековых обычаев, говорю: я не желаю повторения моего детства, если бы даже это было возможно,— никогда не назову его ни золотым, ни даже железным, потому что и железо все-таки капитал,— не хочу пожелать, даже стоя на краю гибели, чтобы из царства вечного покоя и мира, куда отец небесный призывает *всех труждающихся и обремененных,* пришли ко мне для моего спасения от этой гибели люди, некогда любившие меня точно так же, как

были любимы счастливцы, которым я теперь так завидую.

Да! я не хочу ни того, ни другого, ни третьего, потому что, начиная оправдание моей злости и зависти людскому счастью, я говорю: вот какое было мое детство и вот каковы были люди, *обязанные природой приготовить* его к верному хождению по широким и шумным дорогам жизни.

В конце двадцатых годов по широким степям великороссийских губерний летала такая злая зима, какой никто из старожилов ни разу не видал в своей жизни. Голодом и холодом покрывала она печальные деревни и села, хоронила в снежных сугробах длинные обозы, обрывала соломенные крыши с убогих мужицких изб, заваливала дороги и реки, валила с могучих ног дремучие леса...

В заметенных снежными сугробами избах, при свете длинной лучины, заговорили:

— Должно, народился антихрист?

— Надо полагать, что так. У меня в эту метель-то двух лошадей с двора согнали,— теперь совсем обезножил. Боже, царь мой небесный, что я теперь буду делать?..

— Нет, я что слышал: говорят, уж *он* народился давно, и от роду ему теперича семь годов. Руки у него уж и теперь по семи аршин каждая, и когти на них железные по семи четвертей. Большое терзание людям от тех когтей выйдет, а? Как полагаешь?

— Известно! Одно слово — антихрист...

В нашей дворовой избе говорили в эту зиму почти то же, только антихрист в фантазиях дворовых грамотеев рисовался еще страшнее.

«И придет он аки тать в нощи,— распевали по вечерам седые грамотеи,— в предшествии мрака и бури, коей ни единое существо не воспротивится, придет с злым смехом и паскудным глумлением над христианскими душами, и возмнит он обратить те христианские души в свою антихристову веру, и примется острые иглы втыкать в ногти человеческие для того, дабы совратить...»

— Ох, дедушка! — толковали наши бабочки.— Что

это ты к ночи-то распечалился,— смерть! Перестань, Христа ради!

Поистине, всякий человек мог бы ополоуметь от тоски, слушая эти рассказы, если бы их не разнообразили разговоры молодежи про разные зимние деревенские удовольствия.

— Ах, жаль! — скучает, бывало, какой-нибудь дворовый удалец в дубленом полушубке и с блестящей серьгой в одном ухе.— Ах, право, очень я жалею, как метели эти мешают на кулачки срезаться. Почитай вся зима прошла, а у нас ни одного еще бою как следует не было...

— Так, так! — соглашается другой, точно такой же молодец.— Хорошего в этих метелях ничего нет. Ах! Прошлой-то зимой колотились чудесно!..

И тут начинались нескончаемые воспоминания про чудесные бои прошлой зимы. Вся дворня мотивировала их на разные лады, восторженно хвастаясь друг перед другом разного рода счастливыми случайностями, дававшими некогда всем этим милым друзьям полную возможность кровянить друг друга как нельзя быть лучше.

Сидел я на задней лавке, около громадной и мрачной печки, и с несказанным наслаждением прислушивался к этим воинственным эпопеям, к которым от века питает такую жаркую дружбу широкий русский молодец, за незнанием другого, более мирного и полезного дела. Я прислушивался к ним тем с большею жадностью, что главный герой всех этих дворовых сказаний был отец мой.

Это был красивый молодец, высокий, стройный и смуглый. Когда он кидался, бывало, в самую огневую схватку кулачного боя, так закорузлые полушубки попадавших на его *первый кулак* мужиков рвались, как паутина, а медные пуговицы, которыми обыкновенно застегиваются эти полушубки, словно пуля врезывались в тело, производя раны, увечья и всех возможных родов бесчувствия, дававшие всем этим грустным деревенским избам поводы к различным веселым разговорам, которые, за неимением лучшего, все-таки сокращали долгую, угрюмую и до злости холодную сельскую ночь...

До страсти я любил слушать рассказы про отцовскую силу.

— Ферапонту-то запрещено ведь, ха? — слышится мне радостный голос какого-нибудь Петрухи, лихого бойца, но с которым тем не менее отец мой бьется одной рукой и побивает.— Ей-богу, ему запретили на бой выходить,— с полным счастьем смеется Петруха и, в свидетельство достоверности своего показания, усердно крестится.

— Как так запретили? — спрашивают.

— А так! От самого, может, царя, из самого Питенбурха! Ха, ха, ха, ха!

— От самого? Ей-богу? Да как же это?

— А вот так то: услышали в Питере, что вот-де так и так: есть силач по имени Ферапонт Иванов, приказчик,— и крушит он на кулачках народ. Услышамши, сейчас приказ — пиши, говорит: «запрещаю я тебе, Ферапоша, на кулачный бой выходить и народ мой увечить. А ежели, говорит, ты удержу себе дать не можешь и биться по-прежнему станешь, так ты отпиши об этом в синат, я тебя тогда прикажу лютой смерти предать». Вот он какой указ-то царский! — в радости добавлял рассказчик, выбивая на грязный пол табачную золу из короткой деревянной трубки.

— А это, братец ты мой, чудесно, ежели он биться не станет. Поколотимся мы без него за первый сорт.

— Дело ведомое!

«Сам я беспременно такой же лютый буду! — по секрету думал я сам с собою, валяясь на соломе дворовой избы.— Тоже я им тогда, как большой вырасту, в зубы-то пристально загляну».

Слушая такие разговоры, я чем больше вырастал, тем с большею любовью всматривался в смуглое и худощавое лицо отца, на котором всегда отражалась какая-то кроткая, но вместе с тем несокрушимая сила.

Все эти герои деревенских зимних вечеров, разбивавшие бесчисленные рати, опрокидывавшие сильных, могучих богатырей, представлялись моему тогдашнему пониманию маленечко пожиже моего отца.

«Где ему?» — мысленно говорил я себе, всматриваясь в моего отца и представляя себе, как бы он громыхнул о мать — сыру землю самого Еруслана Лазаревича, могучий лик которого, сочиненный грудастым суздальцем, и теперь еще шевелит длинными усами в моей памяти. В младенческих и, следовательно, необъяснимо

чутких ушах моих раздавался звон чешуйчатых богатырских лат, вдребезги разбитых кулаком моего отца, слышалось, как стонала сильная грудь Еруслана, смятая и раздробленная родной мне рукою...

Это очарование в непобедимых отеческих доблестях разрушил во мне наш помещик.

Часто мне приводилось видеть на барском дворе и просто на улице какое-то маленькое, белокурое существо, совершенно не похожее ни на одного из тех людей, которые уже успели промелькнуть в моих так еще мало видевших глазах. При первом взгляде на это существо я дерзко засмеялся над ним.

— Чей это мальчишка? — спросило существо, сердито наморщивая свои белые тонкие брови.

— А это сынишка приказчика Ферапонта,— отрекомендовали меня белобрысому существу.

— Скажи-ка Ферапонту, чтобы он его выпорол хорошенько.

— Было бы за что! — ответил я.— Мой отец-то, думаешь, такая же кошка пареная, как ты?

За такую не по летам острую выходку меня тем не менее в самом деле выпороли. Процесс этот сопровождался со стороны отца приговариваниями, что разве можно барину грубости говорить, что с барином когда в другой раз встретишься, так сними шапчонку-то да к ручке подойди.

— Пожалуйте, мол, барин, ручку поцеловать. Вот как!

В первый раз в это время мое младенчество покорилось жизненной необходимости, точно так же, как в то же именно время меня посетило чувство ненависти и отвращения к людям. Рука, управляющая людьми, сочла, вероятно, этот момент моего возраста решительно удобным для того, чтобы перековать мою младенческую душу в душу человека, и перековала.

— За что ты меня сечешь? — корчась от стыда и боли, спрашивал я моего отца.— Я тебя люблю, а его не люблю, а ты меня за него сечешь?

Но тут впервые было отвергнуто, обругано и обесчещено мое настоящее, ничем не подкупное, человеческое чувство. Отец все продолжал сечь меня и читать свои наставления на тему, как надобно дворовому мальчишке обходиться с господами.

Под самой розгой как-то я успел задуматься о слове — *дворовый мальчишка*. Скорой молнией мелькнули тут в возбужденной голове моей какие-то новые, ни разу еще не посещавшие меня мысли. Какие-то странные, никогда не виданные мною предметы сверкнули в залитых слезами глазах моих,— что-то уродливое, в высшей степени изможденное и страдающее стало тогда предо мною, освещенное вывеской — дворовый, и плакало вместе со мною. Собака — дворовая, Агафью зовут дворовой,— думалось мне, и тут я вспомнил, как мы с матерью были в гостях у попа, и поп спрашивал про меня у матери:

— Он у вас к дворне приписан?

— К дворне,— смирно отвечала моя всегда тихая, покорная мать.

— Значит, и я дворовый? — спрашивал я себя, не чувствуя острых и резких уколов жидких березовых прутьев.

«Дворовый!» — ответила мне горячая волна слез, вдруг с новою силой хлынувшая из глаз моих,— и я стал с этого времени человеком, потому что вся грудь моя закипела тогда той непримиримой, никогда не прекращавшейся злобой, которая сделала хрипучим и шипящим мой некогда звонкий голос и от которой избавит меня только темная, навсегда мирящая людей друг с другом могила...

II

Молча и низко нагнувши голову, стаскивал я шапчонку с моей головы при встрече с белобрысым существом. Как теперь помню, что-то в высшей степени тяжелое и горячее подкатывалось мне в такие времена под грудь; хотелось почему-то тогда удариться этой грудью о землю, валяться по ней, биться о нее, громко стонать и плакать.

— Эй ты, мальчишка, поди-ка сюда,— властительно повелевал мне барин, и я подходил к нему теми медленными, неровными шагами, какими подходят обыкновенно молодые щенки к людям, которые их дрессируют.

— Ну что, выучил тебя отец шапку снимать перед барином, а? Ха, ха, ха! А? Выучил?

— Выучил-с...

— Да ты что буркалы-то свои все в землю прешь?

Ты прямо на меня смотри. Ты, верно, стыдишься чего-нибудь? Должно быть, украл что-нибудь?

Эти вопросы, так сказать, постоянно дрессировали меня, как щенка. В той избе, где я родился, ни разу ни одна мать и ни один отец не спрашивали у своих ребятишек:

— Петрушка! Зачем ты, как бык, все в землю бельмы-то пулишь? Стыдишься, должно быть, оттого, что украл что-нибудь?

Там, в этих избах, где по зимам народ мерзнет от холода или околевает от угара, как запечный таракан, где голодные дети действительно по-собачьи грызутся между собой за кусок столетнего калача, украденного матерью на прошлом базаре,— в тех избах так не говорили, и потому молодой ум мой сообразил, что барин, должно быть, неимоверный дурак. Я пристально всматривался в его блестящие сапоги с высокими каблуками, в его сельскую, из смурого полотна, коротенькую жакетку, в длинные белые ногти,— и решительно перестал считать его человеком. До того все, что я видел в нем, было противоположно моим пониманиям. Вследствие всех этих безмолвных и крайне занимавших меня дум — каким именем назвать мне это, в первый раз подведшее меня под отцовскую розгу, существо, — я назвал его «полтора платья», к чему мне главным образом подала повод барская шинель с длиннейшим, по тогдашним модам, капюшоном.

Быстро разнеслось по дворне это название. Могу сказать, что многообразные вариации этого слова доставили дворовым много поводов к различным до бесконечности характерным рассказам о господах вообще и о нашем барине в частности. Унылые стены избы начинали смотреть как будто веселее, когда по ним прокатывался могучий хохот сорока человек, подлейший ужин которых приправлялся этими рассказами.

— Так как же, как же, Петруша? — спрашивала меня молодежь, выщипывая мох из стен избы для того, чтобы набить им свои трубки, за невозможностью где-нибудь раздобыться на табак.— Полторы одежи, говоришь, один носит?

— Один! — радостно отвечал я, справедливо сознавая себя героем вечера.

— Сам-то он — ни два ни полтора, а полторы одежи

носит,— вклеивает в общий разговор свое серьезное слово общий всем дедушка Трифон — Нестор дворни, все лицо которого поросло седыми колючками.

Общий хохот единодушно и искренно провожает дедушку Трифона в его медленном и задумчивом походе на теплую печь; а за барином окончательно остался титул: ни два ни полтора.

Тонким дискантом затянул было кто-то песню:

Ой, ни два ни полтора?
В три бы шеи со двора...

И, конечно, эта песня заслужила бы и дружный хохот и одобрение, если бы молодые женщины, бывшие тут, единогласно не восстали против нее, потому что дворовый поэт приделал к ней такой соленый припев, которого не могли даже вынести твердые и потому нисколько не взыскательные уши наших дворовых бабочек.

Посыпались анекдоты, из которых самый замечательный был тот, который рассказывал, как будто бы один барин вдвоем с немцем-управляющим старались однажды счесть полтора — и не сочли, а кучер, который их вез, счел без всякого разговора.

Боже мой! Какие наивные улыбки светились в это время на лицах слушателей и каким благоговением преисполнялась моя собственная младенческая душа к кучеру, который счел полтора, в вечную срамоту и неизгладимый позор барину с его немцем.

Ночь наконец усыпляет голодный юмор.

В намерзшие, хитрыми морозными узорами разрисованные окна как-то особенно серо било зимнее утро. Дворовая изба копошилась всеми своими сорока взрослыми душами и бесчисленным множеством малолетков. Едкий дым тютюна тонкими, летучими волнами ходил по избе и приучал молодые чумазые носы дворовых мальчишек и девчонок не отворачиваться ни от чего в мире. В громадной печи ярко пылала ржаная солома, только что отслужившая свою предпоследнюю службу в роли подстилки для людей, рассуждавших описанным вечером о барской несостоятельности по счетной части. Курчавые головки ребятишек любопытно заглядывали в печь, упорно стараясь узнать, что именно готовит им на завтрак неистощимая в этом случае изобретательность их матерей. Разговоры, главным образом, происходили на ту тему, как бы хоть несколько улучшить и поразнооб-

разить, так сказать официальный обед дворни, который она стряпала из так называемой месячины.

В одно такое утро вся наша изба была взволнована необыкновенным обстоятельством следующего наказательного свойства. Однажды как-то особенно вальяжно отворилась скрипучая дверь избы, какие-то особенно толстые и седые волны морозных струй влились в нее, и вслед за этими струями вошел к нам наш белокурый барин, предшествуемый некоторым огненнобородым Архипом, начинавшим входить к нему в любовь и расположение. Архип прямо подвел барина к моему отцу.

— Вот он! — сказал новый бараний тулуп — признак возникающего нового дворового могущества, в который был облечен в это утро Архип.

— Так это ты, приказчик-то? — азартно спрашивал маленький барин моего отца, наморщивая, по своему обыкновению, тонкие брови.

— Я-с! — отвечал отец.— Что вашей милости приказать угодно?

— А вот я тебе прикажу сейчас! — высокою, тонкою фистулой заговорил барин, обрушивая вслед за этим целый поток ругательств на своего верного раба.

Всю избу залил собою этот поток. Заглушил он ее разнообразные гулкие речи и уничтожил, как говорится, до самого до конца.

— Я тебе прикажу сейчас,— продолжал барин с злобным дрожанием в голосе.— Я тебе прикажу!

— Рады стараться! — тихо ответил отец, предчувствуя беду.

— Я тебе дам — рады стараться! — злобствовал барин.— Я постараюсь тебе показать, как надо за барским добром смотреть.

Обе щеки отца моего после этих слов в один момент окрасились ярким румянцем.

Лишь только увидел я, как покорно и смирно стоит перед маленьким барином этот мощный, как бы слитый из железа великан, с яркими слезами в больших черных глазах,— лишь только я увидел, как тяжелые отцовские руки как-то страдательно сложились на широкой груди, я в первый раз в эту секунду заскрежетал едва только вырезавшимися зубами и разлюбил отца, потому что разочаровался в его непобедимой силе...

— Сударь-барин! За что карать изволите?

— Я тебя, я тебя, каналья ты скверная! Ты еще разговаривать вздумал? — кричал барин, бессильно потопывая своими маленькими светлыми сапожками.

Показалось мне в это несчастное время, что отец мой в самом деле есть не что иное, как, по барским словам, скверная каналья, потому что он казался таким слабым, таким беспомощным пред этим азартным, но тем не менее беспомощным топаньем, что мне почему-то захотелось также ударить его и так же грозно топать перед ним, как топал перед ним слабосильный барин...

III

В настоящее время, когда меня уже нисколько не удивляют ни длинные белые ногти, ни жакетки, ни высокие сапожные каблуки, когда шинель с длинным капюшоном я называю и не могу уже иначе назвать, как шинелью, а не полтора платья,— и теперь, говорю, отец мой вспоминается мне не иначе, как с лицом, на котором обыкновенно светились ум и энергия, как-то особенно изможденным и обессиленным, со слезами до того светлыми, что ни один человек ничего лучше их в целом мире не мог найти для жертвы, которая бы перед лицом божиим искупила его печальную жизненную долю.

— Петрушка! — стонет в мои уши это лицо, когда я, горемычный плебей, прохлаждаю теперь мою безысходную злобу в кабачном омуте,— что же это за жизнь наша с тобой разнесчастная?

— Ш-што? — грозно вскрикиваю я при этом вопросе, безмолвно сидя до того времени за зеленым полуштофом.

Самым неистовым образом разгулявшееся в кабачных стенах горе вздрагивает в это время от моего крика, потому что промерзшая дворовая изба вырастила меня каким-то Бовой-королевичем, голос которого в известные моменты бывает слышен на целые тридесять царств...

— Господин! Не буяньте-с! Место здесь не такое-с — казенное место,— усовещивает меня красная рубаха из александрийского кумача, надетая на широкие плечи целовальника с широкой окладистой бородою.

— Што? — еще раз спрашиваю я целым тоном выше, поднимаясь в то же время во весь мой рост, и все то, что вместе с целовальником было шокировано моим первым,

лично ни к кому не относившимся вопросом, немедленно уничтожается предо мной после моего второго вопроса — и замирает...

Вслед за этим происшествием я также в первый раз на отце моем имел случай видеть все те пошлости, какие обыкновенно проделывают люди над сокрушенным могуществом, если только этим словом позволится мне обозначить обстоятельство удаления отца моего от приказчицкой должности.

Не знаю доподлинно, чем именно согрешил он против барина, но только все наше семейство вскоре после барской кары, обрушившейся на отца, было переведено из общей дворовой избы в какую-то соломенную, смазанную желтой глиной пристройку, назначенную для житья скотников и скотниц. Тьма народа, служившего до нашего переселения при этом дворе, была властительно заменена одним нашим семейством.

Во всю мою жизнь, как бы она, сверх ожидания, длинно ни растянулась, какие бы благоухающие розы ни усыпали путь ее, до сих пор исключительно тернистый, я никогда не забуду омерзительной, грязной глиняно-соломенной пристройки, в которой мать моя, вместо того чтобы выхаживать своих собственных детей, отогревала и отпаивала тонкорунных господских ягнят. Эти многоценные животные были гораздо слабее нас, ребятишек, и потому, целыми десятками умирая от избяной вони и от недостатка прислуги за ними, наводили на свою единственную попечительницу целые тучи всяких бед и несчастий. То и дело разные начальственные лица имения надсаживали свои широкие горла в нашей закуте, мерзко облаивая мою мать за ее будто бы нестарательное обхождение с деликатными животными.

Гадость моих воспоминаний о моем детстве доходит даже вот до каких пределов: какое-нибудь жирное, отъевшееся лицо стоит в нашей избе в своей бараньей шапке, не уважая даже святости икон разжалованного приказчика, и наглым тоном хама, случайно и относительно попавшего в паны, ревет на мать:

— Отчего, отчего они у тебя — ягнятки-то — то и дело колеют? Шкур ведь не успевают снимать. А?

— А ничего не поделаешь с ними — с ягнятками-то,— робко отвечает мать, бессмысленно и пугливо перебирая мозолистыми пальцами.— Колеют они, надо правду ска-

зать, и-их как! Упадет так-то животинка на ножки, дрягает ими, а сама все на тебя глазками смотрит таково-то печально!

— А идолята твои небось не колеют? — злобствует хам-начальник.— Небось они у тебя ногами-то не дрягают?

— Ах ты, касатик, касатик! — не вытерпливала наконец всему покорная голова.— Какое ты пустое слово сказал — ни чуточки в нем правды нет. Вздумал ты ангельские душки к животным несмысленным применять.

— Гляди ты у меня, отставная приказчица,— продолжал орать как бы застыдившийся последних слов распекаемой наглый приказчик,— уж я же тебя когда-нибудь так-то хворостом за ягнят проберу,— любо два! Не погляжу, что ты приказчицей была! — добавляет он с довольным смехом и уходит начальствовать в другие места.

— Власть ваша! — задумчиво соглашалась мать с начальником, выразившим надежду когда-нибудь отжарить ее хворостом.

Эти дни, так сказать, скотничествования моего отца были для меня самыми несчастными днями как по своему влиянию на мою дальнейшую жизнь, так и по тогдашним мучительным выходкам, которыми тиранили нас с сестрой дворовые мальчишки, до сих пор обходившиеся с нами, как с приказчицкими детьми, по-дворовому, почтительно и деликатно.

В этот период, заступаясь за сестру, за отца и за самого себя, я слишком много разбил носов у моих крепостных сверстников и сверстниц, перекусал у них рук, плеч и щек,— слишком полными горстями рвал с их голов жидкие волосенки, чтобы во всю остальную жизнь мог удержаться от того, чтобы не бросать вокруг себя косых, злобно-серьезных взглядов бульдога, от которых сторонятся самые храбрые.

Глупый, как видите, и даже, можно сказать, собачий результат производят во мне мои детские воспоминания, но тем не менее я рад, что эти воспоминания произвели во мне именно то, что произвели, а не что-либо другое. В одинокой пустоте моей бедной теперешней клетки я с улыбкой и страшно разымчивым наслаждением скрежещу зубами, когда безмолвно рассуждаю о том, что моя злость отогнала от меня человека, которого или я

полюбил, или который был бы для меня так или иначе полезен.

«Ну да, ну да! — тихо шепчу я себе.— Иди себе, откуда пришел, с своими нежностями,— проваливай, брат! Мне все равно. Я жил и без тебя. Я ко всему привык потому что все вынес... Любопытно было бы хоть на минутку взглянуть, как бы ты заежился в моей шкуре... Ха, ха, ха!..»

Новая и еще более жгучая волна наслаждения вливается тогда в грудь мою, потому что в глазах моих ясно рисуется в это время безграничная пошлость людей, почему-либо близких мне, которые в сношениях со мной ничуть не подозревают, что во мне все происходит наоборот, чем у них; часто случается, что они утешают меня во время такого беспощадного и язвительного внутреннего смеха, который если бы они услышали, так в момент бы умерли, как от укушения ядовитой змеи...

Переходя к делу от бесплодных, хотя далеко еще не полных размышлений, я так расскажу вам про смерть моего отца — отставного приказчика.

Раз как-то этой памятной мне зимой чуть ли не целых полмесяца кряду беспрерывно крутилась самая дикая и необузданная метель. То и дело, бывало вместе с ее неудержными крикливыми налетами прилетали в село измученные тройки с временным отделением, свидетельствовавшим замороженных. Из нашей собственной усадьбы целые ватаги на пяти и более подводах снаряжались для того единственно, чтобы привезть одну бочку воды с реки. На знакомых сельских улицах буря закруживала и засыпала народ.

— Ферапонт Иванович! — вскрикнула однажды мать, вбегая в избу,— ведь у меня корова с водопоя убежала, самая что ни на есть лучшая.

— Что ты! — в свою очередь, ужаснулся отец, торопливо накидывая полушубок.— Как я теперича доложу об этом? — и с этим словом он стремглав бросился из избы, не успевая даже спросить, в какую сторону убежала корова.

— Стояла, стояла она у водопойного корыта,— разговаривала мать про беглянку сама с собой,— смотрела, смотрела, как вьюга крутится, да как заревет вдруг, да как бросится, хвост кверху задравши. Такая-то непутевая коровенка!

Разговаривала мать про это происшествие до самого вечера, а отец все еще не возвращался с своих поисков. На третий день доложили барину, что вот, мол, сударь, грех какой прилучился: побежал в метель Ферапонт Иванов за коровой — и теперь его нет. Как, дескать, прикажете с этим самым грехом быть?

Покрутил барин белые усы, слушая этот доклад, задумался как будто немного и проговорил:

— Пусть в конторе суду напишут, что, мол, Ферапонт Иванов убег.

— Убег и есть, надо полагать! — согласились в селе до того единогласно, что и в степь, затуманенную снежною пылью, не пошли посмотреть: не лежит ли где-нибудь Ферапонт Иванов в каком-нибудь снежном кургане, не стонет ли он в какой-нибудь трущобе, свой последний, страшный конец проклинаючи.

— Беспременно он теперича в Одест убег! — предполагали все заинтересованные участью Ферапонта Иванова.

Родные даже гостинцев принялись от него ждать.

— Страсть как в этом краю беглые богатеют,— толковали в усадьбе,— потому, одно слово: в сторонах тех не житье, а малина!

А между тем отец и не думал бежать в Одест. Его могучую силу просто-напросто злая метель-непогода уложила навек в нашу же землю родную, на которой одинаково часто зарождаются и могучие силы человеческие, и злые метели зимние, одни только могущие подкосить их...

Весной уже, когда стаял снег и ярко-зеленые травные побеги разукрасили широкую степь, случайно нашел кто-то Ферапонта на ближнем поле.

Мать водила меня и сестру проститься с отцом. И теперь еще помню я, как лежал он, плотно прикрывая руками победную голову.

Не брезгая мертвым, согнившим телом, ласково целовал отца в мученические уста благовонный ветер весенний, а шумные рои звонкоголосых и блестящих мушек тихо и нежно жужжали ему вечную память...

IV

Об матери моей много говорить нечего. Кротость ее была до того голубиная, что крайне трудно было добить-

ся от нее единственного признака недовольства — легкого и ничуть не страшного сморщиванья густых черных бровей. Может быть, только один раз в год доводилось ей хмуриться таким образом, причем по лицу ее, всегда смирному и освещенному необыкновенно ясным выражением любви и нежности, пробегали какие-то тени, приметные, по всей вероятности, только для моего близкого, часто и пристально всматривавшегося в нее глаза.

В этих редких случаях она укоризненно покачивала головой на человека, рассердившего ее, и говорила:

— Ах! Как это ты все пустое одно говоришь. Ни чуточки в твоих словах правды-то нет. Забыли мы, грешные, правду-то всю.

Но такого свойства молнии, говорю, исходили от нее очень редко. Чаще же всего она употребляла такую манеру выражения: склонит, бывало вниз свою сносливую голову, сложит руки на вдавленой груди и шепчет:

— Ах ты господи, господи! Что я с этим делом поделаю? Чего только я ребятишкам своим поужинать дам? Обголодали у меня совсем ребятишки-то. Ничего-таки мне, сироте горемычной, с горем моим поделать нельзя,— решала она в конце речи, грустно складывая на коленях беспомощные вдовьи руки.

И долго она, бывало, так-то спрашивает и отвечает себе каким-нибудь длинным зимним вечером, когда стены нашей избы частыми ружейными выстрелами громко лопались на лютом морозе, когда всю эту маленькую, убогую лачугу заваливала до крыши зимняя визгливая метель,— и так-таки ничего не решала эта бессильная женщина. Ни к одному делу не могло придумать должного конца ее робкое ночное раздумье, потому что, несмотря на детскую тоску мою, с которой я смотрел на озабоченную мать и злобствовал, что нет человека, который бы помог ей, злая зимняя вьюга по-прежнему бесновалась и визжала на улице, засыпая снежными брызгами нашу кудлатую крышу, и по-прежнему лопались и трещали беспомощные стены нашей избы, наводя тяжелый страх и молчаливое уныние на осиротевшую семью.

Так и изныла в своих бессильных думах над обделкою разных житейских дел эта состарившаяся, но всегда младенческая душа моей матери. Умерла она без стонов, без слез и страданий. Однажды вечером говорит мне:

— Петрушка! Сбегай-ка ты за попом да из соседей кого-нибудь позови.

Я сбегал за попом и привел соседей; а у нас в переднем углу под образами зажжены уже восковые свечи и на столе постлана белая скатерть. Сама мать все это своими руками сделала.

— Батюшка! — сказала она попу с передней лавки, на которой уже томилась смертным томлением.— Последний конец мой пришел,— проводи меня, как христианской душе подобает.

И поп и соседи подумали, что она сошла с ума.

— Вот,— толковали все,— сама свечи святым образам зажгла, сама скатерть на стол постлала, а говорит, что последний конец пришел.

Тогда только поверили люди, что мать не пьяная и не сумасшедшая была в то время как их к своей смертной постели звала, когда уже очи ее навек от ее несчастной доли закрылись.

После этого в народе заговорили, что, должно быть, Авдотья святая была, потому что смерть себе, здоровая совсем, сама напророчила...

V

После смерти матери вышел от барина указ — взять малолетних сирот Ферапонта Иванова на барский двор для жития, как говорилось, с их бабкой. А бабка эта такая старуха была, что уж и не помнила, когда родилась, сколько ей лет,— не знала, а жила она в барском доме на сенях, потому собственно, что у бабки нынешнего барина, совсем уже бесчувственной старухи, которая, так сказать, неслезаемо сидела в креслах да шептала что-то, ежесекундно подрягивая седой головою, горничной когда-то была. Все ее настоящие обязанности состояли в том только, чтобы сидеть в креслах против старой барыни, смотреть, как она головою дрягает, слушать, как шепчет, и отгадывать, когда ей захочется пить или есть. Ровесница своей барыне, она в то же время была в тысячу раз и моложавее ее на вид и крепче. Высокая грудастая старуха с серьезным, красным лицом, она постоянно сердилась и бранила всех, попадавшихся ей на глаза, не исключая и самого барина. В резвой побежке дворового мальчишки, приноравливаемого к лакейству, в звонком хохоте барина, в тихом шушуканье сенных де-

виц старый посинелый нос ее чуял непременно смертные грехи, за которые, по ее мнению, сейчас же разразится над головами прыгающих, хохочущих и шушукающих гром небесный и разобьет их в мелкие дребезги.

— После этого,— басила бабка,— грешные души пойдут прямо в ад, а в аду — огонь, жупел...

— Э! ну тебя к свиньям, Елена Павловна! — восклицал досадливо барин в ответ на бабкины рацеи, боявшийся ее, впрочем, настолько, что иначе как Еленой Павловной называть ее ему и во сне ни разу не виделось.

— Постыдился б, молокосос, старого человека лаять,— конфузила бабка своего белобрысого властелина.— Ты б еще бабеньку выругал заодно б уж. Ты, может, полагаешь, что как ты барин, так дурость твоя на том свете тебе и простится?..

— Э! ну тебя к свиньям! — повторял барин, оставляя обеих старух наедине, чтоб их слепые глаза удобнее и пристальнее могли рассматривать друг на друге сокрушительные следы, положенные на них сокрушающим временем.

Чем больше кого любила эта древняя старуха, тем более стращающие потоки разных ужасов про ад и его жупел обрушивала она на своего любимца, следя неотвязно за каждым его шагом, за морганием глаз и даже, кажется, за душевными его помыслами. Тип человека, имевшего некогда населить светлые райские кущи, рисовался в ее представлении такими красками: он должен был по целым дням недвижимо сидеть на своем седалище, иметь губы сложенными в виде сердечка, а глаза — сладко моргающие, слегка увлажненные слезами благодарности за ее, Елены Павловны, благодеяния и попечения. На вопрос Елены Павловны такому человеку следовало отвечать вставши, со смирением и тихостию, по ее словам, всякому православному христианину подобающими.

В период последних жизненных проявлений старой барыни, заключавшихся главным образом в ядении одних только киевских просфор, в знакомстве с различными странниками, блаженными, юродивыми, провидцами и предсказателями, которые снабжали старух этими просфорами,— бабка научилась громадному количеству славянских слов, вырванных из текста Священного писания,— и потому в то время, как я с сестрой попал в ее

руки, ее собственная проповеднически-наставительная речь аб аде, о грехах обильно пересыпалась различными: аще, комуждо, таkожде, якоже, можаху и проч.

Лично для меня слова эти имели тогда какое-то особое значение, которое заставляло меня неуклонно по целым часам, с страшно выпученными белками, слушать бабкины штуки.

— Ты что заегозил? — обыкновенно спрашивала меня бабка, когда я из-за церковной азбуки украдкой смотрел в окно на цветущее весеннее утро.— Упекут тебя на том свете за леность! Лицеприятия там ни для кого не будет.

Тоска какая-то, до слез сосавшая сердце, и в то же время страх нападали на меня при раздумывании о том — кто или что такое именно кийждо и лицеприятие? Они представлялись мне тогда какими-то грозными великанами, поселенными в аду для муки тех грешников, которые вместо того, чтобы изучать титла и апострофы церковной азбуки, глазеют в окна на подернутую нежным сиянием утреннего солнца улицу и глубоко завидуют никем не стесняемой свободе певчих птичек, так радостно летающих и поющих на этой улице.

Мою ребячью резвость, крайне развившуюся в скотнической избе в играх с грациозными ягнятами, сразу осадили бабкины истории. Для нас с сестрой в особенности она выложила всю сокровищницу старинных сельских преданий про неисчислимые беды *того света,* имеющие некогда непрерывным дождем, во все продолжение бесконечной вечности, литься на бедные головы грешников.

— И не будет тем мукам никакого конца...— разговаривала бабка, усадив нас с сестрою около себя.— Будут в ваши уши всякие идолы реветь звериными голосами, подложат они под вас огонь с серою, а сами вы станете кипеть в этаких ли большущих котлах с черной смолою; а насупротив вас праведники в райских садах возликуют,— и еще пуще вам мучение прибавится оттого, что сами в рай не попали. Вот что баловникам-то выйдет от господа бога! — торжественно заключала она, обдаривая нас за наши перепуганные ее рассказом, и следовательно, смирные лица изюмом, прихваченным ею из барской кладовой.

Молоденькие сельские цветки, ласкаемые до этого времени только вольным ветром да солнечным светом,— мы с сестрой склонили пред бабкиными страстями наши

до сих пор беззаботные головы и задумались. Баловства уже не было и в помине. Целые дни мы, как ошалелые мухи, уныло сидели в этой унылой и, так сказать, бархатно-обветшалой комнате в сообществе двух угрюмых, старых развалин.

— Пойдем выбежим на улицу! — шептала мне сестра, чуть только бабка выходила из комнаты.— Хоть бы чуточку на траве поиграть!.. Может, и не увидит.

— Увидит! Она все видит, даром что стара,— мрачно отвечал я розовым губкам девочки, которые с каждым днем делались все бледнее.

— Пойдем, пойдем! — увлекала меня женская страсть.— Не увидит.

— А *тот свет-то?* — возражал я.— Ведь конца никакого тем мукам нет,—всё только нас жечь станут да в уши будут реветь по-звериному. Забыла разве, какой там кийждо-то посажен?..

Так и оставалась бедная девочка с открытыми, умоляющими глазками, когда я произносил страшное слово — кийждо; словно столбняк находил на нее и на меня, когда нам приходилось увещевать друг друга не грешить, под опасением того мучительного штрафа, который бесконечно имели взыскивать с нас многочисленные кийждо и лицеприятие.

Часто зимними вечерами, при тайном свете месяца, лившегося в нашу неосвещенную тюрьму (старая барыня обыкновенно жалобно визжала, когда вносили свечи), при грозном вое степной метели, мы с сестрой решали — кто именно такие наши мучители, постоянно упоминаемые бабкой,— и однажды, в минуту слетевшего на нас вдохновения, единогласно решили, что *кийждо* должен быть в этой страшной семье мужем-людоедом, *лицеприятие* — женой, а *стень* — их любящим и любимым сыном.

Долго бы таким образом пришлось нам набивать наши головы уродливыми фантазиями бабки, если бы, вскорости одна после другой, не перемерли обе старухи, и, следовательно, на счастье или несчастье, мы не были бы выпущены из нашей клетки на полную жизненную волю, такую горькую и сокрушительную для всех людей вообще, а для малолетних дворовых сирот в особенности.

Дело это произошло следующим образом.

Однажды старая барыня как-то особенно энергично задрыгала своей дряхлой головою, точь-в-точь молодой

цыпленок, когда меткий камень баловника-мальчишки опрокинет его вверх брюшком.

Бабка встрепенулась. При самом тщательном взглядывании в лицо своей повелительницы она никак не могла отгадать, вследствие каких именно потребностей барыня дрягает головой и даже стонет.

— Питиньки, что ли, вам али естиньки? — спрашивала бабка у немощной, но немощная вместо обыкновенного подтвердительного кивка еще сильнее и недовольнее затряслась уже не одной только головой, а всем телом.

Бабка усилила свои наблюдательные средства, состоявшие в многолетней привычке и подслепых глазах; но все-таки, кроме болезненных стонов, ничего не слыхала и, кроме трясения головы, ничего не видела. Барыня сама уже разрешила ее сомнения. Она вытянулась в креслах во весь свой высокий, стройный рост, пленявший, говоря слогом Карамзина, некогда напудренных петиметров блистательного екатерининского двора, и, в качестве супруги бригадира, отправилась в Ростов на свидание с супругом.

Ну и мир бы ей — этой жизни, которая во весь свой длинный век ничего не придумала лучше, как во время оно заставить дюка де Белиль, маркиза де Грильон обожать себя, да в нынешнем столетии — умереть; мир бы ей — этой в период беспрерывного трясения и дрожания, доброй, потому что неподвижной и онемевшей, старухе; но нашлись же души, которые не попомнили неисчислимого количества того далекого зла, которое сделала эта барыня, когда, блистая яркими французскими румянами и дикой энергией темниковской медведицы, не удостоенной аттестата Сморгонской медвежьей академии, звонко смеялась, наивно и вместе с тем кровожадно потешаясь над людскими жизнями.

В числе этих сочувствовавших душ была и моя бабка. Сначала смерть барыни как-то странно поразила ее. Она с особым вниманием всматривалась в покойницу, ожидая как бы, что вот-вот по-прежнему заживет эта длинная, столетняя жизнь. Бабке, видимо, не желалось верить, чтобы могло умереть что-нибудь из екатерининских времен. Ее до того заняло это смертное событие, что недели две, по крайней мере, она не говорила не только про кийждо, но даже не сделала ни одного обыкновенного житейского вопроса или ответа. Не обращая ни ма-

лейшего внимания даже на меня с сестрой, она, как вылитый истукан, мрачная и грозно опечаленная, просидела безвыходно эти две недели в своей наполовину опустелой комнате.

После двухнедельной безмолвной печали бабка, до того времени высокая и здоровая старуха, очевидно сгорбилась и ослабела. Такими беспомощными шагами и так низко нагнувшись стала она выходить из барского дома, что мужики и бабы, редко видевшие ее в церкви, крестясь, сторонились при встрече с ней.

Подкараулить барин послал: куда и зачем ходит Елена Павловна? Донесли караульные, что Елена Павловна изволит ходить к старой барыне на могилку, где громким голосом воют и об землю даже грудкою бьются.

Билась-билась так-то старуха о землю опечаленной, по лакейским словам, грудкою — и умерла, полгода не проживши после смерти барыни.

Другой указ тогда насчет меня и моей сестры от барина вышел: отдать Ферапонтовых сирот в город — в ученье какому-нибудь мастерству.

Но и находясь в ученье я долго держал губы сердечком и не баловался, трясясь при мысли о том, как меня, по бабкиным словам, в аду будет мучить за баловство беспощадное лицеприятие или стень.

Благодаря наплыву разных обстоятельств я, впрочем, скоро понял всю бескапитальность оставленного мне бабкой наследства; но недавно, случайно свидевшись с сестрою, я, признаться, на радостях выпил немножко более того, что, так сказать, законами света дозволено всякому джентльмену, так сестра-то, глядя на это, совсем как бабка заговорила:

— Ах, Петруша! Что же это ты так напиваешься? Знаешь, как пьяниц на том свете будут за это? Железным крюком за ребро...

Тут и конец моей фамильной истории; а вместе с тем и конец обещанному оправданию моей зверской радости чужому несчастию. Конечно, тема моя далеко не исчерпана; но зачем же мне продолжать ее, когда я знаю, что если честно и правдиво рассказать людям о тех кривых и неимоверно длинных путях, по которым иные несчастные сироты нашего общества ходят за светлой правдой, так люди-то отвернутся от этой правды, как отвертыва-

ются черти от ладана... Следовательно, это был бы напрасный труд... ну, значит,— и finita la comedia![1]

1863



САПОЖНИК ШКУРЛАН

1

Был у нас на посаде мужичонка один — сапожник. Мы его взяли и прозвали Шкурланом, потому он того заслуживал. И утром рано, и ночью поздно все, бывало, пьяный шатается он по посадским улицам и орет — и все это он одну и ту же поговорку орал:

— Кто еси,— говорит,— из всех вас, посадских, умный человек есть? Выходи,— кричит,— я с ним потолкую...

Только выходить к нему никто никогда не выходил,— осрамит.

Он к нам из-под Усмáни приехал. Сам он был маленький такой, плюгавый, с черными усами, усищи точно очень длинные и гýстые были, в синем сюртуке, и жена, как он же, маленькая и плюгавая — вся в морщинах, только платье на ней, словно бы и на купчихе, ситцевое и красная шаль на плечах. И прямо это он, только что взъехал в посад, чем бы на постоялый двор пристать, он, благослови господи, с бацу-то в кабак и привернул. Пошел он с женою в кабак, а при телеге шесть молодцов таких-то ли бравых осталось, все тоже в вытяжных сапогах, в картузах и в сюртуках синей нанки. Стоят около телеги. Народ тут к ним подходить стал, кое-кто спрашивать их начали:

— Что, мол, вы за люди будете, честные господа? Откуда и куда путь держите?

— Отходите,— это они-то нам говорят,— подальше, покелича тятенька из кабака не вышел. Беда будет!..

[1] Комедия окончена! *(итал.)*

Посмеялись мы тут, что они, эдакие-то ли балбесы, тятенькой своим нас стращают.

Смотрим: выходит это он сам из кабака с крендельком, картуз заломил на самый затылок, у жены штоф вина в руках, сыновей тем вином обносить она принялась.

— Ну,— говорит,— пейте, ребята, да фатеру скорее искать, потому я спать захотел.

А как раз подле кабака старуха одна сумасшедшая в избушке жила. Синей Каретой мы дразнили ее. Не было у ней ни роду, ни племени, мирским подаянием пропитывалась. Так урлапы-то его, он в кабаке прохлаждался, уж пронюхали, что некому защитить старухи, сейчас ему и докладывают:

— Есть, мол, тут, тятенька, старушка одна убогонькая, Синей Каретой зовут, так к ней можно пристать.

Поселились и скоро старуху совсем из ее жилья вон выкурили. Посылал становой сотских сначала выгнать Шкурлана, так он здорово приколотил сотских и сказал им, что дом его и чтобы становой в чужие дела не совался.

Только удивился же становой этому мужичонке и сам к нему с понятыми нагрянул. Весь посад сошелся смотреть — что, дескать, будет?

Шкурлан стал так-то пред становым, подперся руками в бока, расчистил усы и говорит ему:

— Пошто,— говорит,— барин, пришел ко мне, когда я тебя в гости не звал? Приходи,— говорит,— когда позову.

— Ах ты, такой-сякой! — начал было становой; а у Шкурлана всякий сын свое имя имел: одного он князем Кутузовым звал, другого Паскевичем, третьего Дибичем: «Все, говорит, они у меня главнокомандующие».

Как только принялся его ругать становой, он сейчас и говорит Дибичу:

— Дибич! Выведи его вон!

Дибич без разговора взял станового за плечи и вывел. Сотские и кое-кто из посадских попробовали было заступиться,— знатно же, однако, те заступники от Шкурлана с сыновьями по шеям получили.

— Я,— кричал Шкурлан,— один с моими молодцами могу таких два посада, куда хочешь, загнать. Я,— говорит,— всякого человека, какой меня притеснять станет,

беспременно искореню, потому никого не боюсь, и дети мои, кроме меня, никого не боятся.

И жена тоже, бывало, поддакивает ему:

— Точно,— говорит,— мы никого не боимся!

Вот семейка какая собралась!

«Угодит теперь Шкурланище в Сибирь за обиду барину!» — подумали мы, посадские, после такого случая: ан не туда глядишь! Написал про него становой окружному, что, дескать, так и так: ничего не могу поделать с Шкурланом, потому, говорит, ребята у него здоровы очень,— весь посад они разгоняют.

А Шкурлан только что заслышал про это письмо, сейчас мешок с краюшкой хлеба на спину навалил, закурил трубку,— маленькая у него трубка такая была, с расписным коротеньким чубуком,— и прямо в губернию. Там господа разные наехали к губернатору, и он с ними вместе зачесался к нему и ждет, когда выйдет начальник, а сам так-то ли сердито усы покручивает.

Дошла очередь до него.

— Кто ты? — спрашивает его начальник.— И что тебе нужно.

— А есмь я,— отвечает Шкурлан,— государственный крестьянин и сапожник; а нужда моя в том вся, чтобы ты прогнал из посада станового такого-то, потому он казны государевой расхититель, а миру всему великое зло. Вот,— говорит,— что мне нужно!..

Господа-то даже, какие тут были, сказывают, остолбенели все, глядя, как он так вольно говорит с генералом. Нахмурился и губернатор тоже и долго смотрел на Шкурлана сердитыми глазами, а потом проговорил:

— А что ты,— говорит,— Шкурланище ты эдакой, в острог, что ль, захотел, когда мне такие грубости говоришь?

И Шкурлан тоже оборонился смешком на свои усы и сказал генералу: «Так я же, говорит, еще скажу тебе, что я в острог не пойду, а пойду от тебя прямо в Питер к самому императору жаловаться, и запретить этого ты мне не в силах, потому я, говорит, кроме как одного господа небесного, никого не боюсь»,— и сейчас же мешок свой навалил на спину и пошел.

Все господа не утерпели и засмеялись — и сам засмеялся.

— Вот,— говорит,— какой озорной мужичонка! Сроду таких не видал. Воротить его,— говорит,— ко мне в кабинет. Мы после с ним потолкуем.

— Отчего не потолковать? — с усмешкой сказал Шкурлан.— Потолковать с начальником я всегда могу.

Неизвестно, что они с губернатором говорили, только еще не дошел до посада Шкурлан, а становой наш уже получил из губернии приказ, что, дескать, быть тебе, становой такой-то, без службы.

II

С тех пор вона какой почет стали мы все Шкурлану отдавать. И как он завсегда в кабаке с своею женою пребывал, так чуть только кто ввернется туда, беспременно и им от своих трудов праведных либо шкалик, либо косушку жертвовал. А Шкурлан это одну руку запустит в карман, а другой все усы старается за уши заложить и говорит:

— Понимайте теперича, почему я завсегда пьянствую. Потому — все вы дураки и мне с вами поделать ничего невозможно...

— Это точно! — непременно подтвердит жена.

И, коли правду говорить, ежели бы он не пил так безобразно, многих бы он, по своему разуму, за пояс мог заткнуть. Одно его мастерство чего стоило! Какие хочешь сапоги, барские или теперича купецкие — вытяжные или просто мужицкие, такие-то ли всегда удирал он — смотреть любо! Только редко же этот Шкурланище проклятый работу свою до конца доводил. Всегда почти пропивал он товар, какой ему давальцы принашивали.

— Зачем ты, Шкурланище, мой товар пропил? — начнут его спрашивать.

— А затем,— скажет,— что мне так захотелось...

Жаловаться на него никто уж и не жаловался, потому не помогали жалобы. Всех начальников он умел своими разговорами рассмешить и милости себе всякие от них приобресть. Пробовали тоже своим судом расправляться с ним,— одна драка всем селом выходила, потому заступалась за него жена с сыновьями и еще пономарь один забулдыжный тоже заступался,— Катеринычем его прозвали,— так они весь посад одни одолевали. Ну, однако, изловчились и мы и под Шкурланову ду-

шу подделались, не скоро только. Теперича, ежели он у тебя один товар пропил, сейчас же другой ему принеси и как можно усерднее попроси, чтобы он этого товару не пропивал.

— Ты уж, мол, тово, Григорий Кузьмич, хошь из этого сшей, а за прежний сочтемся.

— Вот это,— скажет Шкурлан,— я люблю. Я доверие очень люблю,— закричит,— и сам всем готов доверять, только нечем.

И тут же отдаст приказ сыновьям получше сшить сапоги.

— Слушаем, тятенька! — ответят сыновья и примутся за работу так, что стружки летят. Славные они у него ребята были — так отца с матерью слушались, что всем нам завидно было.

— Поди же вот,— толковал посад,— отец с матерью пьяницы, а дети исправные.— Все они у него, кроме как грамоте, и сапожному мастерству обучены были, всякий от себя самоучкой еще — кто на гармонике, кто на гитаре или на рожке выучились. Выйдут, бывало, летним вечером, как работа кончится, на улицу, сядут все около избы и примутся они так-то сладко песни играть. Ни одного безголосого во всей семье не было! Мать это у них такая-то старуха мозглявая, взглянуть не на что; а как почнет, бывало, «незабудочка цветочек» тонким голоском оторачивать — заслушаешься. И Шкурлан сам всем этим затеям первым запевалой считался. Поначалу-то тенорой пустит-пустит, а там всю песню на басе держит. Откуда только такой толстый голос у него брался?

Со всего посада и из слобод даже приходил народ слушать их.

Года три или четыре таким-то манером жил Шкурлан у нас на посаде. И к пьянству его, и к оранию по ночам, и к руготне все мы привыкли и сердиться на него перестали, потому как первое дело: совсем он пропащий мужичонка был, другое: много тоже и добра всякого по посаду и по окрестным селам он делал. Теперича ежели богатый купец какой очень грабить народ принимался, или становой, или писарь нажимать чересчур почнут, Шкурлан сейчас с приятелем своим пономарем придут к нему под окна и такие-то рацеи прочитают ему,— свету божьему не обрадуется.

— Отойдите только от окон, ребята, да срамить пере-

станьте,— умаливает их такой человек.— Я,— говорит,— вас водкой, как угодно, ублаготворю.

Особенно так-то они благочинного посадского донимали. Дочерям его не то что на улицу, а из дверей даже нельзя было показаться, потому пономаря очень обижал благочинный, так он даже охальничал перед ним.

— Ну, Катериныч! — грозил пономарю благочинный,— уж похлопочу же я, чтобы тебе лоб забрили.

— А я,— говорит пономарь,— на всякую минуту готов, потому лучше мне у черта в аду жить, чем у тебя под рукою.

Плюнет благочинный, слушая такие пономаревы речи, и уйдет прочь; а Шкурлан с приятелем со смеху покатываются и про все его тайности крещеному миру во все горло орут.

— Мы тебя,— кричат,— пропечем! Сунься-ка ты на нас.

Устанут кричать, стоявши под окнами, возьмут лягут насупротив дома и, лежа, ругаются. Так до тех пор и не отходят, покуда им либо водки, либо денег не вышлют. А вышлют, так они насмеются.

— А,— скажут,— черти поганые! Вином хотят неправды-то свои смыть. Небойсь ничем их не смоешь,— насмеются и отойдут, а пономарь всегда в таком разе кант запевал.

А особенно умели они отхлопатывать от рекрутчины ребят, каких мир, либо по их бедности, либо по сиротству, без очереди заедал. Придет к ним такой горемыка, купит вина четверть, бумаги, перо, сейчас пономарь за письмо. Так это все чудесно высшему начальству он подведет, что многих из службы назад ворачивали, и миру большой нагоняй выходил. А бывало когда, что и высшее начальство с миром заодно на тех горемык выходило, так писаки-то наши на конце письма подписывали, что, дескать, ежели вы, ваше благородие, парня Ивана Лучину, занапрасно забритого, не ослободите, мы в ту же пору к самому батюшке царю в Питер жаловаться на вас пойдем. И сейчас же оба подпишутся к письму.

— К сему,— говорят,— прошению посадский пономарь Кузьма Лукич Забубенный и государственный крестьянин и сапожник Григорий Кузьмич, по прозванью Шкурлан, руки приложили.

После таких писем многих парней освобождали. Раз-

ве уж такого только не отхлопатывали они, кому на роду написано быть в солдатах, и за такие свои хлопоты, кроме как одного вина, подарков никаких не принимали.

Поэтому-то, всего больше, видючи в нем такую добрую душу, мы и не очень чтобы мешали Шкурлану пить у нас на посаде. Только и прослышали мы в это время про набор.

— Большой набор будет! — стращали нас городские приказные.— Три земли на нас поднялись. С эдакой махиной надобно поправляться.

«Ну,— думаем,— большой, так большой. Знать, такой следует»,— а сами, кого надобно было, снаряжаем заране, чтобы были готовы на всякое время и на всякий час, потому не на шуточное дело молодцы наши шли и не на день, не на два...

Были же те слухи как раз перед Севастополем.

Повестили наконец к жеребьям, а там уже и сдавать повезли, а у Шкурлана, года с три прошло ли еще, как племянник в солдаты ушел, и очереди за его семейством покуда не значилось.

— Счастлив,— толкуем промежду себя,— этот Шкурлан. Шесть орлов каких вырастил, а вот, поди ты, все дома сидят.

Смотрим так, однажды поутру Шкурлан со всеми сыновьями куда-то в дорогу собрался. Идет он впереди ребят и трубку курит, а сам такой скучный, повесил усы и не пьян. Старуха их провожает, рекой разливается.

— Куда, мол, собрался, Григорий Кузьмич? Ай место где облюбовал,— выселиться хочешь?

— Прощайте,— говорит,— братцы! Иду,— говорит,— я рабят в солдаты отдать всех до одного человека, потому враг на нас идет многочисленный,— говорит,— аки звезды небесные.

И пономарь Кузьма с ними же шел.

— И меня,— говорит,— православные, не поминайте лихом, а я вас совсем поминать не буду, потому надоела,— смеется,— мне дурь ваша. Посмотрю, не лучше ли там будет?

«Шутят они! — подумали мы.— Должно быть, собрались куда-нибудь на охоту либо на рыбную ловлю».

Какая же, однако, шутка вышла? Ведь в самом деле всех ребят и с пономарем Шкурлан в солдаты сдал! И так он через такое свое дело всему губернскому на-

чальству понравился, что много то начальство и ему и ребятам денег надавало. И выпросил он, кроме того, позволение быть его детям и пономарю всем в одном полку и в одной роте.

Хотели было в гвардию таких молодцов представить; упросил Шкурлан, чтобы их прямо в сражение пустили.

— На врагов,— говорит,— я их привел.

Вышла ему от начальства письменная бумага — благодарность; а он пришел домой, повесил этот лист в избушке Синей Кареты и запил.

Долго не верила Шкурланиха, чтоб он всех до одного детей отдал в солдаты. Все думала, что вот-вот хоть один вернется назад, хоть младшенький; а как увидала, что нет оттуда возврату, тоже запила вместе с мужем.

Бывало, и смех тебя берет, и печаль, как она, словно канка, у которой каныши заблудились, по посаду пьяная ходит. Нагнется она, сугорбится, истерзанная вся, и плывет, а сама бурчит что-то и руками разводит; а шаль ее красная спустится с одного плеча на землю и волочится за ней.

Недолго только проходила Шкурланиха таким манером. Вскорости умерла; а умираючи, на чем свет стоит мужа ругала за то, что он ее с милыми детушками разлучил.

Пришли как-то кое-кто взглянуть на умершую, а Шкурлан с ней все равно как с живой разговаривает, потому очень уж пьян он был в это время.

— Глупая! — бормотал он.— Своего счастья не знаешь. Тебе там веселее будет!.. Я бы и сам давно хотел помереть, да смерть нейдет...

И все это тихо он бормотал, не то, чтобы, как прежде, горлопятил; жалость большая брала, глядя, как он одиноким остался. А в избушке такая-то жуть, такая-то бедность! Печка совсем развалилась. Синяя Карета, отрепанная вся, в лохмотьях, в морщинах, забралась на нее и, словно зверь неразумный, смотрит на всех и зубами сердито щелкает...

III

Тише воды, ниже травы Шкурлан сделался, когда своей семьи лишился. По целым дням, бывало, сидят они с Синей Каретой в ее избушке и друг на друга смотрят.

Мальчишки посадские найдут к ним в избу, смеются-смеются над стариками и не добьются от них ни единого слова. И только тогда, когда темная полночь весь посад спать укладывала, соседи слышали, как выл Шкурлан:

— Чады мои, чады, что я с вами сделал?..

Подсматривали за ним соседи потихоньку, так видели, как он в это время по земле катался и волосы на себе рвал. А днем опять засядет в свою берлогу и сидит там, не сходя с места, печальный такой, седой, облыселый. Видят посадские, что не только старики не могут себя прокормить своими руками, а даже и по миру не в силах ходить, стали им хлебца носить, водицы, кваску...

— Что же ты, Григорий Кузьмич, сидишь здесь? — старики его спрашивали, когда он мало-мальски очувствуется.

— Смерти,— говорит,— жду, милые мои! Авось она унесет с собой мое горе великое, какое я всю жизнь мою в кабаках пропивал, да не пропил!..

А сам так-то ли горько плачет, словно река разливается.

Дивились мы на него не мало и думали: про какое горе он говорит? Человек, можно сказать, весь век в кабаках проздраствовал на чужие деньги, а теперь горюет. Разве по сыновьям плачет, так ведь сам он их отдал в солдаты.

А горе у него, должно быть, в самом деле великое было, потому истинно, что всеми своими кровями кричал про него Шкурлан по ночам и будил нас... Будил нас теми своими криками страшными, как голос доможила, когда он «к худу» вещает; а мы, слушаючи их, очень ужасались сердцами и господу богу, вставши с постелей, усердные молитвы творили.

1863



ИМЕНИНЫ СЕЛЬСКОГО ДЬЯЧКА

I

Еще накануне Петрова дня дьячиха принялась мыть пол в избе и скоблить косырем ее задымленные стены. Выскоблила она их не только что внутри, а даже и понаруже кое-где прошлась косырем, так что изба, словно бы лошадь, совсем пегая стала. Осмотрелась после такого дела дьячиха, сейчас же ребятишек своих всех протурила в ригу, на гумно.

— Вы,— говорит,— у меня в избу теперь до завтрашнего вечера ни ногой! Пусть-ка она у мень хоть на тятькины именины в чистоте поживет.

— Мы бы, маменька,— заговорили было ребятишки,— повалялись немножко на полу-то на белом. Перед святой, когда ты его вымыла, мы на нем чудесно валялись.

— А вот разговаривать у меня кто будет, так я ему скулы-то скоро поправлю! — ответила дьячиха своим птенцам. С устали с великой она рассердилась немного.

Птенцы после таких речей сейчас же побежали на жительство в ригу, крикливо предполагая дорогой, что в риге-то на соломе, пожалуй, еще лучше будет валяться-то, чем в избе.

К вечеру *сам* с поля приехал. Взглянул он как-то на избу, а труба у ней словно голубь белый домашний сидит на старой соломенной крыше, на которую уже понемногу в это время налегали вечерние сумерки. Так светло эту трубу заботливая хозяйка набелила известкой. Стены тоже оказались не как всегда, покосившимися и слезливыми, вроде бы старика какого-нибудь, одиночки скорбного, а даже будто выпрямились эти стены, будто бы чувствовали они, что вот сейчас хозяйская рука вымыла их для завтрашнего праздника.

«Ну-ка, мол,— пестрели на вечере такими словами желто-белые стенные полосы,— порадуемся вместе с хозяином его ангелу; не все же нам скорбеть, не все хмуриться».

— Приехал? — протяжно спросила дьячиха у самого, высовываясь из окна.

— Приехал,— благодушно уведомил ее сам, отворяя крикливые ворота.

— Н-ну, с преддверием! — поздравила хлопотливая жена.— Распрягай скорей, ужинать пора.

«С преддверием, хозяин,— заговорила в свою очередь пегая, обновленная изба.— В радости тебе, Петр Алексеевич, праздничек препровесть!.. А мы тебе и нынешние именины верно отслужим: может, ныне еще устоим мы как-нибудь и не развалимся, в случае ежели ты с приятелями завтра в пляс пустишься».

— Чудесная у меня изба! — похвалился в это время Петр Алексеевич тихим шепотом.— Здоровая какая, и словно бы развеселилась для праздника. Ах, праздники, праздники! Всякая вещь живая и неживая вам радуется; а только все же я для своих аменин шесть рублев уже истратил, да завтра еще рубля с два беспременно исхарчишь, потому здоровы мы, бедные люди, в гостях гостить; на чужой счет пить, есть мы всегда неустанно готовы... Грехи!

II

На самый Петров день батюшка-священник положил быть ранней обедне.

— Ну,— сказал Петр Алексеевич своему товарищу, пономарю из молодых,— дружнее подхватывай. Знаешь, какой праздник ныне! Так выводи, чтобы сердцу весело было, а то на аменины не позову.

И затем из церкви, по освещенной ранним солнцем сельской улице, полился в соседнюю к ней дьячкову избу тропарь апостолам Петру и Павлу. Бас Петра Алексеевича и тенор молодого пономаря гулко раздавались в избе, так что масляный портрет одного сумрачного архимандрита, дальнего хозяйского родственника, как-то особенно благосклонно раскачивался на стене от этого пения.

«Хорошо, хорошо, дети! — как бы говорил архимандрит не по-всегдашнему — ласково.— И на будущее время благословляю вас петь так же чинно, усердно и доброхвально».

Ярко вычищенный самовар тоже по временам вздра-

гивал от могучих «фортиссимо» Петра Алексеевича. Всегда тусклый, загаженный мухами, покрытый зеленою ярью, теперь он тихо звенел своими фигурными ручками о светлые бока и толковал тихой, одинокой избе:

«Вот ведь, говорю я тебе, изба! Живет, живет человек в горе да в нужде — и никто на него не глядит. Курицы на него зачастую спать садятся; а чуть только радостью дохнет на него — и пошел человек, и все горе забудет. Так-то вот и я: перед святой вычистила меня хозяйка тертым кирпичом, попила из меня чайку на первый день, да так и поставила. На троицу собиралась тоже почистить,— некогда было. Загоревался совсем я тогда от такой хозяйской неласки, потому снаружи совсем потускнел, а внутри пауки гнезда повили, разная дрянь натолкалась: мухи, комары и всякие козявки несчастные. Теперь опять, слава богу, самоваром как следует стал!» И при этом самовар даже с некоторым нахальством пятил свое толстое брюхо на светлом солнце, как бы говоря: «Вот, дескать, свети, свети на меня, солнышко божье! Ныне день такой веселый!»

Ременная двухвостная плетка, которую Петр Алексеевич употреблял для-ради вящего усвоения сельским юношеством правил образованности, раскачивалась на своем гвоздике. Всегда строго карательная и извлекающая из очей своих пациентов одни только потоки горчайших слез, она однако же, как и все остальное в избе, нашла в себе кое-что такое, чем ей тоже можно было похвалиться и порадоваться в настоящую солнечную минуту.

«По праздникам и я тоже редко кого стегаю,— шептали ее ременные кончики.— В праздники-то господом богом указано миловать, а не сечь».

А с навозной завальни упорно вглядывались в пустую избу маленькие ребятишки, ученики Петра Алексеевича, дожидавшиеся теперь, когда он придет от обедни. Привыкшие видеть избу битком набитую многоразличными молодыми головенками, на различные громогласные лады вытверживающими науку, заключенную в церковнославянской азбуке,— ребятишки очень были заняты невиданной ими прежде пустотою дьячковской избы и ее несмущаемым молчанием.

— Что это, ребятушки,— сказал один малыш,— ото-

ропь на тебя какая нападает, когда в пустую избу глядишь. Говорят, по избам-то в такие времена домовик невидимо ходит, убирает все, чтобы хозяева им оставались довольны.

— И то что-то как будто и на меня тоска напала. Ишь жуть в ней какая, словно в лесу! — подхватил другой.

— Меня тятенька когда посылал к учителю с проздравлением, наказывал прежде обедню отстоять; а я, братцы, не пошел,— устаю я очень. Всегда я так-то отлыниваю от обедни, когда тятенька дома остается. Так как бы нам домовик-то за такой мой грех въявь не явился. Дай-ка, скажет, я ребятишек-то попугаю, чтобы они в церковь ходить не ленились.

Каким-то особенно толстым голосом повторила избяная пустота последние слова ребенка, так что даже серодымчатый кот, мирно баюкавший себя на лавке, пригретый солнечными лучами, пробудился при этих словах, вздрогнул и медленно перешел с лавки на загнетку, откуда несся щекотливый запах пирогов, щей и жареного поросенка.

— Бу-у! — раскатилось в избе.— Дай-ка я ребятишек-то попугаю, чтобы они, бу-у-у, в церковь ходить не ленились.

Побледнели беззаботные краснолицые ребятишки и бросились прочь от окна.

— Вот *он* заговорил! — вскрикнули тогда ребятишки, ополоумевшие от ужаса; но в двадцать раз громче их дружного крика старым басом Петра Алексеевича и заливным тенором молодого пономаря грянула тогда белая церковь: «Свят, свят, свят господь Саваоф!» — и мальчишки ободрились.

Не смущаясь более пугающим безлюдьем избы, некоторые из них храбро пролезли чрез окно внутрь ее, откуда благополучно украли ременную двухвостку, которая и была зарыта в самую глубь завальни, опушавшей и поддерживавшей убогое дьячковское жилище.

— Ну-ка, выдь оттуда, из-под завальни-то,— предлагали насмешливые ребятенки казнительнице своей — двухвостке.— Пока, братцы мои, дьячок успеет другую состроить, вали во все лопатки... Только смотрите: не выдавать. Шпиону такому сообща все волосы вырвем.

Во время *достойно* дьячиха вышла из церкви, нарядная такая. Мужики и бабы, стоявшие на паперти, до самого дома провожали ее завистливыми глазами.

— Как это, господи, духовные хорошо наряжаться умеют! — толковал народ.— Недаром все они, почитай, грамоту знают.

Но дьячихе некогда было слушать этих разговоров. Пошумливая своим наследственным, еще от бабушки доставшимся ей гарнитуровым сарафаном, плавно прошла она мимо соседок, крестясь и нашептывая про хозяйские заботы-грехи, которые никогда не дают ей отстоять всей обедни.

— Очень эти заботы,— шепотом бормотала она,— помогают врагу искушать меня. Имеючи такую кучу ребятишек, чужому добру не в пример чаще завидуешь; работаючи одна во всей семье, еще чаще того на богатых людей злобишься. Работницы у тех людей, так и те и устанут-то меньше тебя и поедят слаще тебя; а ты глядишь на это весь век и горишься, как тебе и помолиться-то даже до конца не дадут...

— С аменинником! — врезался в дьячихину думу церковный староста, закадычный приятель ее мужа.— На-ка вот, прими подарочек,— прибавил он, вынимая из-за пазухи жареную курицу и полштоф сладкой водки.— Не взыщи: чем богаты, тем и рады.

— На чем взыскивать. Благодарим покорно и на этом. Отошла, што ль, обедня-то?

— Отошла. Твой-то в церкви остался: батюшку в гости зовет, да попадья ломается.

— Ох, уж мне эти молодые попадьи. Говорила мужу: «эй, не зови попа», потому как от попадьи, кроме убытков да чванства, ничего толку не будет. Повадилась она там в губернии по большим господам гостить,— на нас и смотреть не хочет; ровно мы не люди. Садись-ко: я тебе чайку волью, али, может, прямо винцом почнешь?

— Признаться, винца-то бы перво-наперво желательнее: получше бы, может, закрепило,— говорил староста, конфузливо поглаживая седую окладистую бороду.— Теперь ведь у вас пир, надо полагать, немалый будет, так

оно позаправиться не мешает, чтобы опосля от добрых людей не отстать.

А между тем к этому времени подошел от обедни и сам Петр Алексеевич. Парнишки-ученики встретили именинника гулом картавых поздравлений и различными сельскими подарками.

— Дяденька, с ангелом! Тетенька, с аменинником! — развязно поздравляли дети сельских мещан-торгашей, представляя дяденьке большею частью хлопчатобумажные свертки с фунтом окаменелых жамок, ценностью в три ассигнационных пятака. Ребятенки мужицкие, напротив, молчаливо совали мастеру своих тяжелых гусей и петухов, стараясь поскорее обделать это дело, завещанное им непреложною родительскою волей, и улепетнуть от этих суконных сюртуков и кафтанов, от этих блестевших всеми радужными цветами женских платьев, натолкавшихся на именины к дьячку.

— Беда эти господа! — толковали мужицкие ребятки, в простоте сердец своих считавшие за барыню жен писаря, лесничего и за барина — изворовавшегося и поэтому прогнанного помещиком лакея Фарафошку, который, впрочем, почему-то искал себе места регента у окрестных бар.

— Сейчас я, братец ты мой,— говорила одна белокурая, всклокоченная голова из ребячьей толпы,— как только увижу немецкий кафтан, так-то здорово пужаться стану... Тут же я и убегаю куда-нибудь, прячусь...

— Тоже, паренек, и мне анамедни барин какой-то с ружьем шел по саду, так в виски вцепился — страсть. Ты, говорит, што тут бегаешь по улице-то? Вон они какие!

— Ну, други,— начал Петр Алексеевич,— с божьим благословением приступим. После теперича трудов праведных хорошо одну, другую пропустить.

— После трудов точно что... оно как будто... повеселее сделается,— согласился млевший от ожидания выпивки Фарафошка.

Скверная водка по сельским кабакам продается. Не скоро с ней разговоришься как следует; а ежели разговоришься, так после такого разговора непременно с кем-нибудь подерешься. Испокон веку водка ничего другого по селам не делала. Так было и у дьячка на именинной беседе.

Забыла домовитая дьячиха даже детей покормить в возне с гостями.

— Маменька, дай поесть нам чего-нибудь! — жалобно приставали к ней малышки, когда она выходила за чем-нибудь на погребицу, куда она безжалостно заточила ребятишек, чтоб они не мешали гостям.

— Цыц! — покрикивала на детей мать и снова возвращалась к прерванному разговору, который кипел в подгулявшей избе буйным ключом.

— Правду ты великую сказала,— говорила дьячиха подруге своей, жене писаря,— чем она брезгает, эта попадья? Небось ежели бы хоша она сюда пришла, рази бы замаралась? Что же такое, что мой муж в нижних чинах состоит? Зато, кабы кто про его добродетели знал...

Клюкнувшая здорово писариха молчала. Она только согласно улыбалась и тихонько раскачивала своим маленьким покрасневшим носиком.

— Что же, что она в губернии родилась? Образованности особенной не вижу я в ней что-то, даром что она губернская.

— Насчет образованности,— неожиданно залепетала писариха,— ей супротив меня не выстоять... У меня два салопа есть, третий к зиме муж обещался оборудовать. Как придут выправлять свидетельства на плоты, так и оборудует.

— Да про тебя уж и речи нет! Твой муж кто? Твой муж совсем барин. А она против меня, так и то вряд ли устоит.

— Будет, голубка, будет! Прекрати злобу,— умолял жену Петр Алексеевич.— Несть власть... А поп с попадьей наша власть, начальники наши, отцы. Над нами с тобой начальников много, потому мы с тобой последние спицы в колеснице.

— Фарафошка, слушай, что я тебе скажу,— кричал молодой пономарь проворовавшемуся лакею,— ты как про этот гриб понимаешь? Я понимаю его априори.

— Ежели ты мне такие слова еще говорить станешь,— отвечал Фарафошка с азартом,— я тебя, издохнуть мне на сем месте, в морду резну сейчас.

— Ну, хорошо! — согласился молодой пономарь.—

Я не буду; давай, друг любезный, лучше песни играть.

— Вот это прекрасно! Давай играть. Я, братец, регентом буду; я, братец ты мой, эту часть понимаю отлично. Слушай: я тебе тону задам: дри, дри, дро! Три, ри, ри, тра!

— Братцы! Господа! — взывал хозяин.— Что же это будет такое? Что об нас православный народ подумает? Ах, подумает об нас православный народ: в духовных домах уж стали ныне песни играть.

Расстановисто и басовито толковал в то же время и седой церковный староста:

— Всех вас, сколько тут ни на есть, я куплю и продам, опять куплю и опять продам, потому денег у меня сам черт не знает сколько...

— Ну, это ты напрасно так-то поговариваешь, Лука Иванович! — вступился за общую амбицию мещанин Свайка.— Право, напрасно. Эдак-то мы будем разговаривать, как бы нам с тобой господа бога не обидеть. Так-то!

— Нет, не напрасно! Нет! И господа бога мы не обидим! — настаивал упрямый старик.— Он, батюшка наш, все видит, все знает! А я вас всех до единого человека куплю и продам, опять куплю и опять продам...

— Будет, будет тебе, дедушка... Ты вот лучше слушай, как мы псальму запоем.

Хвали мой дух святую Варвару
И подивись в ней божию дару,—

зачал Петр Алексеевич.

— Ну, бабенки, что же вы не музыканите?

Звонкими дишкантами отвечали бабенки на это хозяйское предложение:

Как она, еще младая,
На прекрасную тварь взирая,
Познала всех бога!

— С богом! — восторженно воскликнул Фарафошка, когда полным-наполно зачерпнулась изба дружно загудевшим хором.

— Вот как духовные-то пируют,— говорили соседние мужики,— не то что мы: всё по-божественному поют, посвятому.

Церковный староста с горькими слезами слушал псалму и, отчаянно мотая седой головой, с великим сокрушением восклицал:

— Грешник я, отцы и братия, великий! Простите меня, Христа ради; я на старости лет аки пес смердящий сделался.

— А ты вот что, дедушка! — тоже со слезами советовал ему мещанин Свайка.— Ты не сокрушайся, ты лучше выпей да закуси. Глядел я на тебя, дедушка, совсем ты не ел ничего.

— Вправду, парень! Налей-ка ты мне, я выпью да закушу. Ох, старый я шут, а не жру ничего.

— Ах! Расскажу я вам сейчас, господа, как я прошлой зимой регентом в соседнем городе был,— покрыл всех своим голосом Фарафошка.— Прихожу в собор к поздней обедне; одет чисто, в шинели, голову прежде того расчесал и помадой мусатовской напомадил. Видевши, что певчие меня считают за приезжего барина, я и говорю им: «Слушайте меня, господа, я вами командовать буду. Я регент». Они говорят: «Хорошо, командуйте, только от вашей милости после обедни на водчонку да на чаишко желательно бы получить за команду-то».— «А это ничего, говорю, и на водчонку и на чаишко получите»,— сказал я и стал им тону задавать, как следует, по портецам. Только что же? Певчие мне и говорят: «Вы, говорят, хотя и барин, только тону вы совсем не умеете задавать». Тут я понял, что я вправду не умею тону задавать, и здорово испужался, как бы они меня с крылоса с конфузом не вывели...

— Меня, братец,— заговорил молодой пономарь,— немец-сахаровар страсть как исколотил однажды. Тоже вот я, как и ты, пришел на завод, и показалось мне все это так просто,— я и давай рабочими командовать. Живо я тогда, братец мой, две машины испортил. Дули же меня за это чудесно!..

— Знать, наша с тобой участь такая! — с громким хохотом проговорили приятели.

— Стой, стой, писариха, помолчи! — уговаривал свою соседку церковный староста.— Как только твой муж умрет, сейчас я тебя замуж за себя возьму. Ты не гляди на меня, что я старик... Я страсть какой здоровый старик! Денег у меня словно у черта! Ха! ха! ха!

— Хи! хи! хи! — отозвалась ему писариха.— Ах ты, старый! Туда же с бабами норовит...

— Старый, да удалый! — лютовал раскутившийся седырь.— Дай-ка я тебя поцелую, голубка! Вот что: ты ме-

ня ныне поцелуешь, а я тебе завтра меду принесу. Мы тоже нос-то не левой ногой утираем.

— «Ужасом многих содрогашеся!» — разварганивал высшим гласом сам Петр Алексеевич, уже уставший усмирять пьяные порывы своих гостей.

— Погоди ты, Христа ради, реветь, Петр Алексеевич! — умолял его плачущий Свайка.— Я вот только про жисть свою горемычную расскажу, тогда Христос с вами. Делайте без меня как знаете.

— Нам твоя жисть и так давно известна — нечего тебе рассказывать про нее,— ответил Петр Алексеевич, продолжая содрогаться ужасом многих.

— Как нечего рассказывать? — спрашивал удивленный Свайка.— Рази я погибаю не от вашей неправды? У меня онамедни Фарафошка из лавки ременный хомут украл, однако я ему ничего не сказал. Думаю: бог с ним! Может, ему есть нечего. Трезвый я про неправду соседскую не скажу; а уж у пьяного у меня держись только, все вызвезжу!.. Вот что, Фарафошка! Подавай сейчас хомут: он у меня в продаже за тринадцать рублев идти должон.

— Ну, ты у меня не очень ерепенься,— посоветовал ему Фарафошка.— Ты рази видал, как я у тебя хомут воровал?

— Видал.

— А видал, почто не ловил?

— А для того не ловил, что думаю: бог, мол, с ним! Может, ему пить-есть нечего!

— Так, значит, и не разговаривай. А то ведь сам знаешь, как я тебя всегда бью за такие слова...

— Ну уж теперь не прибьешь. Теперь придумал я: что, мол, в зубы-то людям смотреть? Стану-ка я с ними сам по-божьему поступать.

— Брось ты это дело, Свайка! — посоветовал ему церковный староста.— Не к руке об этом деле в гостях толковать.

— Про твой разбой да разврат везде к руке говорить! — заорал на старосту Свайка.— Окроме того, что ты молодицам отдыху не даешь, ты вот еще на эту самую писариху разоряешься, старый ты шут! Тебе умирать пора, грехи свои тяжкие с великими слезами замаливать, а ты народ грабишь, в рост деньги даешь; а я вот

ничего такого не делаю, а все нет мне ни от кого почтенья.

— Кто тебя будет почитать-то, собака ты брехучая! Ты бы лучше брехать-то перестал, сердце-то свое лютое сократил!

— Черти вы! — неистово кричал Свайка,— когда я кому-нибудь на вас, кроме одной истинной правды, что-нибудь обидное говорил? А ведь ты, Петр Алексеевич, отцу благочинному на своих братьев наушничаешь,— думаешь, он тебе за это дьяконство выхлопочет? Не выхлопочет. А этот вон молокосос — пономаришко — ночи не спит,— по девкам все шляется. Ну, да это куда ни шло: все мы молоды были. А вот что тебе сказываю, молодой пономарь: ты вот теперь дружбу с Фарафошкой повел,— прекрати эту дружбу-то, а то таким же ворищем сделаешься — и будут тебе честные люди в глаза плевать. Вот тебе, подлец Фарафошка, за хомут. Не сиди ты подле меня, пустой, подлый человек! — И при этом Свайка плюнул, ударил Фарафошку в лицо и прибавил, вылезая из-за стола:— Пустите меня, не хочу я в вашей компании быть!

Но людская неправда не выпустила Свайку из своей подлой компании. Благодаря только храбрости своей жены справедливый мещанин был выхвачен с поля битвы в самом бесчувственном состоянии.

— Так-то ты, Петр Алексеевич, гостей своих угощаешь? — кричала жена Свайки дьячку с другого конца улицы.

— А то как же? — отвечал ей совершенно опьяневший Петр Алексеевич с какою-то конфузливой улыбкой.— Не буянь, не ругайся!

— Мы за буянство-то знатно своим судом расправляемся,— бурлит церковный староста.

— Что-то вы завтра толковать станете,— спрашивала Свайкина жена,— когда вас становой, по нашей жалобе, на свой суд-то притянет?

— А то же и скажем, что своим судом скорее с приятелем расправиться,— безбоязненно закончил староста.— А впрочем, что мне с тобой, с глупой бабой, разговаривать-то? Рази ты не знаешь, что я всех вас тут до единого человека, и с становым и с потрохами его, куплю и продам, опять куплю и опять продам.

— Вот тебе и суд весь! — насмешливо поддакнул именинник.

— Хошь и тяжело, а куплю! — кричала седая борода, трясясь от злости и грозно стуча о каменный пол дьячковских сеней грузными сапожищами.— Вон ступай из села, кошатница! Это наша земля, мужицкая! Добром не пойдешь, я тебя опять-таки своим судом ногой задавлю — и ничего ты мне не поделаешь!..

— Слава тебе господи! Повеселились как следует,— взмолился отставной фельдфебель,— за угощенье, Петр Алексеевич!

— Не взы-ы-щи-и-те, рра-ди Христа! — бормотал хозяин, уткнувшись головой в сенной ворох, сложенный в сенях.

— Дедушка, не срамничай! Перестань: гляди, на тебя добрые люди смотрят,— усовещивал буянившего старосту молодой внук, волокший его домой.

— Я здесь, на этой земле, восемьдесят годов живу, а она меня обижает, становым мне острастку дает! — кричал на всю улицу неуступчивый дед.— Какой я ни на есть, а она меня не смей судом стращать! Я сам себе суд! Знаешь, Миколка, сколько у меня денег? Я эти деньги кровью своей приобрел и могу на них все купить...

— Ах, жаль старика! — говорил народ, вышедший после обеда на празднично сиявшие улицы.— Избили они Свайку у дьячка до полусмерти, а жалобиться Свайчиха на него одного пойдет, потому с тех нечего взять. Оберут они его знатно!..

1863



ОДИН ДОКТОР

Больничный эскиз

I

Я не люблю больниц. Всевозможные микстуры, тинктуры и унгвенты я считаю не чем иным, как одиннадцатою египетскою казнью, а доктора все без исключения представляются мне не иначе, как в виде мертвой головы, изо-

бражаемой на суздальских картинках, пред которой на нарочно придуманном пюпитре обыкновенно стоит большая чашка кофе и лежит или листок газеты, или литографированный ученый немец.

Поэтому ни с чем медицинским или фармацевтическим до полного обморока я сталкиваться не могу. Но человеческая слабость, скажу парадокс, сильнее человеческих убеждений.

Однажды, забытый всеми, голодный и холодный, я шатался по моей тесной каморке и покашливал тем отрадным кашлем, который человеку, не сумевшему устроить себе безмятежную жизнь *здесь* предвещает полный мир и ничем не смущаемую тишину *там.* Желчные сокрушительные волны всего меня залили собой в это время.

Людская попечительность в виде одного моего приятеля, поставленного счастливой судьбой совершенно не у дел, заставши меня в таком положении, сейчас же, без малейшего разговора, пролила об этом положении несколько чувствительных слез сострадания и сожаления и насильно потащила в больницу.

Зная мои убеждения насчет докторов и всего докторского, я, как вы легко себе можете представить, отпирался от больницы и руками и ногами; но приятель мой, имея любящую душу и здоровые ручищи, без особенного труда доволок меня до могильного преддверия, где навсегда отлетело от меня мое уродливое представление докторов в виде мертвой головы с газетой или ученым немцем перед выколотыми грозной смертью глазами.

Вот какого отца и благодетеля увидал я в могильном преддверии, который, как некий волшебник, сразу усмирил мою взволнованную желчь, чрез что, конечно, заставил меня выкинуть из головы несчастную мертвую голову и даже засмеяться ей во все мое сморщенное желтое лицо, по крайней мере с год перед этим ни разу не смеявшееся.

II

Еще прежде в мою одинокую обитель не раз залетала громкая слава о великих подвигах отца и благодетеля. Вдовые бабешки, сожительницы мои по темным углам необъятных Грузин и Камер-коллежского вала, усвоив-

ши себе похвальное обыкновение разрешаться от бремени не иначе как при неусыпном присмотре отца и благодетеля, читали ему, по миновании своих болей, такие похвалы:

— Истинно: по заслугам его господь награждает! Придешь так-то к нему, а уж он тебя знает, помнит тебя с прошлого года. «Что, спросит, кого-то нам с тобой нынешний год бог пошлет?» Говорит и смеется. Все он у тебя шуточкой до тонкости выведает. «Ты, говорит, пришли ко мне портного-то *своего* — починка у меня кой-какая есть».— «Да у меня, ваше высокоблагородие, не портной нынешним годом, а плотник».— «Плотник, так плотник — это, говорит, все едино, и его присылай, потому у меня каретный сарай не в порядке. Я, говорит, тебе помогу, а он мне поможет. Рука руку моет, слыхала небойсь пословицу-то?» — спрашивает так-то.

— Богатых купчих и дворянок всех до одной он лечит,— слышался другой голос.— Нас, бедных, даром он исцеляет, зато богатые не оставляют его. Сказывают, купец ему один пять тысяч в раз отвалил за сынка. Без него бы и мать и младенец беспременно погибли.

Дальнейшая история о благодетеле шла уже тихим шепотом, часто прерываемым сдержанным хихиканьем и отрывистыми восклицаниями.

— Попалась ему одна — натерпелась! — смешливо восклицает кто-то.— Говорит: в жизнь никогда не забуду.

Нельзя было не завидовать этой славе, сумевшей проникнуть в темные углы, обитаемые мною и вдовыми бабешками. Разговоры о ней прекращались очень редко и с большою неохотой. Нужно было кому-нибудь сделать только самый незначительный намек на какое-нибудь благодеяние, сделанное хотя бы на французской земле, шепот и хихиканье начинались снова. «Доктор, лекарь, отец, а не начальник» не сходили с бабьих языков, добровольно ошпариваемых кронштадтским чаем.

III

Несмотря на необыкновенно дремучие черные бакенбарды, красивою рамкой окаймлявшие широкое и белое лицо доктора Степановского, несмотря на элегантность, с которою он ласкал свои бакены и вообще какою он хо-

тел, так сказать, запечатлеть все свои самомалейшие движения и поступки, я, к великой досаде моей, должен сказать, что доктор на мой первый взгляд показался мне весьма похожим на какого-то громадного, но неуклюжего великана. В этом тончайшем и чернейшем паче крыла ворона мундире, в этом белейшем паче снега белье, очевидно, заключена была каким-то злорадствующим колдуном душа певчего из помещичьего черноземного села. Мнилось, что вот-вот уважаемый доктор прекратит сейчас свою официальную прогулку по приемной палате больницы, станет в известную позу, откашляется и специальным басом человека, обязанного петь так, чтобы его можно было слышать и многим и дальним, загремит сейчас какую ни на есть кантату.

Исполнение этого ожидания было тем возможнее, что в то время, когда мы, то есть больные, сидели на длинных скамьях примыкавшего к приемной коридора, доктор в самой приемной мурлыкал один из известных ему мотивов самою густою и как бы озлобленною октавой.

Старый солдат-сторож, напоминавший своим унылым видом престарелую летучую мышь в изгнании, храбро стоял у притолоки приемной, отстаивая ее таким образом от преждевременного в нее вторжения нетерпеливых больных.

Наконец началось.

— Впускай! — скомандовал благодетель летучей мыши, посмотрев предварительно на свой докторский, следовательно, неизмеримо дорогой хронометр, висевший на такой толстой золотой цепочке, которая, без малейшего сомнения, удержала бы антихриста, стремящегося, как утверждают справедливо рогожские начетницы, сокрушить нынешние порочные времена.

Длинная шеренга больных тотчас выстроилась, имея в голове оборванную испитую бабенку с нестерпимо оравшим ребенком на руках.

IV

В то самое время, когда бабенка равнялась пред доктором и вывертывала ребенка из бесчисленных отрепьев, лицо благодетеля приняло доброе выражение радостного счастия.

Стоит бабенка пред доктором, ребенок кричит и по-

рывисто корчится, а черные бакенбарды благодетеля так и сияют. И широкое, толстое лицо сияет, и острые воротнички голландской сорочки, и ворсистый мундир. Наклонился он, весь светлый и ласковый, к ребенку и тонким таким, но вместе мужественным, вроде второго гитарного баска, голосом заговорил с ним.

— Что ты, что ты, милый, плачешь? Не плачь, я тебе сейчас гостинчика дам.— При этом доктор вынул из кармана леденчик и подал мальчугану. Мальчуган в ту же минуту умолк и во все глаза всматривался в это сладкое лицо, стоявшее пред ним, в волнистые бакенбарды и в блестящую золотую цепь от часов. Он даже сделал поползновение, достаточно осмотревши все это, пощупать и погладить. Доктор, однако же, тихо отклонил такое любопытство со стороны малолетнего санкюлота.

— Нельзя, матушка, за лицо людей трогать, нельзя! — поучительно заметил он малютке, осужденному бедностью своих тятеньки и маменьки получать даровые и потому никуда не годные уроки.

— Что он у тебя, все плох по-прежнему? Все грыжка еще у него,— ласково отнесся доктор к матери.— Ты, верно, не приглядываешь за ним — верно, не так с ним обращаешься, моя милая, как я тебе прошлый раз толковал.

— Как, мой отец, не ухаживать? — плаксиво возражала бабочка.— Все я с ним, по твоим приказам, проделала, ничего не берет. Без сна одурела; все ночи напролет благим матом кричит.

— Так ты вот что с ним попробуй сделать: дам я тебе сейчас мазь такую, никакая болезнь против нее не выстоит,— возьми ты этой самой мазью хорошенько малютку натри, так чтобы тело-то всю эту мазь без остатка в себя всосало, а потом затопи печь и пред огнем его и повертывай и повертывай.

При этом доктор самым наглядным образом показал, как надобно повертывать перед огнем намазанного ребенка.

— Не обожги только смотри, а то пуще будет орать,— присовокупил он в виде необходимого наставления.

— Спаси бог обжечь! — взмолилась бабенка.— Тогда он меня совсем своим криком в могилу вгонит.

Получивши банку с побеждающей всякую болезнь

мазью и отдавши поклон со слезами и смиренным подергиванием личных мускулов, имевшим выразить душевную признательность за благодеяния доктора, баба неторопливо отправилась восвояси, а по лицу доктора скользнула какая-то странная улыбка, снова переделавшая его из отца и благодетеля в неуклюжего великана. Смеялся как будто этот великан и говорил:

— Чудаки эти люди!

Вслед за этим воспоследовало явление второе: в приемную вошла бледная, изможденная женщина, в черном рубище, с клеенчатой котомкой за плечами. Долго и серьезно молилась она святым иконам, прежде чем повела рассказ о своей болезни. Доктор, умиленный этой набожностью, терпеливо ожидал конца молитвы, серьезно гладя свои бакенбарды. Все было тихо в это время, отчего общая картина воспринимала все более и более торжественный тон.

— Будет тебе, тетенька, молиться-то! — попробовал было искусить женщину наш солдат; но женщина не обратила ни малейшего внимания на этот совет и безмолвно, но выразительно оттолкнула от себя тощего воина.

— Не мешай ей, Ферапонтов! — печальным голосом сказал доктор.— Пусть странница за наши грехи бога помолит.

— Истинно ты сказал: за грехи! — начала странница гневным, почти мужским тенором.— Каков нонича свет? — подступая к самым бакенбардам доктора, допрашивала она его,— словно река в половодье волнуется — вот каков нонича свет! Нет никакого спасения! Куда ты в теперешние времена от людской неправды укроешься, на каких крыльях от человеческих ругательных слов улетишь? Нигде не скроешься, никуда не улетишь! Везде тебя враг находит и побеждает! Так ли?

Доктор покорно наклонил свою голову в знак полного согласия. В ожидающей шеренге больных послышались вздохи и даже чье-то сдерживаемое всхлипывание.

— Вон оно! — шептался кто-то с кем-то в шеренге.— С одного слова набожного человека узнаешь. Вишь, как поговаривает: не то что мы, грешные!

— Вот ты теперь меня и лечи! — все больше и больше возвышала странница свой гневный тенор.— Как ты меня будешь лечить, когда я от роду моего больна никогда не бывала? Я вот пятнадцатый год ради имени Хри-

стова странствую — и никогда не уставала, никогда не болела.

По лицу доктора пробежали в это время те быстрые судороги, по которым наблюдательный глаз видит, что человек, коверкаемый ими, сильно злится на что-то и вместе с тем старается не показать этой злости.

— Как же ты меня будешь лечить? — переспросила странница.— Я ведь знаю, что я ничем не больна. Значит: это от врага. Теперича, иду ли я по темному лесу али по широкой дороге, вдруг зашуршит, зашуршит что-то у меня в голове, словно птица туда залетела, в ушах этакий ли звон пойдет унылый, пред глазами искры летают, круги огненные, разноцветные кружатся, а *он* тут-то и начнет мне приставы-то разные приставлять: змеищев на дорогу-то наползет двуглавых и шестиглавых; ворочаются, проклятые, на дороге, смеются надо мной и, словно бы люди крещеные, говорят: «А мы теперь, раба, тебя беспременно искусим! И пойдешь ты в ад». И сейчас же ад в поле-то я увижу: пышет, пышет из него огонь, а *он* сидит себе в огне; на коленях у него Иуда с мешком денег, а в руках крючья железные; тыкает он теми крючьями в котлы кипучие, зацепит там грешника какого-нибудь за ребро, и держит, и смеется, а грешник-то кричит, так-то кричит, и все они там вой поднимают, словно бы звери голодные!..

Все крестятся при этом рассказе, вздохи делаются слышнее, всхлипыванье жалобнее.

— Тише! — чуть слышно командует солдатик.

— А ведь я знаю, что в поле нет ада. Уготован он нам господом неведомо где,— продолжает странница.— Значит, враг меня совсем победил. Чем ты, скажи-ко мне, лечить меня будешь в этакой болезни? — приставала она.

— А буду я,— с ироническим одушевлением ответил доктор,— лечить тебя вот чем: богу больше молись. Точно, это враг над тобой издевается.

Странница была сильно поражена этими словами. Она, очевидно, не ожидала их.

— Пойду я теперь по городам и селам,— громко заговорила она,— по деревням разным и всякому про веру твою расскажу: вот, мол, где настоящий лекарь живет, к нему ступайте. Многим из вашего брата я про недуг свой рассказывала, только никто мне про такое лекарст-

во ничего не сказал. Голову, говорят, мой холодной водой! А зачем ее буду мыть?

— Истинно! — ответил доктор на вопрос странницы, которая сыпала на него всевозможные пожелания и благословения.

— Не забывайте меня, матушка, вашими святыми словами! — заканчивал лекарь.

В это время мимо длинной шеренги, не в очередь, провалила в приемную красивая молодая дама, так сказать, в заманительно шумевшем шелковом платье. При виде ее доктор необыкновенно грациозно изогнул свой античный торс и взволновал широкую грудь, что сразу придало ему вид развязного светского человека.

— Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, madame? [1] — спрашивает он, придвигая пациентке стул.

— Je viens, monsieur, pour vous demander un conseil! [2] — томным голосом отвечает пациентка, закатывая глаза, и в приятном, вырывающем из всякого человека крайнее сочувствие, изнеможении опирается на спинку стула.

— Veuillez prendre la peine de vous asseoir, madame![3]

После чего дама жеманно садится, а доктор с склоненною набок головою и с облитыми маслом глазами, в чувствительном почтении, ожидает приказаний. Произошла не длинная, но весьма выразительная пауза, которую обыкновенно выделывают люди, вдруг понявшие, что они необыкновенно симпатизируют друг другу.

— Ah! monsieur,[4]— решается, наконец, произнесть пациентка голосом, выражающим непомерное страдание,— je suis extrêmement malade! [5]

Такой приступ произвел в докторе некоторое недолгое, но приятное колебание, разрешившееся, впрочем, цветущей улыбкой, которая только лишь мелькнула по алым губам великого человека, как тотчас же перешла в словесный ответ такого содержания:

— Pardon, madame, vous n'en avez pas l'air! [6]

---

[1] Чем могу служить, мадам? *(франц.)*

[2] Я пришла просить у вас совета, мсье! *(франц.)*

[3] Соблаговолите сесть, мадам! *(франц.)*

[4] Ах! мсье *(франц.)*.

[5] Я очень больна! *(франц.)*

[6] Простите, мадам, у вас не такой вид! *(франц.)*

Счастье целителя выразилось в эту минуту таким добрым оскаливанием белых зубов, таким сладостным облизыванием губ, что барыня, как бы испугавшись этого беспредельного моря восторгов, болезненно простонала:

— Oh! monsieur![1]

— Oh! madame![2] — поспешил повторить ей доктор, без сомнения поощряя ее безбоязненно продолжать ту наивную и вместе с тем необыкновенно пошлую дурь, которая часто отличает у нас разговор людей, имеющих претензию считать себя благовоспитанными.

В отрепанной шеренге пролетариев слышались вздохи и шепот:

— Вряд ли ныне успеет он осмотреть нас!

— Где осмотреть! Начнут эти барыни про болезни свои толковать — во сто лет обо всех рассказать не успеют.

Солдатик безмолвно и тоскливо смотрел в туманную даль приемной, если только у приемных может быть туманная даль, и осторожно перестанавливал свои тонкие, обутые, однако же, в громадные сапожищи, ножки.

Между тем милые французско-нижегородские любезности лились тихим, услаждающим взоры потоком, и всего вероятнее, что запах пармской фиалки, пересиливший в это время больничные запахи приемной, разлился от этих любезностей, а вовсе не от батистового, обшитого тонкими кружевами платка, которым барыня конфузливо прикрывала свое лицо при некоторых докторских распросах.

— Si fait, madame, si fait![3] — ободрял доктор пациентку, когда она заикалась ответом.— Я понимаю вас. Je vous écrirai une petite récette.[4] Это очень скоро пройдет, я вам это обещаю.

Спророчествовав таким образом, доктор выбрал из лежавшей перед ним бумажной кипы самый тонкий и белый лист, искусно отделил от него продолговатый кусок и, глубокомысленно потирая ладонью насупленный лоб, кра-

---

[1] О! мсье! *(франц.)*

[2] О! мадам! *(франц.)*

[3] Конечно, мадам, конечно! *(франц.)*

[4] Я вам напишу рецептик *(франц.)*.

сиво-кудреватым почерком начал писать всегдашний дамский рецепт: apu. laur. coerset caet.[1]

— Vous prendrez, madame, deux cuillerées par jour.[2]

Ловкость, с которой он подавал рецепт, была поистине изумительна, ибо она принадлежала к числу тех грациозностей, которые, по Гоголю, составляют исключительную принадлежность только одних военных гг. офицеров.

— Je vous remercie bien, monsieur,[3]— отвечает дама, производя легкий книксен, и уже протягивает за рецептом тонкие розовые пальцы; но доктор, как бы внезапно озаренный каким-то вдохновением, поспешно отдергивает рецепт и говорит:

— Bah! il me vient une idée, madame![4] Вам пришлось бы посылать в аптеку. Мне приятно будет избавить вас от этого труда. Désirez-vous avoir votre remède à l'instant même?[5]

— Ah! c'est trop de bonté, monsieur![6] — сладостно удивляясь, отвечает дама.

— Oh, madame, c'est mon devoir![7] Куропаткин! — скомандовал начальник подслеповатому фельдшеру,— сейчас же приготовить по этому рецепту. Впрочем... если бы... я бы тогда...— рассчитывает доктор, пристально всматриваясь в пациентку: — Voulez-vous bien me laisser votre adresse...[8] Я бы завез вам на дом...

— Vraiment, monsieur! Vous êtes trop aimable![9] — изумленно, но с некоторой сладкой надеждой воскликнула дама и села писать адрес. По изображении своего местожительства она благодарила любезно ценителя крепким пожатием руки и что, дескать, je vous remercie infiniment, monsieur![10] — на что доктор с большим чувством говорил:

---

[1] Здесь, по-видимому, опечатка; надо aqua lauro cerasi et caet; т. е. «лавровишневые капли и проч.» *(лат.)*.

[2] Вы будете принимать по две ложки в день, мадам *(франц.)*.

[3] Я вам очень благодарна, мсье *(франц.)*.

[4] Да! мне пришла в голову мысль, мадам! *(франц.)*

[5] Не хотите ли вы получить ваше лекарство немедленно? *(франц.)*

[6] Ах, вы слишком добры, мсье! *(франц.)*

[7] О, мадам, это мой долг! *(франц.)*

[8] Соблаговолите оставить свой адрес... *(франц.)*

[9] Право же, мсье! Вы слишком любезны! *(франц.)*

[10] Я вам бесконечно благодарна, мсье! *(франц.)*

— Pas de quoi, madame... Votre connaissance, madame...[1] Это, право... мне очень... очень приятно...

— Je vous salue, monsieur![2] — разлучается, наконец, барыня, усиливаясь отворить тугую большую дверь.

Доктор стремглав бросается к ней на помощь, трагически вскрикивая:

— Madame, je suis votre serviteur! N'oubliez pas, madame: deux cuillerées par jour! Deux cuillerées![3]

Наконец пациентка исчезает за дверьми, доктор, возвратившись на свое место, опять изображает неуклюжего великана. На губах его летают такие слова:

«Вот этакая больная!.. Ничего... с приятностью лечить!»

Подумавши таким образом некоторое недолгое время, он вдруг бросился к дверям и в последний раз, но с отличным азартом крикнул:

— Deux cuillerées! Deux cuillerées![4]

— Merci bien, monsieur![5] — звонко пронеслось в приемную из звонкой больничной швейцарской.

— Ну, ребятушки, подходите, подходите скорее,— родительски ласково сказал, наконец, доктор ожидавшей шеренге.— Признаться, устал я с вами, да и некогда. Очень у меня много вашего брата бедняков: всех объездить, так целого дня недостанет.

Передовой торопливо двинулся на этот зов. Это был большой черноватый мужик с распухшим глазом и с большой синевато-кровавой шишкой на лбу.

— Ну? — спрашивает доктор.

— А как у нас вчера праздник был...— заговорил мужик, но почему-то вдруг оборвался и смолк.

— Что же?

— Он меня — хозяин-то — и цопнул по этим местам. Вон как очи-то разнесло!

— А шишка?

— Шишка ничего! Чешется только самый вершочек-то, страсть как свербит!

— Заживает, значит!

---

[1] Не за что, мадам... Знакомство с вами, мадам... *(франц.)*

[2] До свидания, мсье! *(франц.)*

[3] Мадам, ваш покорный слуга! Не забудьте, мадам: по две ложки в день! по две ложки! *(франц.)*

[4] Две ложки! Две ложки! *(франц.)*

[5] Благодарю вас, мсье! *(франц.)*

— Слушаю-с,— поклонившись, сказал мужик и направился к двери.

— Куропаткин! Обмой ему кровь да дай чего-нибудь...

— Эка барин-то у вас — клад,— толковал мужик с шишкой Куропаткину, который уводил его для надлежащих омовений праздничных ран.

— А я, батюшка, к вашей милости с просьбой. Будь отец! — умоляет худощавая, но еще молодая кухарка.

— Что такое?

— Есть тут один молодец, у одного хозяина мы с ним вместе живем вот уж годов, надо полагать, с шесть. Только все это он пристает ко мне, чтобы я за него замуж шла, а я за него замуж идти не хочу, потому парень он драчливый и вор. Только он и говорит мне: «Ну так, говорит, я же тебя присушу; тогда поневоле пойдешь». Взял да и присушил, а теперь я ночи не сплю, а днем всякое дело из рук у меня валится — все о нем тоскую и думаю.

— Так что же?

— То-то, кормилец, травки бы ты мне какой дал: я на крест бы ее привязала себе. Может, она меня от этого парня и отворотила бы.

— Что же такое? Такой травки я тебе дам. Супротив этой травы вряд ли присуха выстоит. А если не поможет — приходи опять; я тебя тогда заговору одному научу...

— Спаси тебя бог, ваше благородие! — молится бабенка и уходит, бережно завертывая траву, отгоняющую присуху.

— Ну, ребятушки, на нынешний день довольно! — обратился доктор к шеренге.— Совсем времени нет. Ступайте с богом, а завтра опять приходите — всех вылечу, без сомнения; останетесь довольны.— С этим словом благодетель взял шляпу, и скоро в швейцарской раздалась его густая и приятная октава, напевавшая для нескучного препровождения времени какой-то церковный стих.

— Что это за лекарь такой чудесный? — удивлялась расходившаяся по домам шеренга.— То есть всякую болезнь он с одного маха берет...

— Нет, ты вот что заприметь,— толковал другой голос.— Другие лекаря, когда домой идут, сейчас это они: тра-ла-ла да фю-фю, а он всегда божественное поет, все что-нибудь из церковного норовит.

— Все это, батенька, богом делается! — ни к селу ни к городу отозвалась какая-то сгорбленная в три погибели старушонка.

«Истинно: все это, батенька, богом у нас ведется!» — сказал я про себя в эту минуту, бесцельно посматривая на громадные корпуса больницы, по выходе из которой я, как и доктор, ощутил неодолимое желание петь, каковому желанию неуклонно и повиновался во всю мою длинную дорогу до моего убогого логовища.

1863



ЛИРИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА СИЗОВА

Характеристика трепок, получаемых нашими молодыми ребятами при их вступлении в жизнь

I

Мое настоящее дело главным образом заключается в том, чтобы поварьировать на тему некрасовского школьника. Впрочем, я имею сообщить вам не одну только умиляющую душу историю, как школьники поднимаются с места в свою многотрудную дорогу и как они, руководимые участием чувствительных ближних, делаются, под конец своей трудолюбивой и многополезной жизни, яркими звездами различных горизонтов, в чинах статских, а иногда и действительных статских советников. Я постараюсь быть гораздо честнее: я по возможности покажу, как ребята держат себя в дороге и даже как самая дорога своими буйными ветрами и палящими жарами прогоняет с молодых щек ребячий румянец.

История эта, признаваясь по чести, хотя и принадлежит к числу тех, которые весьма справедливо для нашего общества называются обыкновенными; но тем не менее мне всегда грустно слышать, когда тупость известного сердца дошла до того, что называет их скучными.

Я решительно отказываюсь когда-либо помириться

с справедливостью того имени, которым людская очерствелость с высоты житейского величия снисходительно характеризует необузданно-страстные жалобы молодого горя, и потому с особенною смелостию рекомендую вам конец моей истории, когда уже, так сказать, суровая осень бурно налетит на розовые надежды вольного странника и нещадно обломает их легкие крылья; когда потухнут и нальются кровавыми слезами светлые глаза отрока при виде этого невозвратного отлета молодых дум и видений, отвиснут пухлые щеки и вообще когда раздастся первый ропот человека на первое и серьезное столкновение с действительной жизнью.

Что касается меня, то я нахожу этот процесс весьма любопытным. Переваривши его,— сочиню новый эпитет,— собственно желудочно, я не нашел в нем даже самых малейших признаков скуки, которую находят в нем люди, искушенные опытом жизни.

Меня, может быть, и удивила бы эта разница взглядов на одну и ту же вещь, если бы я не знал, что люди вообще, не исключая даже и искушенных опытом жизни, как и все бессловесные твари, только тогда чавкают, когда сами едят, то есть собственным ртом...

II

Я вырастал в то самое время, когда провинции дорывали последние листы книг в толстых кожаных переплетах, книг, напечатанных на грубой синей бумаге, шрифтом, испортившим столько ясных глаз, содержание которых, сладчайшее паче всех медов видимого мира, навсегда отуманило столько здоровых, светлых голов.

Г-жу Жанлис стащили тогда в темные чердаки помещичьих домов, где крыс было в миллион раз больше, нежели привидений и всяких ужасов в ее замках. Не довольствуясь жирной тамбовской ветчиной, крысы пожрали все чудеса м-м Жанлис до того без остатка, что она едва ли когда может возвратиться из поистине тайных областей загробного мира. Фанфана и Лолотту, чувствительных детей чувствительного Дюкре дю Мениля, беспощадно прирезал жестокий Ринальдо Ринальдини, когда их оставили наедине в темном подвале дома, занимаемого директором гимназии. Знаменитый «от-

ступник» виконта д'Арленкура, столько лет бывший грозой Франции и заботою Карла Мартеля, погиб под тяжестью русских кулебяк, рассказывая их поджаристым коркам про свои необыкновенно геройские подвиги.

И многое другое погибло тогда от необоримо сильного и бурного дыхания другого времени!

Дьячкам, всеобщим тогдашним педагогам, нечем стало тогда дарить своих воспитанников в дни их ангелов, потому что издания типографий Иверсена и Семена сделались тогда как-то менее часты.

Так мощно дрыхнувшая степная глушь тревожно загрезила в это время. С болезненным стоном она долго отмахивалась от чего-то, а между тем Петербург и Москва открыли в это время частый ружейный огонь, чтобы им окончательно разбудить глушь. Выстрелы, как говорится, попадали за дальностию редко, но метко.

Юрий Милославский и Бусурман, Наблюдатели и Телескопы, барон Брамбеус и армия альманахов и сборников — все это истратило не менее миллиона миллионов зарядов; но божье время, увидавши, что и цель далека, что и стрелки плохи и оружие у них не дальнобитко, пододвинуло тогда иные батареи. Послышались голоса, созданные богом не быть гласами вопиющих в пустыне. Они заглушили собою щебетанье ружейной пальбы. От грома уст Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Белинского сразу, без необходимых потяжек и зевоты, глушь встала на ноги и пошла.

Я и много молодого, кроме меня, сидели тогда в таких толстых, таких мрачных стенах, что до нас чуть-чуть только доносился гром даже и этих четырех артиллеристов. Свет от их выстрелов проникал к нам каким-то бледным, крайне болезненно действовавшим на наши глаза, которые так приглядeлись к темноте нашего заключения...

Многие из нас даже навсегда оглохли от этого грома и ослепли от этого блеска. Многие мучительно умерли, сожженные и разбитые молниями какой-то другой, ни разу ими не слыханной и не виданной правды.

Со мной лично ничего подобного не случилось; я даже, по физической природе своей несокрушимый плебей, ощутил тогда в сердце моем какую-то мучительно восторгавшую радость; в мою голову ударил откуда-то летучий,

но светлый луч убеждения, что мне неминуемо нужно быть *там*... потому что *там* битва... и я пошел...

Никакие, даже самые толстые палки не выбили из меня этого решения, подсказанного мне всеубеждающим временем.

III

Мне было шестнадцать лет в то время, когда я, так сказать, взял одр свой и пошел. История началась таким образом.

Предпоследняя августовская ночь, ночь Ивана Купалы, царила над степным широким селом. В окна нашего с сестрой сиротского домишка назойливо лезли ароматы созревших плодов; ночная теплынь почти видимыми волнами вливалась в комнату. Облетевши перед этим все яблони и груши, кусты смородины и кусты диких роз, которыми зачерпнулся наш маленький палисадник, она налетала на наши головы какою-то странною тяжестью, которая обыкновенно заставляет человека так долго думать со склоненной на грудь головою.

Впрочем, я отказываюсь поэтизировать прелести ивановской ночи, хотя те многообразные волшебные ужасы, которыми, по народному говору, исполнена она, справедливо требуют хорошей поэмы. Интересы более насущные, потому что личные, глубоко занимали меня этою ночью.

— Вот говорили, что Ванька Сизой хорошо учится в семинарии,— толковало наше село пред моим уходом,— а он, поди-ка! в Питер еще идет доучиваться-то. Значит, не все произошел. Понимать надо: из губернии-то его по шеям турят, потому не годится, должно быть.

— Надо думать, что так,— разрешил общие сомнения первый сельский богач мещанин Миколай Миколаич.— Гляди на поповых ребят: хуже они его в церкви поют и читают?

— Где хуже! — обыкновенно отвечали Миколаю Миколаичу.— И голосистее и грамотнее Ваньки они не в пример будут.

— Так — это правда! А ведь они, вы только подумайте, поповы дети, почитай обер-офицеры, а как поступают? Встретишься так-то где-нибудь с ними, а они сейчас долой картузы! Наше вам почтение, говорят, Миколай Миколаич! Всегда я их за такую покорность

всячески ласкаю и деньжат тоже на дорогу безотменно даю по малости. Теперь рассуждайте вы про Ивана: кто он? Сирота! Из какого звания? Вольноотпущенный! В семинарию по милости господина помещика принят сверхштатным. Поймите это: сверхштатным! Все равно выходит, что пятое колесо у телеги. Верно?

— Верно!

— А он куда нос дерет? Ты, спрашиваю я у него однажды, что же это, Иван Иваныч, никогда мне не кланяешься? Ай, говорю, в семинарии-то вас учат на одни только звезды глаза пялить? Добрые-то люди когда с тобой встречаются, ты и не разбираешь их, на звезды-то на свои глядючи! Говорю это я ему и думаю про себя: дай-ко, мол, парня-то уму-разуму поучу. Некому, мол, сиротства его на истинный путь наставить, а сам подхожу к нему и хочу его рукой-то за чуб ухватить, костылем приловчаюсь так-то вдарить его полегче... Только что же он? Выпучил на меня бельмы и смеется; смеется и говорит: «Проходи, проходи, говорит, покуда цел, Миколай Миколаич!»

— Вот озорной парень, сейчас умереть! — удивлялась публика.

— Рази можно старику так грубить? — все больше и больше горячился Миколай Миколаич.— Ну, теперь он, положим, уйдет в Питер али там в другое место, только ведь сестра его и братишка здесь же останутся. Как же я с ними по своему великому богатству должен буду тогда поступать? Должен я их тогда всячески притеснять и казнить, дабы и они такими же злобными, как их брат, не сделались... Теперь думай: ведь он меня через эсто — этот Ванька треклятый — в большой грех вводит?

— Точно: ответ тебе за него придется немалый держать!..— с тяжелыми вздохами и с печально понуренными головами говорили Миколаю Миколаичу его слушатели.

— Нет! По-моему, вот как,— заканчивал Миколай Миколаич,— теперь вот он в Питер идет, свою фанаберию соблюдаючи, а у нас на селе нашлись дураки, какие толкуют, что он как бы там за свою науку дворянство себе в скором времени выслужит, а на мои глаза — он просто в ахтера идет, потому вид у него, когда ты, в сердцах находимшись, ругаешь его всячески, самый ядовитый бывает, как у козюли лесной. Смотрит он на

тебя глазом не сморгнувши, а губы у него так и играют... Вот бы теперь, пока он дослужится до дворянства-то, взять бы его нам на прощанье общим суседским судом, пригнуть к матери сырой земле да хорошенько за волосья пробрать, опять же и пинками тоже али бы хворостом: помни, мол, свое сиротство! Наукой-то своей не очень гордись — много у нас ученых-то по сельским кабакам шляется да народ православный своей дурасливостью потешают...

— Заедят они меня без тебя! — пугалась сестра моя этою ночью.— И теперь уже так и то прохода мне не дают: вот, говорят, вы с братом господами скоро будете, так нас бы к себе в крепость купили. Служить, говорят, верно вам станем,— а сами смеются.

— Пусть их смеются,— отвечал я, весь поглощенный печальною мыслью о скорой разлуке с сестрой, которую оставлял на всякую казнь и притеснение со стороны Миколая Миколаича и ему подобных. Помню только, поучала ее моя юность, думавшая в то время, что нет в мире вещи серьезнее и умнее ее: «Все эти насмешки и несправедливы и продолжаться много времени не могут. Как только я мало-мальски устроюсь там, сейчас тебя к себе возьму».

Выполнить эту мысль мне казалось тогда так легко, потому что в это невозвратное время я представлял себе Петербург такого рода живою душою: я думал, что весь этот сок русского человечества, населивший собою, как значилось в некоторых описаниях столицы, хладные и белоснежные пустыни приневские, лишь только я поцелую гранит, устилающий мою обетованную землю, сейчас же миллионом своих голосов обрадуется мне и скажет:

«Ну,— скажет,— здравствуй, брат! Каково доплелся? Каковы там у вас, в степях, нынешним годом хлеба зародились?»

«А ничего,— предполагал я отвечать Питеру,— хлеба у нас ныне слава богу; мука, мол, пятиалтынный пуд, овес два без четверти» и т. д.

«Это хорошо! Слава богу, что дешевы хлеба,— мнилось мне, скажут петербургцы, причем осенят себя крестным знамением.— Ну, теперь,— присовокупят они,— работай! Нам работники, друг ты наш сладкий, дозарезу нужны».

После этого мне оставалось только осведомиться о месте жительства «alma mater»[1], этой первой страстной мечты моей юности, со страхом и благоговением преклониться пред ее материнской, следовательно, никогда не увядающей красотою, а там уже сама она крепко умела прижать мою одинокую голову к своей любящей груди.

Этими именно соображениями руководствовался я, когда поучал сестру равнодушно смотреть на насмешки соседей и Миколай Миколаича и не плакать по разлуке со мной.

— Теперь потерпишь, зато тогда хорошо будет,— утешал я ее.— Вместе будем жить на свои труды: ты шить будешь, я уроки буду давать.

— Ты только в господа не ходи,— неожиданно сказала мне моя сирота.— Знаешь, какие они, господа-то?

Остаток последней ночи я употребил на то, чтобы по возможности уяснить деревенской наивности главные цели моего похода. В молчаливых стенах нашей убогой избушки разливалась тогда моя юношеская и, следовательно, ничем не сдерживаемая речь о том, что иду я вовсе не за тем. Уничтожая сомнения, возникшие на мой счет в голове любимого человека, душа моя силилась для этого выразить девочке тот задушевный восторг, которым наполнялась она при мысли о научном труде и о результатах этого труда. Почерпая из этого источника силы, дававшие ей самой возможность не бояться ни дальней дороги, ни тех нищенских средств, с которыми нужно было проходить эту дорогу, душа моя думала, что и для бедной девочки источник этот будет, как и мне, одинаково освежающ.

Слабо освещенная пугливо мерцающей сальной свечкой избушка наша пугливо слушала мои обещания учиться для того, чтобы после отдать кровь мою и высушить мозг мой над постоянной и неуклонной думой о пользе этого бедного края.

— Всегда только одно и буду я делать, что везде и всегда говорить о наших развалившихся избах, о горе, которое безысходно живет в них, о наших головах темных, об умах обездоленных...— толковал я задумавшейся сестре моей.

---

[1] Мать-кормилица (*лат.*).

А в избушке была такая тишь в это время, что мой звонкий тогда голос казался каким-то необыкновенно глухим, как будто бы в нее втеснилось народа со многих деревень, и что этот народ, слушая какие-то новые неожиданные речи, замер, как замирают в гробу, ожидая, что еще скажется. По ее черным стенам от моргающей свечки суетливо набегали какие-то скользившие тени, которые иногда собирались в большую дружную кучку, как будто совещаясь о чем-то до бесконечности важном, как будто спрашивая друг у друга.

«О чем это он, что это такое он говорит?» — шепотом, почти слышным, но столько же непонятным, как эта ночь, чары которой всецело охватили нас, сирот разлучавшихся, говорили эти тени, стаей перебегали с одного места на другое и потом, как бы окончательно разрешив, о чем именно говорил я с покидаемой мною сестрой, вдруг разбегались, как разбегается испуганное крутящимся вихрем и темною грозой несмысленное овечье стадо...

Из полутьмы переднего угла, против обыкновения как-то строго и неподвижно, смотрел на меня лик всемилостивого спаса, отцовской живописи. Говорю: против обыкновения строго и неподвижно, потому что до этого времени я не знал лица ласковее и приветливее изображенного на иконе. Блистая в мои ребячьи глаза яркою зеленью тернов, из которых сплетен был венец, надетый на голове страдающего бога, голове с длинными каштановыми волосами, сиявшей какою-то необыкновенно цветущей и вместе с тем невыразимо глубоко скорбящею красотой, отеческая икона по целым часам, бывало, приковывала к себе мою несмысленную душу, что-то, но невыразимо ласкавшее, нисходило тогда ко мне с высоты домашнего иконостаса и срывало с детских губ моих тот святой, полный беспредельной любви лепет, который, говорят, ангелы носят прямо к подножию божьего престола.

Во всем селе не было красивее и умнее моей сестры; но когда я, задохнувшись от бесчисленных вопросов, которые шел выучиться разрешать, посмотрел ей в лицо, я приметил на этом лбе одни только светлые капли холодного пота, обыкновенные у тех людей, которые стараются что-нибудь понять, знают, что для них необходимо понять это, и при всем том ничего не понимают...

Ясно увидел я, что многоразличные барские типы, наводняющие собой наши широкие степи, нисколько не испугались моих речей и по-прежнему продолжали жить в напуганной ими сестриной голове. Занятая мыслью о том, что как бы я не ушел в господа, бедная девушка, видимо, хотела наслушаться и наглядеться на меня в последний раз, а между тем в ушах ее вместо моих слов раздавался громкий звон серебряных колокольчиков и бубенчиков, которыми обыкновенно бывают увешаны лютые тройки помещиков и городских чиновников, ухарский свист их лихачей-кучеров, заглушающий даже топот всей тройки, и оглушительное щелканье саженного кнута, змеем вьющегося за щегольским тарантасом, а в глазах неотступно мелькал сам барин, серьезный и важный, из-под длинных и нафабренных усов которого виднелись разнообразные грозные наставления и длинный ременный чубук, обыкновенно окуривающий сельскую вонь дымом дорогого вакштафа.

В первый раз в это время, оглядывая нашу избу, я не приметил в ней тех признаков совершенно человеческого понимания, с какими доселе ее черные стены встречали в моих глазах мои и горе и радости, точно так же, как и сестра в первый же раз ни одним словом не отозвалась мне.

Затосковал я тогда сильнее, нежели сестра моя тосковала по мне, потому что показалось мне в эту минуту, что даже и в родных стенах вырастившей меня избушки я совершенно один и что мне нечего больше делать в них...

Поклонился я в последний раз иконе спасителя, впервые этою ночью сурово взглянувшего на меня, и пошел, и если бы не прохладная утренняя заря, расстилавшаяся уже тогда по сонному селу, я бы так и умер на родимой земле, потому что тот жар, который жег мою голову и который прогнал освежающий холод этой зари, неминуемо спалил бы меня, потому что я задохнулся бы от тех горячих слез, которые вдруг закипели тогда в душе моей, сразу в эту минуту понявшей, что кроме рыданий моей сестры, раздававшихся вслед за мной, много еще иных слез бесследно упадет на высокие травы степные, при всем том, что я пошел учиться предупреждать эти слезы...

IV

Последняя красота, которой в последний раз восторженно поклонилась моя юность, было утро, проводившее меня из родительского дома в далекую дорогу. Дальше потянулась уже нескончаемая лента молчаливой дороги под изнурявшим до пытки солнечным зноем, и пошли чересчур уже говорливые дорожные сцены с отечественным букетом, имевшим все средства своею пахучестью до тошноты одурманить даже и не такую неопытную и молодую душу, какая сидела тогда в моем теле.

Красная хозяйская рубаха сидит, бывало, на тесовом, изукрашенном узорчатыми балясинами крыльце постоялого двора. Полдневная жара томит смертной скукой беззаботную и потому необыкновенно жирную плоть, облеченную в красную рубаху. Сидит, говорю, она и тоскует, а рук поднять для того, чтобы согнать неотвязчивую муху, досадно жужжащую над засаленной бородой, лень. Отматывается хозяин бородою от мухи и позевывает, позевывает и пасть крестит.

— Пусти, хозяин, в сенях в холодке посидеть,— попросишься у такой личности с поклоном, как следует страннику.— Поем тоже чего-нибудь: щец, молочка либо другого чего, что у стряпухи найдется.

Видит ведь хозяин, что православный стоит перед ним; слышит, что по-русски с ним говорят, а все же не вдруг, бывало, ответную речь поведет. Встрепенется как будто, когда слушает тебя, глаза выпучит, пристально осмотрит и потом уже спросит:

— Да ты из каких?

— Из цуцких — рази не видишь? — подсказывает за вас некоторый заезжий молодец, меланхолически похлестывая кнутиком свои вытяжные сапоги.

— А вот я тебе обо всем этом расскажу сейчас, ты впусти только в сени-то да дай хлеба-соли отведать.

— Ну, что с тобой делать! — снисходительно отвечает хозяин.— Полезай на крыльцо.— И в то время показывает вид, что благодеяние, которое он вам делает, сказавши: «полезай на крыльцо»,— нетленно и что вы должны сохранить о нем благодарное воспоминание во всю вашу бедственную жизнь.

— Погляжу я на этих барских,— заговаривает про-

езжий молодец, выбивая золу из деревянной трубчонки,— все-то они в сюртуках, все-то в синих кафтанах. Ноги тонки, бока звонки, брюхо голодно.

— Ну, бог с ним! — с тихим раскатистым смехом вступается хозяин.— Заведено так, братец ты мой, у них исстари: дворовый нарядлив, до чужих горшков повадлив.

— Чудно! — задумчиво восклицает проезжий молодец, а хозяйская белобрысая девчонка, в полосатом ситцевом платье, конфузливо гигикает отцовской пословице.

— Куды поднялся и из коих мест будешь? — после некоторого недолгого молчания осведомляется красная рубаха.

— Издалека, хозяин, поднялся, а волокусь в Петербург.

— По каким таким надобностям? В слуги, што ли, к господам найматься идешь?

— А так, и идет он по тому делу, должно быть,— вмешивается в разговор проезжий молодец,— ваканция там одна очистилась: мазурья много там переловили да в острог пересажали, так он убылые места идет замещать.

— Ну, бог с ним! — протяжно снисходительствует хозяин, блаженно посмеиваясь.— Что это ты на него, за какую вину ешься?

— Ох, уж мне эти синие сертуки! — озлобленно, но без малейшего, обыкновенного при подобных восклицаниях, азарта говорит молодец.— От роду моего я их терпеть не люблю.

— Что это ты, братец, ненавистник какой? — спрашивает хозяин, продолжая по-прежнему посмеиваться.

— Частенько они нашего брата, мужика, пуще господ едят! — закончил проезжий молодец и отправился в избу.— Пойду-ко я там у хозяйки стаканчиком разживусь, разозлился я очень.

— Поди, поди,— посылал его хозяин,— знатную я вчера из города настойку на перце привез, так тебя с нее и жжет, так и палит. Ты не хочешь ли попробовать? Гривенник, братец, такой стаканище сто́ит, взгляни да ахни!

После моего отказа опробовать стаканище, возбуждающий при взгляде на него, как сказал дворник, ахи, между нами воцарилось молчание, прерываемое только

сладкой хозяйской зевотой и шарканьем босоногой стряпухи, приносившей мне еду.

— Так зачем же ты, милый человек, в эдакую даль волочишься-то? — спросил хозяин, наскучивший молчанием.

— Учиться иду. Школы там такие есть.

— Стало, неграмотный?

— Нет, грамотный.

— Коему же шуту ты еще учиться хочешь? Ежели грамотный, нанимался бы в правленские писаря. Штука, я тебе сказываю, за первый сорт. Пожалуй, поскладнее еще нашей дворницкой части, потому писарю во всяком селе, небойсь сам знаешь, и первый поклон и первый грош.

Имел же я глупость в это время разъяснять дворникам различие грамоты, усвоенной себе сельскими писарями, от той, за которою я шел в дальний Питер. И зевать переставали они, бывало, слушая меня; но конец концов моих объяснительных рацей был всегда такого свойства:

— Некому, вижу я, любезный, кнута об тебя как следует растрепать. Вот что! — обыкновенно толковали мне мои временные хозяева.— Попался бы ты мне на зубы... Ничего... я бы, пожалуй, дурь-то из тебя всю, без сумления, скоро повыпугал.— И вслед за тем прибавлялось следующее: — Ну-ка, давай за обед разочтемся, некогда мне разговоров твоих слушать,— и при расчете за какую-нибудь гречневую кашу со щами хозяин клал с меня двугривенный, на том основании, что парень я совсем дура и что следовало бы меня поплотнее прижать как-нибудь, то есть насчет станового, что ли, или бы в сельскую управу стащить; ну да уж бог с ним! Всех собак не перевешаешь, всех бродяг, какие по большим дорогам шастают, не переловишь.

И потом все дальше и дальше шла эта широкая, но пустынная дорога, сожженная палящим летним зноем, развертывая пред моим ребяческим сердцем свои сурово-печальные картины и до страшной скорби пугая его неопытность непрерывным горем жизни, терпеливо и постоянно страдавшей на ее ужасающих пространствах.

Идешь, бывало, а в голову налетели бесчисленные стаи каких-то, в первый раз еще подвернувшихся мыслей. Знакомясь с ними, меряешь нескончаемый дорожный

тротуар, забывая про то страшное физическое изнеможение, которое может быть забыто только в пешеходной дорожной беседе с самим собою, а тут опять встреча, опять действительность, накидывающая новую, хотя на первый раз не глубокую, морщину на ясный лоб молодости.

— Помогай бог! — раздается назади какой-то разбитый бас, и вот с тобой равняется человек в отрепанном балахоне, в плисовой порыжелой шапочке, с каким-то, так сказать, просветленным от дорожных нужд лицом.

Слово за слово, и не приметишь, бывало, как расскажешь случайному товарищу свою короткую жизнь с ее настоящими целями, и каким тяжелым, долго не спихиваемым гнетом заляжет в душу каждое слово ответной истории странника.

— Сам я тоже из духовных, из семинарии,— резко и отчетливо раздавалось каждое слово спутника в этой ничем не смущаемой тишине одинокого поля, где слышно, как неожиданная в жаркий полдень струя тихого ветра слетела откуда-то на вершину придорожной вешки и заговорила с ней, где ощутителен шелест лучей солнечных, осматривающих, как зреют колосья хлебов.— Певчим я был в семинарском хоре,— звучит своим разбитым басом дорожное горе,— на музыке, по грехам моим, очень играть любил, и так меня, сказываю я тебе, дружок, враг искушал успешно этой музыкой, что какой только, бывало, инструмент мне ни подвернется под руку, фортепианы ли, или скрипка, или гитара, сейчас я на нем сам с одного взгляда, без всякого чужого показа, играть выучивался. Ну, и прослышал я, вот тоже как и ты, что есть в Питере школы такие, где учат музыке-то. Пойду, мол, выучусь и такую, мол, господу моему великому песню сыграю, какой соловью-певцу во весь век не сыграть. Сильно понапер на меня в это время искуситель — потому неотступно гудел он мне в уши такими чудесами насчет этой песни, что только и дела я тогда делал, что зайдешь куда-нибудь в потаенное место, слушаешь наваждение его и до тех пор, пока не найдут и не окликнут тебя люди, в злой лихорадке трясешься, то тебя холодом окатит, то запалит жаром невыносимым. Пошли, господи, царство небесное родителям моим покойникам. Не попустили они врагу надо мной издеваться: вскорости они, видя мое уныние такое, взяли, женили меня и к

месту в соседнее село во диакона с превеликим трудом определили. По ветрености же моей тогдашней и по слабоумию такая их родительская обо мне, недостойном, попечительность пришлась мне за великую досаду и горе. И стал я тогда пить. Жена моя бедная в ранний гроб сошла от такого моего окаянства. Опомнился я, ужаснулся и сейчас же постригся в чин монашеский, по малом служении в котором обрек себя на вечное по святым местам странствие. И хорошо так-то для имени господня трудиться! Видишь: травы тут... птицы голосистые... облака ходят... божие солнце смотрит... Всегда тут господь пребывает с тобой и беседует!

Слушал я рассказ странника и думал:

«О! как эта жизнь, так мучительно сокрушенная, столь достойна того, чтобы в мощном величии пустыни постоянно созерцать господа и беседовать с ним...»

И, может быть за то, что я выслушал этот рассказ не с невежественным или злым, безучастным смехом, как, по всем вероятиям, многие слушали его, в этой зелени трав, которыми волновалась пустынная даль, в этих бесчисленных блестках, которыми на ясном солнце горела дорожная пыль, в полетах лазуревых облаков и в неподвижной жизни полей я осязательно ясно увидал тогда светлый лик живого бога, который звал к себе всех труждающихся и обремененных и успокаивал их...

— Вижу я здесь бога моего,— как бы про себя говорил странник,— благословляю его на всякое время и на всякий час... И тебе бы так-то сделать по-моему! Хорошо!..

Жаль, что не было у моего заброшенного сиротства, как и теперь еще нет, людей, которые бы когда-нибудь хоть сколько-нибудь серьезно обсуждали, что́ мне именно нужно и чего не нужно. Может быть, такие люди, как и странник, сказали бы мне, что мне и делать больше нечего, как, по его словам, *это,* то есть то же, что и он делал...

С версту осталось нам пройти до большого помещичьего дома, красная крыша которого уже показалась нам из-за густой березовой рощи, придвинувшей к самой дороге стройный белый фронт своих прямых деревьев.

— Эй вы, туристы! — гремит из глубины этой рощи чей-то сильный голос.— Идите сюда чай пить. Ты небойсь, постник, любишь чайку-то попить.

В недальнем расстоянии от нас, в чаще дерев, виделась одна из тех сельско-помещичьих групп, которые летом так часто формируются с целью предаться какой-нибудь такой прогулке, могущей возбудить аппетит и хоть несколько разбодрить барские телеса. Прогулки эти называются, как известно всему свету, на образованном языке partie de plaisir [1].

— Что же вы, шуты, не идете? — снова загремела нам березовая роща.— Вам делают честь, а они знай себе прут.

И на вытканном сенными барышнями ковре счастливо и весело возлежали бары, барыни и барышни. На этом же ковре стояли неизбежные чаши и стаканы, бутылки и графины. В отдалении дымился самовар, суетились лакеи, бегали красивые собачки и собачищи.

Позиции, занимаемые дамами и кавалерами, пред которыми предстал я с моим товарищем, были столько же разнообразны, сколько и свободны, потому что достаточно было только мельком взглянуть на эти пустые бутылки, валявшиеся в траве, на кости, из-за которых дрались собаки, чтобы убедиться в том, что прогулка по роще приходила уже к концу. Звонкий женский смех раскатывался по роще гремучими серебряными волнами, а молодежь врассыпную мурлыкала про себя те пронзительные романсы, которые в помещичьих домах и в неотходно соседних с ними дворовых избах воспламенили столько, так сказать, любвей к несчастным, грустно скорбящим о затемнении некоей черной тучей их, до узнания *ее,* светлых горизонтов, и которые, в вящее несчастие, вызвали из стольких светлых глазок горькие слезы по вышеозначенным скорбителям.

— Полно вам мурлыкать-то про себя,— отнесся к нывшей молодежи некоторый плотный господин в широком парусинном пальто.— Словно кошку тянут за хвост. Хором бы лучше сваляли «Не белы снежки» или «Посею ль я». Барыни бы помогли, да вот бы и отец-то подтянул. Подтянешь ведь, отче? — допытывалось брюхо, тихонько подрагивая от того блаженного смеха, которым в невинности своей услаждают себя жиряки-помещики, когда хотят почтить своей лаской какого-нибудь маленького человека.

---

[1] Увеселительная прогулка *(франц.)*.

Отец на такие запросы конфузливо улыбался и переминался с ноги на ногу, очевидно не ведая способов, как приличнее ему держать себя в столь благовоспитанном обществе.

— Чему улыбаешься? Радоваться-то еще покуда нечему, женить тебя и нынешним даже годом мы не намерены, а ты вот лучше затягивай какую знаешь, а мы пристанем.

Еще беспомощнее закачался после таких слов отец, улыбки еще более стыдливые забродили по его губам, так что внимание всего общества исключительно в эту минуту было обращено на него. Обещание оставить его и на нынешний год неженатым сделало из странника отличную цель, в которую отовсюду налетали и разноголосый смех мужчин и протяжное сострадание дам.

— Ах, оставьте его, Андрей Петрович! — умоляли остряка сельские голубицы, и остряк, умилостившись над этими мольбами, перенес исключительно свои остроты, наконец, на одного меня.

— Ну, а ты, стрекулист,— удостоил меня разговором Андрей Петрович,— небойсь только и дела делал, что песни играл? Небойсь плясать молодец?

Я был либеральнее моего товарища и потому давно уже лежал на траве, как лежал бы всякий приглашенный гость, и пил чай с тем наслаждением, с которым обыкновенно пьют его путешествующие люди, и вдобавок не имеющие средств в своей дороге пить его, когда им вздумается.

— Петь я, пожалуй, буду, когда все будут петь, потому что я люблю петь, но плясать не молодец, а стрекулистом прошу меня больше не звать, потому что зовут меня Иван Иванович Сизой, а не стрекулист.

Нисколько не отвергаю, что я тоже, как и отец, непременно сконфузился бы в дворянском обществе, которое, по понятиям людей моей среды, всегда неминуемо элегантно; но в настоящем случае мне очень удобно было в разговоре с жантильомом избегать местоимений, потому что, стыдливый и скоро теряющийся по природе, я тем не менее всегда как-то становлюсь до дикости дерзким, когда мне первому начинают делать незаслуженные дерзости.

— Ого! — воскликнул барин, продирая в несказан-

ном удивлении свои сонные глаза.— Так ты вот какой! Так ты разговаривать умеешь?

— Умею,— без надлежащей скромности, молодому плебею столь свойственной, ответил я.— Если меня пригласили сюда оскорблять,— прощайте; плакать о такой скорой разлуке не буду.

— Ты у меня, пожалуйста, без острот...— вмешалась в мой разговор какая-то юная, но удивительно горделивая жакетка.— Помни, с кем говоришь, дорожная шваль, и не забывайся!

— А ты слышал, как я сказал сейчас мое имя? — в свою очередь спросил я горделивую жакетку.— Ты не мог не слышать, как я говорил об этом...— нарочно и злобно напирал я на слово «ты»,— и все еще зовешь меня дорожною швалью. Сам ты после этого пошлый дурак и невежа.

— Ш-што?

Отвечая теме, которую в наши времена с такою любовью разрабатывает русская беллетристика, я должен был бы в этом месте моего рассказа нежными штрихами очертить то высоко поэтическое существо, то есть возникающую русскую женщину, которое своим благодетельным ахом и вмешательством предупредило бы плачевные результаты, которые могли произойти вследствие разгара страстей между мной и хотя горделивой, но, надобно сознаться, до того слабосильной жакеткой.

Одной задумчивой между наслаждавшимися красотами природы сельскими дамами, к сожалению, не оказалось. Не только не удерживаемая, но даже поощряемая милыми голосами, жакетка с остервенением бросилась на меня с толстой сучковатой палкой и с возгласом:

— Я ж тебе, негодяй, покажу, как грубости делать...

— Хорошенько, хорошенько его, Александр Петрович! Ах, дрянь какая! Вот ужасы! — стыдливо и даже с некоторым испугом щебетали Марфы Григорьевны; но Александр Петрович, что называется, налетел с ковшом на брагу. Его сучковатая палка через секунду уже засвистала в моих руках над головами молодежи и лакеев, бросившихся на меня отмстить за то поражение, которое я, можно сказать, в один миг нанес горделивой жакетке.

— Ах, дьявол! Ах, мерзавец! — кричала смущенная

кучка барынь.— Бросьте его, господа! Ведь он убьет, пожалуй.

— Отойдите, господа! — ревел я, в свою очередь разозлившись.— Схвачу кого-нибудь из вас одного, изломаю.

Гвалт сочинился необыкновенный; но во время моего отступления я больше всего пострадал от собак, потому что все эти трезоры и бьюти, сбогары и амишечки с яростным лаем преследовали меня вместе с своими господами до села, где, по пословице, солома сломила-таки силу. Набежавшие громады мужиков, так сказать, облелеяли меня, как половодье береговой лес, и, схвативши, без разговора потащили на расправу к становому.

Схваченный и притащенный к становому, хотя и не без права, потому что пропасть сбогаров и амишечек было искалечено мною, я, однако же, не буду предавать хотя бы художественной гласности ни моего жития в стане, ни того хитрого способа, посредством которого я покончил это житие.

Правда, однажды в полдень несказанно палило солнце, ни малейшее дуновение ветра не смягчало его жгучести. Подаренный мне сестрою

Четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила (ей) на чаек,

состоявший, по чести признаться, из платинки, так редко обретаемой ныне, дня два уже как разменялся и разлетелся по большой дороге. Следовательно, после двухдневного голода и последовавшего затем истомления я полз по мосту, переброшенному через неглубокий овраг, и в то время, когда полз, услышал из глубины этого оврага голос, звавший меня таким образом:

— Эй, убогенький! Будет тебе ползь-то. Поди, я тебе хлебца дам.

Этот голос позвал меня очень кстати, потому что, не позови он меня, я неминуемо умер бы в подмостной тени этого оврага. Старуха богомолка с маленьким желтым личиком, уродливо завернутым в громадный платок, изукрашенный неуклюжими цветными разводами, долго мотала своей головенкой, сожалея о моей победной головушке, и в конце нашего дорожного знакомства отломила мне хлебушка и отсыпала сухарей, с которыми я и доплелся до Питера...

А про Питер я едва ли в состоянии написать как следует. Про него и про людей, пришедших в него по моему образу, давно уже начали писать и теперь пишут так, как я и не хочу и не умею писать.

Обыкновенно так пишут:

«Дмитрий, примерно, Богоблагодатов или Николай Сомов, голодая где-нибудь в темнейшем углу Петербургской или Выборгской стороны, изучает свою специальность и, кроме того, часы отдыха посвящает на усвоение себе новых языков, которые, как известно, русским гимназистам знакомы весьма плохо, а семинаристам ничуть не знакомы.

Подвал, в котором поселился Богоблагодатов или Сомов,— обыкновенно рассказывается,— тускло освещен слабым мерцанием сальной свечки. Осенний дождь или зимняя вьюга тоскливо стучатся в уныло дребезжащее от их стука окно. У Богоблагодатова или Сомова нет ни копеечки, они иззябли, вследствие чего им припадает мучительная охота попить чаю; но чая нет и в помине, лавочник не верит в долг даже хлеба. Но Богоблагодатов-Сомов не унывает, он плотнее закутывается в свою шинелишку и принимается за Гейне по-немецки или за штоф унд крафт.

Долго и терпеливо сидит он за штоф унд крафт, и так как, по азбуке, всякое доброе терпение, наконец, вознаграждается, то часам к двенадцати в подвал врывается другой Богоблагодатов-Сомов, радостный и игриво-сильный, как летняя буря. В его руке приятно желтеются десять рублевых ассигнаций, которые он получил или за уроки, или за переписку бумаг у одного добродетельного квартального надзирателя. Пришедший приятель звонко хохочет и становит самовар, хозяин бежит за колбасой и полуштофом. Наконец молодые люди принимаются пить чай, развеселять свои молодые сердца весьма, однако, умеренным приемом водки, танцевать и петь: gaudeamus igitur! [1]

Вот придет сюда она,
Это дивное созданье,
Черноокая моя!

Последние стихи поются уже собственно для какой-нибудь Маши, которая хоть и здорово развилась,

[1] Будем веселиться! *(лат.)*

но все еще продолжает обожать различные занимательного свойства стишки и списывать их в красивую тетрадку».

Так, по современным рассказам, безмятежно и счастливо протекает жизнь молодых пролетариев Петербургской и Выборгской стороны. В последнее время к этим рассказам приделан конец еще более аркадского свойства.

Но пусть буду я проклят, если в таких живописях есть хоть тень жизненной правды! У меня было пропасть телесной и нравственной силы до моего скитальчества по темным конурам, прилегающим к Сампсониевскому мосту и к Александровскому парку, но вся эта сила замерла и развеялась по этим углам, и не с одной сотней подобных мне молодых людей случилось то же самое. В два года такой жизни я не слыхал хотя чего-нибудь, сколько-нибудь похожего на женский голос, кроме голосов моих многочисленных хозяек — старых солдаток с длинными эспаньолками на нижней губе, туривших меня вон из своих апартаментов. Ни один из моих пятидесяти знакомых студентов в эти несчастные два года не мог найти урока, потому что мы, как дикие звери, безысходно сидели по своим конурам.

Не только что изучать различные науки и распевать gaudeamus, но и говорить даже разучишься, когда молодую душу безостановочно тяжело целые два года гнетут разные горькие думы, а тело — голод и холод, не забудьте — двадцатилетнее тело, которое желало бы видеть солнечные лучи более светлыми, нежели какими они изредка упадают в обращенные окнами на грязные и вонючие дворы *комнаты с мебелью.*

Таким образом, два года из моей молодости ушли на то, что я колотился своим лбом об ту каменную стену, которая становится у нас между молодым бедняком и его жизненными целями.

1863



МОСКОВСКИЕ «КОМНАТЫ СНЕБИЛЬЮ»

I

ВСТУПЛЕНИЕ

Растрепанно и сумрачно как-то высматривают на божий свет дома, в которых есть эти так называемые *комнаты снебилью*. Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты мною в этих тайных вертепах, где приючается, как может, пугливая бедность.

Бесконечно длинною вереницей возникают в голове моей воспоминания о разных решительно неестественных столкновениях с совершенно невероятными характерами, когда я случайно увижу на воротах какого-нибудь высокого дома билет с уродливой надписью: *«Сдесъ одаюца комнаты снебилью»*.

Каким-то странно-болезненным чувством прохватывается все существо мое, когда я увижу, как бьется и трепещет на ветре лоскут серой, грязной бумаги, нелепо примазанный к воротному столбу мякишем черного хлеба, потому что перед глазами моими вытягивается тогда несчастная шеренга бездомовных людей, которые самою судьбою, кажется, осуждены на вечное скитание по этим *комнатам снебилью,* рекомендуемым серым лоскутом.

И при виде бедных людей этих — сотоварищей печального пути моего по бурному, если не смешно так выразиться, морю житейскому, живее чувствуется мне мое прошлое горе, глубже западают в душу настоящие невзгоды и нужды, потому что грустно размышляю я в это время о бесконечном ряде справедливых жизненных драм, обыкновенно разыгрывающихся в этих комнатах на страшную тему о погибели молодой энергичной жизни, разбитой нуждою железною.

— Брат мой! — слышится мне мягкий голос редко когда уже вспоминаемого юноши, с которым, в пылу молодых мечтаний о великом и добром труде жизненном, побратались мы на жизнь и на смерть,— и в этой радости, чтобы был ты при смерти моей, мне отказал бог!

Страшной, томительною мукой наполняют душу мою слова эти, потому что, на великое несчастье мое, так

ясно, так осязательно представляется мне в это время прекрасная жизнь в тяжкой борьбе с мучительной смертью,— и не могу я тогда дать себе отчета в том, для чего существовала эта жизнь, зачем она, жаждавшая счастья и деятельности, так долго и так тяжело страдала и, наконец, зачем она, не выдержавши этих страданий, так видимо незаконно умирает теперь в глазах моих, не примиренная с грубостью жизни ни одним словом утешения, ни малейшим признаком участия людского?..

И другой образ, грациозный и светлый, восстает предо мной. Как и в прежнее счастливое время, беспечальный и наивный, шутливо лепечет он мне о вечной разлуке с дорогим человеком.

— Ах, сосед! — говорит мне милый голос.— Как он умирал страшно, сказать не могу. Ведь, знаете вы, какой он всегда смирный был да веселый; а тут... ах! вспомнить ужасно: зеленый-зеленый весь сделался, ровно трава вешняя, и как же бранился он страшно, зубами как скрежетал!.. Одна я только усмирять его немного могла. Положу, бывало, руку к нему на лоб и смотрю на него,— он как будто и покойнее станет. Вижу я так-то, что уж немного ему жить остается, и говорю: «Ты бы, говорю, родным что-нибудь написал».— «Да, точно! говорит, написать нужно. Напиши, говорит, ты повестку такую общую и родным и знакомым моим, что, дескать, родственник ваш или приятель такой-то (знаешь, говорит, как на бал приглашают), умирая, изъявляет свое крайнее сожаление, что не может он вам на прощанье всем в глаза плюнуть!.. Покорнейше проси их извинить меня на этот раз: сил, скажи, не было...» Долго он тут смеялся, отвернувшись и от меня к стене; с тем и умер. А за ним и меня отнесли. Не могла я жить без него — тоска страшная очень мне грудь надсадила. Вот и платье, в котором меня схоронили. Прелесть, что за платье такое! Белое-белое как «кипень»,— с улыбкой лепечет девушка, употребляя слово своей далекой родины.— Жаль, не было вас: голову мне в это время убрали цветами, и подушку, и гроб — все завалили цветами (недороги цветы были тогда,— весной я умирала), и несли меня все наши девушки. Вы их всех знаете: те, с которыми я на одном месте работала,— они все при вас бывали у меня. Ах, помните вы, как нам весело было! Хозяйка-то нас распугивала как, помните? «Деньги, говорит, подавайте: пер-

вое число подошло». Не могу без смеха вспомнить этой хозяйки; совсем у ней «мужчинская» борода была и голос толстый такой. Я всегда думала, что она меня съест, когда, бывало, не достанешь ей денег к первому числу. Ну, прощай, сосед! Я улечу сейчас: я летаю ныне — вот посмотрите!

И действительно, словно белый голубь, то взвивалась она в далекое поднебесье, то снова спускалась ко мне, порхая перед глазами моими какою-то невиданною птицей и чаруя меня своей милой улыбкой, с которою она показывала мне недавно приобретенное уменье летать.

— Што те, комлу, што ль, надыть? — рычит недавно приехавший из самого степного села дворник, злой от вчерашнего похмелья, суровый и всклокоченный по природе.— В четверто крыльцо на третий этаж по колидору ступай, там те комла и будет.

Испугался милый призрак сурового голоса и улетел на небо, а мрачный дом по-прежнему мрачно и неустанно смотрит на улицу своими бесчисленными окнами, сторожит, должно быть, чтобы не вылетели несчастные птицы, заживо погребенные в его душных клетках; и грязный билет тоже по-прежнему бьется и трепещет на ветре своими двумя отклеившимися углами, останавливая на себе внимание проходящих.

— Ты там Татьяну-съемщицу спроси,— продолжает дворник,— так, то есть, Татьяну и спрашивай: где, мол, тутотка Татьяна живет? А как, примером, Татьяна тебе скажется, ты и скажи ей: где, мол, у тебя комла тут порожняя есть? Дворник, мол, к тебе спосылал меня.

Обыкновенно я не пользуюсь в это время указаниями дворника. Я иду дальше от него и от дома, потому что оба они тогда кажутся мне в одинаковой степени деревянными.

— Ишь ты, попёр как! — рычит дворник.— Беспременно сдуть что-нибудь норовил. Што это за шельма народ в Москве, братцы мои! Так, то есть, и норовит к тебе с сапогами совсем в рот залезть!..

II

СЪЕМЩИЦЫ

Самый рельефный и красивый орнамент *комнат снебилью* — это Татьяны, съемщицы комнат, главные жиз-

ненные цели которых по преимуществу заключаются в том, чтобы вынудить себе от своих жильцов и от приходящих к ним гостей почетный титул мадамы,— и Лукерьи — лица, неизбежно кухарствующие в комнатах. Эти два божка обладают почти одинаковою силой, дающей им все возможности или разбивать наказательным громом и сожигающею молнией те несчастные существа, которые отдались их команде, или обливать их горемычные головы до бесконечной пошлости надоедающим дождем своих безобразных благодеяний, судя по тому, насколько несчастные существа, командуемые ими, наделены благодетельной природой способностями приобретать себе благорасположение или обратное чувство со стороны Татьяны и Лукерьи.

Оба эти в высокой степени интересные субъекты одинаково подарены Москве и вообще всем большим городам тульскими, коломенскими и большею частью ярославскими подгородными слободами. Так, молодой ли солдатке придется невтерпеж от нападков мужниной семьи, или когда так называемая ухарь-баба наскучит носить красные платки от своих деревенских ребят,— сейчас же они ранним утром соберут свои пожитки в один большой холстинный мешок, взвалив его на крепкие плечи, и, много не разговаривая, отправляются в столицу искать между новыми людьми новых работ и счастья.

При начале своей карьеры, начинающейся обыкновенно с кухарки у какого-нибудь купца третьей руки, баба неизбежно дуреет при виде этой всегдашней суетни столичной жизни, которая даже и в самых тихих своих омутах всегда слишком резко бросается в глаза, дотоле исключительно смотревшие на одни зеленые деревья и травы, так густо опушающие тихие деревенские улицы. Долгое время с крайне бесцельно, но вместе с тем напряженно выпученными глазами всматривается баба в непривычные жизненные явления той области, в которую занесла ее ее лошадиная судьба, и немало, по ее словам, «издивляется» этим явлениям. Долго она, как дубок, пересаженный с одной почвы на другую, гнется во все стороны, поставленная в необходимость болеть от той так жирно намасленной каши, которою купеческие дома имеют необузданность начинять свою прислугу. Напустившись с азартом голодного сельского человека на эту на-

циональную сласть, поджаристость которой так ясно налощена обильными поливаниями хозяйского масла, баба тем «скуснее» слизывает с ложки горы лакомого снадобья, что за обедом вместо угрюмых, изработавшихся лиц своих семейских мужиков она видит разухабистых Захаров в красных рубахах, с блестящими серьгами в левых ушах,— веселых Захаров, непременно довольных и собою, и хозяйскою кашей, с глазами, лукаво прищуренными на новую стряпуху, с бойкой, вырывающей из компании волны хохота, поговоркой:

Лей, кубышка, поливай, кубышка!
Не жалей хозяйского добришка!—

выкрикивает удалой Захар, любезно знакомясь с новою соседкой посредством ошарашиванья ее в бок локтем.

— Что,— спрашивает он ее при этом знаменательном подталкивании,— приуныла? Аль бы нас, молодцов, невзлюбила? Аль хозяйское добро в рот нейдет? Свыкнется, слюбится, стерпится,— на веселье печаль наша сменится. Будем мы с тобой жить-поживать, добра наживать да в кабаке его на сладком винце пропивать. А ты молодецкую речь слушать-то слушай, а сама не зевай: видишь, каша-то вся уж!..

— Будет тебе, черт, шутки-то шутить! — говорят Захару соседи.— Напугаешь ты бабу-то ими. Видишь, не привыкла еще к нашим порядкам.

Осмотревшись, Татьяна действительно видит, что каша уже вся в самом деле, но ее нисколько не печалит это обстоятельство. Ее до того ошеломили жирные щи и жирнейшая солонина, с слабым подобием которой она во все продолжение своей сельской жизни знакомилась только по рождествам да по святым, что Татьяна едва настолько может работать своей победною головой, чтобы хоть немного удивиться складным разговорам шутливого соседа. Неудержно клонит ее к сладкому сну в первый раз попробованная купецкая трапеза,— лупит баба свои большие серые глаза, стараясь не показаться соней, лупит и ничего не видит, прислушивается ко всему самым внимательным манером и ничего не слышит.

— Что ты, словно идол какой, из стороны в сторону мечешься, а настоящего дела не делаешь, дура ты эдакая деревенская, неповитая! — кричит на нее грозный хозяйский голос.— Ну, куда тебя черти несут? Я тебе велел самовар ставить, а тебя шуты-то на погребицу поволокли.

— О господи! — потихоньку творит молитву сельская дура в своем сонном бодрствовании.— Ничего-то я, грешная, не слышу. Вот они враги-то где сильные! Не то что по селам...

Наконец оставшийся от хозяев чай прогоняет сон кухарки вместе с ее тревожными мыслями. Только в окне неустанно жужжащие мухи чуть-чуть заметно нарушают ту несмущаемую тишину, которая обыкновенно царствует по купеческим кухням в послеобеденное время. Захары все до одного человека разошлись, как они говорят, по своим обязанностям, а хозяйское семейство непробудно спит в прохладных хоромах.

«Ничего в городе жизнь-то!» — думает про себя Татьяна, свободно припоминая в этой тишине, что если первый день ее службы принес ей некоторое огорчение, зато он принес ей и наслаждения, которых она никогда не испытывала в своей убогой сельской жизни.

Вертит баба перед жадными глазами кусок сахару и, любуясь им, с великим удовольствием прощает городскому дню искушения и нападки, которыми на первый раз он так смутил простую сельскую душу.

«Запужалась я давича некстати с непривычки-то! — развивает Татьяна свою безмолвную думу.— В этом раю не жить, так где же и жить?» И после этого вопроса живо вспоминается ей и завтрак из пшенной каши, варенной на молоке, в котором плавало коровье масло за первый сорт, и жирный обед с ухарскими приговорками Захара, и настоящий чай. «Бывало, поглядишь только на сахар-то, как он, ровно ранний снег, белелся в руках у поповен да у дворовых, когда они чай пьют; а теперича на-кась! Воочию у меня сахар-то. Захочу — сейчас весь кусок сгрызу, а захочу — понемножечку сосать буду. Что это за сласть такую придумал народ! Толкуют по деревням: из немецкой земли его возят; там его, говорят, из собачьих костей делают. Ну да ничего. Пущай себе из собачьих — окромя как одной сласти, никаких в нем костей я не вижу. Полагать надо, врут все это, потому народ по деревням знамо какой — глупый народ!..»

Блаженствуя и посмеиваясь тихомолком, делала Татьяна этот первый шаг на поприще забвения своей прежней горемычной жизни, который обыкновенно так же не задумавшись делает всякий сельский человек, когда хоть чуть-чуть смекнет, что и на его до известного случая то-

щее тело напластываются наслоения жира, и когда почувствует, что и в далеком будущем ему предстоит полная возможность справлять праздники неуклонным зажариванием жирных кулебяк и задиранием вверх носа, одуренно занюхивающегося в такие времена ароматом, который бьет от нового китайчатого кафтана на плечах счастливца и от его скрипучих, смазанных чистым смоленским дегтем, сапог...

И дальше идет Татьянина дума, в первый раз, может быть, не сдерживаемая ни семейским, ни своим убожеством:

«Коего шута, прости господи мою душу грешную, давно оттелева я не бежала? — спрашивала баба с сильным ожесточением на свою недогадливость.— Есть тут кому побранить тебя, зато, по крайности, ты знаешь: не мужик тебя серый лает, а хозяин-купец уму-разуму учит. Душа, по крайности, за хлебом-солью у добрых людей отдохнет».

Таким образом, кусок сахару изгоняет из памяти неблагодарной Татьяны ее голодную сельскую родину. С неутомимым азартом в первый раз обласканного, хотя и без намерения, русского человека во весь остальной вечер отворачивает она тяжелую хозяйскую службу, стараясь отблагодарить за эту ласку.

После ужина хозяин спросил свою благоверную:

— Што, баба-то какова? Есть за что хлебом кормить?

— Баба, сказываю тебе,— золото! Воротит все до страсти: пыль столбом валит, как она тут девствовала,— ответила благоверная.

— Ну, этто чудесно! — благодушно говорит хозяин, засыпая.

Татьяна между тем за кухонною перегородкой свое толковала.

— Наработалась я очинно,— говорит,— опять же и пища такая, словно в заговенье, так и валит! Господу богу-то завтра уж, видно, и за спанье и за вставанье поутру враз помолюсь...

III

Тот недолгий период времени, в который Татьяна переделывается из купеческой кухарки в съемщицу *комнат*

снебилью, самый блаженный период во всей ее жизни, ибо в это время она простодушно и благодарно пользуется благами, предоставляемыми ей купеческим домом, по всегдашней пословице, полным как чаша. Не видав никогда ничего изящнее сооруженного на медвежий лад хозяйского дивана под красное дерево и гостиной, обитой красно-лапчатыми обоями, расписанной пузастыми амурами, рогами изобилия, лирами и тому подобными штуками,— Татьяна почитает живущих в этом доме не иначе, как за мощных своих повелителей, могущих с одного маха срубить ей голову и с одного маха же опять приставить ее к плечам. Слишком кислую и вяжущую оскомину набила Татьяне сельская редька с серым квасом, чтобы ей можно было без полного благоговения садиться за воскресный пшеничный пирог, от которого так приятно щекотливо ударяло в нос затомленною в жаркой печи говядиной с яйцами, с рисом, с маслом, с луком — этим приобретающим, вследствие печения, какую-то неимоверно вкусную сладость лучком, который, в компании с мелко-намелко растолченным перцем, составляет окончательное украшение всякой кулебяки, назначаемой для праздничного лакомства верным купецким личардам.

Девичья свежесть хозяйской дочери, неизобразимо неуклюжая толщина водовозного мерина, молчаливая угрюмость *самого* и крикливо-безалаберная доброта *самой* — все это, так сказать, с самого дна Татьяниной души выволакивает искренние дани всякого сорта признательностей благодетельной судьбе за свое счастливое положение.

Веками и психологией освященная поговорка, что человек в сей жизни, даже находясь на самом верху славы и величия, не может быть доволен своим положением, сделалась бы крайне несостоятельною в глазах философа, который бы хоть мельком взглянул на Татьяну в этот цветущий период ее жизни.

— Што это, Татьянушка, работищи у тебя какая пропасть! — удивлялась какая-нибудь ее деревенская знакомая, сидя у ней в гостях.— Эдак ты через силу будешь чугуны-то ворочать,— животы, пожалуй, сразу надорвешь.

— Не работала рази я дома-то? — с сердцем спрашивала Татьяна.— Работала, кормилица, по целым дням, окромя завалящей корки во рту не бывало, а все

работала, ровно лошадь двужильная, неустанная. Здесь мне не в тягость жить, потому корм хороший, компания веселая. Все к тебе с добрым словом, не то чтобы за косы да в поволочку.

Таким образом, несмущаемо довольная своей жирною судьбой, Татьяна с каждым днем толстеет все больше и больше, на удивленье и похвальбу честному купецкому миру. Красноватое, вечно сморщенное лицо, которое носила Татьяна до поступления в кухарки, сделалось теперь мужественно смуглым и довольным, слезливые глаза широко раскрылись, черные зрачки их заблистали каким-то лукавством, сметкой какой-то, говорящей как будто: «Ну, брат, объегорить меня вряд ли удастся тебе. За этим делом, друг ты мой сладкий, приходи к нам в четверг после дождичка!..»

— Как скоро отъелась эта Татьяна, братцы мои! — толкуют про кухарку ее сожители по кухне, Захары.— Выровнялась баба на удивленье,— глядеть на нее почитай нельзя!..

А Татьяна слушает эти речи и посмеивается себе втихомолку. Посмеивается всем этим соседним кучерам и проходящим солдатам — *Ликсей Ликсеичам,* вечно показывающим с господского крыльца свои немецкие сюртуки, и простым рабочим, гармониками и балалайками оживляющим праздничное свободное время, хлещет в глаза своим ситцевым разводистым сарафаном. Смотрит на нее праздничный народ, как она на лавочке у калитки сидит, в пестром шерстяном платке, в белой кисейной рубахе, от которой на белые руки пышные рукава речною волной упадают,— смотрит и сквозь зубы с тяжким вздохом цедит:

— Н-ну! Эдакая баба хоть кого из нашего брата на чужой стороне сбережет!..

А Татьяна на все шутки бровью даже черною не ведет.

— Будет тебе, шаромыжник, разговоры-то разговаривать! — обыкновенно отвечала она какому-нибудь зарубившему праздничную муху лихачу, когда он растолковывал ей о прелестях, совершающихся по праздникам в полпивной его будто бы закадычного друга и односельца.— Знаем мы, какой он тебе друг-то! Кабы он тебе друг был, не пустил бы тебя без сапог намедни.

— Дура! — презрительно отзывался лихач о Татьяне,

когда она напоминала ему о несчастном, хотя и действительном случае, когда односелец-полпивщик стянул с него сапоги за некоторые бутылки, превышавшие праздничный бюджет лихача.

Татьяна не оставалась в долгу у лихача.

— Сволочь! — отвечала она ему с насмешливым презрением и тут же тонким, заунывным голосом затягивала какую-нибудь песню своей, с каждым днем все больше забываемой, родины.

Много мужских и женских ретивых сердец, тоже, как и Татьяна, отдыхавших на улице святым праздничным временем, слушая ее мастерскую песню, вспоминают тогда о том, какими теперь разноцветными лентами развеваются по родимым оставленным улицам знакомые хороводы; на чужой сторонушке въявь слышатся им родные голоса, пред глазами медленно хлещут усмиренные предвечернею тишиной волны речные, за ними зеленеется лес, а там расстилаются кормилицы-поля,— и вот из соседних домов один за одним подходит народ к Татьяне как первой песеннице квартала.

— Не полегче ли душе будет, как песню-другую сыграешь; а то, признаться, так сердце для праздника защемило— страсть! Три года вот уже домой не соберуся никак,— толкуют Татьяне подходящие соседи.

Слово за слово, песня за песней, и невидимо как приблизился темный вечер, в который еще грустнее делается от этих скорбных ахов и охов нашей народной песни. Слушал, слушал ее с балкона, вплоть закрытого плющом и маркизами, молодой сосед, богатый купец, и не вытерпел, чтобы не вскрикнуть:

— Будет вам, ребята, душу тянуть из меня! Валяйтека лучше плясовую какую-нибудь; я вам сейчас водки и пять целковых пришлю.

На долю Татьяны досталось из этих денег *три* двугривенных. И часто такие случаи выпадали. Деньга валила к Татьяне невидимо; нашила она себе цветных сарафанов, тонких кисейных рубах, накупила позолоченных перстней с светлыми каменными глазками — и непрерывно блаженствует, потому что, хотя и по немалом приставании, один из самих заухабистых, самым неотвязным образом ухаживавших за ней Захаров наконецтаки покорил ее долго нечувствительное сердце и с большим парадом водил ее, что называется, вдребезги рас-

фуфыренную, в полпивную по воскресным и праздничным дням.

— Где ты ворожбе такой научился, что бабу эту лютую к себе присушил? — спрашивали у счастливца его приятели-лихачи, истратившие некогда много пятиалтынных на бесплодное угощенье Татьяны пряниками и орехами.

— А всей моей ворожбы и было тут только, что красота да удаль наша молодецкая! — хвастливо отвечал Захар.— Теперь с этой самой бабой в жисть мою не расстанусь. Сказывают, отец там женить меня на какой-то сельской дуре собирается. Только он это, надо полагать, затевает напрасно, потому я теперь всякого горя ему за это наделать могу...

— Был такой слух и у нас на фабрике,— коварно передают Захару завистливые приятели про небывалый слух.

— И у вас уж знают? — азартно спрашивает Захар.— Значит, старый-то там не шутки шутит. Только вот праздник теперь у нас, братцы, не даст мне тот праздник соврать; а я вам, молодцы, говорю: ничего со мной старик в этот раз не поделает, потому я в солдаты — и она за мной... Так ли я говорю, Татьяна?

— Милый ты мой, золотой ты мой! Известно, што горе теперича мы сообча мыкать должны. На то и в знакомство вошли... — тихонько говорит Татьяна, стараясь усмирить ласками порывы своего любезного, который неоднократно уже порывался разорвать на себе красную рубаху для того, чтобы видели и верили люди, что он теперь против отцова желанья неудержно пойдет...

И на этом пути, как видно, Татьяне везло. Сын за свою любушку восстал против своего сердитого отца, завет родителей, учивших его при отпуске из дома — против женской красоты воевать неуклонно,— забыл, на ее красоту глядючи; а теперь при одном слухе только, что отец подыскивает ему разлучницу, по целым дням кипит и горюет своей молодою душой.

Но недаром играется в песне, что

Сладки яства приедаются,
Красны платья скоро носятся.

Раздобрела Татьяна да такой степени, что кто бы только ни посмотрел на нее, непременно говорил:

— Ну, уж с этим телом больше ничего не поделаешь.

Раскормить его, чтоб оно было более и толще, никакой пищею невозможно.

Лишь только увидала себя Татьяна в таком положении, сейчас же тоска на нее напала великая, и принялась она в этой тоске ныть и с хозяевами, как говорится, храпеть, то есть зуб за зуб. Ей кто-нибудь слово скажет, а она на это слово десять своих в ответ, да таких, что каждое из этих слов всякого человека по лбу словно обухом ошарашивало.

— Что это какая у нас Татьяна брехучая сделалась? — удивляются промеж себя хозяева.— Прежде, бывало, водой не замутит, а теперь слово сказать нельзя. К работе рук не прикладывает. «Я, говорит, в крепость вам еще не продавалась». Уж не прогнать ли ее?

— Посгоди маленько прогонять-то,—вступился *сам*.— Рази не видишь, баба с жиру сбесилась... Это со многими на моих глазах бывало; это у нас в Расее — словно болесть какая по рабочему народу ходит. Ты вот погоди, я ей маленько жиру-то поспущу: поутюжу ее безделицу, чтобы не заедалась. Ежели с этого не пройдет, тогда гони, потому самый она тогда пропащий человек выдет...

А Татьяна между тем свое разговаривает:

— Что это,— говорит,— господи, долю ты мне какую послал горемычную? Весь век свой все я из-за чужих рук выглядываю. Ни тебе куска в рот по своей воле нельзя положить, ни спокою никогда, как у добрых людей, не бывает!..

А тут эти разные странницы и салопницы, ожидающие в кухне хозяйского подаяния, еще пуще разжигают горюющую бабу.

— А ты,— жалостливо толкуют они Татьяне,— смирись. Хошь и трудно тебе с сердцем своим совладеть, а все же смирись, потому господь бог все видит.

— Милая ты моя! — вскрикивает кухарка, ободренная этою поблажкой,— стараюсь ведь я всячески для них,— ничего не поделаешь! Все пуще меня злость разбирает, глядючи на их безурядье; а ведь они тоже носы-то вон куда задирают, словно господа какие! «Мы, говорят, купцы. Грубить будешь, фартальному подарок пошлем, он тебя в полиции отдерет...» Ведь вон они черти какие!

— Ох, жалость меня на тебя разбирает, Татьянушка! Сделай-ка ты по моему совету, на-ка тебе вот эту самую

травку, и положи ты ее, мать моя, под изголовье к *самой,*— авось, может, перестанет она на тебя лютовать. *Сам*-от — ничего, все молчит, а она — ох, какая подхалимая бабенка, опять же и злющая! Третьево дня сижу у ней, а она мне и говорит: «Что мне только с этой змеищей Танькой делать, ума не приложу!..»

Но всех больше поджигала Татьяну одна московская солдатка, давнишняя содержательница *комнат снебилью.* Прошедшая огонь и воду и, кроме того, все тридцать четыре мытарства, бабенка эта познакомилась с Татьяной следующим курьезным образом. Раз как-то несчастная коммерсантка, проюрдонивши деньжонки, полученные вперед от жильцов, шаталась по рынку с кульком и с хлебными крошками в кармане вместо денег. Притыкалась она то к одному, то к другому мяснику, пробовала то одного, то другого лавочника веселою шуткою взять, только время подходило уже к обеду, а коммерсантка, кроме как, по ее словам, одного невежества, ничего к обеду приобресть от торговых людей не могла.

Тяжелая мысль — быть пробранной за неприготовление обеда голодными жильцами, а паче того отставным поручиком Бжебжицким — сорвиголовой, поселившимся с бою в лучшей комнате, засела в мозг бабы и мучительно сверлит ее.

«Рази не убечь ли мне нынешний день куда-нибудь?— думает пугливая баба.— Завтра, может, достану где-нибудь деньжонок, так пирогов им напеку, а барину-то, окромя еще, полуштоф поставлю,— вот он и смилуется».

А Татьяна между тем пылала в это время желанием знакомства с какой-нибудь благородною женщиной, приказницей, что ли, какою, которая бы ходила в чепце и в немецком платье. Коммерсантка в этом случае как раз удовлетворяла своей особой аристократическим Татьяниным стремлениям. Плюгавая и сморщенная по физической природе своей, она тем не менее всегда с особою бойкостью юлила около людей, которых судьба посылала ей в кормильцы и поильцы. Шик, с которым она донашивала старые платья и чепцы, какими снабжали ее различные ветреные, но великодушные Лизетты, постоянно во время какой-нибудь невзгоды наполнявшие ее *комнаты снебилью,* был неподражаем. Этот шик свойствен только тем немногим бедным созданиям обоего пола, которых судьба взяла, как об этом говорится, от сохи на время и по-

селила в столице. Поселила она их в столице и щедро рассыпала пред их деревенскими и, следовательно, простоватыми глазами всю изящную роскошь цивилизованного города,— и вот смотрит-смотрит на эту роскошь какой-нибудь красивый русский парень, толкнутый барскою рукой в слесаря, и вдруг ни с того ни с сего пропивает свою праздничную поддевку, сшитую дома, и покупает на толкучке какое-нибудь жалкое подобие сюртука, и говорит про себя, любовно оглядываясь в тусклое зеркало вонючей харчевни:

— Вот когда мы зафрантили-то!.. Сейчас умереть, на деревне меня бы теперь ни единая душа не узнала, потому как есть немцем стал!..

Трудно вообразить себе что-нибудь жальче такого молодца, когда он в какой-нибудь праздник идет в своем новокупленном наряде с талией, большею частью болтающейся по пяткам, в русских сапогах с длинными голенищами, за которые заткнуты оборваннейшие штанишки. Суконный замасленный жилет с пуговицами в два ряда, с бортами, лежащими на груди в виде каких-то собачьих ушей, и красный ситцевый галстук, оберченный на шее раза три, окончательно довершают сходство новорожденного немца с коровой в седле. А если немец к этому прибавит еще изванявшуюся шляпенку, а по жилету развесит толстую бронзовую цепочку от томпаковой луковицы, тогда поистине чудеса всего мира не представят вам ничего комичнее этого зрелища.

Почти одинаковые комедии разыгрываются и бабами, кухарствующими в столицах. Их коленкоровые чепцы с густыми фалбарами, их собственноручно устроенные кринолины приводят в несказанный ужас даже те сердца, которые самым кавалерским образом относятся к человеческому роду.

— Господи! — восклицает даже и такое сердце при взгляде на сельскую бабу в праздничном немецком платье.— Зришь же ты, боже, неуклюжесть эту слоновую и не метёшь ее с прекрасного лица земли!..

Ощущая в себе неодолимое желание уважать такие чепцы и такие кринолины, Татьяна долгое время искала себе женщину, которая бы могла ей перестроить ее сарафаны на платья, помогла соорудить кринолин и сшить чепец. В этих видах она, встречаясь с коммерсанткой на рынке, всегда приветствовала ее низким поклоном и по-

желанием доброго утра. Но коммерсантка долгое время не отдавала должного внимания этим поклонам и пожеланиям, ибо связываться со всякою деревенскою швалью было решительно вне ее цивилизованно-плутоватых нравов.

Но в описываемое утро, когда коммерсантка приставала с своими просьбами о говядине к невежественным торгашам, когда в ее неоднократно напуганном воображении проносился грозный образ отставного поручика Бжебжицкого с длинным чубуком в красных руках, требовавший от нее обед или жизнь,— в те, говорю, горестные моменты появление на рынке Татьяны, как и всегда смиренно и непрошено раскланивавшейся, сразу усмирило тревожную душу недоступной до сих пор коммерсантки. Маленькая и так сказать, чепцоватая бабенка, подшпориваемая Бжебжицким, подбежала к Татьяне дружелюбной иноходью и завязала с ней разговор следующего великосветского свойства:

— Здравствуй, здравствуй, Татьянушка! Что твои идолы-то?

— Да что, сударыня!— ответила Татьяна с досадой,— про моих идолов и разговора нечего заводить. Поедом они меня съели.

Концом этого разговора был заем в рубль серебром, который коммерсантка мимоходом как бы перехватила у Татьяны на самое короткое время. Конечно, рублевый заем не такая великая вещь, чтоб о нем нужно было очень много распространяться; но с него начинается эпоха стремлений Татьяны к кофе *внакладку,* начинаются ее знакомства с различными барышнями, жилицами коммерсантки, рекомендовавшими себя гувернантками без мест, сиротами полковника или даже генерала и в крайнем только случае вдовами разорившихся, но некогда первогильдейских купцов.

— Как мы с тятенькой в Орле жили, так это даже страсти! — говорит генеральская сирота, перекраивая Татьянин сарафан на платье.— Был тятенька мой, Татьянушка, первым лицом в городе. Все господа в гости к нам ездили, и мы ко всем ездили.

— Торговали мы, милая Татьяна Лексеевна,— в другое время растолковывает ей вдова разорившегося миллионера,— красным товаром. Было, может, его, красного-то товару, в наших лавках на несколько миллионов...

вот как! А теперя, сама видишь, какое горе терплю, и все мне господь помогает за мою, должно быть, простоту прежнюю.

Одним словом, все эти чужеядные растения наперебой кинулись перешивать сарафаны Татьяны, поить ее чаем, *кофием* и занимать у ней часика на два, на три по рублю.

Слушает Татьяна барские, по ее мнению, рассказы с благоговейно выпученными глазами, искренними и тяжелыми вздохами, сочувствует несчастиям некогда столь вельможных барышень, терпеливо жжется их горячим кофе, не задумываясь оделяет их рублями, зажитыми в долгой и трудной службе идолам-купцам, и, наконец, дошла до того, что однажды сама рассказала захожей богомолке, когда никого в хозяйской кухне не было, что она — офицерская жена, что ей по-настоящему барыней быть следует — и была барыней, долгое время была, и именно до тех самых пор, пока не запил ее муж-офицер и не пропал без вести.

— Толкуют,— закончила Татьяна удивленной и соболезновавшей о ее горе богомолке,— в больших теперь чинах муж. Сам, говорят, главный начальник за его усердную службу (в недавнем времени слухи были об эфтом) тремя рублями из своих енаральских рук наградил.

Что именно заставило Татьяну соврать таким образом, до сих пор неизвестно. Известно только то, что вольная жизнь *комнат снебилью,* которой Татьяна насмотрелась у коммерсантки, до того показалась ей привлекательной, что жизнь купецкой кухни ей опротивела, как говорится, вдосталь.

Не стерпевши наконец постоянно нахмуренного мурла своей кухарки, *сам* однажды сказал Татьяне:

— Ты што же это, Татьяна Лексеевна, рыло-то воротишь, словно медведь? Али много жира с хозяйских хлебов завела?

— С твоих-то хлебов и заведешь жира! — басовито пробормотала Татьяна, предусмотрительно пробираясь в кухню.

— Стой-ка, стой, мать! — не совсем еще прогневавшись, останавливал ее *сам.*— Што ты в самом деле не свое на себя берешь! Уж не поутюжить ли мне тебя, барыня? Не поумнеешь ли авось хошь с моей-то легкой руки?

Говорит это *сам,* благодушно и тихо посмеиваясь и бо-

роду разглаживая, потому знал Татьяну за хорошую бабу и серьезно обижать ее не хотел. Думал, что от одних добрых слов очувствуется.

— Ученого учить — что портить! — возговорила Татьяна на ласковые речи хозяйские.— Своих дураков полны горницы,— их бы перва-наперва поучил.

Тут хозяин не стерпел и дал Татьяне тумака, сначала в затылок, а потом в бок. Татьяна во все свое звонкое горло закричала караул и стремглав бросилась в фартал.

Особенно уголовного дела по случаю Татьяниной жалобы не затеялось. Наутро только квартальный пришел к *самому* с визитом, потолковал с ним немного, получил от купца про свои домашние обиходишки десять рублишков и посоветовал прогнать со двора кляузницу-кухарку.

На всю улицу орала Татьяна, когда *сам* прогнал ее; гвалт, с которым Захары толкали ее, по хозяйскому приказу, в три шеи, собрал к купеческому дому много народа; а вскоре после этого на воротах одного разваливающегося и мрачного деревянного дома на Сивцевом Вражке запестрелся билет, гласивший следующее:

«Сдес адаюца комнаты састылом и снебилью вхот, налева фперваю лесницу».

Эти *комнаты снебилью* оборудовала Татьяне опытная в делах подобного рода коммерсантка.

Спасайтесь от них, бедные люди!

IV

ОБЫКНОВЕННЫЕ СЛУЧАИ, ОБСТАВЛЯЮЩИЕ ТАТЬЯНИНЫ КОММЕРЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ

Этот дом, в котором расположилась Татьяна, битком набитый чумазыми сапожниками, кривоногими портными, обсыпанными с ног до головы сажей гигантами-кузнецами, синими, зелеными и даже иногда желтоватыми и ярко-красными красильщиками,— этот дом, говорю, загудел и заорал еще громче и безалабернее, чем гудел и орал он до водворения в нем съемщицы *комнат снебилью.* Маленькие мастеровые ребятенки, прежде мелькавшие в кабак и в мелочную лавочку примерно по десяти раз в день, теперь бегали в означенные места непременно раз по пятнадцати; ибо прапорщик Бжебжицкий, день и ночь

лупившийся в штосс с своими закадыками, в то время, когда тихая и тайная полночь укладывала на убогий одр Лукерью (Татьянину кухарку), часто выкидывал следующие фокусы. Отворивши окно своей квартиры, он зычно обращался к ребятенкам-ученикам, которые, как известно, осень и лето спят по разным дыркам, в дровах, в холодных чуланах, на сеновалах с хозяйским кучером и проч. и проч.

— Эй вы, чертенята! — орал Бжебжицкий.— Куда вы застряли там, бесовы детки? Ежели кто из вас достанет мне сию минуту штоф водки, пять селедок и луку, тот получит от меня пятачок. Жива-а!

В тот же момент бездушная, но громадная масса дров, сложенная под окнами прапорщика, обнаруживала некоторую жизнь. В этой полночной тишине, которая даже подчиняет себе немолчный шум столиц и больших городов вообще, глухо затренькало что-то, зашуршало,— и вот пред усатым лицом отставного военного предстал всех и всегда слушающийся дух в виде некоторого маловозрастного халатника, с белокурыми шаршавыми волосами, с молодым личиком, отчетливо изрисованным приобретенною в городе плутоватостью и неудержимой охотой приобретать от тороватого столичного населения пятачки и гривеннички, которые так обильно вознаграждают скупердяйство и даже в некотором смысле суету хозяйских обедов и ужинов.

Предстал этот дух и, канальски улыбаясь и рабски переминаясь на месте босыми ногами, доложил прапорщику:

— Я эфто дело-с, ваше высокоблагородие, вам в точности оборудую, потому как я служу-с вашим благородьям верно-с... Лавочник Митрий-с сказал мне-с: «В полночь ко мне стучись,— обижен не будешь».

Смеется мальчишка и, говоря эти слова, как-то знаменательно топчется.

— Молодец-парнек! — похвалили его из-за карт юнкера и прапорщики и вообще все те московские полночные совы, которые проявляют свою деятельность по разным закоулкам преимущественно в ночное время, потому что днем она слишком ярко и ослепительно бросалась бы в глаза остальному обществу.

— Я вам, ваше высокоблагородие, все могу-с... Теперича у нас в мастерской хоша и есть большие ребята, но

они того не могут сделать, что я могу, потому я все равно как взрослый какой! Водку я тоже могу...

— Неужели и водку можешь? — осведомилась у ребенка пьяная компания.

— Сейчас издохнуть, могу! Что ж такое? Мне это все нипочем. У нас, ваше высокоблагородие, весь род такой: три брата здесь на мастерстве пропали, отец пропал, двое дядей, материн племянник, так все тут до единого лоском и легли. Наши сельские говорят: это они от большого ума запились...

После такой семейной характеристики прапорщик еще усиленнее принялся хвалить доблестного парнишку; но тем не менее, когда парнишка раздобыл штоф, селедок и луку, заслуга его была награждена вовсе не пятачком, а просто-напросто шутливою трепкой, потому что как сам Бжебжицкий, так и его компания давно уже метали и понтировали за счет его сиятельства графа Шереметева, то есть: «Я вот, любезный друг, сотру тебе два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи, а ты посылай за свечкой — и тогда опять залупливай во всю ночь!» А любезный друг отвечает: «Нет уж, посылай за свечкой сам, а запись я тебе в непродолжительном времени сполна уплачу».

На другую ночь прапорщик тщетно оглашал предутреннюю тишину спавшего дома, призывая какого-нибудь субъекта, годного к приобретению водки в незаконные часы. Ночь отвечала ему одним только лаем пугливой и крайне, впрочем, задорной оболонки, принадлежавшей одной из бесчисленных полковничьих дочерей, которая поселилась у Татьяны вдвоем с некоторой несчастною девицей, отошедшей, как она говорила, от отличного места собственно как за свою честь и за холуйское обхождение с нею хозяйского сына, восемнадцатилетнего гимназиста. Так один толькой лай оболонки отвечал на возгласы Бжебжицкого, да изредка перешептывались между собою конурки, образовавшиеся в дровах,— конурки подлестничные, закоулки в извилинах галереи, опоясавшей весь дом и верхушки конюшен.

— Это вчерашний барин-то покрикивает? — слышался шепот с чердака одноэтажной красильни.

— Спи, молчи, покуда он тебя не поднял. Бедовый! — говорит другой шепчущий голос с сеновала, но говорит так тихо, что можно было подумать, что это зашуршало

сено под легкими ногами испуганной полночною силой кошки.

— А, бесы! — гремит проигравшийся на несколько миллионов воин с третьего этажа.— Да дозовусь ли я какую-нибудь шельму? — спрашивает он наконец, грузно сходя с деревянной скрипящей лестницы.— Где вы тут, ракальи? — и при этом он быстро запускает руку в подлестничную конурку и вытаскивает оттуда некоторого заспанного и малолетнего артиста по сапожной части.

— Ты что же это, канальчонок, так крепко дрыхнешь? Не слыхал разве, как я тебя звал, шельменыш ты эдакой?

— Я думал, барин, что вы это не меня кличете...

— Цыц! Тебя или другого — все равно. Сейчас должен бежать, как только заслышишь мой голос. Марш в кабак! Штоф очищенной и дюжину баварского! Да не забудь смотри: фрицовской фабрикации спрашивай.

— Это, сударь, Ванюшка на эфти дела ходок, а не я. У него вся родня такая!.. Вся она у него на эфтих делах без остатку сгасла,— говорил испуганный мальчик.— Вон, вон он убежать хочет от вас из дров. Заслышал, что про него вам сказываю, и убежал.

— Веди меня к нему, куда он убежал! Я ему покажу. Ах, шельмы! Ах, канальи! Проливай после этого за них свою кровь! — шутил Бжебжицкий, и компания, смотревшая из окон на его экспедицию, вторила его шуткам громким смехом, пронзительно скандализировавшим ночную тишину.

И тут же, в довершение эффекта, раздается звонкий крик вчерашнего шаршавого мальчишки, которого феодальный прапорщик насильно протискивает в кабак.

— Не пойду, не пойду! — кричит ребенок.— Что я вам буду ходить-то? Колотить-то меня и без вас раз сто в день колотят.

— А вот тебе, ракалия, сто первый! Вот тебе сто первый! Пойдешь?

— Не пойду. Бейте: я ведь терпелив. Меня эфтим небойсь не изнимете.

— Врешь, пойдешь! Врре-ешь, пойдешь! Ну, говори, пойдешь теперь?

— Пойду, пойду, барин! Сейчас лётом полечу, пустите только...

— Что? Не стерпел? А туда же толкует, что его ни-

чем не изнимешь. Ну, бежи же, да смотри: у меня не зевать!

В это время, словно из какого подземелья, послышалось сначала визжание дверного блока, а потом голос дворника:

— У нас, ваше благородие, не такой дом, чтобы в нем буянить! Буянство в нем тоже не дозволяют...

— Ш-што? — спросил прапорщик.— Выплыви, каналья, на свежую воду, я на тебя погляжу...

Дворник моментально скрылся после такого столь законного желания, выраженного непобедимым воином; а шаршавый паренек, род которого без остатка угас в московском мастерстве, благополучно прошмыгнул в калитку.

— Я тебе в первый и в последний раз говорю,— протяжно толковал на дворе Бжебжицкий оставившему поле битвы дворнику,— у меня, брат, руки по швам. Я, брат, не люблю. Я, любезный друг, прямо тебе скажу: никакие мордасы мне сопротивляться не в силах. Вот что!

И все, что было живого в доме, навсегда запамятовало эти заключительные слова бравого солдата, как сам себя называл прапорщик, так что после этого изречения не находилось ему ни спорника, ни поборника в целом квартале и даже в близлежащих окрестностях. Пошло, следовательно, дело таким образом, что не только приказания самого прапорщика беспрекословно исполнялись мастеровым населением дома, но даже и приказания протежируемых им полковничьих дочерей, безместных гувернанток, несчастных девиц и разорившихся миллионерок-купчих, которые неудержимыми волнами влились в Татьянины *комнаты снебилью.*

В окнах швейной и цветочных мастерских, помещавшихся на том же дворе, показались толстые коленкоровые шторы; но когда эти шторы оказались бессильными сдерживать натиски Бжебжицкого и компании, квартировавшей у Татьяны, окна были закрыты почти наглухо частыми проволочными решетками. Но изобретательность Татьяниных жильцов проникла и сквозь эти решетки, так что в прежде веселые воскресные вечера, когда шумными играми этих красильщиков и портных, кузнецов и цветочниц, швей и сапожников до краев зачерпывался тесный двор многотрудящегося дома,— в эти вечера, сделавшиеся после Татьяниных комнат какими-то

грустно-тихими, очень нередко разыгрывались те едва приметные в оглушительно шумящем кипятке столичной жизни драмы, которые ложно направленные общества с плутовато-снисходительными улыбками называют обыкновенными, но от которых тем не менее мучительно скорбит всякое новое сердце.

— Лукерья! — говорил кухарке один бородатый юноша,— подай свечи, да ежели Дуняша из цветочной прибежит, скажи ей, что меня дома нет. Тетенька, мол, к нему с машины неожиданно приехала. Ни под каким видом не пускай. Понимаешь?

— Проказник вы, Петр Лукич! — улыбается Лукерья, медленно покачивая головой.

— Что? — в свою очередь, осведомляется Бжебжицкий, промывая горячим чаем длинный черешневый чубук.— Верно: цвели, цвели цветики, да поблекли?

— Комиссия! — отвечает борода.— Не знаю, как отвязаться. Плачет, как река льется. По чем? — сего никто понять не в состоянии.

— А вы ее, за слезы-то, взяли бы за белы руки да за длинный хвост — да на лестницу. А то не знает, как отвязаться! — поучительно наставляет Бжебжицкий юную бороду.— А позвольте узнать чин, имя, фамилию и состояние особы, находящейся у вас в настоящее мгновение.

— Тише! — шепчет юный.— Это такая история, такая странная история! Вот смотрите: дала сейчас двадцать пять серебром и приказала за ужином посылать.

— Отцы мои! — ужаснулся Бжебжицкий.— Ну-ка, покажите деньги-то. Так, так: депозитка наяву. Так я, друг мой, в момент распоряжусь ужином. Только вот одежонку накину.

— Смотрите только,— трепещет юноша,— не просадите в биллиардной. Осрамите меня.

— Полно, пожалуйста. Что я за дурак такой! Этими странными, как вы их называете, историями нужно пользоваться да пользоваться. Тут протекция может быть. Тут,— чем черт не шутит! — городничество чудесное можно с одного выстрела зацепить. Таких чудес-то иные люди во всю жизнь стараются достичь, да не достигают. Вот что! Так я живо сооружу трапезу. У меня тоже, как у онамеднишнего мальчишки, весь род на этом мастерстве угас.

— Лукерьюшка! дома Петр Лукич? — спрашивает цветочница Дуняша про бородатого счастливца.— Насилу-то я к вам урвалась от хозяйки. Дай, мол, пойду вечерок скоротаю.

— Ох, девушка, девушка! — грустно сказала Лукерья,— чуть ли не пришел конец вечерки-то тебе у нас коротать. Не велел ведь твой дома сказываться. «Скажи, говорит, ей, что ко мне тетка приехала». А какая она, черт, тетка? Расфуфырена, точно, до страсти, аки барыня какая большая! В третий раз уж гостит у него.

— Что же, она и теперича у него сидит? — торопливо выпытывает Дуняша, побелевши всем своим румяным шестнадцатилетним личиком.

— И теперь сидит. Барина-то того прощалыжного за ужином в ресторацию услали. Он тоже, барин-то этот, любит на чужбинку-то. У него губа-то, я тебе скажу, ровно бы у заправского господина на барские-то кушанья оттопырена.

Но Дуняшу уже не занимал кухаркин рассказ про прапорщичью, оттопыренную на майорский манер, губу. Не сморгнув, смотрит она на кухарку и как бы ждет от нее чего-нибудь более интересного; но кухарка, закончивши губой свои разговоры, принялась загадывать на засаленных картах про некоего разбойничка-солдатика, который ушел куда-то в далекий поход, занявши у ней предварительно на самый короткий срок красную бумагу в десять рублев ценностью.

— Черт его, прости господи мою душу грешную, знает! — шептала Лукерья, пристально рассматривая карты.— Вот ведь и дорога ему лежит в бубновый дом; вот ведь, кубысть, и антирес для бубновой крали вышел; а все не несет его нечистая сила! Черти эти люди-то, грабители! Так-тось! — закончила она и благодушно перекрестила сладко зевнувший рот.

— Так что же, Лукерьюшка? Как он тебе сказал-то? — снова начала Дуняша.— Так и приказал: что, дескать, не пускай ее,— меня, мол, дома нет?

— Так и сказал, друг сердечный! Только ты не убивайся. Что убиваться-то по этим мужикам? Обманщики они, ироды! У меня вот тоже Максим, ундер из депа, брал красную-то бумагу, дюже божился, все говорил: «Глаза лопни, через неделю сполна принесу!» Теперь вот третий год уж пошел, как он носит деньги-то. Только, ты

думаешь, не лопнут у него за это бельмы-то его собачьи? Лопнут. Утроба-то ненасытная, и то, может, лопнет. О, чтоб их всех порастрескало, проклятых этих мужиков! Умеют они нашу сестру объегоривать.

— А она, это ты правду говоришь, все еще у него сидит? — еще раз переспросила Дуняша.

— Что ж я тебе, дура, врать, что ли, стану? — с досадой ответила Лукерья.— Что я его, кобеля борзого, укрывать-то нанялась, что ли?

— Ах я разнесчастная, разнесчастная! — вдруг вскрикнула Дуняша, вцепившись руками в свои волосы.— Дай-ка же я брошусь на нее, на разлучницу мою лютую! Дай же я ей ясные ее глаза своими когтями выковырну!..— и с этими словами она бросилась к запертой двери и ударила в нее и обоими кулаками, и головой, и крепкою грудью.

— Что ты, что ты, беспутница, делаешь? — закричала Лукерья, бросившись вслед за обезумевшею девушкой.

— Куды те, полоумную, шуты несут? — кричала на Дуняшу Татьяна, тоже бросаясь на нее из своей каморки.

— Что тут такое? Что тут такое? — пугливо осведомлялась красивая полная барыня из-за чуть растворенной комнаты своего любезного бородача, сверкая золотою часовой цепочкой, развешенною на груди в виде адъютантских аксельбантов.

— Это ничего, сударыня! Это у нас больная есть,— говорила Татьяна, понявшая уже, что жильцам надобно делать всякое удовольствие и послугу.

— Же лонер, мадам! Милль пардон, мадам! — расшаркивался воротившийся из трактира Бжебжицкий и достаточно уже хвативший для смелости.— Это моя сестра! Маляд, бедное дитя! Она в горячке! — плакал услужливый воин и могуче оттаскивал девушку от двери.— Друг мой! Бедный друг мой! — говорил он.— Поди ляг в постель, голубенок! Успокойся.

— Подите к черту! — простилась Дуняша с компанией, быстро сбегая с лестницы.

— Комедчики! Право, комедчики! — разрешила всю эту историю хладнокровно Татьяна.— Только и дура же эта Авдотья! Поди-ка что выдумала — к господам драться полезла! Молода еще больно, фарталы-то, должно быть, и во сне еще ей не снились...

— Что, Авдотья Елисеевна, али с господами-то — не

с нашим братом? — встретил Дуняшу на дворе молодой мастеровой, некогда отвергнутый ею.— Хорошо, верно, господа привечают, да хорошо и вон провожают...— с насмешливою тоской говорил он девушке, дрожавшей всем телом от злости на человека, так нахально обругавшего ее первую, молодую любовь.

— Милый ты мой! Митя, голубчик! Расшиби ты сейчас окно у них, у разбойников! Я тебя за это, умереть мне на месте, полюблю с этого самого часа. Только ты возьми камень и расшиби.

— Беги за ворота, а оттуда в пивную к Прокофью, там меня и жди; сиди смирно, не пугайся, ежели полиция придет. Скажешь тогда, ежели спросят: «я, мол, тут с Митрием близко часу сижу»,— советовал Дмитрий, и скоро после этого в *комнатах снебилью* целая оконная рама была вдребезги разбита десятифунтовым булыжником.

— Держи, держи! — орал Бжебжицкий, размахивая своим ужасным чубучищем.

— Держи, держи! — голосил дворник на улице будочникам; но халатник сидел уже у дяди Прокофья и любовно говорил своему новому другу:

— Милая моя! Ты вот осмеяла меня тогда: мастеровщиной немытой ругала,— а все же я тебя в твоем грехе от всего моего сердца прощаю. По молодости по своей девичьей проштрафилась ты, не знала, что господа-то вашу сестру для утехи своей обманывают... Пей пиво, голубь, не плачь, потому настоящего-то горя так и то не выплачешь, а твое горе — не горе, а плевое дело...

— Я, Митя, и не плачу,— шептала Дуня.— Я вот только с сердцем никак не могу совладать; дрожит оно у меня очень, сердце-то! Всех бы я их до одного человека теперича зубами изгрызла.

— Мы теперича,— растягивал Дмитрий, пьянея и, следовательно, уже начиная муштровать свою бабу,— мы теперича никогда не должны этого говорить. Потому перед богом такие слова — грех, по Писанию не так... Опять же, ежели ты возверзишь... и воззовешь... Н-ну, од-дно сл-лово... у меня слушаться! Со мм-мной тебе, девка, хорошо буд-дет! Я не вор-р, не пьяница чтобы большой уж очень,— грамотен тоже... Слушайся меня, девка, пей пиво, а я твоего греха не попомню. Цалуй!..

Немало также новой жизни в прежнюю патриархаль-

ность воскресно-мастеровых вечеров дома внесли и праздничные возгласы Захара, бывшего подручника Татьяны у купца. Затешется он, бывало, на дворик *комнат снебилью,* станет пред их окнами растрепанный, разбитый весь, с пьяным, чахоточным румянцем на лице, и заорет:

— Эй, Татьяна Ликсевна! Отворяй ворота, принимай за повода,— гости приехали!..— И ежели Татьяна, распивая кофей с приятельницами в каком-нибудь дальнем углу своей квартиры, не услышит молодецкого вызова, то кто-нибудь из жильцов, а чаще всего прапорщик Бжебжицкий, неустанно посылающий из своего окна поцелуйчики проходящим дамам, непременно бежал к ней и докладывал:

— Татьяна! Опять Захар пришел, пьянее прошлого. Что же ты не сразишься с ним? Бежи скорее; ругает он тебя на чем свет стоит.

— Ах, губитель! Ах, злодей мой великий! — восклицала Татьяна.— Осрамит он меня теперь до конца. Что я с ним, с варваром, буду делать?

— Сразись поди, пролей свою кровь! — советовал жилец, алкая потешить свое бездельное одиночество медвежьей травлей.— Может быть, вид твоей жертвенной крови,— продолжал шутливый барин,— и приведет его снова в норму.

— Какая ему теперича норма! — возражала Татьяна барскому слову, с коварною целью показать, что она нынче понимает тоже по-французскому.— Он теперича, ежели я дворнику четвертака не дам, брехать будет до самой зари утренней.

— Так ты прибегай поскорее хоть к сему спасительному средству, не то ведь скандал выйдет.

— Будет уж вам! — пугалась Татьяна.— Мне и без ваших присказок тошно.

— Тошно? А зачем изменяла? Помни, что злодеяние всегда наказывается, а порок торжествует.

— Что же, Татьяна Ликсевна? — кричал со двора неугомонный Захар.— Али, барыней стамши, компанией старинной брезгаете? Эдак-то, кажись бы, добрые люди не делают.

— Будет тебе, молодец! — усовещивал Захара дворник.— На чужом дворе буянить тоже не очень-то нашему брату дозволяют.

— Валяй, валяй ее, друг сладкий, половчей! — сове-

товали молодые мастеровые.— Ежели ты ее, то есть, как следствует пропечешь, сейчас умереть, мы тебе пару пива на складчину тотчас же выставим, потому чтобы про нашего брата знали и ведали.

— Мы, друзья, свои дела и без пива в тонкости знаем,— хвалился Захар.— И как я вам заранъше объявлю, как перед господом богом, вряд ли этой самой Таньке голову свою от меня уберечь, потому она жисть мою молодую заела; от ласки моей сердечной отвернулась, стерва проклятая, и оплевала ее, эту самую ласку. Эхма!

Большая душевная потеря слышалась в голосе пьяного молодца. Стоит он посреди двора, готовый на все, и с каждой минутой возжигается все больше и больше.

— Други! — кричал он,— ведь что она со мною сделала! У места в сновальщиках был — прогнали ради ее, стариком своим за любовь с нею проклят, родными брошен! И на все это я не посмотрел, все одну ее в душе моей содержал... Ах! держите меня, братцы, пожалуйста, а то как бы греха какого не случилось, как бы она от моей крепкой руки не подохла.

— Будет, будет, дружок! — уговаривал снисходительно дворник, разжалобленный этим сокрушительным горем.— Видишь, народу сколько собралось; ундер, пожалуй, придет, в сибирку заберет. Что хорошего в сибирке...

— Ах, ничего нет в сибирке хорошего! Только блаже бы мне в самой Сибири быть, чем с этой паскудой водиться. Ах, надо мне с нею порешить, братцы! Заодно уж мне погибать-то! Расступись, народ!..

И при этом Захар вбегает на лесницу *комнат снебилью,* и скоро ожесточенная битва, начатая им с Татьяной в ее квартире, переходит на двор, поглотивший собой праздничное внимание целого дома.

— Краул! краул! — звонким дишкантом кричала Татьяна в сильных Захаровых лапах.

— Как он ее любит! Как он ее любит! — басовито шутил Бжебжицкий, покуривая жуков из длинного черешневого чубука.

— Это точно, ваше высокоблагородие, что он ее очинно любит! — подвернулся какой-то пестрый халат.— Он без нее жизни готов решиться, ваше высокоблагородие! Каждый праздник так-то ходит сюда этот молодец, и каждый раз их обоих в полицию забирают. Потеха!

— Ну, разговорился! — прикрикнул Бжебжицкий на халат, справедливо вознегодовав на такую фамильярность.— Все вы таковы, канальи!..

— Батюшки, заступитесь! Родимый, отбивайте!.. Убьет! — умоляла Татьяна, въевшись, однако же, всеми зубами в плечо своему беспощадному противнику.

— Вот как у нас, Татьяна Ликсевна, старинных любушек привечают! Вот как мы им русые косы расчесываем, белые лица разглаживаем,— во-от ка-а-к! — злобился Захар, волоча Татьяну по грязному двору.

Волны народа, облелеявшие бойцов, бурлили и переливались около них, словно бы крутил их вихорь летучий; но тем не менее никто не решался расхолодить этих раззлобившихся зверей, которые с пеной у ртов грызли друг друга и ворчали, ежели кому из них удавалось как-нибудь покрепче тиснуть так недавно дружеское тело.

— У них теперь надолго пойдет,— толковали в толпе.— Ежели их теперича водой не разлить, до самой до темной ночи продерутся.

— До полночи не продерутся,— слышались возражения,— устанут, опять же и кровь... Уж тут долго не надерешься, коли кровь пошла. Сейчас же тебе в голову вдарит...

— Это точно что вдарит; особенно ежели нос тебе рассадят...

— Что, что тут такое? — возговорил наконец старик ундер, пришедший на шум.— Ты опять тут? — обратился он к Захару с грозным вопросом.— Я тебе в прошлое воскресенье что сказал, а? Чтобы нога твоя здесь не была? А ты опять затесался; опять ты тут, разбойник, буйство стал учинять? Я же теперь тебя побаюкаю за такие дела!..— И при этом карательный старик свалил Захара с ног, хвативши его, что называется, в едало или в самую суть.

— Бей, бей его, сударь, разбойника! — со слезами просила Татьяна.— А как сменишься, приходи ко мне чай пить... Я тебе господских щей налью и водки куплю.

— Много благодарны, Татьяна Ликсеевна! Свое дело знаем: мы его сейчас, как следствует, по начальству,— объяснялся старик мимоходом в квартал, куда он потащил Захара, который, в свою очередь, на всю улицу орал:

— Мне теперича все нипочем! Я свою душу утешил! С меня будет...

— Молодец! — поощряли его мастеровые.— Ничего они тебе в фартале не поделают. В. другой праздник придешь, так мы ворота-то припрем, городового-то не пустим,— расправляйся как знаешь...

— Молодец! — вторил им Бжебжицкий.— Свое взял, а там — хоть трава не расти. Что, Татьяна Алексеевна, побаловаться изволили маленько? Верно, это не то, что кофе распивать да за деньгами приставать каждую минуту? Говорил ведь я тебе, дура ты эдакая, ежели будешь за деньгами часто ходить, так либо я тебя отдую, либо Захар. Вот так и вышло по-моему!.. И на картах тебе гадать нечего было...

И под громкий и вместе с тем непрестанный гул такого рода сцен с каждым днем все больше и больше разрасталась по широкой Москве, между ее известным людом, слава Татьянина заведения. Посторонняя жизнь, так или иначе интересуясь жизнью *комнат снебилью,* отовсюду налетая на дом, в котором помещались они, в соединении с случаями, подобными только что описанному пассажу, образовала наконец у ворот дома, на дворе его и в самом доме как бы какой вечно крутящийся, вечно шумящий омут, непрестанно горланящая пасть которого ежесекундно пытала самыми страшными и разнообразными пытками все, что, по несчастью, жило по соседству с комнатами.

— Любезненький! Где тут Татьяна Ликсеевна — съемщица живет? — пугливо всунувшись в калитку, спрашивает у дворника румяный приказчик с громадным кульком под мышкой.

— Ступай ты лучше отсюда, купец, ступай, покедова я тебе шеи не нагрел! — отвечает дворник, измученный многочисленными расспросами разнообразнейших субъектов о местожительстве Татьяны Ликсеевны.— Сейчас умереть, ежели не уйдешь сию минуту, побегу к хозяину,— я ведь знаю, у кого ты живешь,— и скажу ему: вон, мол, где твой соколик погуливает!

— Напрасно вы, любезный человек, сердиться изволите-с,— ласковым и крайне пугливым голосом шепчет приказчик.— Пожалуйста, не шумите-с: мы с вами сначала по политике будем рассуждать, денег вы от меня много можете завсегда иметь, потому как мне не Тать-

яна нужна, а Прасковья Петровна: девица такая живет у ней. Нужно нам ее в Останкино пригласить на прогулку-с.

— Знаем Прасковью Петровну. Ступай вон в энто крыльцо; только у ней, братец, вашего брата, купца, много теперь засиделось. С вечера еще в экой ли пристани тихой кантуют. Слышишь вон, как на итарах наяривают?.. Это у ей.

— Это ничего! Пущай их наяривают; она нам всякое снисхождение завсегда оказывает, потому доброту нашу ценит, опять же и деньги наши...— торопливо закончил купец и, выхвативши из кармана горсть мелочи, бросил ее дворнику и мышкой юркнул на крыльцо оценивающей должным образом его доброту Прасковьи Петровны.

— Экой народ взбалмошный — эти купцы! Ума у них не так чтобы много, а деньжищев гибель! — со вздохом заключил дворник, пересчитывая новенькое серебро.— Все это надобно мне в клад положить, потому не скоро таким образом разживешься. Где только черти эти берут такую деньгу,— смотреть хорошо!

— Эй, землячок, родимый! — перебил дворника тоже испуганный, но басовитый голос приезжего мужика, тоже, как и недавний купец, пугливо просунувшего в калитку косматую голову.

— О, чтоб вас совсем! — гневался дворник.— Словно омут какой, так тебя и прет! Что тебе?

— Да то-то, кормилец! Кое место приехал, черти в кулачки не бились,— все девку свою ищу. Ушла из деревни на заработок, а теперь, говорят, вольного поведения стала. Сказывали, в ваших местах скрывается, у какой-то офицерши Татьяны.

— Офицерши! — презрительно воскликнул дворник.— Много их, таких офицершев-то... Как девку-то зовут? Сказывай у меня живее, а то уйду сейчас, тогда, хоть ты околей тут на сем месте, ничего не узнаешь!

— Прасковья была, кормилец! Мы ее в деревне-то всё Праскуткой звали.

— То-то Праскуткой! Пускаете вы их сюда на свой срам, а на их погибель. Вот что! А тебя-то как зовут?

— Меня-то?

— Да, тебя-то!

— Дворник! Ты дворник? — перебил мужиков ответ

некоторый юркий барин с горделиво-холуйским выражением в лице.— Куда тут переехала недавно благородная девица одна, Адельфиной Лукьяновной зовут?

— Был Петр Иванов,— продолжал мужик прежний разговор.

— Так и есть! Дочь твоя, Петр Иванович, у нас в этом самом доме живет; только жаль мне тебя, а помочь нечем. Такой она теперь барыней сделалась — на все руки! — жалел дворник бывшего некогда Петра Иванова, не обращая внимания на юркую личность.— Придется тебе ее, дружок, знатно за волосы отхватать.

— Что же ты, скотина, не отвечаешь? — вскрикнул барин.— С ним благородный человек разговаривает, а он все к своему серому волку морду гнет. Успеете еще рожи-то друг другу в харчевне расколотить.

— Виноват, ваше высокоблагородие! — спохватился дворник, в момент выхваченный этим окриком из-под занятного впечатления, навеянного на него разговором о пропащей Петровой дочери.— Вон по тому крыльцу извольте идти в седьмой номер. Там вы эту барыню сразу отыщете.

— Ведь кричит тоже! — бурлил привратник вслед уходящему сердитому господину.— Подумаешь, что заправский барин к заправской барыне пришел в гости, и, подумавши, испужаешься. А как знаешь эти порядки, ничего-то ты не боишься, потому ежели тебе самое мудреное немецкое имя скажут, ты уж и знаешь, что врут... Твоя дочь-то тоже теперь по-немецкому назвалась — и не выговоришь. Прокурат здесь народ, Петр Иванович! Все это он нога в ногу с господами норовит, отчего и гибнет, особенно женский пол; потому стрекулятников этих в столицыи пропасть. Всякую они деревенскую девку, самую степенную, беспременно с пути собьют. Хитры на эти дела бездомовники проклятые!

— Били бы подюжее их! — исхитрился посоветовать дядя Петр.— У нас по деревням таких-то чем ни попадя колотят. Застанут у какой, оглобля под руку попадется — оглоблей бьют, топор — топором... Злы мужики насчет эфтого...

— Н-ну, здесь так-то нельзя; здесь порядки не те. В полицию, говорят, представляй. Там, говорят, на всякое дело закон прописан. А все же я тебе советую с дочерью своим судом лучше расправиться; по судам-то не

ходи, потому, вижу я, простоват ты — обчешут. Возьми, говорю, за косы-то ее да по зубам хорошенько, чтоб она отца с матерью не срамила.

— За этим не постоим, золотой! Известно, родители. Вдаришь, как не вдарить... Так и батюшка с матушкой (пошли им, господи, царство небесное!) с детками расправляться учили...

И, перекрестившись при воспоминании о покойниках батюшке с матушкой, дядя Петр отправился к дочери.

Но и крест, разгоняющий адские полчища, не разогнал бесов большого города, которые в беспрестанной и крикливой тревоге возились в доме, занимаемом *комнатами снебилью,* и вне его. Человеческие радость и горе отовсюду или тихим, усталым шагом пешехода ползли в эти комнаты, или въезжали под их крыльцо на лихачовских рысаках, от бойкого скока которых колебался весь дом и жалобно дребезжали стекла в рассохшихся рамах. И в то время, когда дядя Петр расправлялся с своей непутевой дочерью, в подвалы и в нижние этажи к мастеровым забирались многоразличные личности и торопливыми голосами людей, безотлагательно куда-то поспешающих, громко спрашивали:

— Послушайте, скажите, пожалуйста, где живет студент Клокачов?

Немец-слесарь, которому был предложен этот вопрос и который с утра выслушал уже таких вопросов бесчисленное количество, на минуту прекратил визжание железа, опиливаемого английским терпугом, с досадой бросил его на верстак и, злобно выпучивши на гостя слезливые глаза, крикнул:

— Я разве вам дворник? Чтобы черт побрал все! — И при этом он быстро заменил сюртуком фланелевый халат и ушел в биргалль [1].

— Где здесь отдаются комнаты? — переспросили несчастливца уже на дворе, и натурально, что несчастливец ускорил шаги и ответил следующее:

— Здесь ни одной нет комнаты! У черта в аду много бывает комнат,— д-да!..

— Эй! мейн гер! — кричит из окна утекающему немцу прапорщик Бжебжицкий.— Подите сюда, пожалуйста. Дело есть.

Немец с видимою неохотой возвращается.

[1] Пивная (от *нем.* Bierhall).

— Почтенный бюргер! — говорит ему Бжебжицкий,— вы непременно идете пить пиво; захватите и меня с собой. Больше сего я вам ничего сообщить не имею.

Несколько приятельских лиц с хохотом показываются в окнах прапорщичьей квартиры и крайне любопытствуют проследить ту злость, с которой немец смотрел некоторое время на их шутливого товарища.

Благообразный мужчина с дамой, одетой в щегольской бурнус, останавливается против офицерских окон и спрашивает:

— Позвольте узнать, милостивый государь, где здесь отдаются меблированные комнаты?

— А вот извольте идти в это крыльцо, во второй этаж. Позвоните и спросите съемщика Ивана Медвежатникова,— грациозным жестом указал Бжебжицкий на крыльцо одного вечно занятого учителя гимназии, служившего всегдашнею потехой для целого дома.

Скоро компания, собравшаяся у Бжебжицкого, имела наслаждение видеть, как мученик-учитель выбежал на двор в туфлях и шлафоре, таща за руку благообразного мужчину, дама которого стремительно утекала за ворота.

— Вы разве не видали этого? — горячился учитель, показывая своей жертве на билет, приклеенный на двери в его ученую берлогу. На билете значилось:

«Здесь *не* отдаются комнаты с мебелью, а отдаются у Татьяны. Вход к ней из ворот направо, по второй лестнице, в третий этаж». Изречение это было переведено на французский и немецкий языки.

— Я не понимаю, милостивый государь, где у вас были глаза,— кричит учитель,— когда вы шли ко мне!

— Извините, ради бога! Меня послали сюда, сказали, что у господина Медвежатникова...

— Какой там черт Медвежатников? Это вон всё те шалопаи потешаются...

— Профессор! Профессор! — кричал с хохотом Бжебжицкий,— не сердитесь. Муки эти на том свете за ваши ученые грехи вам зачтутся.

— Шаромыга! — отвечал, в свою очередь, профессор, грозя кулаком своему врагу.

— Ругаются! — доложил учителю подошедший к нему в это время лакей.— Ужасти как ругаются! Сказали, чтоб я в другой раз и приходить не отважился. И тебя, говорят, из окна вон вышвырнем.

— Как же они ругаются?

— Сказать не смею-с; только просто ругаются ругательски! Говорят, ежели он еще раз пришлет, спустимся мы к нему в квартиру и изобьем его.

— Ступай в квартал! Там так все и объяви, от моего имени.

А из открытого окна каморки, занимаемой благородною девицей Адельфиной, на весь квартал разливалась разухабистая «барыня» на двух скрипках и на гитаре, сопровождаемая молодецкими выкриками и как есть демонским трепаком.

— Вали гуще! — кто-то пьяный орал во всю грудь.— Что на них, на чертей, глядеть-то! За то деньги платим. Мы тебе покажем, как к нам лакея присылать с наставлениями,— крикнула какая-то рожа, высунувшись из окна.

— Краул! Краул! — кричала мансарда совершенно по-женски. И вслед за тем та же мансарда, переменивши тон, приговаривала по-мужски: — Я тебе, шельма, дам, как кофе ходить распивать к господам в номера.

— Батюшки! Что же это такое? — обливаясь горькими слезами, спрашивал дядя Петр Иваныч, выходя из *комнат снебилью.*— Родная дочь на отца руку накладывает, а?

— Ишь, музлан, туда же, учить лезет! — щебетала вслед ему Прасковья Петровна, прощелыжничеством большого города нареченная Амалией Густавовной.— Не учил тогда, когда поперек лавки укладывалась,— теперь уж не выучишь: теперь уж мы вдоль лавки-то в пору только укладываемся... Так-то! Увидишь своих, поклонись нашим; а то, видите, кварталом вздумал стращать, ежели не остепенюсь!..

— Вот она, Русь-то, разгулялась! — хохотал Бжебжицкий.— Катайте, катайте его, Амалия Густавовна, а то он, пожалуй, хвастаться будет, что он тут нам, городским, страху задал.

— Я ему задам страху! Не на тех напал страху-то задавать!

— Вот уж это, девушка, напрасно ты так-то поговариваешь! — вступилась за дядю Петра старушонка одна, с чулком в руках.— Он тебе родитель...

— Молчи, старая дура! — прикрикнула на нее рус-

ская немка.— Почем ты знаешь, может, я ему родитель-то?..

Уселась старуха после этого окрика на дрова на самую солнечную припеку и, под визг мастерового железа, под гвалт *комнат снебилью,* под грохот экипажей и вообще под этот несмолкаемый стон столичной суеты, зашептала нескончаемую рацею о прошлых временах и о прошлых людях.

— Была сама такою-то! — говорила старуха, покачивая головой и побрякивая вязальными спицами.— Много соблазну здесь для нашей сестры: устоять никак невозможно; а все же, бывало, когда отец али мать наедет, примешься, бывало, плакать; примешься на долю свою стыдную жаловаться и скорбеть... А ведь в нынешних стыда-то нет никакого. Ох, нет никакого стыда в нынешних людях!.. Срам!.. Все равно как дикие звери стали! Ни в бога веры, ни любови к людям!..

— Ваше благородие! Повестка к вам от господина квартального поручика,— пробасил Бжебжицкому усатый полицейский вестовой.— Извольте завтрашний день к десяти часам в контору пожаловать.

— Это зачем?

— А вот тут в повестке все аккуратно прописано.

— Дай сюда! — И Бжебжицкий стал читать: — «Сим приглашаю... по делу якобы о скандале, произведенном вами в квартире учителя, и проч. Также по жалобе солдатской дочери Афимьи»... Черт знает, что такое! За все, про все ныне в квартал зовут. Любезный! Скажи поручику, что, мол, прапорщик лежит на одре. Слышишь? Так и скажи.

— Слушаю-с! Счастливо оставаться, ваше благородие!

— Погоди-ка. Не знаешь ли жида какого-нибудь: денег бы мне у него занять под сохранную расписку.

— Не могу знать-с, ваше благородие! А ежели теперича серебро, золото али бы что из платья из хорошего, так мы сами иногда верным людям даем.

— Дурак! Я тебе сам дам под золото да под серебро, даром что ты неверный человек...

— Что это за проказник такой этот барин! — смеялась Татьяна из кухни.— На всякое слово у него завсегда ответ есть. Ежели бы он деньги платил как следует да не дрался,— цены не было бы этому барину!..

V
ГЛАВА, ИМЕВШАЯ БЫЛО НАЧЕРТИТЬ ЛЕГКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЛИЦ, СОГНИВАЮЩИХ В КОМНАТАХ СНЕБИЛЬЮ

Я тебя постараюсь как можно тише окрикнуть, бедный народ! Я спою про тебя, вечно ноющая, вечно голодающая птица *комнат снебилью*, настолько незлобивую песню, насколько незлобивых жизненных тем набралась в этих клетках моя собственная озлобленная голова.

О, мир вам, люди покоробленные, а чаще, как дуга, согнутые всесильною нуждой! Мир вашим снам, озлобленно тревожным, ногам вашим, вечно снующим и ничего не выхаживающим, всегдашней злобе вашей желаю я скорого угомона!..

Ибо злоба ваша — смерть ваша. А как тяжело умирать одному в меблированных вертепах — одному, с одной только злостью своей даже и на этот день, который так светло пробивается в комнату сквозь грязно-желтую коленкоровую штору, на этот бойкий гул столичной жизни, неумолчно гудящий за стенами!

Предсмертному крику гаснущей, медленно истомленной жизни в кухонном углу где-то безучастно и отвратительно-крикливо вторит одна только Лукерья бессмысленно-фабричною песней про какого-то всадника, который будто бы

Кор-ми-ит ко-о-ня сы-ы-та-а,
Сам ест сухари.

Песня закончилась, наконец, к общей потехе населения комнат, зазвонистою кучерскою трелью, а с нею вместе закончилась и жизнь, желавшая сейчас одного счастья — взглянуть на человеческое лицо,— закончилась скрежетом зубов, хрипом надсаженной груди и желтою пеной на посиневших губах. Исковерканная тою безобразно-ужасающей печатью, которую смерть, в довершение эффекта, кладет на изможденные тела бедняков, жизнь эта сейчас же, вместо последней молитвы, накликает на себя — тем только, что умерла она, что понесла отдать свое несносное бремя к Зовущему всех труждающихся и обремененных успокоиться в нем — целый поток бессмысленных ругательств и проклятий.

Пришла Татьяна, неумытая, заспанная, растрепан-

ная; взяла она эту повисшую, весь свой короткий, но трудный век старавшуюся быть честною, руку и сказала:

— А околел ведь... Лукерья! Беги скорее в фартал. Ах ты, голь перекатная! — добавила съемщица, поматывая головой,— кто теперича тебя, голь, в сырую землю схоронит?

Такие картины не настолько редки у нас, чтоб я не мог сказать про них правдивого слова, и сказал бы, если бы не боялся упреков в лиризме, без которого я решительно не могу ни поклоняться светлому лицу природы — единственному совершенству на всей земле, ни скорбеть о людской погибели, а потому пусть пойдет другая глава.

VI

НАРУЖНЫЙ ВИД ДОМА С МЕБЛИРОВАННЫМИ КОМНАТАМИ

Трудно чему-нибудь быть своеобразно грязнее столичных домов, заваленных разными русскими мастерскими. Выстроенные спекуляцией на манер всех вообще столичных громад, то есть на манер большого квадратного сундука, они до жильцов некоторое, весьма недолгое время ничем не отличаются от своих соседей, составляющих вместе с ними длинную улицу. Но вот вниз переехало *Экипажное заведение Трифона Рыкова,* рядом с ним в двухкомнатной квартире поселился сапожный мастер Самсон Соловьев, в бельэтаже какая-то толстая баба с страшным рубцом на лбу, словно бы от сабельного удара, и с шестью молоденькими горничными; в подвальной квартире, через двор,— извозчичий содержатель и какие-то старые отставные солдаты, вечно дерущиеся на дворе и кричащие караул; третий, самый верхний, московский этаж гостеприимно принял в свои невыразимо воняющие приюты орду *комнат снебилью.* И вот через какие-нибудь полгода ярко набеленные стены нового дома покрываются копотью; штукатурка, хотя умышленно ее никто и никогда не ломал, обваливается и кажет по местам красные кирпичные раны; окна же, особенно в квартирах у извозчиков и отставных солдат, вместо стекол залепливаются синей сахарною бумагой; в *комнатах снебилью* и у толстой бабы с многочисленными горничными заставляются

подушками в пестрых ситцевых наволочках,— и вообще весь дом, видимо новый и крепкий, сразу как будто проживает пятьдесят лет, и кажется, что какая-то враждебная сила беспрестанно раскачивает его, ломит и валит. Печальными такими и расслабленными замарашками смотрят эти дома, как-то особенно скоро врастают в землю их фундаменты и скособочиваются, точно бы какой человек слабый, голова которого скривилась набок от первой жизненной тукманки. Глядя на бессмысленную грусть и тупую озадаченность, постоянно рисующиеся на лице такого человека, непременно подумаешь, что вот сейчас подкосятся его дрожащие ноги, что из широко выпученных, но тусклых глаз польются обильные слезы, а отвислые губы безотвязно запросят пощады...

Вот довольно схожий портрет дома, в котором поселилась Татьяна с своими жильцами. При первом взгляде на его каменное, неподвижное лицо всякий легко убеждался, что здесь поселилась бедность, в большей части случаев поневоле неразборчивая на те средства, при помощи которых она с жалобами и слезами доволакивается до темной могилы, где навсегда укроются ее грязные отрепья и успокоится необходимо-грязная и темная жизнь.

Но не веселее наружности описанных домов и внутренность их, с теми обыкновенными историями про жизнь своих жильцов, которые будут, пожалуй, гораздо печальнее унылого лица дома, приютившего в стенах своих всякого рода несчастье. Слушайте же эти истории — и тогда для вас, может быть, очень сбыточною покажется та мысль, что оттого печален столичный дом, заселенный бездомным народом, что даже бездушному камню нельзя не скорбеть при виде разнообразных мук этих людей, которые, вследствие безалаберно сложившейся жизни, отовсюду проливным дождем сыплются на их бездольные головы.

VII

КОРИДОР КОМНАТ И ЕГО ЖИЛЬЦЫ

И рад бы сказать, что по этой залитой помоями, расшатанной и без церемонии завешанной разным бельем лестнице, которая вела в Татьянины *комнаты снебилью,*

можно ходить людям,— но для этого нужно быть самым наглым лжецом. Хозяин знал, для кого он строил свой дом, и потому предоставил владимирским плотникам полную волю гондобить его, как господь бог положит им на сердце. И в то время, когда плотники орудовали, капитальная борода, изредка наезжая к ним с своим хозяйским глазом, говорила:

— Ничего, не взыщут! Место здесь такое, для всякой швали удобное. Лет через пяток, господь ежели благословит, окупится домишко, а тогда его можно будет подрумянить маненько, подпереть, пообмазать — и побоку. Дураков тоже много; а не найдется охотников, застраховать можно... История тоже известная...

Про длинный коридор комнат тоже не могу сказать ничего особенно приятного. Темен он был, как ад, а кобель Бжебжицкого и соседство кухни, пропитанной своеобразным запахом щей и Лукерьиной постели, покрытой ее шубой из кислой овчины, сделали его до того вонючим, что свежий человек ни под каким видом не выносил его духоты более пяти минут. Однако же были люди, которые сжились с этою темнотой и вонью до полного равнодушия к ним, и мое собственное мнение в этом случае таково, что всякий человек, конечно не без некоторых усилий, может скоро привыкнуть к этим вещам, если у него хватит денег на покупку какого-нибудь кофеишка с хлебом и не хватит на бутылку ждановской жидкости, могущей очистить его апартаменты от заразительных миазмов, так вредно действующих на человеческие нервы вообще.

Привыкли, говорю, люди к удобствам своего коридора так, что и слезы у них есть, когда износятся башмачонки, поистратятся в безработье припасенные про черный день деньжишки, и смех тоже довольно легко вылетает из их грудей, когда каким-нибудь свободным праздничным днем, после рюмочки и пшеничного пирога, придется вспомнить с какою-нибудь давнишней подругой про былые годы, когда жили при местах, у хороших хозяев, когда были молоды лица и беззаботны души...

Все в этом коридоре одни только женщины жили. Сосчитать, сколько их там именно, узнать, что́ они платят за квартиру, чем живут,— не было никакой возможности. Видели только более или менее состоятельные жильцы,

жившие в комнатах, что кишит что-то в коридоре безразличное и живое,— раскатываются в нем какие-то переменные волны, а какие именно — не знали и, конечно, не хотели знать, потому что не нужно было. Волны эти обыкновенно вливались в Татьянин коридор таким образом: живет-живет, бывало, какая-нибудь горемычная в почетных экономках у богатого холостяка так долго, что оба они в этом сожительстве половину зубов потеряют, разнообразя свою жизнь редким, а может быть, и частым погрызыванием друг друга, и поседеть тоже оба успеют. Привыкнет экономка к достатку, к хорошей комнате, к сладкой пище — и вдруг старичина нежданно-негаданно протягивает, как говорится, резвые ноги. Дальние родные великодушно подарили экономке старый салоп на беличьих лапках, да сама она успела фунтик-другой серебреца столового ухватить — и переехала к Татьяне в самую дешевую комнату.

— По одежке протягивай ножки! — говорила вдова, размещаясь в своем новом жилье. Надеяться теперь не на кого, а между тем привыкшая к куску губа нет-нет да и спросит либо супца с хорошей, настоящею, как в старину бывало, говядинкой, либо чайку внакладочку, либо винца красненького, которого до тошноты захотелось бабенке, с утра до вечера молчаливо размышляющей о привольной жизни при покойнике,— и вот серебро, ложка за ложкой, безвозвратно улетает в укладистые сундуки соседки-еврейки, а в конце концов случается обыкновенно то, что Татьяна, разнюхавшая, что жилица прогорела, благоразумно выпроваживает ее на жительство в коридор.

Часто также приходили к Татьяне молодые знакомые девицы с такими разговорами:

— Что теперь делать мне, милая Татьяна Ликсеевна? Ума не приложу.

— Что такое, что такое у тебя случилось? — спрашивает Татьяна Ликсеевна встревоженную девицу.

— Да что? Обобрал меня до нитки варвар-то мой. Уж он меня бил-бил, обобрамши-то, и говорит: теперь извольте идти, мамзель, куда вам угодно. Смеется, разбойник! Косу-то мне, злодей, всю повыдергал. Хочу в фартал идти; знакомые у меня там есть: защитят, может...

— Да за что же это он тебя? — осведомляется любо-

пытная Татьяна.— Ведь вы допрежь дружно живали.

— Да за что? — откровенничает девица.— Ни сном, ни духом не знаю за что... Точно что по лету я как-то раза с три езжала в лагери к брату двоюродному (писарем при самом генерале вот уж сколько лет служит). Ему и помстилось; а я разве таковская?.. Сама небось знаешь, как я на своем слове завсегда стою. И довольно даже того, что я с ним который год живу, а он ревновать вздумал!..

— Что говорить! Что говорить! Экой безобразник какой! А я все говорю про него: вот, мол, смиренник-то полюбовник Грунин,— а он поди-ка какой! Как же ты теперь? Где жить-то покелича станешь?

— Да то-то не знаю. Ты мне, пожалуйста, каморочку отведи какую-нибудь, покуда с делами не справлюсь.

— Каморки-то у меня, девушка, нет теперь. Вчерась последнюю студент занял какой-то. Как бы знала, ни за что бы не отдала. Так уж и пустила, чтобы только не пустовала. Ты вот в коридорчике покелича на моем сундуке поместись. Чудесно тут нам будет с тобой. Без переводу тут у нас чай с кофеями пойдут.

Вследствие такого дружеского предложения молодая девица поселяется в коридоре, и долго ее рассказы про вырванную варваром косу и про двоюродного брата, генеральского писаря, развлекают однообразную жизнь темного жилья. Живет девица в коридоре и высматривает из его непроглядной темноты другого варвара, который бы вырвал ей вновь выращенную косу; точно так же и сожительницы ее, кухарки и горничные, как они про себя говорят — «без местов», живут так и высматривают себе местечки, с которых, по недолгом житии, снова погонят их с их унылым скарбом в Татьянины комнаты, где по случаю таких событий раздадутся, конечно, новые речи про новых хозяев, про новых людей, посещавших их, которые, по рассказам этого белорабочего люда, все будто бы без исключения мошенники, жидоморы, идолы, черти, подхалимы и т. д.

Отчего это принято называть такие кухарочные определения глупыми сплетнями, не стоящими внимания порядочного человека, а не истиной? Этот вопрос случайно зародился в моей голове, и, конечно, когда-нибудь так же случайно я разрешу его; а теперь скажу, что из всей этой безразличной коридорной толпы рельефнее даже самой

Татьяны выступал некоторый субъект, известный в *комнатах снебилью* под именем Александрушки. Еще в то время, когда Татьяна только что осматривала квартиру, занимаемую ею в настоящую минуту, Александрушка сидела уже в коридоре у двери и вязала длинный шерстяной чулок, сморщенная и серьезная до полной неподвижности, в ситцевом линючем платье, с медными очками на большом носу, изображая собой как бы какого заколдованного сторожа, приставленного сторожить пустую квартиру.

От квартиры, в то время только что отделанной, несло сырым лесом, клеем и масляными красками. Нога человека не была еще в ней после печника, который, закончивши свою работу порядочною выпиванцией с одной соседней кухаркой, ушел и не возвращался даже и тогда, когда хозяин искал его для поправки печей, дымивших, как жерло ада, и потому дворник, рекомендовавший Татьяне прелести фатеры, по его словам, «за первый сорт», был справедливо удивлен этою старухой, безмолвно позвякивавшей спицами и неразборчиво шептавшей что-то своими тонкими, высохшими губами.

— Бабушка! Кто это тебя сюда пустил? — спросил дворник старуху; но старуха уперла в него своими светлыми очами, помахала головой, как будто удивляясь тому, что дворник не знает человека, устроившего ее в коридоре, и только.— Что же ты не говоришь? Ай немая? Говори! Хозяин, што ли, пустил? — расталкивал уже дворник молчаливое существо.

— Ты вот что, дворник,— прошептала наконец таинственная незнакомка,— ты не толкайся. Я губернская секретарша!

— Полно балы-то точить! — сердился дворник.— Сказывай: по чьему ты приказу здесь поселилась?

— И *ты* не смей мне говорить, мужлан! Я сказала тебе, кто я такая.— И барыня при этих словах энергично оттолкнула от себя заскорузлую дворницкую руку.

— А, так ты такая-то! Ты толкаться еще в чужой фатере вздумала! Сказывай: кто тебе приказал жить здесь?

— Бог! — удовлетворила наконец любопытного дворника губернская секретарша.

— Что ты с ней будешь делать? — спросил дворник

уже у Татьяны с какою-то снисходительною полуулыбкой.— Надо, верно, в фартал идти объявить.

Губернская секретарша не обратила ни малейшего внимания на роковое слово «фартал» и по-прежнему продолжала звякать спицами, мотать головой и шептать что-то — должно быть, про свои одному богу только известные дела.

Квартальный пришел — и добился столько же, сколько и дворник.

— Как вы сюда попали? — спрашивал у старухи надзиратель.

— А так и попала...— отвечала она с видимым неудовольствием.— Как попадают-то, разве не знаешь?

— Говорите, кто вы такие? Давайте ваши документы.

— Молод еще документы-то спрашивать! Начальник какой выискался! Молоко-то на губах обсохло ли?

Доложили об этом происшествии хозяину. Тот пришел и долго стоял перед старухой, поглаживая бороду в великой задумчивости и по временам осклабляясь. Самовольная постоялка тоже ничего не говорила и даже ни разу не взглянула на него, сосредоточенно уткнувшись в свой чулок. Наконец хозяин сказал дворнику:

— Бог с *ей,* Трофим, не трожь ее. Человек, видно, не простой, потому большим сурьезом и молчальностью от бога награжон...

— А как же, хозяин,— вступилась было Татьяна,— мне-то с ней быть? Ведь уж платежа от ней не добьешься, а я бы на ее место всегда нашла жилицу с капиталом...

Тут хозяин почти так же серьезно, как и Александрушка, сморщил свои черные брови и внушительно заговорил:

— Мне,— говорит,— милая ты женщина, пребывание в моем доме прозорливого человека не в пример твоей платы дороже. Может, она нечестия твоего ради наслана вон откуда...— и при этом хозяин торжественно указал на потолок.— Так-то. Потому так, милая женщина, рассуждаю я про тебя, что допрежь тебя ни в одном моем доме таких историев никогда не было, хотя точно-что благочестивые люди помногу и подолгу у меня пребывают... Опять же и солдатка ты: всякому греху, значит, ты больше нашего брата причастна. Следовательно, для од-

ной тебя *энто* устроено, и ты должна все *эфто* понимать и ценить...

— Так вы, ваше степенство, скинули бы мне за нее хоть полтинничек в месяц за фатеру. Вы люди богатые.

— Это так, достаток имеем; только с фатеры единой даже копейки скостить не могу, потому так уже положено ходить ей по тридцати серебром; щепочек вон, коли хочешь, что от построек осталось, возьми охапочку-другую. Просим прощенья, милая женщина! Жить вам, да поживать, да добра наживать! — закончила борода, отправляясь восвояси.

— Жидомор, черт!..— шептала вслед ему Татьяна; после чего губернская секретарша безвозбранно поселилась в *комнатах снебилью,* оплачивая свое завоеванное помещение и кусок хлеба своим неутомимым рвением служить даже слуге всех — Лукерье — и готовностью во всякое время дня и ночи сердито побранить какого-нибудь подкутившего жильца, утешить Татьяну в каком-нибудь несчастье, истолковать ей мудреный сон, виденный в прошлую ночь, и проч.

Терпеливо и ни минуту не меняя своего сердитого лица, исполняет заштатная чиновница свои многочисленные роли, так что в непродолжительном времени ее полоумная манера неизменно и во всем угождать всякому человеку, но угождать как бы из-под палки, что называется, «срыву», сделала ее тем не менее любимицей и темного коридора, и светлых комнат, так что стала барыня совершенно необходимою вещью в обоих местах, в одно слово нареченною и благородными комнатными жильцами, и коридорными плебейками ласкающим именем «чиновницы Александрушки».

Без таких Александрушек в Москве обходится редкий дом. Это чрезвычайно своеобразное русское горе, гнездящееся в различных Тулах, Нижних и прочих жирных городах, которые приучают его с целью потешиться им на досуге тою потехой, которую доставляют им бодливые, но не имеющие рог коровы... Характеризуется это горе своими земляками и, так сказать, пристанодержателями знаменательным словом: *тронумшись маненько;* а я лично думаю, что оно — *обозлимшись,* и *обозлимшись не маненечко, а очинно.* По последним штрихам, которыми я имею закончить Александрушку, весьма легко рассудить,

каким именем лучше назвать коренную жилицу *комнат снебилью.*

Во весь голос, без всякой помехи, задувает, бывало, Лукерья на кухне, примерно хоть про то, как некто «вечор был на почтовыем дворе» и как этот некто на том дворе на почтовом «получил от девицы письмо». Раздолье полное звонкому бабьему голосу, потому что день выгнал всех комнатных жильцов на добычу; коридорный люд тоже разбрелся кое-куда по своим мизерным делишкам,— и во всем этом пустынном сарае осталась только домоседничать Лукерьина песня да Александрушка.

В виде какой-то толстой, пегой змеи ворочается на коленях у убогой чиновницы ее всегдашний, непокидаемый друг — шерстяной чулок, тихо звякают и шелестят ее вязальные спицы, а сама она, не развлекаемая многоразличными комиссиями, которыми со всех сторон засыпали ее жильцы комнатные и коридорные, когда бывали дома, долгое время, по своему обыкновению, молчаливо и неподвижно сидит около самой двери и как будто старается подслушать, о чем именно шепчутся с этим неповоротливым чулком ее тонкие проворные спицы. Сидит, говорю, и ни слова; только головою, поистине обутою в какой-то чепец с уродливыми фалбарами, из стороны в сторону раскачивает. А между тем по лицу ее проходят в эти минуты глубокие морщины, налегают какие-то мрачные, выражающие крайнее страдание тени, так что Лукерья, случайно прошедши мимо Александрушки, непременно произносит:

— Ну, начинается комедь. Подступило!

И действительно, комедь начинается.

— Что такое? — сердито и громко спрашивает Александрушка у своих спиц.— Мало ли по белу свету всяких злых дел делается, мало ли разной неправды по земле ходит? Что же мне за дело? Батюшка с матушкой учили: не осуждай. Ну и не буду, да! Молчишь — не грешишь, и спишь — не грешишь.

Эти растолковывания всегда перекрикивали горластую Лукерьину песню. Полная тишина воцарялась тогда в *комнатах снебилью;* только один кот тихо мурлыкал, ластясь к ногам Александрушки, да сама Лукерья, опершись о косяк кухонной двери, пристально смотрела на человека с загогулиной в голове и по временам с видимым, впрочем, ужасом спрашивала:

— А ну-ка, Александрушка, про мою судьбу что-нибудь расскажи!

— Что же такое, что у нее каменный дом? — отвечала больная при вопросе Лукерьи о ее судьбе.— Кабы тогда я глупа не была, он бы и теперь, дом-то, мой был. Да! Я ей тогда сказала: «Сестрица! Ты замуж хочешь, за богатого хочешь? Выходи — вот тебе мой дом. Тебя с ним богатый возьмет, только ты меня не покинь, когда мне что понадобится». Вот она и не покинула... Ха-ха-ха-ха! А, сестра! Ах, черти! Грех, грех ругаться-то, Александра Семеновна! Перекрестись, милая.

— Ишь ведь, как чешет она правду-то матку! — ужасалась Лукерья, относя все эти слова к своей особе.— Как она самое-то нутро мое до тонкости разбирает — страсть! Брех-баба я, грешница, каюсь! И за дело и без дела со всяким грызться готова... Теперь сокращусь, попристальней стану богу молиться. Только к чему же она это про каменный дом заводила?..

— А был бы, был бы дом и теперь мой! — все с бо́льшим и бо́льшим неудовольствием толковала Александрушка.— А может бы, его пожаром спалило, сквозь землю бы провалился или бы как-нибудь меня, дуру, им чужие добрые люди надули. Все может. Много, я говорю, по белу свету всякого несчастья расхаживает,— ох, как много! И несчастья и неправды... Я вот теперь испокон веку всем помогала да угождала, а меня все вон выгнали, лицо-то мне все заплевали. А за что? Ну-ка, скажи, за что? — усиленно спрашивает больная, воззрясь в свой чулок и спицы.

— А уж это так, Александра Семеновна! — жалобно ответила ей Лукерья, опять-таки воображая, что это угодный господу человек про ее *жисть* обиняком разговаривает.— Это уж, Александра Семеновна, моя должность такая разнесчастная. Жалованья-то мало, а наругательств всяких вволю на этих местах напринимаешься...

— Где бишь у меня сын? — вдруг спросила старуха и при этом вопросе даже отняла глаза от чулка и подняла их кверху.— Какой это у меня сын был, никак я не вспомню? Что это он у меня, словно бы офицер был или бы девицей он был? Нет, это дочь-девица у меня была; а он офицер был, точно! Добрый был, красивый, верхом на коне, я помню, езжал он, денег давал мне...

Тут окончательно уже пришла в себя Александрушка

при воспоминании о сыне и хриплым голосом на всю комнату заплакала:

— Ви-и-кторушка! Го-о-лубчик мой! Все-то меня без тебя бьют, все обижают!..

— Ну, уж теперь про себя пошла,— проговорила Лукерья, уходя в кухню.— Жаль, раньше ты не пришел: такие тут сейчас Александрушка истории городила — забава! Теперь опомнилась, об сыне голосить принялась,— рекомендовала кухарка Александрушкину печаль одному знакомому солдатику, который пришел потолковать с ней безделицу до тех пор, пока хозяйка с рынка не приволокется (черт ее облупи совсем, толстую шельму! Всегда, как увидит, орет: зачем, говорит, крупа, к моей кухарке шатаешься? У меня, говорит, благородные господа живут).

— Черти вы, идолы! — орала Татьяна, до красноты упаренная полупудовою порцией говядины, которую она притащила с рынка.— Кричала-кричала, чтобы двери отворили,— хоть бы собака какая бешеная отозвалась. Ну, эта сумасшедшая заговорится с собой, не слышит; а ты-то здесь каких чертей собирала? — спрашивала сердитая съемщица у Лукерьи.

— Здравия желаю, Татьяна Ликсеевна! — ласково раскланивался солдат, пряча за обшлаг шинели только что закуренную трубчонку.

— Надымил уж тут табачищем-то своим! — взъелась на него Татьяна.— Ведь с него собаки чихают, а ты господские хоромы им сквернишь. И зачем только ты, крупа, к моей кухарке шатаешься? — повторила она свою обыкновенную фразу, на которую солдат никогда не мог отвечать сколько-нибудь удовлетворительно.— Ох, делать-то вам нечего!.. Ужо тебя барин какой-нибудь протолкает отсюда.

Не выдержал наконец солдатик нападков съемщицы и заговорил:

— Хоть я теперича, Татьяна Ликсеевна, и солдат, только никому обижать себя не позволю, потому не та наша линия... Так-то! А что теперь касательно, что я к Лукерье пришел, она мне в сродстве, и вы ей сродников своих запретить впускать не имеете права, потому не к вам я пришел..

Энергичнее этой оппозиции, выставленной солдатиком Татьяниной руготне, никогда еще не видывал темный

коридор, хотя надо правду сказать, точно так же он никогда и не слыхал более зычного окрика, который задала в это время Татьяна солдату за эту оппозицию. Остальной коридорный народ был до того бесцветен и снослив, что хозяйке на него и покричать-то как следует не удавалось, потому что все ее самые татарские желания, без малейшего даже помысла о противоречии, в ту же минуту исполнялись этим народом.

— Смолчи уж лучше,— советовали друг другу коридорные, когда кто-нибудь из них осмеливался возражать лютующей бабе.— Разозлится, на мороз выкинет, тебе же тогда хуже будет.

Немножко не таковы были жильцы комнатные.

VIII

ЖИЛЬЦЫ КОМНАТНЫЕ, ИЛИ ГОСПОДА

Описанный коридор разделял *комнаты снебилью* на две половины, в каждой по четыре каморки, величаемых Татьяною громким именем номеров. Одна половина своими окнами была обращена на улицу, другая на двор. В одной из лучших комнат, смотревшей на улицу, в качестве человека, происходившего от старинных польских магнатов, жил прапорщик Бжебжицкий.

— Да! Я таки привык к некоторому комфорту,— говаривал сей обрусевший сармат, закладывая зимой пальто для того примерно, чтобы купить ничтожный коврик, по двугривенному за аршин, к изодранному дивану, на котором он спал.

— В чем же вы теперь ходить будете? — спросит кто-нибудь у прапорщика в то время, когда он производит свою спекуляцию.

— Есть мне время рассчитывать, как и в чем ходить я буду,— обыкновенно отвечал он.— Подите спросите у Александрушки, в чем она будет ходить. В том же самом и я ходить буду. Рекомендую ее вам как самый лучший образец для всевозможных подражаний,— прибавлял Бжебжицкий, когда у него заходил с кем-нибудь из сожителей спор о каком-нибудь трудном вопросе жизни.

— А все это меня Москва к таким роскошам приучила,— откровенничал Бжебжицкий с жидом, принимав-

шим у него пальто, в надежде расположить своим добрым обхождением израильтянина к тому, чтоб он взял с него в месяц пять процентов, а не десять, как обыкновенно взимают израильтяне.— То есть ты не поверишь, Барадка,— убаюкивал воин наишельмейшего жида,— такими она меня суммами заваливала, теперь даже и подумать о них грешно. А сама какая была! Ежели я тебе ее портрет покажу, так ты в полное неистовство придешь...

Но жид своими черными бесстрастными глазами в одно и то же время осматривал и прапорщичье пальто, и самого прапорщика до того насмешливо и вместе с тем почтительно, что даже самая окрыленная надежда заставить его что-нибудь вскрикнуть при взгляде на портрет московской купчихи становилась в тупик; однако же Бжебжицкий, как нельзя больше знакомый с этим взглядом, все-таки продолжал:

— Ишааком, Иаковом и Ижраилем клянусь, что ты, Барадка, непременно вскрикнешь: «Пане мой великий! Пане мой, ух какой ясновельмозный! Дайте мне эту купчиху миррой и вином напоить». Так-то, скверная ты тварь, жид ты, христопродавец, анафема! Вот я из-за чего мое пальто закладываю: из-за купчихи собственно, потому что нынешний день предстоит мне случай возобновить с ней прерванное знакомство. Так ты обстоятельство это и чувствуй всем своим носом жидовским.

Затем шла уже Барадкина речь.

— Ах, пане мой! — говорит Барадка.— Как зе вы хоросо так по-насему науцились. Долго, долзно быть, в Полсе вы зыли, много, долзно быть, вы насему брату своих барских весцей прозакладывали...

И все-таки вместо того, чтобы дать прапорщику под его пальто шесть рублей, жид давал ему почему-то десять, а процентов брал только восемь. Таким образом вел прапорщик свои делишки.

Все они у него состояли из закладов и перезакладов и постоянных стремлений ухватить где-нибудь в магазине или лавке, распродающегося вследствие некоторых коммерческих обстоятельств, по неимоверно дешевым ценам,— хватить, говорю, товару какого-нибудь, под заемное письмо, сотняги эдак, канальство, на две, на три и потом бакнуть этот товарец, по крайности, за бумажку со столбиками. В последнее время стремления эти

осуществлялись как-то с каждым днем все реже и реже.

— Чем ближе к гробу,— говаривал Бжебжицкий,— тем как-то несмысленнее делаешься. Ныне нет уж той прозорливости, которая постоянно отличала столь эффектно бунтовавшую юность мою. Или уж народ, то есть что называется массой-то, измошенничался, испрогрессировался, то есть ходишь-ходишь около него с целями добыть от него свои благородные средства — и ничем-то ты его не объедешь. Сама эта масса в нынешние голодные времена каждую минуту диким зверем рычит, потому что запрос на хлеб изо всякого рта здоровый идет, и тишины этой безмятежной, которою добрая старина отличалась, даже и в провинции не найдешь. Д-да-с!

Никогда, даже и в те моменты, когда Бжебжицкий находился на взводе и, следовательно, судя по-общечеловечески, в большем или меньшем расположении к откровенности, нельзя было добиться от него, кто он, откуда появился в столице и чем именно занимается в ней. Рекомендую же я его за прапорщика на том единственно основании, что это было последнее его показание, которому почти никто не верил, потому что за несколько лет назад Бжебжицкого нередко видали в Москве и под голубым околышем, и в аксельбантах ученого офицера, в костюме штатского фешионебля [1] с заливающей всю улицу своим ароматом сигарой во рту, и в жалких отрепьях столичного пролетария — не с папироской даже, а просто-напросто с бумажным крючком, набитым тютюном где-нибудь на Цветном бульваре, или у будки дружелюбно вспоминающим с часовым про красоту родимой саратовской степи, где в одной деревушке у часового, как слышно было из разговоров, проживала старая мать, а у Бжебжицкого в другой, соседней деревушке находилось будто бы имение, отнятое во время его сиротства некоторым старым дядей, отъявленным мерзавцем и шельмой.

Видали, повторяю, люди, как прапорщик, заговаривал, как говорится, зубы бутырям с целью, воскресивши в их памяти родные и весело-зеленые поля и родные же, но черные и печальные избы, получить некоторым образом приглашение войти в теплую будку, обогреться и

---

[1] Аристократ (от *англ.* fashionable).

покалякать; а дальше Бжебжицкий умел уже, как он сам про себя говорил, держать фортуну за хвост,— дальше в будку приходила какая-нибудь Матрена из соседнего дома, вынимала эта Матрена из своих карманов полфунтика сахарку, полтора золотника чаю и становила самовар. Под его приятное шипенье Бжебжицкий заводил нескончаемый рассказ про свою сиротскую, бедственную жизнь, за что, конечно, получал хотя и косвенное вознаграждение в виде этого угостительного чая и мягкого полубелого хлеба, которые так приятно ложатся на начинающий уже мертветь желудок. А ночь между тем — эта темная, с холодным, постоянно моросящим дождем, осенняя ночь — все идет да идет вместе с этим печальным рассказом про непрестанный голод и холод, про необходимость не унывать в такие времена, про разные веселые шутки, которыми, в свою очередь, молодцеватый бедняк отражал нашествие на него грозной нищеты; а простой народ с каждою минутой все внимательнее и внимательнее слушает этот рассказ и все любовнее и любовнее потчует занимательного гостя.

— Вы вот что, ваше благородие,— говорит наконец будочник, окончательно завоеванный барским рассказом,— вы подождите на минуту говорить. Я вот по соседству в кабачок сбегаю, полштофика да селедочки захвачу. Заодно уж. Кстати взгляну, дежурный не идет ли.

— Ах, барин, барин! — задумчиво и печально произносит Матрена, смотря на гостя.— То-то, погляжу я на тебя, горя-то на своем веку много ты нахлебался!

— Вволю хлебнул всего: и горя и радости, мать ты моя! Ведь вот теперь, признаться сказать, не по моей бы губе ваш чай, не привык я пить такого, однако же пью, и сроду, кажется, сласти такой не видал. Вот до чего голоден!

— О, о-хо-хо,— простонала Матрена.— А мы, грешные, все-то завидуем господам, все-то мы думаем, что у них горя-то и в помине нет.

— Как же! Больше вашего еще. Ты не гляди, что они сладко едят да одеваются чисто. Ты вот, например, сошла с места, нет у тебя квартиры, нет денег, так ты в любом месте у своего брата ночевать за Христа ради выпросишься, а барину-то стыдно христарадничать. Вот я которую ночь на улице сплю...

— Барин хороший, да ты ноне-то хошь у моего в буд-

ке переночуй; все же теплее. Отдохнешь, по крайности...

Умел Бжебжицкий толковать со всякого рода бедностью, и она его и он ее до слова понимали.

— Я теперь ничего не боюсь,— говаривал прапорщик,— ко всему привык и у самого даже бедного человека, что бы только ни захотел, все могу выпросить. Опять же и устроился я чудесно: всякое место для меня хорошо, и скверных случайностей не существует.

Говорит это прапорщик, а сам (беззаботный такой!) сидит на своем изорванном диване и болтает ногами. Его апартамент смотрел тогда тоже как-то особенно беззаботно, словно бы это был не человеческий апартамент, а птичье гнездо, оставленное своими первоначальными хозяевами и служащее теперь местом отдыха и ночлега для разных перелетных птиц. Его пустота не страшила собой даже непривычных, посторонних глаз. Три легкие соломенные стула, ломберный стол, за отсутствием надлежащего количества ног прислоненный к стене, этажерка с пылью и гравированное изображение какой-то красноватой и пухлой женщины с надписью: «L'innocence»[1],— бог весть кем и когда повешенное на стену, оклеенную разводистыми обоями,— все это вместе с прапорщиком как будто сейчас же готово было вскочить на никогда не устающие ноги и бежать за благородными жизненными средствами в первую лавку, где, по слухам, удобно было прихватить кое-что по мелочи à bon crédit[2]. Готово все это было, сказываю, без устали бегать по лавкам, по жидкам и по русским ростовщикам и ростовщицам — остепенившимся бабешкам, с целью отыскания у этого люда кредита,— прыгать и весело хохотать, ежели находился таковой кредит, и, не задумываясь, не печалясь, равнодушно расстановиться по прежним местам, ежели борода, так сказать, выметала из лавки прапорщика, а жидки и остепенившиеся бабешки просили у него какого-нибудь ценного залога.

Говоря вообще, из всего того, что обставляло темную жизнь Бжебжицкого, только один черный кобель его был невозмутимо солиден и серьезен, каковое, впрочем, кобелиное качество нисколько не делало прапорщика заботливее, а, напротив, подавало ему нескончаемые поводы к

---

[1] Невинность *(франц.)*.

[2] В долг *(франц.)*.

разным шуткам, которые обыкновенно смешили большею частью нахмуренных жильцов *комнат снебилью*.

— Господа! — часто крикивал Бжебжицкий через стену своим соседям.— Идите ко мне, кто, как говорят хохлы, хочет позакусить трохи. Цампа будет за нас философствовать, а мы, как говорят русские мужики, клюнем безделицу.

Штука эта, когда униженные и оскорбленные соседи Бжебжицкого, вняв его предложению клюнуть, предоставивши философию исключительно на долю Цампы,— по крайней мере в моих глазах,— исполнена глубочайшего интереса. О том, с каким бешеным остервенением предается выпивке физически и нравственно исстрадавшаяся бедность, можно судить по следующему, совершенно справедливому анекдоту. У меня был один приятель, тоже из мира *комнат снебилью,* теперь старик уже,— башка, бывшая некогда при самом Денисе штаб-ротмистром, угорелый пафос которой простерся в былые годы до того, что, раззадоренная однажды лихою песней бессмертного в летописях московских кутил цыгана Илюшки, она бросила ему семьдесят тысяч по тогдашнему счету на ассигнации, а сама осталась в одном раззолоченном мундире, при *светлой сабли* полосе и с пол-аршинными усами...

— Старичина! — спросил я однажды у этой башки, когда мы были с ней в гостях у двух братьев, степных помещиков, приехавших в Москву просадить четыре тысячки рублишек, по нынешним уже счетам — на серебро.— Старичина! — сказал я,— какие бесы помогают тебе вырезывать такие страшные стаканищи?

— А это,— ответил старичище, улыбаясь и покручивая свою сивую растительность,— это,— говорит,— братец ты мой, мне не бесы помогают, а сугубое представление, что завтрашний день на моем столе не только этой благодати не будет, а даже и рюмочки простой кокоревщины...

Вот что мне сказал проерыжничавшийся старичина, и, следовательно, бог с ней, с этой бедностью, когда она обжирается за чужим столом, и даже бог с ней и тогда, когда она опивается на чужие деньги, ибо и бедность, по моим теориям, есть не что иное, как живой человек, который, по пословице, хочет калачика, как и всякая живая душа.

Готовее всех и, следовательно, прежде всех являлся

на закуску к прапорщику некто Сафон Фомич Милушкин — личность, принадлежавшая в дни своего младенчества к какому-то мудреному старообрядческому согласию. Это был маленький, с красноватым лицом, человек, вечно думающий о чем-то, робкий и как будто однажды и навсегда испуганный какою-то страстью. В *комнатах снебилью* он прославился своею, так сказать, пламенной любовью к выпивке, отличным уменьем петь в подпитии разные старинные псалмы и поистине поэтическими рассказами о своей прошлой жизни, о пугающей среде, в которой она началась, и о тех совершенно невероятных причинах, вследствие которых Сафон Фомич разорвал всякую связь с этой средой.

Когда Милушкин находился в трезвом виде, самый искусный дипломат не мог бы добиться от него ни одного слова. Бывало, какой-нибудь франт, наскучивши свистать и маршировать по своей трехаршинной келье, придет к Сафону Фомичу, сядет около него и начнет:

— Ну что, Сафон, как дела? Что ты намерен теперь делать?

Сафон молчаливо переходил от франта на другой стул и принимался молчать, если можно так выразиться, еще усиленнее и как бы озлобленнее.

— Что же ты ничего не говоришь? Я пришел к тебе, братец, по душе потолковать. Слышал я вчера, что лекции по винокурению будут читать. Вот бы тебе чудесно послушать курс и на место устроиться в акциз, а? Откупа-то теперь побоку скоро. Слыхал небойсь?

— Н-ну, д-да! — сквозь зубы процеживал Милушкин.

— Право, попробовал бы,— продолжал приятель.— Взял бы ты, братец ты мой, билет на эти лекции...

Сафон Фомич в сильном негодовании обыкновенно тряс в это время своими длинными волосами, как бы сбрасывая с своей головы ненавистный билет на винокуренные лекции.

— Да что ты головой-то трясешь, шут ты этакой? Тебе же добра желаю: места, говорят, отличные, оклады большие.

— Да отвяжись ты от меня, Христа ради!— как-то болезненно и вместе с тем азартно вскрикивал Милушкин, и ежели приятель не унимался и после этого крика, он уходил со двора и пропадал нередко на целые сутки.

Но выпивал Сафон Фомич — и совершенно менялся.

При одном только взгляде на полуштоф лицо его принимало какое-то плачущее выражение; какая-то мука ложилась на него, вследствие которой Милушкин принимался тяжело вздыхать и крутить головою и наконец уже выпивал, после чего неукоснительно громко стучал по столу и скорбно морщился. И достоверно известно, что в Сафоне-Фомиче эти приемы были вовсе не заранее придуманным манером с целью посмешить и амфитриона и компанию, а просто какою-то необходимой мистерией, без которой выпивка не имела бы для него никакой цены.

— Для чего ты морщишься, Сафон? — спрашивали у него собеседники, зная, что Сафон на взводе и что, следовательно, как все шутили на его счет, находится в полнейшей возможности разъяснить причину всех причин.

— Сгу-у-била она меня, чер-рт ее побери! — отвечал Сафон, указывая на водку.— Гибель она моя! Вот отчего я морщусь, потому мука... Хочу совладать с ней и не могу; я от немощи этой страдаю...

Предстоявшие разражались громким хохотом, а Сафон с скрежетом зубов наливал еще рюмку, с злостью выпивал и приговаривал: «О, чтоб тебя черт взял, проклятое зелье! Не было бы тебя, так и горя у меня не было бы никакого!»

После двух рюмок Сафон Фомич обыкновенно начинал, по выражению Татьяны, комедь про свою злосчастную жизнь. И хозяйка комнат, и кухарка даже лезли тогда к Милушкину с своими шутками, упрашивая его рассказать им что-нибудь поинтереснее, и Милушкин беспрекословно разговаривал с ними, примерно в таком роде:

— И вам рассказать что-нибудь? — спрашивал он их, по своему обыкновению вихляясь и как-то отчаянно покручивая победною головой.— Извольте, Татьяна Алексеевна! Извольте, Лукерья Онисимовна! Удовлетворю и вас. Примерно какая теперь разница, спрошу я вас, между мною и вами? Вы обе — дубовые отрубки, и я, по-настоящему, должен бы быть дубовым же отрубком. Идол! — гремел старовер на Татьяну,— ты так и осталась дубом на всю жизнь, а я, на мое всегдашнее горе, в животное превратился — в живое животное, которое во все места каждая рука бьет, и оно это чувствует, а ты, ежели тебе даже и в рожу съездить, ты этого не почувствуешь, потому корой ты обросла столетней.

— Черт знает что! Как же это не почувствую, когда меня бить будут? — отшучивалась Татьяна, видимо, однако, робея начинавшего уже восторгаться Сафона Фомича.

— Да уж я тебе врать не стану. Ты слушай меня, дура безмерная! Понимаешь ли ты, что соврать, как ты, например, ежесекундно врешь, я не могу, как не могу не умереть когда-нибудь. И потому я тебе говорю: ты дубовый отрубок, которому легко жить, а мне тяжело.

— Ну,— говорил кто-нибудь из жильцов,— наслушается теперь Татьяна староверческих отвлеченностей!

Между тем сама Татьяна, слушая эти отвлеченности, пугливо хихикала над ними, как говорится, в сторону.

— Так-то, Татьяна Алексеевна! Ты вот как думаешь, что́ я здесь делаю, живучи у тебя? Ты ведь, знаю я, полагаешь, что я ничего не делаю, а так вот себе, баклуши бью!

— Как можно, Сафон Фомич, ничего не делать? — говорила Татьяна с стыдливой и старающеюся быть почтительной улыбкой,— все что-нибудь по своим делам орудуете, я только, признаться сказать, не знаю что.

— Вот я тебе сейчас скажу, чем именно я у тебя орудую здесь,— вызывался Милушкин.— Я, милая ты моя, наблюдаю, есть ли в Москве человек, которому бы жить на этом свете хуже меня было. Вот что я делаю! Наблюдаю — и не нахожу и скорблю душой от зависти, что все люди — как люди, а я — ни богу свеча, ни черту кочерга. Ты и то лучше меня. Изобью я тебя сейчас за это, бабнища дурацкая. Всякому злу ты причина, всякому доброму начинанию гибель.

— Эй, Сафон! Опомнись, любезный! — уговаривали его соседи, выбежавшие на крик Татьяны, которую несчастный начинал уже поталкивать.— Поди лучше выпей, мы за водкой послали.

— Любезное дело! — соглашался Сафон.— Дурак я, вздумал с бабой раздабарывать! Плевать нужно на баб всегда, а не раздабарывать. Пьем?

К-кому повем печ-ча-аль мою?
К-ко-о-го призову к рыданию?—

обыкновенно запевал Сафон Фомич, когда начинал, как говорится, заговариваться. Всякий, кто только не ленился, мог сделать из него в это время своего шута.

— Ну, Сафон,— приставали к нему тогда со всех сто-

рон,— расскажи, пожалуйста, как ты попал сюда, зачем и почему?

— Можно! — кричал Сафон.— Знаю, что вы смеетесь надо мной, бестии, а я расскажу — в поученье ваше общее расскажу. Слушайте: родился я там, где-то у черта на куличках; верстам отсюдова до тех мест счету нет, только все эти версты я собственными моими ногами измерил, и все они — эти, то есть, ноги мои — и теперь еще от той меры долгой кровью сочатся... Ноют и визжат они у меня в тысячу больнее, чем вы ноете и визжите, когда вам Татьяна жрать не дает по неделе... Так-то!.. Что же я еще хотел сказать вам, ребятки? Да! Дедушка у меня был... Только лучше я про дедушку моего ни слова вам не скажу, потому что вы таких людей и во сне ни разу не видывали. Век ваш не такой и племя — иное. И про отца тоже ничего не скажу, потому что и меня одного станет про вашу потеху дурацкую. Всего лучше будет,— продолжал Милушкин, сердито наморщивая брови и как бы опамятовавшись,— ежели я про весь дом наш не буду говорить с вами: испугаетесь вы, пожалуй, до того этого дома, что и смеяться надо мной перестанете.

— Не по носу вам этот дом, ребята! — словоохотливо добавлял Сафон Фомич, расцвечая насильственной улыбкой свое лицо, всегда помрачаемое воспоминанием о родимом доме,— букет его, братцы, сразу перехватит вам носовые хрящи, даром что вы ребята обстрелянные, ко всяким, следственно, ароматам привыкли.

— У нас, бывало, в дому по целым ночам мать, как Рахиль в Раме, стонала и убивалась, а седой дед, с морщинистым таким лицом, неподвижным и сильным, как гора каменная, тоже по целым ночам за толстою книгой в кожаном переплете сидел и дочь, от слез обезумевшую, ни одним взглядом, бывало, не пробовал утешить. Сидит, говорю, бывало, в переднем углу, как темная туча, и бубнит свою книжку; а в окна большой избы, освещенной тонким сальным огарком, такой-то крикливый ветер просился,— тоска!..

— Но и матери плакать и деду благочестивым книжным чтением заниматься ничуть не мешали ужасы страшной лесной северной ночи, потому что горе нашего дома было в тысячу раз страшнее этой ночи... Почему страшнее? Потому что про это разговаривать не велено

было!.. Ха-ха-ха-ха! — истерически хохотал Сафон Фомич.— «Не пикни! кричали, а то, говорят, других испугаешь...» Ха-ха-ха-ха!

— Только я вам и об этом горе не буду больше толковать; лучше я вам расскажу про отцовы и про дедовы книжки, по которым я читать выучился. Это были толстые, почерневшие книги, которые угрюмо высматривали из темного переднего угла, где они обыкновенно лежали,— словно бы говорили ребятишкам эти книги, что вот-де, мальчуганы, какие мы сердитые! Много об вас хворосту исстегают, много волосенок повыдергают, когда будут вас учить вникать в нас! Только, бывало, картинками, нарисованными в них, и можно было подманить ребятенок к этим книгам. Подойдешь, начнешь перелистывать, а от листов пахнет воском и ладаном, божьим деревцом и кипарисом, и все они переложены узорчатым кружевом, разноцветными лентами и широкими прорезными древесными листьями. Не наглядишься, бывало, на книги, когда, осиливши первый страх, станешь рассматривать их. Особенно, я помню, занимали меня две картинки. Одна из них была в псалтыри и изображала пророка и царя Давида с золотым венцом на голове, поднятой к небу, где видны были зеленые верхи райских деревьев, с стволами густо позолоченными, царь был в светлых, широких одеждах и с гуслями в руках. До того, бывало, досмотришься, глядя на эту картинку, что наяву шевелились пред тобой листья небесных садов, порхали в них и пели какие-то невиданные птицы, и царские гусли тоже пели вместе с ними до того сладко, что все сердце в тебе изноет, слушая эти песни. Опомнишься, возьмешь другую книгу, с другой, особенно памятною мне, картинкой: там, с молниями в карательно распростертых руках, был изображен господь Саваоф в виде старца, парившего над землей на многокрылых ангелах...

— При взгляде на лицо разгневанного бога, на эти змеистые, слегка подернутые золотом молнии, летающие из его могучей руки, непременно, бывало, перекрестишься и зашепчешь: «Свят, свят, свят!» — потому что кажется тебе, как рассказывал дед про Страшный суд, что вот-вот сейчас колыхнется земля на своих основаниях и запылает всеобщим пожаром и что волны того пожара достигнут до самого неба...

Тут старовер приходил в окончательный экстаз. Его

маленькое, опушенное, впрочем, рыжею бородой лицо гневно морщилось и светлело, на лбу ложились совершенно старческие, глубокие морщины, придававшие этому лицу выражение несокрушимой силы, и, злобно стуча кулаком по столу, Милушкин продолжал свой рассказ с таким горячим одушевлением, как бы нашел он сейчас противника, который насмерть оспаривает правду его рассказа:

— Воспитали меня эти книги для славы бога моего, которого я неустанно хочу проповедовать. Что вы думаете, шуты вы, гробы повапленные? Может быть, проповедь моя загремела бы в уши ваши, как гром Саваофа, который в старой книге на картинке душа моя видела и слышала, может, она образумила бы вас, перекрестились бы вы от нее, может быть. Али нет, не перекрестились бы?.. То-то, и я сам думаю, вряд ли, потому что душ у вас нет и сердец у вас нет, а есть только одни утробы...

— Ну, будет, ребята! Пошалили — и баста! Ну-ка, кто мне нальет водочки? Ибо руки мои уже не двигаются,— заканчивал Милушкин, грустно поникнув головой на залитый водкою стол.

А между тем все, что называется, храбрые выпивохи уже стеклись к Бжебжицкому на его закуску, которая, с каждою минутой свирепея все больше и больше, превратилась наконец в бурно шумящую оргию. Сначала выпивку разжигали воспоминания старовера, а потом уже настоящий ход и значение придали ей два неразлучные друга: один — отставной учитель гимназии, кривой и обезображенный оспой, по прозванию Степан Гроб, главная жизненная сладость которого заключалась в постановке, как он говорил, разных глубоких вопросов; а другой — некто уволенный студент Бенедиктов, прозванный за свою касту Никитою Пустосвятом, а за гигантский рост — Високосным Годом или отставным драбантом его шведского королевского величества. Этот муж считался звездою первой величины на горизонте *комнат снебилью* за свое необыкновенно оригинальное уменье играть на гитаре.

Високосный Год уже разошелся до такой степени, что его варьяции начинали временами обращать на себя внимание самых пьяных; Бжебжицкий под эти звуки сладострастно разлегся на своем диване, задумчиво раскачивая в руке черешневый чубук; Амалии Густавовны и

Адельфины Петровны, обманутые некоторыми мотивами, пробовали подпевать под гитару, но драбант не любил, чтобы кто-нибудь, а тем более какая-нибудь Адельфина или Степанида вмешивалась в его фантазии, и потому он время от времени во все свое громовое горло без церемонии кричал: «Цыц, бабы! Не то гитарой головы разобью!»

— Где, где молодое поколение? — кричал Степан Гроб, напирая на некоторого молодца, прозванного одними — мистером Скимполем из «Холодного дома», другими же — Пляшущим Маколеем.— Где оно, это новое поколение? — азартно переспрашивал Гроб, яростно вращая единственным глазом.— Уж не это ли? — доискивался он, тыкая пальцем в одного шестиклассника-гимназиста, тоже жильца комнат.— Это вовсе не молодое поколение, а это просто-напросто молодой пьяница!

— Браво! — заорал таким образом рекомендованный гимназист, конфузливо приседая от неестественного хохота.— Браво, Степан! (прибавить слово «Гроб» к имени своего бывшего учителя гимназистик все еще по старой памяти опасался). Я с тобой совершенно одинаких убеждений насчет молодого поколения.

— Поди к свиньям, губошлеп! — оттолкнул единомышленника грубый Гроб.— Коего черта ты смыслишь в этих делах?! Ступай-ка лучше паси овцы отца твоего.

Гимназистик вломился было в амбицию, но старовер не допустил разгореться порывам мальчика.

— Полно тебе связываться с этой заразой, юноша! — сказал Милушкин гимназисту.— Ты разве не видишь, что это пьяный циник? А пьяного циника, милый мой, от свиньи отличить невозможно. Хуже и гаже этого народа ни одной гадости во всей подсолнечной нет, ей-богу. Верь ты моему слову. У тебя отец-то кто был? Помещик? Ты, значит, за текущий месяц за мою квартиру сполна заплати: мне, знаешь, дружочек, взять негде, ей-богу! Стой, я тебя поцелую. Так-то, милый ты мой, береги свою юность, не пей,— скверно. Я лучше тебе про себя расскажу, потому ты сосунок еще, да и все вы, рабочие-то даже какие, как погляжу я на вас, сплошь сосуны. Ни кипучих кровей в ваших сердцах нет, ни размашистой силы в теле. Верно,— целуй! У меня теперь дома братишка такой же молоденький. Эхма!.. Так вот, дружок, и выучил меня отец грамоте, и принялся я те толстые книги чи-

тать. Читаешь-читаешь, бывало, и уснешь, а во сне представится тебе как на ладони Киев святой с пещерами, храмами, монастырями и широким Днепром. Ходил я, братец ты мой, в Киев взрослый уже,— недавно ходил; только, божусь тебе, точь-в-точь и во сне такой же Киев видел, какой он в самом деле есть... Не веришь? Так я тебе вот что скажу: я видел во сне Рим, и его форум, и его императоров, мучивших некогда христиан, Голгофу с тремя крестами, и поля, окрестные Иерусалиму, по которым ходил Христос; видел, как процессия попа Никиты на спор по Москве шла; а теперь, когда я уже не отцовы, а другие книги читаю,— другое уже совсем вижу... И вот, милый мой мальчик, скоро, скоро развяжусь я с вами — с Татьянами: брошу скверну мою и пойду и пойду... Да! ты верь мне... Боли мои, как отцы мои делали, растопчу я ногами своими в пути том...

А перед Степаном Гробом вместо сраженного им Пляшущего Маколея стоял уже другой юноша, высокий и стройный, бледный такой и серьезный. Не горячась и не рисуясь, тихо говорил он своему мрачному аппоненту:

— Опыт,— кто говорит против этого,— очень хорошая вещь, но жаль, что дальше своего носа он ничего не видит...

— Браво, Ваня! — хохотал Милушкин, вслушавшись в последние слова молодого человека.— Катай их с этой точки зрения. Спроси у них, куда они денут жизнь сердца, куда они денут мои вещие сны? Ха-ха-ха-ха! Куда они денут их?

— Валяй, бабы! Их не переслушаешь! — могуче крикнул отставной драбант его королевского шведского величества.— Теперь ваша очередь...

И он ударил по гитаре что-то такое в одно и то же время и ноющее и веселое, от чего никакая русская бабья душа не может усидеть на месте. Одна из Адельфин сразу угадала, какую именно сельскую песню поет гитара артиста, голодающего несколько лет в городе, с целью подробнее изучить характер своего певучего друга.

Ах, где ты была,
Моя нечужая?
Ай в степи ты брала лен,
Ай ты с кем гуляла?—

вскрикнула Адельфина вместе с звучно трепетавшими струнами, в одно мгновение переставши быть Адельфиной

и делаясь, как в старину, послушною дочерью только что отколоченного дяди Петра, чернобровой утехой и работницей родимого дома. Родимая песня распрямила ее стан, сгорбленный развратом города; от зеленых полей, на которых растет пахучий лен, засветились потухшие глаза и закраснелись прежде времени поблекшие щеки...

— Ох-ма! — гремел Високосный Год, заливая волнами, как стая легких полевых пташек, щебетавших трелей комнату Бжебжицкого.

Ходи, изба, ходи, печь,—
Хозяину негде лечь! —

орал он в поощрение девушки, и живо пальцы его уничтожали в гитаре тот разгул, с которым она спрашивала у *нечужой, где она была,* потому что нечужая на повторенный вопрос:

Ох! Где же ты была,
Завалилася? —

отвечала:

На дырявом я мосту
Провалилася!

И как-то скорбно и вместе с тем порывисто после этого заплакали струны, словно бы больная истерикой женщина, а Адельфина так-то плясала под этот плач, так-то она отчаянно отбивала дробь двухвершковым каблуком своего городского башмака, что все жильцы темного коридора, все эти Татьяны и Лукерьи наперерыв лезли к дверям и оттуда смотрели на нее, подставив почему-то под бороды свои руки, что обыкновенно делают Татьяны и Лукерьи тогда, как их обуревает какое-нибудь сильное горе...

— Действуй! — закричал вдруг Сафон Фомич, бросившись в пляс с быстротой совершенно трезвого человека.

И пошло!..

Я лично, тоже жилец самой крайней *комнаты снебилью,* обращенной одним окном на двор, а другим упиравшейся в какую-то высокую кирпичную стену, пришел в это время к Бжебжицкому, лишь только заслышал топот знакомого трепака.

— Знаток я, брат, своего дела! — обратился ко мне Сафон, выделывая неимоверную присядку.—Что давно не пришел? Я, любезный, такую тут без тебя фигуру отмочил, совсем новую! Жаль, что ты не видал. Ну благо те-

перь пришел. Выпьем с тобой — и качнем *старинную.* Готовься, ребята!

Все откашлялись, а я зажмурил свои глаза, потому что не мог петь *старинной* не зажмурившись...

Выпил Сафон Фомич, крякнул и, нюхнувши маленький кусочек хлебца, съел его, а потом уже начал:

О-о-ох! ты взойди, ты взойди, солнце ясное!
О-о-ох! над горою да над высокою,
Над дубравой да над темною!
Обогрей нас, добрых молодцев,
Добрых молодцев, сирот бедных,
Сирот бедных, беспаспортных!

Я пронзающею фистулой, могущей делать неописанные вариации, и громовый бас Високосного Года вместе с его десятиструнною гитарой, дружно принявшие от запевалы вторую строчку песни, сделали то, что с первого же нашего оха все, что в поте лиц трудилось в печальных подвалах дома *комнат снебилью,*— все это развилось перед нашими окнами и слушало старинную песню, от которой тяжкий стон шел по целому дому.

— Важно поют! — толковала публика.

— Играют бесподобно! И все это «скуденты» отличаются.

— Скудентам одним так не сыграть: беспременно есть и господа.

О-о-ох! Сиро-от бедных, беспаспортных! —

тянули колокольчиками дишканты Адельфин, Татьян и Лукерий, по временам заливаемые волнистой октавой драбанта и, так сказать, горюющим тенором Сафона Фомича, который, впрочем, по правде-то ежели сказать, никогда не выстаивал в самых верхних нотах против моей фистулы.

— Вон она, сиротская-то наша матушка раскатывается! — восхищался народ, все больше и больше наводнявший наш двор.— Вишь, господа-то ее как вздымают: поди, чай, под самым небушком слышно.

— Тебе же говорят, что это не господа! — поучительно заметил восторгавшемуся парню какой-то, по всем приметам, мастер.— Не господа, а так, скуденты, простые — народ больше, не хуже нашего брата, бедняк.

— Пшоль, негодный человек, негодная твоя тварь! — загонял своих рабочих в покинутые ими мастерские не-

мец-красильщик.— Какой теперь шас? — гневно шумел он.— Где ты должен быть? В мастерской, а он тут на всякое глюпство уши раздвинул. Никогда этого не поймет шортова голова, что в мастерской надобно быть в один шас, а в другой глюпством заниматься... Пшоль! Пшоль!

Веселая нас, господа, компания собралась в *комнатах снебилью!* До того веселая и хорошая, что шестиклассник-гимназист всю следующую за выпивкой неделю старался, по примеру Степана Гроба, становить разные глубокие вопросы и так же, как он, кавалерски, или, как говорили в комнатах, с кривого глаза, решать их; надувался он, бедный, изо всех сил быть таким же народным, как Сафон Фомич; у Високосного Года учился на гитаре, а ко мне (о горе мне, развратившему своим примером единого от малых сил!) — ко мне, говорю, всю неделю приставал поисправить немножечко какой-то рассказ и похлопотать в какой-нибудь знакомой редакции о скорейшей выдаче ему за этот рассказ гонорария, который, я уверен, этот парень, в качестве сына своего века, употребил бы на выпивку, шикарнейшую выпивки прапорщика Бжебжицкого...

1863



НРАВЫ МОСКОВСКИХ ДЕВСТВЕННЫХ УЛИЦ

Писано, памятуя о погибающем друге.

I

Иван Сизой матушке Москве белокаменной, по долгом странствовании вне ее, здравия желает, всем ее широким четырем сторонам низкий поклон отдает.

Год с лишком шатался я по разным местам, а все нигде не видал того, что я так люблю в Москве,— это ее глухих, отдаленных от центра города улиц, которые давно как-то назвал *девственными,* с их, так влекущей к себе сердце мое, поразительной и своеобразною бедностью.

Конечно, этого добра, то есть бедности, нам не занимать стать, и, как я сказал уже, больше года шатаясь по деревням и селам, по городам и красным пригородам, я имел-таки немало случаев видеть голод и холод в мещанских хороминах, молчаливое и безустанно работающее уныние в мужицких избах; но это что же за бедность? Лица не московские, пораженные этою болезнью, не живые лица, а как бы каменные статуи, изображающие собою беспредельное горе, и я только плачу втихомолку, когда такая статуя окинет меня своими впалыми, без малейшего признака слез, глазами. Плачу, говорю, и вместе с тем глубоко страдаю от той нравственной боли, которою всегда уязвляют мою душу эти глаза, ибо в них мои собственные глаза имеют способность читать такого рода красноречивую вещь:

— Ты, брат, тово, не гляди лучше на меня,— мне и без тебя тошно. Мало ты мне, друг, утехи своим гляденьем даешь. Ты бы там иначе как-нибудь для меня порадел...

Всякий своею похотью влеком и прельщаем; следовательно, и я, как всякий, имею свою похоть, то есть болею при виде бедности немосковской; ибо она молчалива и убита, ибо трудно ей спророчить, когда она разбогатеет и хоть сколько-нибудь оживет. Напротив, бедность московских девственных улиц меня радует даже, потому что она рычит и щетинится, когда ей покажется не очень просторно и не очень сытно в ее темных и тесных берлогах,— в каковых движениях жизни я замечаю несомненные признаки того, что бедность эта скоро поправится и разбогатеет, хотя, может быть, и не вдруг, хотя богатства ее будут далеко не те, про которые говорят, что они неисчерпаемы. Ну да ничего! Нам и это на руку, потому что голодному рту не до горячего,— ему бы только маломальски чем-нибудь тепленьким пораспарить свое иссохшее нёбо...

II

В Москве у меня бездна литературных и университетских друзей, которые меня весьма терпят и у которых, следовательно, я удобно мог бы сложить свой страннический посох, но, послав их в душе моей к богу в рай, я по прибытии в Москву направился прямо в девственную ули-

цу, где жил мой старинный друг, старый отставной унтер-офицер, который был кум, то есть у которого, благодарение создателю, мне довелось привести «в крещеную веру» троих детей.

В девственной улице я не заметил никакой перемены. В сравнении с другими столичными улицами она была тиха до мертвенности. Огни, светлевшиеся из окон ее маленьких деревянных домишек, были похожи на деревянные гнилушки, которые так уныло светятся ночью из-под печки деревенской избы. Единственные признаки жизни показывала только единственная харчевня девственной улицы. Из ее тусклых окошек, освещенных каким-то красноватым светом, порой вырывались какие-то неясные звуки, по которым решительно нельзя было определить, поют ли там песни или плачут,— такие это были смешанные звуки. И временем, когда каким-нибудь гостем широко распахивалась харчевенная дверь, сердито и шумно взвизгивая на своих заржавевших петлях, звуки делались слышнее, и тогда человек неопытный, случайно проходящий по девственной улице, непременно бы остановился против заведения и пугливо прислушался к этим звукам, потому что неопытному пешеходу в них бы заслышалось слово «караул» — слово, отчаянно-крикливо вырвавшееся из чьего-то горла, но остановленное на половине своего взлета и снова как бы впихнутое в это горло чьим-то лютым кулачищем.

Но я не счел этого звука за такой караул, ради которого следовало бы остановиться около харчевни, потому что мне коротко известны обычаи девственной улицы. Это был просто крупный разговор, который вел закутивший мастеровой с своею благоверной, пришедшей с целью вытащить благоверного из заведения и отвести «на спокой на фатеру».

— Пош-шол вон! — кричит на жену повелительным горловым баритоном урезавший здоровую муху кутила.— Пош-шол вон! — повторяет он еще повелительнее, забывший в подпитии, что ежели хочешь прогнать откуда-нибудь свою жену, чтоб она не мешала молодецкому развёрту, так нужно сказать ей вовсе не «пошел вон», а «пошла вон».

Затем начинались плаксивые тоны жены:

— Иван Прокофьич! Что же мы завтра есть станем?

— Об этом ты не горюй! Что об этом горевать — об

еде-то? Эх ты, бесстыдница! О чем нашла горевать, а? Гаврик! — обращается кутила к фамильярно улыбавшемуся половому,— о чем она, дурища, горюет-то? Об еде, ха-ха-ха-ха! Пош-шол вон! — и затем муж, как глава над своею женой, употребляет даже некоторую силу и пытается пропихнуть ее в скрипучую дверь на тихую морозную улицу.

Итак, вы видите теперь, что серьезного караула в харчевне девственной улицы быть не может, потому что в конце концов, ежели караул слышится иногда из окон, веселящих улицу своим красным и, примечено мною, както злобно и насмешливо моргающим светом, так вовсе нечего прислушиваться к нему, потому что все это ни более, ни менее, как «своя от своих»...

Историю эту, с целью получить в конце ее незловредный караул, можно продолжать таким образом:

— Остались ли деньги-то у тебя? Ай уж все пропил? — спрашивает жена, усевшись наконец с супругом за один стол около грязного, загаженного мухами графинчика из толстого стекла с мутною водкой.

— Какие, черт, деньги? Пропивать-то мне нечего... Это уж я на сертюк валю. Вот добрая душа, Гаврик, в двух серебра принял, а домой я и в твоем платке какнибудь дотащусь.

Мастеровой слезливо начинает обыкновенный рассказ про то, как часто понесешь работу к барину и как, идучи к барину, рассуждаешь, что вот-де сейчас получу деньги, прямо на рынок, искуплю там говядины, сапожки, может, али штанишки какие-нибудь старенькие не попадутся ли, а там накуплю товару — и валяй опять за работу. Чудесно! Знай денежки огребай. Рассуждаешь таким-то манером, а потом и не увидишь, как очутишься в кабаке.

— Он говорит, барин-то: «Иван Прокофьич! Ты с меня деньги-то недельки две пообожди. Знаешь, говорит, за мною не пропадет». Я ему говорю: «Знаю, что не пропадут, только, ваше благородие, мне деньги оченно нужно. Сами изволите знать: жена, детей четверо...» — «У меня,— говорит барин и смеется,— у меня, может, детей-то этих штук с сорок найдется, да ведь я ни к кому не пристаю. Приходи уж через неделю, что с тобой делать, а теперь мне некогда, прощай». С тем от него и ушел,— добавляет мастеровой, возвышая голос,— а от него, с ве-

ликой злости, прямо в кабак, а из кабака сюда, потому, что же я завтра без денег стану делать?

После этого крикливого вопроса и начинается, что называется, самая катавасия, потому что, кроме сюртука, принятого добродушным Гаврилой в двух рублях, чета начинает валить еще на три рубля, которые с большим удобством олицетворяет истасканный шерстяной салоп супруги.

— Видишь теперь, какая у меня супруга? — спрашивал мастеровой у полового, выставляя ему на вид собственно то обстоятельство, что супруга с видимою охотой куликнула две рюмки залпом, как бы стараясь сразу сравняться с своею главой.— Сласть у меня супруга, сговорчивая. Она мне ни в чем никогда не перечит. Что я скажу, то и баста.

Супруга между тем не без грации закусила две рюмки солониной с солеными огурчиками, а супруг продолжает:

— Мы с ней двенадцать годов душа в душу живем! Гаврил! Слушай, я тебе расскажу, как я женился на ней. Она в это время молодая была и из лица не в пример теперешнего красивее; а князь, у кого она в то время на содержании была, призывает меня и говорит: «Вот тебе, Иван Прокофьев, невеста! Ты, говорит, с ней не пропадешь, потому приданого за ней даю сто рублев, акромя, говорит, постели и разных вещей...» Я ему и говорю: «Покорнейше благодарим, ваше сиятельство!» Сказал так-то и женился; а она, шельма этакая, целый год после законного брака шаталась к нему, к князишку-то своему. Вот она, Гаврил, какая изверг у меня! Ты, Гаврил, не гляди на нее, что она такою смиренной глядит. Шельма она у меня преестественная, Гаврил! Ты думаешь, милый человек, через кого я теперича погибаю,— через нее, через анафему! Вот через кого! У! Будь ты проклята! Возьму вот да как начну по морде-то охаживать, так небойсь забудешь про княжество-то про свое!

Половой, слушая эти излияния, мялся на одном месте и насмешливо улыбался с видом человека, который, ежели бы не стеснялся своим лакейским положением, непременно сказал бы:

«Комиссия, право, эти женитьбы нашенские!.. Что криво да косо, то Кузьме-Демьяну... Всегда уж нашему брату-мастеровому, бедному человеку, такую-то сволочь

подсунут, что целый век казнишься да страдаешь, глядя, как она кровные мужнины деньги, на офицеров прохожих любуючись, на чаях да на кофиях проживает!.. Идолы бабенки, а паче тот идол, кто их, тонкостям этим научимши, нашему брату на шею наваливает...»

— Ты вот что,— отнеслась достаточно уже выпившая супруга к мужу,— ты поменьше болтай, а то ведь за болтанье-то вашего брата по щекам лупят...

— Ну, уж ты с этим делом, надо полагать, подождешь немного, по щекам-то. Право, подождешь! — сатирически предполагает муж, выпивая приличный чину и званию столичного башмачника стакашек.

— Нет, не подожду,— настаивает супруга, выпивая тоже приличный стакан.— Долго я тебя, пьяного дурака, не учила.

— Вряд ли выучишь. Я тебя, пожалуй, поскорее поучу.

— Ну, уж это не хочешь ли вот чего?—осведомляется супруга, повертывая перед очами возлюбленного послюнявленный кукиш.

— А ты не хочешь ли вот чего? — в свою очередь, любопытствует супруг, ухватив супругу за жидкие космы.

Случайно отворенная в это время дверь заведения заскрипела на своих петлях, и изнутри кабака вылетело женски визгливое «караул» и басовитые отрывистые слова: «Вот тебе, шельма, вот тебе!» Слышно было сдержанное хихиканье полового Гаврилы, сопровождаемое протяжным возгласом: «Ох! и комедианты же эти сапожник с сапожницей! Право, комедианты! Этак-то они у нас цепляются друг с дружкой каждый божий вечер!..»

Но девственная улица ничуть не была удивлена этими выкриками. До того, должно быть, она прислушалась к ним, что даже тени внимания не пробудили они на ее безжизненно-молчаливом лице.

И кроме этой, другие, более крикливые сцены разыгрывались на улице, но и они не делали ее веселее, потому что, против русского обыкновения, они не собирали около себя толпы проходящих зевак, дружный и шумливый говор которых уверил бы человека, в первый раз занесенного в этот край, в том, что край этот вовсе

не какое-нибудь заколдованное царство, осужденное могучим чародеем на вечный и беспробудный сон.

— Кар-р-раул! Кар-р-раул! — орет какой-то молодой голос в непроницаемой темноте уличного конца.

— Ты что же это? — спрашивает крикуна хрипучий бас будочника.— Ты опять свои шутки шутишь? Мало я тебе онамедни шею за них намылил? Ежели мало, так скажи, я тебе еще прибавлю.

— Дядюшка! Да ведь скучно!.. День-то деньской сидючи за работой, чего не придумаешь?.. Выбежишь когда на улицу-то украдкой, улица-то, сейчас умереть, светлым раем тебе покажется,— ну, тогда ты не вытерпишь и в радости заорешь...

— То-то в радости! Гляди, ты у меня иным голосом, пожалуй, вскрикнешь, как вот ножнами начну тебя по мягким-то оторачивать... Уймись, парень! Ей-богу, уймись!

— Не буду, дядюшка, однова дыхнуть, не буду,— с хохотом уверяет прежний голос,—только теперича в последний раз позволь.

— Ну, парень, придется мне, должно быть, с моего места встать... Разозлил ты меня, паренек!

И затем уличную тишину нарушает какое-то шуршанье, словно бы какой одышливый и ленивый человек собирался в дальнюю путь-дорогу.

— Кар-р-раул! — снова из всех легких трубит паренек, захлебываясь от хохота.

После этого слышится легкое захлопывание калитки и шлепанье босых ног по оттеплевшему снегу.

— Экой парень — разбойник! Удрал уж...— говорит будочник, с прежним сопеньем и пыхтеньем усаживаясь на покинутое было пригретое место.— Кажинный день так-то он меня беспокоит...

Поравнялись со мной какие-то две еще не очень пожилые женщины с вениками под мышками, с узелками в руках, с лицами, прорезывающими даже ночной, ничем не освещаемый мрак девственной улицы алым румянцем, которым, как пожаром, освещались их пухлые щеки.

— Что же, хороша нонича фатера-то у тебя?—спрашивала одна подруга другую.

— Эдакая ли фатера чудесная — страсть! — отвечала подруга.— Мы ее онамедни чудесно обновили. Пришел

эфта в прошлое воскресенье *мой* (у меня ныне столяр), солдатика-приятеля привел. Пришодчи, как следует, поздравили с новосельем, водки полуштоф солдатик-то изза обшлага вытащил, я ему селедку с лучком оборудовала. Полштоф выпили, другой послали; другой выпили — третий, а там и за четвертым. И так-то, милая ты моя, все мы нарезались тогда, не роди мать на свет божий! Словно бы безумные толкались. Нарезамшись, мой-то и сцепился с солдатиком драться,— я сейчас же к своему на заступу пошла; а солдатик видит, что не совладать ему с нами, взял да у столяра ухо напрочь, совсем с хрущом и оттяпал. Завизжал столяр так-то жалостно, и кровища из него хлестала, аки бы из свиньи зарезанной. И дивись, милая, с другой фатеры, ежели не в нашей улице, так бы нашего брата за такую историю знаешь бы как в шею турнули, в три бы шеи турнули; а наш хозяин (благородный у нас хозяин-от!) хошь бы словечушко вымолвил. «Ничего, говорит, господь с ними! На то, говорит, и праздник дан человеку».

— У нас, мать, по всей нашей улице хозяева все страсть как смирны,— подтвердила другая товарка.— У меня тоже кажный праздник почитай и-их какие кровопролития сочиняют! Тоже одному молодчику, не хуже твоего, два пальца и половину носа скусили. Азарны эти мужики.

— С ними поводись только! Я уж, когда они так-то сцепятся, прямо им сказываю: «Да ступайте на двор, лешаки,— там, говорю, просторнее». Так-то они у меня, милая ты моя, за всякое воскресенье аккурат не на живот, а на смерть чешутся!..

— Это у них истинно, что каждое воскресенье творится неупустительно,— сказал мне вдруг вышедший изза угла старик — мой кум, к которому я шел. Я тоже, признаться, поджидал его, потому что сам он, тоже неупустительно, возвращался в это самое время из кабака, в котором обыкновенно он проводил летние и зимние вечерки.

— Издали еще разглядел я тебя,—продолжал старик, обнимая меня.—Смотрю этта и думаю: а ведь это *куп* идет!

По вечерам, то есть огорошив в кабаке полуштоф и туго набивши нос забористым зеленчаком, старик приобрел способность выговаривать буквы *м* и *н* как *п* и *б*,

и потому в таких случаях он обыкновенно звал меня *куп*, а ежели в дальнейшем разговоре надобилось ему употребить слово небо, он просто-напросто, избегая греха сказать небо, указывал рукою в потолок, и все это понимали как нельзя более хорошо.

— Откуда тебя бог принес? — спрашивал меня старина, видимо обрадованный.—Давно ли?

— Прямо с дороги и прямо к тебе,— ответил я.

— Вот за это люблю, что не забыл друга.

— Ну что тут, как у вас? — любопытствовал я.— Новенького чего нет ли?

— Чему у нас новенькому быть? — спросил, в свою очередь, кум как бы с некоторым унынием.— Все у нас, друг милый, по-старому. Есть, что ли, деньжонки-то у тебя? А то я, покуда лавки не заперты, что-нибудь из одежи бы на угощенье спустил...

— Есть,— утешил я старину,— и насчет одежи ты не беспокойся.

— То-то, ты гляди у меня: финтифлюшек-то, знаешь небойсь, не очень-то я люблю...

И потом, прихвативши в попутном кабаке некоторый штоф и в попутной лавочке два десятка соленых огурцов, мы с кумом благополучно спустились в его плачевный подвал.

III

Кумов подвал был разительно схож с самим кумом. Оба они представлялись наблюдающему глазу не мытыми и не чищенными от самого их сотворения.

И действительно, кума погладили один только раз во всю его семидесятилетнюю жизнь, и именно погладили в военной службе, и при всем том, что это глаженье уже известно, какое бывало в старину, при всем том, что оно продолжалось не менее как тридцать годов, кум все-таки остался не чем более, как саратовским мужиком, который, хотя вволю насмотрелся разных людских хитростей, но из которых тем не менее сам он ни одною настолько не поинтересовался, чтобы изучить ее и, в свою очередь, повеселить ею добрых людей. Он даже не усвоил себе той кавалерской выправки, которая отличает всякого отставного солдата, и ежели у него и были длинные и густые черно-бурые усищи, так это были вовсе не

те бравые, нафабренные, так называемые «разусы», которые так ухарски закорючены на смеющейся щеке разухабистого военного детины, а усы дугою, строгие, молчаливые, хохлацкие, так сказать, усы.

Чуть ли еще не в год кумовой отставки пришли в Москву из глубины дмитровских дебрей толстые бревна, из которых на живую руку был сметан дом девственной улицы с своим подвалом, приютившим старика-солдата. И так как всякому известно, что каждый россиянин из самого отличного материала делает самые скверные вещи, то хозяин, сгубив столетнюю лесную красоту на построение своей безобразной домовины, глубоко задумался собственно над тою мыслью, что в подвал-то, пожалуй, ни одного жильца не заманишь. Так поражены были даже невзыскательные глаза московского домохозяина неуклюжестью подвала и каким-то гневным унынием, воцарившимся в нем с первых дней его постройки...

Опечалился хозяин при взгляде на дело рук своих до того даже, что стал служить молебны об изгнании из хоромины некоего, как он говорил, «унывного» духа, нагонявшего на него оторопь; но, несмотря ни на что, дух, вероятно, в видах покарания хозяйского безобразия, испортившего столько прекрасных деревьев, из хоромины не выходил. Слышали даже соседские кухарки и рассказывали об этом под секретом, что по ночам словно бы плачет кто в том подвале, шепчет что-то неразборчивое и временами,— редко, впрочем,— хохочет чему-то...

Во время такого порядка вещей, когда хозяин окончательно уже отчаялся в возможности заманить в подвал какого-нибудь жильца, к нему пришел отставной солдат, старый такой, молчаливый и даже как будто сердитый. Посмотрел на этого солдата хозяин и тут же тихомолком подумал: «А! Это он пришел ко мне подвал нанимать! Лучше быть нельзя»; а солдат, как только взглянул на подвал, сейчас же подумал: «Вот чудесная хата! Лучше требовать невозможно»; а сам подвал, как только его обозрели, угрюмо и почти неслышно прошептал: «Мало в мои стены веселья этот солдат принесет! А мне-то и на руку, потому не охотник я музыкантить-то!.. Такого жильца я долго жду!» — и при этом, говорят, в первый и последний раз улыбнулись с радости тогда еще новые стены подвала, точно так же как и у

солдата очень что-то шевелились в это время усищи, как бы стараясь стрясти с себя чужую, случайно налетевшую на них и запутавшуюся в их непроходимой чаще, улыбку.

В этом-то, так сказать, печально говорящем подвале целые двадцать лет тянулась печальная жизнь солдата. В пять лет моего с этими интересными субъектами знакомства я не мог подметить ни в том, ни в другом ни малейшей перемены, и как за год перед настоящим моим посещением я оставил их, уныло-серьезных и гневно-молчаливых, точно такими же нашел их и теперь. Даже горемыки-жильцы подвалов в девственных улицах, наваливавшиеся на простого старика, как наваливаются осенние листы на терпеливую землю, были всё те же, за исключением разве только одного оставного капитана, тем, впрочем, только и замечательного, что он нанял себе помещение на огромной кумовой печи, куда он втащил нечто вроде кушетки, служившей ему постелью и вместе с тем сундуком. Капитан этот нисколько не характеризовал бы собою московских девственных улиц, если бы про него не рассказывали с божбой, что он никогда ничего не ест и не пьет, ибо никто ни разу не видал, чтоб он когда-нибудь удовлетворял этим простым требованиям человеческого организма. Кроме этого заслуживавшего внимания обстоятельства, капитан бросался в любопытные глаза тем еще, что не любил платить за квартиру и, говоря настоящее дело, не любил даже и того, когда ему напоминали об этом. Старый, расслабленный и поросший весь как бы какою щетиной, он по целым дням молчаливо переезжал с печи на кушетку и обратно, ничем не беспокоясь и никого не беспокоя; но как только кум заикался ему, что, дескать, ваше вышебородие, нельзя ли, дескать, насчет недоимочки за фатеру,— капитан сначала производил на печи какой-то необыкновенный шум, смешанный с визгом и рычаньем, потом показывал с печи свое обрамленное седо-бурыми волосами лицо, оскалив зубы, и начинал воевать, то есть бросал с печи в приютившего его человека чем ни попало.

— За-р-ряжай ружье! — орал он старческим, но азартным голосом.— Кладсь! П-ли! Я вас, черти! Рр-рота, за мной! Д-дети, скорым шагом марш! С богом!

— Ну, пошла писать военная кость! — с хохотом

толковали многочисленные кумовы жильцы, собирая с печи, из-под капитанской храброй руки, различные тряпки и горшки, махотки и полешки.

— Будет, будет, ваше вышебородие! Перестаньте только, Христа ради! — умолял кум жильца о прекращении батального огня.

— Ур-ра! Наша взяла! — окончательно вскрикивал старый вояка, снова ныряя на неопределенное время в запечное пространство.

— Оченно тронулись! — такими словами рекомендовал мне кум своего нового жильца.— Что будешь делать с бедностью? Иной раз сунешь ему на печку-то щец, хлебца, не токма что свои деньги... Выручишь их, свои-то деньги, с моими жильцами! Надоедает временем только — ужасти как... Раздразнят его башмашниковы ребятенки, так он целый день, лежа на печи, ртом-то все так-то выделывает: пу! пу! п-пу! Артиллерией, значит, по ним на дальних расстояниях действует. Вот докуда спятил: по маленьким-то ребятенкам из пушек палит!..

— Ну а из прежних жильцов никто не съехал от тебя? — спросил я.

— Из прежних?.. Нет, никто. Здесь уж все так-то: как укоренится кто на каком месте, так уж или с этого места прямо в гроб идет, или, ежели он подхалюза какая, так фарталом прогоняют на другую фатеру. Кресты есть из таких-то для нашего брата-съемщика — и-их какие тяжелые! Потому наш брат должен им потрафлять каждую минуту, чтобы только не доходили они до фартала, судиться бы только не ходили, потому они к этому делу все равно как к каше с маслом привыкли...

И действительно, все кумовы жильцы, которых я знал у него прежде, жили у него и теперь, как бы сговорившись умереть в его темном подвале. По-прежнему над всем гвалтом крикливой подвальной жизни властительно царил назойливый голосище старой свахи Акулины, трехаршинной бабы, в ужасающих всякую душу лохмотьях и с рыжею, жидковатою бородой. По-прежнему эта ямщик-баба расшевеливает во мне уснувшую было глубокую антипатию к ней тем, что к каждому слову, с которым она обращается ко мне, прибавляет самым сладким голоском «ваше благородие» и «сударь-барин», рассчитывая этими словами взять меня на удочку и сли-

зать с меня полуштоф сладкой водки, особенно ею ценимой. А вот и эта старая девушка, неотходно сидящая в кухне на своем громадном, окованном железными полосами сундуке. Как назад тому много лет застало ее на этом сундуке известие, что человек, любивший ее, уехал на родину жениться и увез ее кровных сто двадцать рублей, так она, без малейшего слова, раскачнула тогда еще молодою головой да так и теперь ею постоянно раскачивает,— только теперь эта голова сокрушилась уже, замоталась и стала такая седая, сморщенная, некрасивая.

— Здравствуйте, Фаламей Ильич! — говорю я старому приятелю моему — башмачнику, тоже кумову жильцу, который терпеть не мог, когда кто-нибудь называл его настоящим именем Варфоломея.

— Здравствуйте, сударь, Иван Петрович! — радостно приветствовал меня Фаламей, вставая с кадушечки, на которой он тачал башмаки, и лобызаясь со мною.— Давно мы, сударь, с вами компании не водили. Вы что тут ерзаете, мазурики? — обратился он к своим многочисленным ребятенкам, быстро отколупывая у них на головах масла маслаком своего собственного большого пальца правой руки.

Толпа ребятишек, неутомимо сновавшая и гарланившая по подвалу, как и все подвальное, была, в свою очередь, такою же, какою я оставил ее, хотя приметил, что теперь она стала гораздо гуще, а следовательно, и неугомоннее; но и это обстоятельство нисколько не изменяло кумова апартамента, потому что башмачник Фаламей не обделял никого из девчонок и мальчишек, составлявших молодое поколение подвала, когда задавал им трепака и колупал масло, отчего молодое поколение носило на своих головенках одинаково чесавшиеся больнушки, от которых, следственно, ревело точно так же и в настоящем случае, как ревело за год перед этим, ни на полтона даже не повышая и не понижая своих голосов.

Да, все обстояло в подвале по-прежнему, потому что очень трудно такой жизни построиться на какой-нибудь другой лад по той простой причине, что подо всем этим прекрасным небом нельзя найти лада, который был бы сколько-нибудь хуже этого. И господи! До того шло там все по-старому, что сам я, как и прежде, обманул ожи-

дания ребячьей стаи, облепившей меня, потому что был вне всякой возможности дать что-нибудь на гостинцы этой малолетней, вечно голодающей братии.

Уныло и молчаливо отошла от меня, как говорят поэты, розовая юность, а я, как и всегда, что особенно люблю, стал прислушиваться к стенам подвала, которые на сей раз говорили мне так:

«Ну, что, Иван Петрович? Что, кум ты мой золотой? Куда ходил? Что выходил? Э-эх ты, ветер степной, Иван Петрович! Право, ветер! Вот тебе от нас первый привет. Думали мы, что ты, гуляючи по хорошему божьему свету, хоть чуточку поумнеешь, хоть немножко посократишься, а он все такой же... Что задумался-то? Глаза-то что на нас так пристально выпучил? Нечего на нас пучить глаз, потому узоры на нас всё те же...»

Шептали мне черные стены эти слова с какою-то особенно выразительною насмешкой, словно бы насмешкой этой они меня хотели образумить и наставить на какой-то, совершенно неизвестный мне, истинный путь.

Так, я помню, в старину, когда я был еще совсем малым ребенком, старая бабка моя, смотря на разные мои, как она говорила, дурацкие выходки, укоризненно и насмешливо покачивала своей седою головой и язвила меня острыми стрелами разных народных пословиц, вроде, примерно, следующей:

— Эх, дитя! Не будет в тебе путя...

До слез, бывало, пронимали меня эти многозначительные бабкины слова. Открывши в шепоте стен кумова подвала нечто схожее с ними, я бы тоже, вероятно, заплакал и теперь, ежели бы давно уже разлившаяся по телу моему злобная желчь не вытеснила из меня все без остатка мои горячие, искренние слезы.

IV

— Вот за это я тебя, куп, страсть как не люблю! — этим восклицанием вывел меня из моей задумчивости старик-кум (назовем его давнишним именем, приобретенным им в полку, где его прозвали Обгорелый).— Так вот за это я тебя недолюбливаю,— повторил Обгорелый.— Выпьешь ты, дружок, малость какую-нибудь и сейчас же задумаешься, лицо у тебя в синие пятна ударит, и словно бы ты в такие времена разорвать кого на

мелкие части надумываешь. Право! Это мне очень не по нраву. Выпей-ка, авось, может, поотпустит тебя злоба-то твоя.

— Что же это, я все у тебя оглядел, увидал, что все на прежних местах стоит,— сказал я,— а про Катю не спрошу: где она у тебя?

— Помалчивай до поры до времени,— с какою-то плутоватою улыбкой ответил мне кум.— Мы тут такую-то крутую кашу завариваем, и как есть, братец ты мой, к самой каше ты подоспел. Вот счастливый какой, а еще все судьбой своей недоволен!

А Катя, про которую я сейчас осведомлялся у солдата, была существом такого рода: во всех вообще девственных улицах существует обыкновение распускать про всякого человека, вновь основавшего свой притон в их тишине, молву, что будто у этого человека страсть сколько деньжищев и добрища всякого, вряд ли на три подводы уложишь. Конечно, этому, по-видимому, странному обыкновению удивляться много не следует, потому что страсть поврать про чужие деньжищи и добрище свойственна всей гольтепе вообще. По этому случаю, лишь только переехал солдат в свой подвал, как сейчас же про него вся улица как в трубу затрубила.

— Одних шинелей у него три,— по секрету перешептывались между собою соседские бабенки,— сапогов четыре пары, голенищев старых видимо-невидимо навалено. Кому копит, а? Скажи, пожалуйста, кому копит старый идол? — даже с некоторым негодованием вопрошала одна из бабенок.— Околеет ведь, старый шут, глаз некому будет закрыть.

— Ты про шинели-то да про голенищи не толкуй лучше! — вступалась другая,— а ты вот что послушай: видели у него бумажек денежных вона сколько!..— и при этом бабенка, припрыгнувши, чтобы быть порослее, взмахнула рукой над своею головой, желая означить тем, сколько именно у идола-солдатища было денежных бумажек.— Теперича,— продолжала она,— видели у него также целый сундук с образами, и все-то они, батюшки мои, в серебряных ризах у него разодеты, все-то в серебряных...

На основании этих рассказов одна согрешившая девочка некоторою темною ночью взяла да и подкинула свою новорожденную дочку к богачу солдату.

— Она у него счастлива будет! — рассуждала молодая мать.— А то, поди-ка, из воспитательного дома кому еще на руки попадется...

— Вона сокровище какое господь мне, старому шуту, послал! — сказал кум, вывертывая ребенка из разных лохмотьев.— То тридцать лет с ружьем нянчился, теперь же вот с чужой дитей придется понянчиться, а там уж, верно, судьба за прялку меня усадит...

Поворчал-поворчал Обгорелый таким образом, а все-таки послушною нянькой уселся наконец за детскую колыбель и своими песнями, петыми хотя и на волчиный манер, выбаюкал себе такую прелестную девочку, про которую многочисленные жильцы говорили, что об ней, все равно как об царевне какой, ни в сказке нельзя сказать, ни пером написать.

Я совершенно не знаю, каким образом и для чего именно на тощей и так гибельно воняющей почве подвалов родятся существа с головками, улыбающимися и цветущими, как улыбаются и цветут на холсте прелестные создания великих художников,— не понимаю, для чего даются этим существам белокурые волосы, кого в том подвале хотела природа *удовлетворить,* творя этот гибкий, как наша стройная отечественная сосна, стан; но знаю и сказываю о том обстоятельстве, что ундер-офицерский подкидыш, прозванный горем подвальным царевной, про которую нельзя ни в сказке сказать, ни пером описать,— был, есть и будет царевной моего одинокого сердца...

Повинуясь могучим стремлениям нашего времени, я долгое время шатался в кумов подвал, внося, насколько мог, в мерзость его запустения понятия о ином, внеподвальном свете. Я много раз примечал, как цветущая белокурая головка улыбалась, радуясь такому свету; но улыбка эта, дававшая мне столько радостей, всегда же и глубоко мучила меня, ибо в то время, когда в ней зарождалась другая правда, ничуть не похожая на правду кумовой жилицы — бородастой свахи Акулины, сам подвал в этот момент, мне казалось, начинал покачиваться, словно бы жалея о чем, и, как-то сокрушительно улыбаясь, шептал мне:

«Ах, Иван Петрович! Голова ты этакая болезная! Ну на что *это* нам? Ну что мы с *этим* добром поделаем? Помни ты мое верное слово, Иван Петрович! Будет у нас

с тем добром не в пример больше слез, больше и воздыханий».

И так крепко донял меня подвал такими словами, что я однажды сказал подвальному цветку:

— Прощай, Катя! Ухожу из Москвы на родину. Хочу посмотреть, по-прежнему ли наша матушка-степь своей красотой сияет.

Говорю так и смеюсь, и она смеется.

— Ой,— ответила она,— не ходите, Иван Петрович! Люди, Иван Петрович, переменнее степи всегда бывают, об этом во всякой книжке говорится, какую мы только с вами читали.

Я даже хотел было остаться, смотря на эту улыбку, с которою Катя говорила о том, что люди изменчивее степи. Так много обещала эта веселая, добрая улыбка! Но, к счастью или к несчастью, подвал опять зашептал мне:

«Ты что же это, Иван Петрович, оставаться хочешь? Гляди ты у меня: я тебя *тогда* своими старыми стенами в прах раздавлю...»

Унося мою больную голову от гибели в этих так мрачно глядевших стенах подвала, я пошел. Пошел я, куда глядели мои глаза, и когда, возвратившись назад, спросил у кума, где Катя, он только ответил мне, что я счастливец, подоспевший к весьма крутой каше. Ответ, как видите, весьма замысловатых и таинственных свойств; но я, изучивший нравы девственных улиц, сразу понял, по какому именно поводу и из каких круп заварилась эта крупная каша,— понял до того ясно, что мое сумасшедшее сердце снова дрогнуло и заныло от той страшной боли, которою подарило его это ясное понятие о предстоявшей каше.

— Да, куманек! — снова повторил кум, задумчиво разглаживая свои усищи.— Признаться сказать: заварили хлебово! Не знаю только, как иному молодому народу придется его расхлебывать. Про себя не толкую, потому стар я, ну и, значит, хлебывал вволю... Вот как хлебывал — до крови!.. Ну а молодым как покажется — не знаю, и ежели, то есть, не божья воля, так лучше бы мне скрозь земь провалиться, чем голубчику моему — дите моей кровной — то кушанье из своих рук подносить...

— А вы, дяденька, не ропщите, пытаму судьба наша

известно от кого происходит...— вмешался в нашу беседу молодой, еще неизвестный мне парень, в синей чуйке, в смазных сапогах и ситцевой красной рубахе, видимо, мастеровой. Он был еще очень молод и потому сделал старому солдату свое юное замечание весьма сконфуженным тоном, и притом неуклюже переминаясь на деревянном, выкрашенном черною краской стуле.

— Молчи уж ты, голова! — сердито отозвался кум на замечание молодца.— Мы у судьбы-то в лапах от люльки и по сю пору находимся, так мы ее лучше тебя не в пример понимаем, какая она до нашего брата милостивая... Кум! выпьем с тобой, да не по рюмочке, а по стаканчику, потому скорбит мое сердце. Ох, какая лютая казнь одолела его у меня! Тебе, кум, об этой казни своей прежде времени не скажу, потому пуще меня ты, пожалуй, винище жрать примешься. Знаю я тебя!

Но я давно уже понял лютую кумову казнь и потому с яростью истого плебея, приученного и, следовательно, привыкшего топить горе в стакане, выжрал стаканище, предложенный мне солдатом, опустил мою голову, послушно склоняющуюся пред всяким несчастьем, и стал по обыкновению прислушиваться к тайному подвальному шепоту, а подвальный шепот на этот раз был таков:

«Иван Петрович! — глухо и печально шептали стены,— знаешь небось ты нашу жизнь-то собачью? Ведь Катька-то у нас задурила... Ведь в степь-то тебя черт понапрасну таскал... Может, она, Иван Петрович, эта самая Катька-то, такой бы женой была верной, да доброй, да умной...»

А солдат в то же время с тщетно сдерживаемым рыданьем говорил молодому парню — нашему собеседнику:

— Выпей и ты, парень! Выпей сразу побольше, потому тебе, паренек, надо час свой великий в полной амуниции встретить!

— А я, дяденька, как вы сами изволите знать,— заикнулся было молодой парень,— насчет хмельного ни-ни, то есть, чтобы, то есть, одну каплю когда — ни под каким видом...

— Будет, будет, жених, раздобары раздобарывать! — грозно прикрикнул на него кум.— Сами женихами бывали, знаем поэтому, как это ни капли-то, ни под каким видом... Пей, говорю. И ты, кум, выпей! Повторим мы

с тобой, голова, потому мы постарше и знать свое дело завсегда мы должны во всяческой полности.

И действительно, я давно уже знал свое горькое, всегдашнее дело — плакать и пить, и потому я с еще бо́льшим азартом повторил громадный стаканище.

— Так-то вот лучше! — проговорил кум, когда вся наша компания хватила по стакану.— Теперь словно бы отлегло маленько — полегче будто бы стало...

— Это точно, что будто полегче безделицу! — вступился молодой парень.— Только, дяденька, вы теперь беспременно меня поддержать должны, потому как это она в любви с *ним* находится, и как я должен с ней от него под честной венец идти, и мне это теперича вот в какой ясности приставляется — страсть! Сердце у меня от эвтого приставленья во как зажгло!..

— Пей, парень, ежели приставляется! — командовал солдат.— Когда маленечко ополоумеешь, всегда лекше становится. Ну! — прибавил старичина, внезапно озлобляясь,— ежли бы *он* мне попался когда, искрошил бы я его в мелкие дребезги! Хоронится завсегда, словно знает, что я бы его зубами изгрыз.

— Нет, вот мне бы господь когда-нибудь подал его в ручки ночкой какой-нибудь темненькою,— я бы тово... Прямо скажу: может, с живого-то вряд ли бы и слез,— продолжал мастеровой солдатскую речь.

— А кто это *он*-то? — спросил я, чувствуя, как горячая кровь обливала сердце мое и душила меня, чувствуя, что и я, даже не в темную ночь, если бы встретился с *ним*, так с живого тоже вряд ли бы слез с него.

— Он-то кто? — переспросил меня парень.— Афицер один, богатый... А я допрежь ее знал, как на родную мать издали глядел на нее и глазами своими ее любовал... Может, уж года с три той моей великой любови прошло.

В это время за окнами послышался глухой стук московской пролетки — той шикарной, налощенной пролетки, с фордеком, на которых так называемые московские извозчики-лихачи катают барынь, по народному говору, *вольного обращения,* и вслед за этим стуком в подвал вошла Катя, шурша толстым платьем из черного глясе́, сияя дорогой цветистою шляпой и золотыми браслетами на ослепительно-белых и маленьких ручках.

— Банжур, дяденька! — сказала она старому солдату, как-то особенно разухабисто и фамильярно.— Ах, Иван Петрович! — обратилась она ко мне,— какими судьбами?

— Дитя мое, дитя мое! Что ты с нами, с горемычными, сделала? — ответил я с громким плачем пьяного, и следовательно, необыкновенно тонко чувствовавшего сердца.

Потом я уже ничего не помню о той крутой каше, которая варилась в это время в подвале.

— Акулина! Акулина! — кричал, как мне помнится, мой кум.— Бежи скорее за причтом,— я уж всем им говорил, какая у нас история... А вы держите крепче, а то вывернется, ускачет.

— Ты опять тут, ты опять пришел! — кричала Катя, очевидно было и для меня пьяного, на молодого мастерового.— Я ведь сказала тебе, что не пойду за тебя.

— Рази лучше скверной девкой-то быть! — кричал, в свою очередь, мастеровой.— Опомнись, Катя, опомнись!.. Ведь они над нашим братом потешаются только, господа-то...

— Иван Петрович! — громко кричала мне Катя,— заступитесь за меня: не давайте меня благословлять, сироту, поневоле... Будьте свидетелем: не хочу я за него идти...

Но я уже не мог быть свидетелем для Кати в том, что ее благословляют поневоле за немилого замуж, по многим причинам, из которых самые главные были следующие:

— Ну, ты теперь ее жених! — угрюмо бубнил солдат.— Следовательно, все равно муж... Прибей ее, шельму, чтоб она от закона не отказывалась.

— Как же! — истерически всхлипывала Катя.— Погляжу я, как вы меня прибьете...

— А ты думаешь, не прибьем? — орал мастеровой.— Ты думаешь, сердце мое не болит? Вот тебе, будь ты проклята! Я, может, жизнь свою загублю, в церковь божию с тобой идучи, а ты в такое-то время по злодее по моем сокрушаешься.

Послышался звук пощечин и отчаянный крик женщины.

— Молодец, Абрам! — говорил солдат.— Так ее и следует. Опосля слюбится...

Но, повторяю, я ничему не мог быть свидетелем в это время, потому что сидел совершенно разбитый этою сценой,— сидел я, а Катя кричала мне:

— Подлец, подлец! Что же ты не заступишься? Зачем же ты иное-то всегда мне говорил?.. Зачем же в книжках твоих про заступу всегда слабому говорилось?

Сидел я, говорю, немея от этих оскорблений, а подвал мне, кроме всего этого, свою речь вел:

«Видишь, Иван Петрович! Всегда я тебе толковал. уйди ты от нас, потому будет у нас от твоих слов большое горе... Господи! — взмолился старый подвал, как бы подвижник какой святой,— когда *только* эти слова *будут идти не мимо нас?..»*

— Ох, горе! Ох, горе! — сокрушенно взывал мой старый кум.— Но, может, к хорошему, может, остепенится — в настоящий закон и послушание богом данному мужу войдет. Н-ну, только ежели *он* попадется мне когда в темном месте!..

— С бог-о-м, рр-ре-е-бята! — командовал с печи старый сумасшедший капитан.— К-л-ладсь! П-л-ли! В ш-ш-тыки на вр-ррага. Ур-ра!..

Так смертельно раздразнили его Фаламеевы ребятишки.

Затем вся компания без исключения, вследствие ни с чем не сообразной выпивки, потеряла сознание, и я уже ничего больше не помню...

1864



БАБУШКА МАСЛИХА

I

Ни разу не слыхал я, чтобы кто-нибудь пел так хорошо, как певала в старину бабушка Маслиха. И хлеба тоже во всем нашем городке ни одна торговка лучше ее не пекла.

Бывало, спит еще маленький городок, на далеком всходе небесном только чуть-чуть показались золотистые тонкие лучи, предвещающие появление солнца;

прохладные, далеко гонящие дремоту утренние туманы носятся над сонными улицами какими-то грозно одушевленными снопами; по самым улицам ленивою и неслышною поступью тянется нескончаемый обоз с камышинскою солью, с саратовской золотою пшеницей, и во всей этой мертво спавшей, но мирившей со всякой мирской злобою жизни, ей-богу! нельзя было разобрать, кому слаще спится, кому добрей грезится: чумакам ли изпод Пирятина, что идут около своих тучных волов, глухо пошаркивая далеко пахнущими дегтем сапожищами, или самим волам. Склонивши глазастые и рогатые головы на старинную деревянную запряжку, шагают быки и будто думают,— будто они думают о чем-то таком важном, что вот против их воли приподнимает к рассветающему небу их тяжелые, опущенные к росистой земле головы — и во все их звонко щемящие горла дружным хором заставит вскрикнуть: «Ой вы, чумаки-чумачищи пирятинские! Не пора ли вам, чумачищи пирятинские, нас, быков черноморских, из тяжелой упряжи выпрячь?.. Ой, не мы ли с вами, быки черноморские, всю нашу степь летними господними ночами тихим походом прошли? Видели мы вместе с вами в те темные ночи, как в степи дальние села ярким пожаром горели, слышали, как поперед нашего обоза в глухую полночь громкий крик человеческий, что из-под светлого лиходейского ножа вылетал, дюже разрезывал,— с вами вместе, усастые чумачищи, мы жаркими днями были жаждой палимы, а страшными ночами — бескормицей,— распрягайте же нас, чумаки, поскорее и давайте нам отдых...»

Но сладкая заревая дремота не давала выкричаться этой бычачьей думе, следовательно, в ничем не нарушаемой тишине спящего городка еще звонче, чем в тревожное время жаркого полдня, раздавалось пение бабушки Маслихи, которая, несмотря на раннее утро, уже везла на базарную площадь полную тележку с хлебом, с пареными грушами, вареными печенками и прочим снадобьем, до какого такие охотники эти чумаки, распрягающие наконец на той же площади своих усталых волов.

С каждым днем все пуще и пуще забывает степь свои старинные песни и сказки. Ныне разве только в светлой хоромине старообрядца можно услышать те псальмы, которыми некогда Маслиха будила наш го-

род. Ее внучка даже, вышедшая замуж за городского попа, поет уже большею частию совсем не то, что некогда певала она на базарной площади с своей бабкой. Ее сыновья-семинаристы с каждой побывкой домой привозят ей из губернии всё новые книги, из которых сам поп выбирает самые лучшие стихи, и тогда поповский залик, весь заставленный пахучими степными цветами, с мастерски написанными образами и картинами хозяйской работы, развешанными по ярко выбеленным стенам, тогда, говорю, этот залик оглашается грустным звоном старинных гуслей и дружным хором семьи, который сходился слушать весь город.

Да! совсем другое ныне поется в степи. Поповская семья поет ныне Некрасова и Кольцова, приводит в неизъяснимый восторг своих уличных слушателей церковными молитвами Львова и Бортнянского, а тогда, когда жила бабушка Маслиха, ничего такого мы — степняки — одним ухом даже не слыхивали.

Были, конечно, и в те времена люди, которые ни свет ни заря выползали из кабаков и горланили, приложив руку к раскрасневшейся щеке, что вот-де *«был я, мальчик, на почтовыем дворе»,* точно так же, как и в поповское время есть ухачи, какие до беспамятства одуряются завезенною московским молодцом песней, рассказывающей про то, как этот дурачина, всю жизнь свою процветавший в лавке под хозяйским безменом, был будто бы одним вечером в *маскараде.* Поистине: ничего нет во всем мире безобразнее этой ленивой и исполненной какой-то невыразимой тупости песни; но тем не менее часто случалось так, что нелепые крики, выражавшие, как именно шатался по *маскараду* лавочный осел, гармоника, свист и пляска, которые обыкновенно сопровождают те крики, сполна заглушали прекрасное пение, которое разливал на темный городишко светлый поповский дом.

Большим походом идут новые новости на старую степь, с каждым годом все больше и больше наплывает на нее тех новостей. И, словно бы, сказать не соврать, новости эти мало добра с собою приносят, словно бы от них истома какая-то нападает на степных людей и болезнь... То ли оттого это, что мы к старому очень привыкли, а то и оттого, может быть, что не наши они, а надувает их на нас, как злую холеру, ветер далекий...

Знает про то один господь-батюшка. Он у нас могу-

чей рукою своей в последние годы даже как бы изменил день и ночь, вечер и утро. Все это как-то не так ложится теперь на нашу благодатную землю, как в старину ложилось, потому что заговорили теперь степные смирные люди так, как в прежние годы им редко говорить доводилось:

— Что это ныне хлебушка-то у нас не очень, чтобы тово...— толкуют мужики.— И травки зеленые тоже не так чтоб... Пожалуй, эдак-то будет, так скотина-то у нас дюже притомится за зиму-то...

— Да, вот он какой ныне, хлебушка-то! — вздыхал другой.— Ты про скотину помолчи лучше, потому Христос над ней завсегда. Ты про себя пораздумай, про семью. Ей будет ли что в рот положить?..

— Н-ну, торговля ныне пошла! — озлобленно восклицают мещане, сердито выпыхивая зеленый дым из коротеньких трубочек.— То есть вот до чего обголодал я с этой торговлей, что в охотники хочу наниматься...

— А мне,— угрюмо договаривает другой,— ежели бы только не совесть, так хоть под дорогу с вострым ножом становиться, так в ту же пору... Погляжу вот, что еще будет, а то куда кривая не вынесет... Хуже-то, пожалуй, вряд ли и *там* будет...

Вот сколь сладкие разговоры заступили ныне место сладкого Маслихина пенья!

II

Перемерли старые люди в степи, переменились разговоры, пошли другие и песни, так что от бабушки Маслихи я уже от последней слышал, как она начинала свой многотрудный день какою-то полупесней, полумолитвой:

Жертву богу приношу,
Благодати я прошу.
Господи, помилуй создание твое!

Скрипит по пыльной дороге ее тяжело нагруженная тележка — тащит ее бабушка Маслиха, высокая такая старуха, с крутым лбом, полузакрытым ситцевым шлыком, с сердитыми на первый взгляд, но умными чертами лица,— тащит старая торговка свою телегу и временем, невзирая на раннее и, следовательно, прохладное утро, словно бы отмахиваясь от чего то одной, то другой рукой, отирает с желтых впалых щек трудовые, потные капли.

Так плавно ходила Маслиха в своей упряжи, что, кроме этих редких отмахиваний, в ней нельзя было подметить ни одного движения, которое бы хоть сколько-нибудь нарушало ту важность, с которою она хаживала на трудное дело честного кормления от своих собственных, как она выражалась, вдовьих рук.

Словно бы, говорю, не шла Маслиха, а плыла, и в это длинное плаванье, которое совершала она от своей избушки, как-то пугливо, совершенно по-сиротски прилепившейся на самом краю города, до рынка, она преимущественно любила петь длинную старинную псальму, начинавшуюся так:

Ужаснися, человече!
И слезися своим сердцем,
Потерял себя ты ныне
Во гресех своих.

Далее длинная псальма звонкоголосно рассказывала длинной дороге о неизбежности скорого покаяния — пугала мертво спавший город грозным примером Сарданапала, погибшего в пламени своего вечно пировавшего дворца. Грохот городских разрушаемых стен, пламя, распростершееся над громадным городом, стоны сокрушаемого правосудною рукой грешного народа и яростные крики победителей так и виднелись в каждом тоне Маслихиной псальмы,— так, как что-то видимое и одушевленное, и излетала с ее уст божия кара осужденным на погибель царю и царству...

Любопытная очень эта псальма! Мне, собственно, она и теперь представляется каким-то живым существом с мощным и гневным лицом, окруженным, как у святых, сиянием славы великой... Я передам дальнейшее содержание этой русской поэмы, созданной сразу каким-нибудь слепым певцом, насколько я еще помню его.

Ярко обозначив многоразличные виды человеческих прегрешений, поэма до бесконечности осязательно начинала рисовать, что именно хранится у господа, чем он, вместе с человеческим родом, сотрет с лица земли все его мерзости. Развертывалась тогда страшная картина последнего суда — картина, видимо, сочиненная простым русским человеком, потому что воображение, пораженное ею и потом выразившее ее, решительно не видело себе никакого удержу... Здесь с объятого пламенем неба на всю сокрушаемую землю в слух всем племенам и

языкам разливались трубные гласы от стооких и стокрылых ангелов, возвещавшие суд; каменные горы сходили с своих вечных оснований, сдвинутые с них всепоборающею силой этих звуков; целые царства, пораженные ужасом, как стада робких баранов, в невообразимой суматохе бежали в леса и горы с всеобщими, достигающими до неба воплями об укрытии; а леса и горы одушевились теперь и своими от века молчавшими языками сказали им: «Не ходите к нам!.. И у нас гибель!..»

Тогда поражаемое отовсюду человечество остановилось, как бы пораженное смертью, и *зверь седмиглав,* по песне, *имя же ему аполлион, сиречь губитель, хулясь и глумясь,* устремился на него, предводительствуя миллионами многоглавых змей, дышащих серой и пламенем, и началось тогда *терзание рода человеческого неописанное,* и были слезы его в то время столь велики и громки, что дошли до самого господа Саваофа, грозно царившего в пламенном и разгневанном небе...

«Прейдут земля и небо, слова же мои не прейдут!» — ответил бог умолявшим стонам земли, и — кончала псальма — тогда все прешло на земле, все затихло на ней, как в могиле, и воцарилась на ней непроглядная вековечная тьма!..

Чутко прислушиваются детские уши к голосам, поющим такие песни. Бывало, только что заслышит утреннею зарей в какой-нибудь мещанской хоромине спящий ребенок, как идет Маслиха и поет, сейчас же принимается будить мать:

— Маменька! Встань-ка; пусти меня изблизи поглядеть, как бабушка Маслиха песни про Страшный суд играет...

Но мать слишком разморена домашнею суматохой прошлого вечера, и потому она, как бы приветствуя сына подзатыльником с этим так прелестно рассветающим утром, говорит ему впросонье:

— Змей! Отвяжись. Когда ты матери уснуть дашь?

И, повторяя подзатыльник на повторяемую просьбу отпустить на улицу, мать уже совсем во сне продолжает:

— А! Ты хочешь изблизи посмотреть, как Маслиха поет? Отсюда рази не слышишь, как она разливается? Ты, может, пощупать ее песни не хочешь ли?..

Бедная! В своем полусне старушечий голос Маслихи

она сочла за звонкий голос работницы Марфы с соседнего постоялого двора, а слова ребенка ей показались за убедительные просьбы мужа отпустить его с супружеского ложа для того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на нее, как эта молодая франтовитая солдатка, отгоняя в стадо хозяйских коров, поет громкую песню, подмигивает ему, городскому торговцу, мещанину Ивану Кривошапкину, и шепчет:

— Полно тебе, мещанин Иван Кривошапкин, с старой женой на мягкой постели спать! Обежал бы ты, соседушко, Иван Кривошапкин, по огородним задам во чисто поле, куда я коров гоню. Там тебе, милый сосед, я такое бы слово сказала, какое не в пример бы тебе слаще всех жениных слов показалось...

А Маслиха между тем всею, так сказать, грудью пышет:

Звезды с неба упадают,
Вихри по земли бушуют,
Змеи огненны стремятся,
На людскую злую гибель.
Гой! Где же спасусь
Я, человек?..

И тихо встает ребенок с материнской постели. Дрожа покидает он эту постель, опасаясь получить в будущем третий подзатыльник за самовольную отлучку с нее, дрожа выбегает на улицу, которую торговкино пенье кажет ему всю наполненную седмиглавыми змеями, из которых торчат огненные шипящие языки, и нет ни одного самого тайного уголка на всей улице, где бы можно было укрыться от их насмерть обжигающего мученья...

— Что, миленький, вскочил уж? — спрашивает Маслиха ребенка.— Хорошо это, соколик, рано вставать, особенно мальчикам. Словно ты теперь у меня какая ранняя птичка. На-ка тебе грушку пареную, съешь, золотой!

— Ты, бабушка, лучше песню играй,— отвечают ребятенки, которых собралась уже около старухи значительная кучка,— мы за тобой пойдем, слушать будем, какой он такой Страшный суд, а груш нам не надо.

— Ну вот, может, коврижечки пеклеванной не хотите ли? Тепленькие еще коврижечки-то у меня — сласть!

— Не хотим и коврижечки,— настоятельно отказывались птенцы.— Играй лучше.

И, послушная ребячьим просьбам, Маслиха продолжала свою картинную песню о Страшном суде, научая маленьких ребяток ее страшными казнями бояться и убегать злого, творить вместо этого неуклонно одни только добрые дела, и мальчишки, в свою очередь, послушно шли за нею на дальний базар, где и ютились около нее до тех пор, пока их желудки не запрашивали обычного молочного кулеша из желтого пшена.

— Как это им только не надоест эта Маслиха? — удивлялись отцы и матери, встрянувшись про давно улетевших вслед за торговкой ребят.— Уж на что нам дома делов много, а и то мы все песни ее наизусть выучили, а они и дома жужжат их и за ней, кроме того, аккурат каждый день бегают.

Но не только малые ребята, а даже и многие взрослые очень веселились Маслихиными певучими походами от ее избушки к базару.

— Истинно, что не иначе, как она,— разговаривали про старуху седые грамотеи-мещане,— в старинные времена святые пророки по стогнам градов ходили, обличая разврат душ, загрубелых в грехах окаянных...

— Вот так бабушка! — звонко горланили про певицу мальчуганы, посасывая подаренные ею груши и попрыгивая по-сорочьему через ножку.— Добрее родной бабки Маслиха-то у нас! Тут же мы теперича, кулешка у маменьки похлебамши, к ее внучатам на огород играть побежим.

III

Крикливый уездный базар относился к бабушке Маслихе не менее малых ребят и седых чтецов любовно. Отворялись ли кем-либо скрипучие двери базарного кабака, сейчас же этот кто-либо подходил к Маслихе и, находясь даже в добром подпитии, не забывал снять овчинную лохматую шапку, наклонялся к ее тележке и говорил:

— Ты мне, бабушка, тово... выбери чего-нибудь поскуснее, а я уж, признаться, заложил, так вижу плохо — не разбираю. Отуманило натощак-то и-их как! Так это, милая ты моя бабушка, от этой косушки проклятой искры у меня из глаз-то столбами, столбами!.. Круги какие-то огненные ходят, булавки бы словно какие тол-

кутся вострые, развострые... Так ты выбери, знаем уж, что у тебя без обману. На правиле все у тебя — давно об твоей чести известны.

— Какой тут обман, золотой! — ласково вступалась Маслиха за честь своей торговли.— У меня, вишь, легонькое какое я для тебя сварила,— прелести! На всем базаре кусочка другого не найдешь. Али, может, ты печеночки хочешь? С сольцой тебе печеночки али так лучше излюбляешь, без сольцы? Только ты напрасно эдакто, голубчик, испивать стал. Прежде что-то я, видючи тебя на базарах, никогда не видала тебя таким пьяным. Вить эку махину он огорошил — косушку цельную — в таких-то летах! Стыд!..

— Что ты со мной, милая бабушка, разговариваешь? — отповедывал кто-либо.— Горе у меня, бабушка, эдакое — подумать страсть! Твои бы старые глаза от такого горя и то бы слезы великие дали!

— И-и, кормилец! У молодых какое горе? У нас вот — у старых, как заноет спина, так слезы точно что прошибают.

— Это что спина-то? Ноет она и у меня, даром что молокосос перед тобой. А ты вот погляди, где тоска-то: в груди у меня тоска-то, всего вдосталь съела, пытаму, гляди, бабка, жену у меня, слышь? отец родной оттягал. А?

— Не греши, не греши, родимый! Не бывает этого... Это тебе враг в глаза приставы приставляет для одного греха только.

— Какой там приставы? — ожесточенно восклицала овчинная шапка.— Не один он, а и управляющий тоже... пытаму она у меня красивая из себя. Я ее за красоту-то эту, может, пуще жизни люблю. И как они меня, милая бабушка, казнят за это с двух-то сторон: один на барщине, другой дома,— мучительски казнят!.. Нигде я от них спокойствия не найду...

— Молчи, молчи-ка ты, парень! Видишь, базарные ярыги нашли — смехи-то твои слушать, сынок! Ляг-ка вот ты, милый, под тележку в тень, проспись. Может, снимет с тебя господь наважденье бесовское.

И затем Маслиха насильно укладывала несчастного парня головой под телегу — мыла ту голову, словно сынину, холодной водой, а собравшемуся народу, охотнику

прислушать и засвидетельствовать судное дело, говорила:

— Захмелел парень-то! На жену с управляющим гориться принялся. Смехи рассказывал. Насилу уложила,— с отцом-то стариком при моем покойнике хлеб-соль важивали часто.

А ярыжники-мещане, шатающиеся по базарам с целью, как они называют, объехать кого-нибудь и вздуть, говорили промежду себя, слушая Маслихин рассказ:

— Ну, моли бога, сельский парень, за то, что судьба свалила тебя у Маслихиной телеги, а то бы мы сейчас про твое дело засвидетельствовали, позвали бы сюда столоначальника Петра Сдвиженского (он до таких-то делов больше, чем ворон до крови, охотник!), и сейчас бы он явки об твоих словах навел. Была бы тогда у нас твоя лошадь, да, пожалуй что, совсем и с обротью...

Также и из того круга, который на базарной площади соорудили пирятинцы из своих фур, подходили к Маслихе задумчивые проезжие чумаки.

— Будь здорова, бабо! — говорили они.— Что, ты все еще на своих ногах по белу свету шастаешь?

— Да вот как видишь, казак! — отвечала Маслиха.— Служат покамест ступаны-то мои, все еще они носят меня на базар для того, чтобы было кому вашу братью, парубков удалых, кашей с салом кормить. Видишь вот: сальца-то какого я для вас припасла, знала, что вы нынче по нашему городу проезд иметь будете,— и при этом торговка разворачивала тряпье, прикрывавшее лубочное днище ее укладистой телеги, и показывала хохлам белое, как снег, сало, слоистое, с прянистым духом...

— Ото гарно! — восклицали хором чумаки, лица которых вмиг просветлели при виде этого чудесного сала.— Се то сало, яке у нас у домі ведетця.

— Вот то-то и есть, молодик! Не у одних только у вас в хохлачине жены сало-то делать здоровы. Вот вам теперича, ребята, хлебца (мягкий хлеб, теплый еще!) по ломтику и сальца по ломтику,— опробуйте. Горелки уж сами прихватите.

— М-м! — протяжно мычали хохлы, уписывая лакомство родимой сторонки.— Ты нам, бабо, сала этого продай всю кадушку про дорогу нашу про дальнюю.

— Для вас и припасала, панове! — отвечала Маслиха...

А там уж базар посылал к ней других людей с другою лаской.

— Бабушка! — вскрикивал маленький белобрысый мальчишка, улучив минутку, чтобы выбечь из темной и вонючей лавки на кипящий разнообразным народом торг.— Хозяин у тебя, бабушка, велел попросить пятаков на грош разменять. И монету самую прислал.

Сказавши такую штуку, мальчишка заливается звонким смехом, воображая, что он окончательно уничтожил старуху своею остротой.

— Спасибо, милый мальчик, за добрую шутку,— отвечала Маслиха.— Я на тебя, золотенький, отцу при свиданье пожалуюсь за то, что ты над слепою старухой насмехаешься,— он тебя за шутку-то эту, пожалуй, березовою кашкой попотчует; а сама я, чтобы ты впредь над старыми людьми не потешался, вот тебе жертвую грушку на закуску. Знаю я, в лавке-то скучно; а то, может, кваску не хочешь ли или зернышек подсолнечных.

Мальчишка, видимо сраженный, рысью направляется обратно в лавку вместе с своей шуткой, подслушанной у взрослых; но старуха догоняет его и насильно сыплет ему, раскрасневшемуся от стыда, целую горсть подсолнечных семян.

«Чудаки эти ребятишки,— улыбаясь, говорит про себя Маслиха.— Прибей их за баловство, так они назло тебе другую штуку какую-нибудь самую хитрую выкинут; ну, а ежели за это же самое баловство приласкаешь их как-нибудь умненько, так они краснеть примутся, стыдиться... Примечала я и над своими и над чужими ребятенками, что лаской-то с ними лучше обходиться — послушнее они тогда делаются...»

Но главным образом около Маслихи любили хороводиться базарными ранними утрами голодные семинаристы, или, как их звали в городе, кутейнички. Сорок с лишком лет каждый день аккуратно выезжая на рынок с своей нагруженною тележкой, Маслиха перезнала маленькими ребятишками-учениками все духовенство уезда, ребятишками неимоверно голодными, часто, следовательно, по этому случаю ворующими, просящими в долг до приезда из родительского дома или даже просящими просто *за так,* Христа ради...

— Мученики — эти ребятишки духовные,— говорила про них старая торговка с напрасно сдерживаемыми сле-

зами.— Истинно мученики. Нет во всем городе мастерства труднее ихнего, и пищи и житьишка тоже хуже ихнего: что у них всякой дурной твари водится в одеже, в голове — страсть! Потому отцы их бедны, а начальство строго, аки звери лесные, опять же и взятку любят, как кот мясо. Принесет так-то кто-нибудь из нашей братии мещан набольшому их, шпехтором прозывается, кизлярки полштоф, так он к этому подхалюзе-мещанишке человек тридцать их в одну избу, словно птиц в клетку, и напихает... И заводится от этого и в избе и промежду жильцами малолетними всякий смрад и всякая боль, потому известно, какие у нашего брата избы. Одной хозяйке, ежели она мало-мальски тело имеет, повернуться перед печью нельзя... И тут-то она их, этих несчастных кутейничков, лает, что они мешают ей длинными рогачами в печке орудовать, тут-то лает,— не приведи матерь божия лютому врагу моему такую брань лютую вынесть...

А они, эти кутейнички, шершавые, в синих, из домашнего толстого сукна халатах, угреватые, босые, в золотушных и чесоточных струпьях все, тут-то вопиют к Маслихе, окруживши ее изможденною, голодающею стаей.

— Бабушка! Дай хлебца в долг, тятенька письмо пишет, что скоро приедет, так отдаст тогда все сполна,— пристают пуще всех истерзанные дьячковские дети.— Смерть, бабушка, есть хочется, хлеб у нас на исходе теперь, так старшой запер его к себе в сундук, а нам не дает...

— Нет ли у тебя, бабенька, лекарствица какого-нибудь,— говорит шаловливый хорошенький мальчик, попов сын.— Глянь-ка, милая бабенька, как исполосовали меня. Вся, говорят, спина-то в синих кровяных рубцах...

— Отойди-ка ты, золотой, вон туда, между лавок. Пожди меня там, все это я огляжу у тебя и намажу снадобьем таким. Так-то, друг мой, помню я, и тятеньку твоего парывали. Помню я, баловался он очень, и ты, должно быть, такой же баловник, в отца уродился.

— Я, бабушка, ей-богу, ничего... Он это из ненависти — учитель-то. Он говорит: «У твоего отца пчел много, отчего он мне меду не везет? Я, говорит, тебя проберу...»

Грозно привставала тогда Маслиха с своего дощатого сиденья, устроенного перед ее тележкой, в одну сплошную дугу сморщивала свои густые брови и, посадивши на свое торговое место маленькую внучку, принималась шагать прямо к духовному училищу, что красовалось на Большой Московской улице золотою вывеской и семью старинно узорчатыми окнами. Адский гам, всегда царивший в этом доме от кипения трехсот молоденьких, всеми возможными обстоятельствами направляемых на всегдашний крик и буйство жизней, немного утихал, как скоро некоторые кудлатые головы, созерцавшие из окон однообразное течение уездно-городского дня, примечали, что течет Маслиха, и течет не куда-либо, а в училище.

— Тс-с, ребята! — принимались выкрикивать тогда эти головы, бегая по коридору и классам.— Тише! Маслиха к нам приближается, грядет, аки тать ночной. Вот она распечет теперь живодеров,— достанется всем сестрам по серьгам...

И точно: Маслиха, как бы туча какая, прямо приближалась к смотрительской квартире, находившейся на училищном дворе. Подошедши к двери, она обыкновенно громко сморкалась, подавая тем как бы некоторый трубный сигнал, извещающий, что, дескать, иду на вас...

— Гляньте, гляньте, ребята! — сдержанным шепотом шипели оборванцы, украдкой выглядывая на старуху.— Уж сморкается. Вишь, как громко сморкается, значит, сердита; значит, она им потачки не даст... Чудеса! Как это она *их* не боится! А? Простая мещанка, старуха,— не боится? Ведь *они* все чины получили, и она их ругательски ругает... При тятеньке однажды случилось, как самого смотрителя позорила.

— Варвар! Тиран! — начинала Маслиха отделывать смотрителя, сердито вваливаясь в его залик.— Что у тебя твои палачи с маленькими ребятишками делают? А? Скажи-ка ты мне: можно разве спины-то им прутьями, словно полюшко, вспахивать? Кровопийцы! Велит тебе разве так поступать царский закон?

— Не твое дело, бабушка, не твое дело! Что ты не в свои дела суешься?

— Нет, в свои! — настаивала Маслиха.— Нет, мое дело за невинное дитя заступиться. Я тебе это сейчас

доподлинно покажу, что мои это дела. Позови-ка сюда Фалалея Славореченского, какой второклассников учит, сейчас ты мне сюда предоставь его, носастую шельму, я ему песенку пропою; а то он за ребячьими слезами давно небойсь песен-то не слыхал...

— Давно у тебя, носарь ты проклятый, струпья-то на спине зажили? — спрашивала бабушка у Фалалея Славореченского, который неизбежно представал пред ней, как лист перед травой.— Али, может, еще и не зажили? Ты вспомни, сколь они сладки, струпья-то эти! Вот тебе, Фалалей Ильич, мое последнее слово: уймись! Ежели не уймешься, убей мою душу господь бог, ежели я совру тебе! Знаю я, куда ты темною ночью шастаешь, через какие плетни ты, длинноногий, перешагиваешь... Стыдись, дура набитая, что старуха тебе такие слова говорит! Так я на свои вдовьи деньги Тучковым ребятам полштофа куплю, а там уж ты сам знаешь, как Тучки с вашим братом, ночным шатальщиком, расправляются... Донесут до больницы али нет, одному батюшке отцу небесному про то ведомо!.. Грех в муках твоих али, может, и в живота лишении,— так уж и быть! — беру на свою старую душу... А не захотят ребята об тебя, об паскуду, рук своих молодецких марать,— продолжала Маслиха, все больше возвышая свой громкий голос,— так я его преосвященства из губернии дождусь. Как пойдет отец святой в собор, так я сейчас за коленочки его обойму, все их слезами моими оболью и прошение ему на тебя — на аспида... Вот ей-богу же так!..

И надолго затихал после такой бури учитель Фалалей Славореченский; зато по всем этим бесчисленным селам двух уездов не было ни одной принадлежащей духовному лицу избы, где не знали бы про Маслиху и где бы в то же время не были ей должны нескольких грошей за сына, внука, племянника и т. д.

Все, говорю, знали городскую бабку-торговку в этих убогих дьячковских избах, в этих поповских и дьяконских горницах, всеми мерами старающихся походить на более или менее светлые мещанские горницы и никаким манером не походящих на них,— и когда в них раздавался плач семейства о малом ребенке, отправляемом в школу к чужим людям с двугривенным наличного капитала и пудовым мешком ржаной муки, отец и глава этой избы, по опыту знающий, что с двугривенным и мешком

муки далеко не уедешь, в числе многоразличных наставлений непременно говорил сыну и такую вещь:

— Ты вот что, сынок! Как приедешь в город, ступай на базар, а на базаре спроси: где, мол, тут бабушка Маслиха? Как только тебе покажут ее, ты ей и скажи: тятенька, мол, мой, бабушка, Августин Преснорыбинский, кланяется вам. Он, мол, ныне, слава богу! в селе Черноречье благополучно дьяконствует. А к Покрову на ярмарку ежели соберется, так должок вам за груши и прочие съестные припасы, кои, мол, забирал он у вас, будучи еще учеником и высшего и низшего отделений, привезет безотменно, а также и гостинец какой-либо, по части естеств сельских, за долгое жданье тож неупустительно предоставит. Так и скажи. Прощай теперь. Вот тебе на дорогу мое родительское благословение...

— А, миленький!..— восклицала Маслиха, когда молодой Преснорыбинский, благополучно прибывший в город на вороной лошаденке с отцовским работником, рекомендовался ей на рынке.—Так это ты Августинов сынок выходишь? Помню, помню я его, бедного. И-их как наказывали его, учиться был слаб очень, ну и бедность опять родительская... Дьячок был твой дедушка-то упокойник, царство ему небесное! Бедный был, аки бы нищий какой отрепанный в город к детям приезжал. Ну, так говоришь, дьяконствует тятенька твой в Черноречье?

— Дьяконствует, бабушка! — подтверждал мальчик.

— Ну и слава богу! слава в вышних богу!..— заканчивала Маслиха, крестясь большим крестом светлому жарко палившему небу, под которым происходило ее знакомство с ребенком, с сего часа отныне и навсегда взятым ею под свою вдовью защиту...

1864



ГАЗЕТА В СЕЛЕ

I

У почтовой конторы в городе Черная Грязь стояла мужицкая телега, около которой суетились сам хозяин те-

леги (обтерханный такой мужичонка с рыженькой клочковатою бородой и с каким-то необыкновенно испуганным лицом) и почтамтский сторож, отставной унтер-офицер, с большими седыми усами, серьезный и повелительный старик. Он сердито покрикивал на мужика, помогая ему взвалить на телегу какой-то большой тюк пуда в два.

— Ну, ну! — командовала военная кость.— Чего стал? Наваливай, наваливай! Что же, в самом деле, сам я, что ли, стану вместо тебя это дело делать?

— Ослобони, бога для, милый человек,— умолял мужик.— Сейчас бы мы с тобой дернули за это по махенькой, вот те Христос, дернули бы!

— Поговори! — прикрикнул солдат, и тюк грузно упал в телегу.— Тут, братец, никакая махенькая не поможет. Вези как приказано. Слышь: не забудь, как тебе его высокоблагородие господин почтмейстер наказывал говорить: так и так, мол, Архип Петрович! Милость, мол, вам большая вышла. В самой Москве, мол, узнали про вас господа синаторы и вот, мол, газету вам шлют. Почтмейстер, мол, оченно вас с такой милостью проздравляют... А что ежели ты, шельма, мне про питье энто говоришь, так ты мне деньгами сейчас подавай, потому как же иначе-то?.. Так вот, вынимай же и помни. Слышь?

— Слушаю! — печально откликнулся мужик, усаживаясь в телеге как можно подальше от тюка.

— И избави тебя боже потерять али бы как иначе попортить,— беда! — все строже и строже внушал солдат.— Тут весь свет описан... Моря опять... Ты скажи: маленькие они, моря-то, али нет?

— О господи! — мысленно перекрестился мужик.— Где им быть маленьким?

— Пытаму, ежели ты *ево* потеряешь, рази ты можешь другую такую же сочинить, а?

— Где уж?

— То-то же! Марш!

— Н-ну, тр-рогай! — в свою очередь, скомандовал мужик послушной лошади, и телега тронулась. Солдат счел своим долгом постоять на крыльце конторы и посмотреть, *как* именно поедет таинственный тюк.

— Смотри же, сберегай! — еще раз крикнул он с крыльца.— Как можно сберегай,— все силы...

— А я вот его свитенкой прикрою,— торопливо отве-

тил мужик издали,— чтобы он не тово... Чтобы он как-нибудь... бог е ведь знает...

— Прикрой, прикрой,— согласился унтер.— Оно лучше будет так-то, сохранней!— Потом он тихим шепотом прибавил: — Скажи, пожалуйста: народец какой, а? От самих господ синаторов не хотел посылки отвезть. Я, говорит, боюсь, как бы мне не проштрафиться... Экой народ необразованный, право!

— Вот напасть! — толковал тоже и мужик уже на дороге.— Что ежели она пропадет?

И вслед за тем он пристально осмотрел окрестные поля и дорогу впереди и назади, приподнявшись для этого на телеге во весь рост, а потом перекрестился, завернул роковой тюк в свою свиту, твердо сел на него и принялся есть зеленый, словно бы из кирпича сделанный, с конопляным маслом, калач, прихваченный им в дорогу *для скуки* на городском базаре...

II

Через час уже мужик ехал широким-широким полем. В нем совершенно терялся и сам мужик, и его лошадь, и телега. Словно муха, ползли эти три существа по тугой дороге, между кособокими вешками, густыми хлебами — и ни эти хлеба и вешки, ни раскаленное небо, ни ослепительно яркое солнце, никто и ничего не подсказывало мужику, что это такое везет он; а он все думает, все это он упорно всматривается в горящую полдневным пожаром даль, не покажется ли там кто-нибудь, кто бы сказал ему, что это такое именно. Зеленый калач пришел к концу,— ничего не осталось делать, как только сидеть и думать, думать и пугаться. Тоска!..

— Надо полагать: штрафные это какие-нибудь? — наконец предположил мужик.— Нонича это пошли все штрафы... Беда!

«Это точно!» — тосковали сожженные солнцем хлеба, деревья и травы.

— А может, и другое что? — продолжалась мужицкая дума тоскливая.— Может, и набор какой, ведь оно не узнаешь.

«Как узнать! — соглашались хлеба, деревья и травы.— Простому, слепому человеку про это никак невозможно узнать».

Но не слышит мужик этих голосов тайных, которые редко кто может слышать. Все молчит около него,— и едет он — и тоскует и думает, что как бы в селе на миру, чего доброго, не притаскали его за такие дела всем миром-собором.

— Тут как раз на поронцы наскочишь, да еще, пожалуй, полведра велят становить. Нонича на этот счет осторожно!..

Но вот впереди показалась небольшая партия солдат, с ружьями, тяжелыми ранцами, в расстегнутых шинелях, в красных ситцевых нагрудниках, толсто подбитых ватой. У редкого из них не было в руках гармоники, а один из партии так даже играл *барыню* на самоделковой скрипке и в то же время, несмотря на страшную жару, бойко подплясывал. При виде этой веселой группы у мужика немного отлегло от сердца.

— Эй, земляк! — вдруг заговорил скрипач, подбегая к телеге.— Как тебя звать-то? Я забыл...

— Был Лука!

— Я так и думал. Купи, Лука, трубку у меня. А? Вот так трубка! Вся она из цельного азиятского камня сделана, а достал тот камень со дна морского один арап, с него после всю шкуру содрали, потому он был кошшунник, которые, знаешь, может, кошшунствуют какие.

— Ах ты черт! — похвалили скрипача товарищи, усаживаясь в телегу к Луке.— Он у нас, дядя Лука, шутник, только злости в нем нет. Ты его не бойся, нас кстати подвезешь.

— Вы вот что, ребятушки, царские слуги,— сказал Лука.— Вы проходите лучше, а то совсем пристанет у меня лошаденка. Где мне вас одному поднять, тут, может, три подводы нужны.

— Ну, ну, ничего! Мы слезем, ранцы-то вот хоть нам успокой.

— Ранцы клади, ребята; а сами так сторонкой идите, потому есть тут у меня в телеге сигналы такие казенные.

— Какие такие сигналы? — живо спросил скрипач.

— Навалил там в городе, а какие — не знаю. Наказали беречь. Надо полагать, что какой-нибудь штраф али бы што...

— Дай-ка я взгляну, что там такое у тебя,— вызвал-

ся скрипач, и вслед за тем он растормошил свитку, скрывавшую тюк, важно наморщил брови и по складам прочитал наклеенную на нем надпись: «газ-з-е...»

— Ребята! Бежи в поле,— вдруг вскрикнул грамотей.— Опасно...

Солдаты стремглав прыснули от телеги, а скрипач продолжал, обращаясь к Луке:

— Так ты не знаешь, что это?

— Да кабы знал...

— Давай полтинник и благодари бога, что я случился тут...

— А что?

— А вот что: не будь тут меня, сейчас бы тебя, может, в мелкие куски растерзали — *энти*-то! Ты этого не знал? Доставай деньги проворнее, а я покуда побегу корни рыть.

Мужик начал развязывать большой кожаный кошель, висевший у него на шее; а солдат принялся пристально осматривать местность и говорил:

— Где теперь найдешь этот корень? Он прозывается корень *дражнилка* — шиш ему в рот! Только в полдень его и отыщешь.

И партия и телега остановились. Все ждали. Завязался такого рода разговор:

— Черт! — говорил наставительно солдат Луке.— Ведь *она* живая...

— Кто?

— Да эта-то, что ты везешь-то! Ведь *она,* леший, одного, что ль, тебя загубила, а? Ведь вон тоже в Хирсонской губернии случай мне выпал повидать, как одному такому-то навязали, так ведь он беситься стал. Семь его монахов, может, пятьдесят зорь на страшной свече отчитывали, эдакую тяжелую книгу всю от доски до доски над ним прочитали, а он все пуще и пуще бесился,— всю печь в избе съел. Сидит и жует глину-то и говорит: «Я теперь енарал стал...» А какой он енарал? За какие баталии енаральство получил?

Лошадь одиноко стояла посреди дороги с уныло понуренной мордой, потому что и сам Лука убежал при последних словах чародея от телеги к солдатам, расположившимся на отдых на дорожной насыпи, а чародей неумолчно толковал:

— Ведь вот теперича что будешь делать? — спраши-

вал он, горестно размахивая руками.— Ведь вот есть тут всякие травы: вот тебе богатырь-трава, вот ониськин узел, вот тебе слеза каменная, а корня дражнилки нет. Ищите, ребята, все, Христа ради,— он толстый — корень-то этот,— я их видал немало на своем веку... Наш-ш-ол! Теперича не бойся, Лука! Отсчитал деньги-то?

— Отсчитал!..— ответил Лука.

— Ну, получай с богом. Всего луччива... Его тебе, братец, надолго хватит...

— Как же мне им орудовать? — спросил Лука.

— А вот видишь как: вот ты поедешь, а *она* тебе сейчас приставляться начнет в разных видах. Белая такая сделается и будет тебя издали дразнить всячески,— перекидываются они иной раз в скотину какую, пишшаньем пугают, скачут тоже перед очами-то, словно бы козлы рогатые али бы нечистые... Только ты все не бойся — все иди, все иди, и как тебе подойдет десятая верста, ты сейчас же не давай маху-то, а прямо этот самый корень как можно крепше вгоняй себе в живот, а сам приговаривай: Иван, мол, царевич! Приходи, мол, ко мне во терем песни играть. Вот тебе и все! Н-ну, с богом! Счастливо оставаться.

— Прощайте, солдатушки! Спасибо, что выручили,— прощался Лука, понукая лошадь, которую очень разморил полуденный зной.

— Но! Но! Волк тебя заешь,— стращал он своего меринка, которому, видимо, хотелось еще постоять на теплом месте и отдохнуть.

— Смотри, брат,— еще раз крикнул солдат издали.— Будь осторожен. Видишь, уж начинается,— видишь, как *она* лошадь-то попридерживает. Это завсегда так бывает. Переложи-ка получше промеж ноздрей меринка-то, изловчись да чесани его хорошенько, *она* тогда, может, на минутку и посократится...

III

На другой день ранним утром, едва-едва только успело пройти в поле крикливое сельское стадо, а уж дьячок и исправляющий должность наставника при училище в селе Разгоняе сидел в переднем углу своей новой горницы, облокотившись на стол руками, и во что-то пристально вдумывался. Подле него с самым тревожным ви-

дом стояла дьячиха. Время от времени они таинственно о чем-то перешептывались.

— Так как же? — спрашивала дьячиха.

— Да как? — отвечал муж.— Я, ей-богу, не придумаю,— всю ночь глаз не сомкнул. Хорошо бы, если бы эдак было: ехал, примерно, какой-нибудь большой чиновник через наше село, узнал про мое рвение и донес по начальству; а начальство в виде награды и дальнейшего поощрения и выслало мне *его*... не в пример прочим,— понимаешь? Так-то бы хорошо, а то, пожалуй, распечатаешь, а *она* тебе сейчас: лишить его, скажет, и дьячковского и наставнического места! Чудна ты, погляжу я на тебя, как это ты ничего не понимаешь: ведь *она* вся, как есть, печатная... Ну, будь что будет! Бог не без милости! — проговорил наконец дьячок с отчаянною решимостью после некоторого молчания.— Давай умываться да посылай за полштофом. Нечего, верно, делать-то, потому тут вникать надо...

Дьячиха, всегда противоборствовавшая посылке за полштофом, на этот раз с видимой охотой зазвонила ключами и принялась, секретно уткнувшись в длинный зеленый сундук, отсчитывать пятаки и гривны, потребные для приобретения полштофа. Дьячок между тем, успевший уже умыться и с особым усердием помолиться богу, облачился теперь в праздничное полукафтанье и потом снова уселся в передний угол, где вместе с различными церковными принадлежностями, как-то: требником в переплете из толстой черной кожи, закапанной воском, бутылкой с деревянным маслом, смиренно притаившейся в самом темном уголке,— вместе, наконец, с узлом ветхих риз, вышедших из употребления,— лежал и вчерашний тюк, который с такою опасностью для своей жизни притащил к нему из города Лука. Над всем этим любопытно свешивались с домашнего иконостаса прошлогодние вербы, красные святовские яйца в вырезных из разноцветной бумаги вяхирях и пучки разных высохших цветов и благовонных трав, которыми старшая дьячковская дочь с таким искусством и любовью убирала домашние иконы. Сидел дьячок на своем хозяйском, насиженном месте и тревожно думал: чем все это кончится? А в окно уже начали западать первые лучи восходящего солнца, и так ярко осветили они перед ним его светлую, новую горницу с ее незатейливыми удобствами, с ее доб-

ришком, копленным целые тридцать лет, что все это показалось хозяину несравненно дороже того, чем на самом деле было, и он еще пуще задумался.

«Что, ежели в самом-то деле,— мелькало в его голове,— распечатаю, а там скажут: а дьячок села Разгоняя за грубость и за пьянство посылается в монастырь на полгода на послушание, и впредь его никуда не определять».

Толстый тюк смотрел на него в это время и насмешливо и сердито за один раз.

— Матушка царица небесная! Спаси и помилуй! Не для меня, а детей малых ради!

— На вот! — сказала наконец дьячиха, ставя на стол полуштоф.— Только, ради бога, муж, гляди: не очень чтобы часто прикладывайся к нему...

— Такой ли случай? — вскрикнул дьячок.— Не больше как для прочищения мозга хочу выпить, а она про прикладыванье...

Тут он, благословясь, хватил большую чайную чашку водки, крякнул и принялся осторожно разрезывать рогожу, в которую был упакован тюк. По долгом и тщательном обделывании этого дела оно наконец, как и всякое дело, кончилось; все веревочки обрезаны, рогожа и толстая холстина облуплены, и ждущим глазам дьячка представился объемистый пакет с палатской печатью и с такого рода почетною надписью: «Господину исправляющему должность наставника Разгоняевского сельского училища, почтеннейшему клирику Архипу Вифаидскому».

— Вот так-то! — с чуть заметной улыбкой и чуть слышно проговорил чтец.— Господину исправляющему должность наставника и почтеннейшему клирику! Из самой-то губернии!.. Дождись-ка поди другой кто. Н-ну-с!— почти уже совсем отдохнув, произнес он, наливая еще водки в чашку.— Распечатаем с божией помощью.

«Достоуважаемый г. наставник! — значилось в самом пакете.— Европа исстари смотрела с завистью на наше пространное отечество... его неисчислимые богатства... а также и всеобщее рвение к просвещению, которое в нынешнее время, когда и проч. А посему, надеясь на ваше просвещенное внимание, прилагаемые при сем экземпляры «Столичных ведомостей» всеми зависящими от вас средствами и проч. Затем навсегда есмь ваш и проч.».

— Гм! Что ж такое? Это дело не грешное! — проворчал дьячок с немалым достоинством, расположившись к нему величественным и вместе с тем в некотором роде даже почтительным слогом письма.— Налей-ка мне, жена, еще безделицу винца-то. Надо тут ум да ум...

— Смотри ты,— умоляла жена.— Не много ли? Будь ты, ради Христа, осторожнее. Про детей вспомни... На кого их оставишь?

— Отстань! Видишь ли, что тут печатью изображено? Прочитай, ежели разберешь: «Господину исправляющему должность наставника» и проч. и проч. «Архипу Вифаидскому». Д-да-с! Ведь это печать, а не скоропись. Постигни.

— От кого же это?

— А уж это не твоего ума дело. С тобой ежели до гроба разговаривать об этом, так ты все-таки не поймешь ни словечка, потому что тут вся наука,— и при этом дьячок самодовольно щелкнул пальцем по «Столичным ведомостям».

Дьячиха обиделась за этот разговор и, желая в то же время доказать супругу свою понятливость, спросила:

— Война, что ли?

— Ну, с тобой не сговоришь,— сказал дьячок.— Поди-ка ты лучше пошли работника в училище, чтобы он сказал там: ребятишки, мол, ступайте по домам,— ныне ученья не будет, да чтобы отцы беспременно сейчас к моему дому собрались — бумагу из губернии слушать. Беспременно чтобы собирались, а то, скажи, беда им будет. Учитель, мол, за непослушание в губернию отпишет.

Скоро вслед за этим распоряжением по улице звонко разнесся оглушительный гам юных питомцев Архипа Вифаидского. Быстро разбегаясь по улицам, одни из них безмерно радостно вскрикивали: «Ученья нет! Ученья нет! Ноне мастер праздник сделал»,— а другие, сознавая важность возложенного на них дьячковским Кузьмой поручения, усердно орали:

— Собирайтесь к нашему мастеру бумагу из губернии слушать. Из самой губернии та бумага пришла...

— Она вчера дяде Лукашке совсем как живая являлась... Он ее вез в телеге, а она вырвалась от него да к дьячку-то пешком и пришла...

— Что врешь-то?

— Нет, я не вру. Это ты все брешешь-то.— И малень-

кие кулачишки загуляли. Большая суматоха пошла по селу, когда матери выбежали разнимать сразившихся ребятишек. Только одна улица не меняла своего обыкновенного, унылого вида; стояла она по-всегдашнему безмолвная и печальная и тому, кто слушал, грустно шептала:

«Господи! Хошь бы ребятишек-то моих дьячок отучил полыскаться ни за што ни про што!.. Да где уж ему? Радость такая долго, поди, моего сиротского лица не украсит!..»

IV

Если не море, так, по крайней мере, целое озеро лысых и косматых голов волновалось у дьячковского высокого крыльца, изукрашенного узорчатыми перилами и роскошно прикрытого свежей, гладко причесанной соломой. В растворчатые окна дома толпа ясно могла видеть, как дьячок стоял перед зеркалом и расчесывал большим костяным гребешком свои длинные волосы.

— Зачем повещали? — спрашивал у всей толпы зараз седой сгорбленный старик.— Ко мне внук прибежал, говорит: «Иди скорей, дед, к дьячкову дому, а то беда будет».

— Говорят, книжка какая-то из Питера пришла и будто та книжка живая. Выведет ее дьячок к нам, а она сейчас скажет: «Здравствуйте, ребята! Садись-ка все да учите меня». Всех будет учить.

— Что ты?

— Ей-богу! Она уж про все про это с Лукашкой толковала, когда он ее из города вез. Ты вот спроси у него.

А Лука между тем, осажденный со всех сторон тысячью вопросов, решительно растерялся.

— Что же она тебе, как являлась-то? Ты расскажи: говорят, она пишшаньем пужала тебя?

— Нет! про это что грешить. Пишшать не пишшала, а так это быдто белое что-то завиднелось под вешкой, только я вспомнил, как мне солдат говорил, так сейчас же и сделал. Оно тут же и разошлось.

— Как же она расходилась?

— А так все эдак кверху, кверху, ровно бы турман, только не в пример больше будет турмана-то...

— И руками махала?

— Махала тоже и руками,— удовлетворял Лука.— Жалостно эдак махала, прощалась бы, што ли, с кем...

— Смотри, парень, не околей! — предположил кто-то в толпе.— Это она с тобой, знать, прощалась-то.

— Ну, я на этот счет спокоен, потому у меня корень. Еще у меня его много осталось.

— То-то, ты гляди,— вспомни... Ведь у тебя, парень, робят много.

— Идет, идет! — зашептала толпа и притаила дыхание, а в дверях показался дьячок, с важно наморщенным лицом, с листом в одной руке у груди и с огромной связкой каких-то бумаг в другой.

— Вона, вона их сколько! — послышалось в толпе.— Подсобите подите: рази не видите, чуть держит.

— Она, она! — внезапно чему-то обрадовавшись, прошептал Лука.— Как есть она! Я ее сразу узнал.

— Тише, ты, леший! О, чтоб тебя!..

И воцарилось молчание.

Дьячок обводил толпу строгими и даже как бы наказующими глазами. Все замерло окончательно.

— Что это он сердитый какой? Когда это с ним бывало?

— С несчастьицем, должно, с каким-нибудь!..

Послышалось сдержанное женское всхлипывание.

— Православные! — громко вскричал дьячок.— Вот, смотрите, что мне пишут из нашей губернии и что из столицы.

При этом он отрекомендовал народу и присланный лист, и столичную связку.

— Мы на это не согласны! — возразил некто Григорий Петров, сапожник и первый запевало на сходках, но тут же был остановлен всем миром:

— Тише, тише! Что ты, оголтелый, в экую пропасть суешься?

Григорий Петров благоразумно юркнул в середину, всхлипывание бабы раздавалось все громче и громче, а дьячок властительно продолжал:

— Пишут мне, видите как,— не скорописью, а печатью: «Господину исправляющему должность разгоняевского наставника, почтеннейшему клирику Архипу Вифаидскому».

— Вот так-то! — позавидовал кто-то дьячковским титулам.

— Пишут так: исстари Европа... а посему внушите мирным селянам вашего прихода, дабы... потому что умственная пища... потому что лекарство душевное... и так как тьма и вообще недостаток просвещения... а посему к искоренению... употребить все меры. Поручаю себя и всегда есмь и прочее... Поняли? — спросил дьячок, прочитавши лист.

— Как не понять...

— Изъявляйте желание и несите деньги.

В толпе поднялся глухой гул, над которым царствовал тонкий плач бабы. Григорий Петров снова выступил вперед и торжественно произнес:

— Мы на это не согласны!

— *Она* вон, Лукашка сказывал, учить нас всех поголовно сбиралась,— дружно поддерживала толпа Григорья Петрова.

— А когда нам учиться-то, сам небойсь знаешь?

— Мы таких книг сроду и не видывали, живых-то! И кто только делает их, о господи?

— А приказные и делают,— господа. Это недавно выдумали.

— Жили и без них!

— Ро-о-димые! Со-о-ко-лики! — громче всего наконец разнесла по толпе сокрушенная баба.— Ш-што-о нам теперича, сиротам, с *ей* делать?..

V

Разошлась толпа и, словно пчелы в ульях, загудела по избам.

— Что это дьячок читал вам? — спрашивала молодая красивая бабенка своего угрюмого мужа.

— А то и читал, что баб теперь, все равно как мужиков, будут в солдаты брить. Вот что!

— Ну уж! Слова никогда нельзя сказать, сейчас лаять примется.

— Тебе только дела-то, что лаять.

— У тебя много по кабакам-то делов...

— Ты у меня, сейчас умереть, замолчи лучше, баба! — прикрикнул муж, и баба убралась за перегородку.

А другой мужик, молодой еще, рассказывал совсем иначе:

— Вынес он ее, матушку, грамоту-то, а она большая

такая да белая... Только я и вижу сейчас, что мне ее не изнять, взял да ушел. Онисья там, я с огорода слышал, в голос кричала: должно, что жалостно выходило.

— Что же ты сам не послушал? — укорил его большак-дед, ковырявший лапоть в переднем углу.— Нам бы тогда сказал; а еще грамотный.

— А не в догадку стало,— закончил молодой, пробираясь на полати.

— А это опять к тому подбираются, чтобы назад... По воле штоб... Слухи такие ходят...— таинственно шептал в своей убогой каморке двум-трем мужикам отставной солдат.— Беспременно фальшь какая-нибудь. Я видал в Питере настоящие газеты,— те не такие. Эта, ишь, смурая какая-то, ровно бы свита старая.

— Не такие те?

— Не такие! Те так... просто...— И при этом солдат сделал какой-то поясняющий жест.

А на пчельнике, густо засаженном березками и липами, тоже шел тихий, едва слышный разговор — и все про *нее*.

— Говорят: по ночам будет шастать...

— Я *ее* беспременно тогда расшибу, так-таки вдребезги и расхлопну, потому я их, ведьмов-то, не очень боюсь. Я как схвачу ее за язык-то,— длинные у них языки, красные,— у меня не вот-то скоро вырвется...

Две бабы затесались к самому дьячку. Одна из них, подавая ему старинный пятак, говорила:

— Продай, Архип Петрович, газетки мне на пятак!

— На что тебе? — спросил обрадованный было дьячок.— Ведь ты грамоте не знаешь?

— Я от живота... Сказывали, что с вином ее дюже будто бы хорошо от живота...

— О, дура! — ответил ей дьячок и потом обратился к другой: — Тебе что?

— А Лукашка сказал мне вчера: вот бы тебе к Архипу Петровичу, Марфа, сходить...

— Зачем?

— А ему, говорит, прислали *энту*, а в *ей*, солдат сказывал, все моря описаны...

— Никаких тут морей не описано,— осердился дьячок.— И что тебе за охота пришла глядеть на них?

— А как же, кормилец! Там мой Ефимушка стоит у моря-то. Онамедни он так в письме прописал: а сто-

им, говорит, мы, родимая матушка, у самого Черного моря.

— О, дура! Ступай отсюда, и без вас мне до смерти тошно!.. *Она* у меня у самого вот где сидит,— и при этом дьячок указал на свою собственную шею.

VI

Вечером, после сходки, господин исправляющий должность сельского учителя впал в сильную тоску по тому поводу, что как бы это ему половчее сочинить ответный рапорт палате. С этою целью он заранее распорядился насчет штофа и целого блюда соленых огурцов — и принялся. Домашних ни души не осталось в горнице, потому что они, видя, как хозяин то и дело клюкает и все больше и больше впадает в тоску, до грозы разбрелись спать по дальним амбарам, по овинам, по ригам и гумнам.

Всю ночь горел огонь в дьячковой горнице, доселе обыкновенно засыпавшей вместе с приходом вечернего стада. Наконец, к утру уж, труженик прищуренными и слезящимися глазами разбирал на белейшем листе бумаги следующее:

«Еще исстари благопопечительное и благомудрое... но врагам нашим — супостатам никогда не восторжествовать над нами, потому что, во-первых, мы русские во-вторых... в-третьих, уповая и надеясь, не постыдимся...»

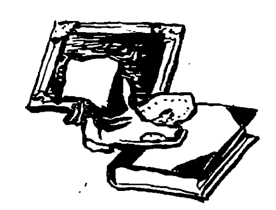
— Этак-то, пожалуй, не позвончей ли еще ихнего будет? — сказал наконец сочинитель, самодовольно улыбаясь и награждая себя за свое бдение зараз двумя рюмками.

«А что касается до «Столичных ведомостей», то, при всем моем рвении, поселяне нашего прихода покупать их не согласились, ибо не просвещенны, потому я самолично отправил их на хранение, впредь до обратного востребования, в колокольный чулан, где они будут находиться в полной безопасности и чистоте, а то у меня ребят много, пожалуй, изорвут как-нибудь или замарают. Имея честь донести о сем, повергаю себя стопам ног ваших» и проч.

В то же время, как дьячок дописывал свою отповедь, один сосед-помещик во весь дух мчался на своих лоша-

дях в уездный город с жалобой к благочинному на дьячка Вифаидского в тех смыслах, что якобы Вифаидский хотя за болезнию своего священника и состоит исправляющим должность сельского разгоняевского наставника, но в газете ничего не смыслит и что, по всем правам, ее следовало получать ему — недорослю из дворян Ореховнику, что он, Ореховник, и повергает на благоусмотрение высшего начальства...

1865



ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЛУЧАЙ

(Очерк)

I

Зимой еще можно кое-как жить в Петербурге, потому что безобразный гомон многотысячных столичных жизней отлично разбивается об эти тяжелые, двойные оконные рамы, завешенные толстыми сторами, заставленные массивными цветочными горшками изнутри и запушенные инеем снаружи.

Доносится только в комнаты по петербургским зимам какой-то злобно шипящий, неразборчивый гул, напоминающий собою тот яростный сап, который издают два врага, когда они после ожесточенной свалки валяются по земле и употребляют последние усилия, чтобы хорошенько попридушить друг друга...

За исключением этого шума, внутренние апартаменты Петербурга совершенно тихи, и если в них временами и разыгрываются какие-либо драмы, то содержанием этих драм бывает непременно мерзость, таящаяся внутри комнат, а никак не залетающая в них снаружи.

Не то бывает летом.

Самым ранним утром, когда, как говорится, черти на кулачки не бились, жизнь большого города уже в полном разгаре. Валят целые орды разносчиков, криками которых так и давятся эти маленькие, тесные, напоминающие собою гроба, дворики, свойственные одному Петербургу.

— Сиги морские! Сиги! — глухим и унылым басом голосит рыбник.— Сиг-ги мор-рские!

— Слат-ткай лукк молодой! — скорыми дискантовыми нотками вторит ему молодая бабенка, изгибаясь под тяжестью большой плетеной корзинки, нагруженной пучками лука.

— Та-ач-чить ннажи, ножницы! — резко поет мальчишка-точильщик, опираясь на свой станок с грацией, решительно превосходившей ту грацию, с которою в известной песне опирался на свою саблю гусар, глубоко огорченный предстоявшей ему разлукой с милой особой.

— Сиги...— снова затянул было рыбник, но его возглас окончательно заглушен был другим возгласом, звонко хлестнувшим по маленькому колодезеобразному дворику:

— Э-э! Сиги! Я тебе дам этих самых сигов,— кричало одно окно в пятом этаже, показывая в то же время людям, способным быть разбуженными этими криками, как в нем светится толстое разозленное лицо кухарки, стоящей за хозяйские интересы.— Поди-ка, поди-ка сюда! Вздымись к нам на лестницу. Ты какую нам рыбу третьеводня продал? Вот он тебя, барин-то! Вздымись! Вздымись!

Рыбник, видимо, не предполагал такого приглашения. Несмотря на обременявший его голову лоток с морскими сигами, он стремительно повернул налево кругом, и желание его исчезнуть за воротами большого дома было более чем очевидно.

— Иван! Иван! Держи рыбника. Барин его беспременно изнять велел,— кричит окно пятого этажа дворнику, старавшемуся навалить на свою спину страшную охапку дров.— Он рыбой вонючей торгует. Лови!

Иван живо и, очевидно, без малейшего сожаления сбрасывает с плеч своего вековечного утреннего друга — дрова и летит преследовать беглеца, с необыкновенным азартом приглашая к тому же всех встречавшихся по дороге любезных сограждан.

— Дер-ржи! Дер-ржи! Вот я тебя, расподлец! Вот мы тебя, раз-этакой! Раз-зутюжим! Раз-зуваж-жим!

Гулко раздалась эта погоня за бежавшим рыбником. К голосу дворника Ивана присоединились другие, яростные, но, видимо, не понимавшие, в чем дело, голоса. Как буря, сплошно и неразборчиво ревели все эти или, несмо-

тря на раннее утро, совсем уже пьяные рожи, или такие, на которых недоверчиво посматривали городовые, вооруженные револьверами.

— Где? Где? Н-не-ет, брат, у нас так не водится... Где мазурик? Поймали? Сцапцарапали? Ох-х! Я, я бы ему типериччи спросонков-то... Ух-х! И клеванул бы его, дьявола, для праздника...

Из подвалов выбегали заспанные мастеровые с присущими известным специальностям орудиями; с верхних этажей слетали как бы окрыленные кухарки, лакеи и горничные, обгоняемые господскими собаками, обрадовавшимися случаю выбежать на двор и потолковать на своем собачьем языке с добрыми соседскими благоприятелями. Все эти субъекты, наталкиваясь друг на друга, суетливо менялись сведениями и соображениями вроде следующих:

— Что? Как! С ножиком приходил? К кому?

— Н-не-ет! Какое там с ножиком приходил? Это вон у табачника приказчик семь тысяч сдул.

На дворик выходило множество задних дверей, которые вели в различные магазины. Прислушиваясь к разнообразным разговорам, хозяева этих магазинов заботливо осматривали толстые дверные болты, потрогивали замки, между тем как собаки, выбежавшие на двор, совсем ополоумели от страстного желания уяснить себе историю, взволновавшую людей, чего они старались достигнуть неразумным скаканием и тщательным обнюхиванием каждого сколько-нибудь выдающегося булыжника, каждого сколько-нибудь потаенного уголка.

Наступает относительная тишь, разрываемая хохотом над ажитированными собаками, выкриками молодой бабенки насчет сладкого луку, протяжным пением грациозного мальчишки-точильщика и унылым речитативом, сообщавшим столичному люду, что в каком-то далеком захолустье «обвалимшись кумпал в приделе Николая-чудотворца».

По этому последнему случаю публика каким-то необыкновенным смиренным *дядей Власом* приглашалась пожертвовать на возобновление разрушенного купола от своих трудов праведных «хоша бы лепту какую».

— Динь! Динь! Динь! — серебристо позванивает колокольчиком *дядя Влас,* грустно посматривая по верхам и сопровождая этот звон своим собственным козелкова-

тым тенорком.— Р-радейте, православные! Потому как молонья обжогши церкву наскрозь... И была же при эфтом, господа хрисьяне любезные, чуда большая...

И как будто снова уснул на зорьке большой столичный дом, редко когда действительно засыпающий. Многим тревожно грезившим уже снилось, как где-то в какой-то необыкновенной дали, над каким-то селом, разразилась гневная, темно-синяя туча. С неба бежит такой стремительный дождь, который никогда не падал на петербургские мостовые,— молнии так и блещут над этими приниженными непогодой избами,— над этими полями, как будто испуганными разразившеюся над ними грозою.

Между тем толпа, убежавшая было по следам нечестивого рыбника, снова прилетела на двор и загудела еще громче и смешаннее.

— Нет! Это што ж? — уныло басил сцапанный наконец рыбник.— У тебя на это глаза есть,— продолжал он голосом, очевидно, просившим о помиловании.— Ты должна, примером, глядеть, что покупаешь. Тебе за это господа жалованье платят. К праздникам опять тебе подарки идут от господ-то. Нам ведь об этом довольно известно...

— Да ты, каналья, о пустяках-то не разговаривай! — отсоветовал рыбнику объясняться в нравящемся ему тоне какой-то барин в халате и туфлях.— Ты лучше вот что скажи: на сколько у тебя этой тухлятины моя кухарка купила?

— Да што ж? Известно, она у вас, сударь, жадная. Я ее, может, с коих пор знаю. Она всегда такая была... Уж на что скупа старуха майорша, которая вон в суседском дому живет, а и та кухарку-то вашу, сударь, прогнала от себя, потому она ее со всеми торговцами перемутила. С ими, сударь, на Сенной никто изо всех торговцев одного слова разговаривать не хотел, не токма продавать...

— Не верьте, барин, не верьте! — протестовала кухарка против этого обвинения.— Эфто он к вам с подвохом... Штобы, то есть, как-нибудь меня против вас в сумление ввесть.

— А так, барин, весь мой совет вам,— вмешался кто-то из окруживших лоток рыбника с своим замечанием,— отпустить его — этого самого бездельника. Насовать ему морду-то рыбой и отпустить, потому что с им иначе ни-

чего не поделаешь! Не токма рыба у него дохлая, а и сам-то дохлый совсем... Вы сами видите, потому будь он ежели не дохлый-то, рази бы он попался?.. Право, насуйте,— и с господом, чем канитель-то тянуть...

Рыбы, выглядывавшие из лотка своими тусклыми глазами, очевидно, не разделяли подобного мнения. В глубоком недоумении они посматривали на окружавшую их публику и как будто говорили:

«Что же это такое? Разве нас для того привезли сюда, чтобы нами по мордам тыкать? Н-не-ет! Ты нас, брат, ешь! Вот что!»

Барин в халате тоже не послушал советчика, разрешавшего сначала понатыкать рыбника в морду, а потом отпустить его. Поигрывая кисточками халатного пояса, он распорядился послать за околоточным, с которым тут же, на дворе, и составили протокол о торговле попорченной рыбой, производимой крестьянином Фомой Веденеевым в ущерб здоровья столичных жителей, который Фома Веденеев в сем промысле и был уличен титулярным советником Энгелем и кухаркой оного Аграфеной Зотовой, жительствующими и т. д. и т. д.

Смотря на процесс составления протокола, торгующий попорченной рыбой Веденеев глубоко конфузился, что он с достаточным успехом выражал неопределенным пучением глаз на какие-то, кроме его, никому не видимые предметы и такого рода непонятным бормотаньем:

— Ну штош! Эва! Ну и прописывай! Нне-ет! Но-оне, брат, обглядись перва-наперва прописывать-то. Так-тось!.. Ныне, брат, не всяко лыко в строку пиши...

Длинная фигура Фомы стояла на дворе такой одинокою, такою печальною, что еще незнакомые с его историей люди останавливались и жалобно друг у друга спрашивали:

— Это что же детинка-то здесь стоит?

— Судють!.. Четырнадцать тысяч у купца — у немца — украл. Артельщиком был у его — и украл. Сказывают: теперь пареньку-то капут, потому он в азартности в своей весь рот немцу-то наполы разорвал. Ну, теперь вот напишут бумагу, и к мировому. По-старому: его бы надо было прямо в острог; но по-нонишнему: без мирового ничего поделать нельзя...

Глуше и глуше становилась домовая буря. Все дальше куда-то улетала она, сердито, но сдержанно ропща и

негодуя на что-то. Наконец двое городовых совсем усмирили ее тем, что сначала предложили кое-кому из особенно раззевавшихся очистить дворик, а потом уже и сами ушли вместе с длинным рыбником, поддерживая его под обе мышки, чем, вероятно, они хотели выразить ему свое глубокое сочувствие к постигшему его бедствию.

— Ну что хорошего! — наставительно басили городовые рыбнику.— Ну вот, что тут хорошего: рыбой это он вонючей торгует, господ обижает. Вот теперь на свидетельство... К самому господину мировому судье... Ах-х! И строги же они насчет вас, господа торговцы...

— Ну и што ж? Ну и што ж? — с полной и бессознательной апатией шептал рыбник.— Ну и веди! Веди! Ннеет, брат, я знаю... Нич-чево!.. Мы, брат, тоже сами... Нас, брат...

Кроме этого бурленья ничего не тревожит спящих в большом доме, за исключением разве попки, принадлежавшего одной очень красивой девице, который, в качестве птицы проснувшись очень рано, то злобно кричал, что «попка дурак, попка подлец», то с какою-то болезненной нежностью жаловался кому-то, что у попиньки головка болит — «бол-лен попка, умр-рет поп-ка!..».

— М-маш-ша! — отчеканивал попугай на весь двор.— М-ма-ша! Умр-ру! Дай попиньке папир-ро-с! Дай попиньке сахарцу!

Солнце, несогласное с мыслями попиньки относительно возможности такой смерти, восходило между тем все выше и выше. И восходом своим оно будило других, иначе живущих людей и вызывало другие голоса и другие жизненные процессы.

— Детей бы уж теперь время гулять вести,— говорят седые сердитые бакенбарды, шаркая по паркету свистящими туфлями.

— Я сейчас сама пойду с ними,— отвечает виднеющаяся в окне русая головка, к затылку которой был привешен громадный и неимоверно кокетливый шиньон.— Вот только выпью кофе, оденусь и пойду.

— Да можно бы и с Агафьей послать,— гневно шаркают сердитые туфли.— Кажется, это было бы все равно.

— Для вас все равно, а для меня нет! — отвечает русая головка, напряженно стараясь не выпустить из злобно и энергично сжатых губ более колкого ответа.

Растворенные окна другой квартиры дозволяют знать,

что в настоящую минуту уже десять часов утра, потому что у фортепиано стоит какой-то молодой человек во фраке, необыкновенно гладко причесанный, в перчатках, подле него девушка, улыбающееся лицо которой ясно показывает, что она долго и страстно ждала кого-то... Оба они садятся за фортепиано, и начинаются гаммы — эти столь мучительные для соседей гаммы, продолжающиеся целый полуторарублевый час.

Всякий видит и слышит из своего окна, как фортепиано мерно звучит:

— Тра-ра-ра! Тра-ра-ра!

Всякий видит и слышит, как учитель говорит, касаясь тонких и беленьких пальчиков:

— Не так! Не так! Это неверно! Это нужно брать вот как...— И затем учитель устанавливает на клавишах тонкие беленькие пальчики, ударяет ими по поющей слоновой кости и говорит: «раз, два, три»; а потом он уже без всякого счета принимается целовать неумелую ручку; а владетельница этой ручки смотрит на него с такой ласковой, с такой нежной улыбкой...

И все это видно в открытое окно, чего зимой, разумеется, не увидишь.

А попка продолжает кричать:

— Дур-рак попка! У попиньки головка болит... Попинька сахару хочет... М-ма-аша! Дай попиньке сахарку...

Всеми разнообразно жизненными тонами, которыми люди выражают и горе и радости, кричит маленький дворик большого столичного дома. Больше и больше разрастается светлое сияние весеннего дня, вместе с которым все больше и больше разрастается жизненное движение, пригретое им.

Оркестр странствующих музыкантов, которые, невзирая на свои отрепанные сюртуки и избитые в ближайшем погребке лица, стараются изобразить из себя *артистов,* меланхолически закатывает: «*Ты умерла, ты умерла*».

Дурацки визгливо растолковывают *артисты* про какую-то умершую, видимо, ничуть не умея своими отчасти от голода, отчасти от пьянства трясущимися руками воспроизводить мысли тех людей, которые имеют способность ловить своими руками неуловимо-зигзагические реяния звуков, слышимых в природе, и составлять из них стройные хоры, в высокой степени услаждающие люд-

ские сердца, даже и тогда, когда хоры эти поют про бесконечную жизненную горечь...

Глухо падают на мостовую дворика пятаки, имеющие вознаградить труд музыкантов...

Страшный жар разлился по нашему дворику, и солнечные лучи, отражаясь на его высоких белых стенах, так и слепили глаза. В окнах постоянно вырисовывались красные, пыхтящие физиономии, обмахивавшиеся белыми платками.

— Ну, жара! — говорили эти физиономии.— И откуда только эта пыль лезет? Ах! дождичка бы теперь господь послал пыль бы эту прибить.

И действительно, с чисто-начисто выметенного дворика вместе с лучевыми столбами врывалась в комнаты какая-то седая, едкая пыль, которая толстыми слоями ложилась на оконные цветы, на мебель, залезала в уши и рты и, наконец, тем досаднее и гуще распудривала лица, чем чаще и старательнее ее смывали с них.

Под влиянием этого жара приуныла как будто даже неугомонная жизнь дома. Девицын попугай уже не ругался и не жаловался, а только изредка покряхтывал что-то неразборчивое, страдальчески раскрывая свой изогнутый клюв, из которого виднелся красный дрожащий язычок.

Многое множество людей торопливо проходило по дворику, стараясь поскорее укрыться от жара в холодке своих апартаментов. Ничуть не обращая на себя внимания проходящих лиц, на дворике торчит только совершенно одинокою группа, состоящая из долговязого слепого человека в синем мещанском сюртуке, в опорках, показывавших красные ноги с синими напряженными жилами, и маленького босого мальчика в серой свитенке, который, видимо, был руководителем слепца в его странствованиях по извилистым и шумным стогнам Петербурга.

— Дяденька! Играй песню шибче! — по временам шептал мальчишка, потрогивая слепого за сюртук и устремляя на него свое весноватое тупое лицо.— Барыня вон на нас из окошечка поглядывает. Забирай покрепше! Чево ты боисси? Вишь, вон все на тебя как грохочут... Страсть как!..

При этом внушении слепой молодцевато встряхивал своей нечесаной головою, от чего рваный ваточный кар-

туз его ухарски завалился набок. Взбрасывал тогда слепец к небу свои тусклые, безжизненные глаза, обводил в воздухе широкую звенящую дугу увешанным гремучими позвонками бубном и отчаянно-болезненным голосом принимался выкрикивать развеселую:

Вдоль да по речке,
Ах, вдоль да по Казанке,
Серый селезень плывет.

Мальчишка, в свою очередь, всем своим гнусавым контральто старался показать публике и речку Казанку, и плывшего по ней серого селезня; но должно быть, что ни пареньку по его малолетству, ни патрону его по случаю слепоты ни разу не удавалось видеть ни одного действующего лица из распеваемой ими истории, а потому певчие, в качестве недостаточно ясных историков, всем двориком единодушно были засыпаны вместо трешников самыми ядовитыми насмешками.

— Дядюшка! Побегем, золотой! — посоветовал наконец слепому его малолетний вожатый.— Вот какая-то куфарка в нас с тобой горшком понацеливает.

— А, калеки убогие, разнесчастные! — в действительности морализировала куфарка, седая такая, толсто-серьезная, в белом чепце.— Нет чтобы, калеки, вам об убожестве-то об своем к господу богу припасть... Танцыю вздумали представлять... Подожди... В такие времена — и ты, слепень ты эдакой, раскуражился как? А? Скажите, люди добрые, што он, в уме ли? Да еще и малого ребенка в грех ввел...

Раздался звон разбитой посуды, черепки которой, словно осколки разорвавшейся бомбы, полетели в певцов.

Общественное мнение дворика, ввиду обрушившегося над слепцом факта, разделилось на две категории: один, гладко выбритый, солидный господин, сидевший в окне, осененном белоснежными драпри, внушительно вдалбливал кому-то:

— Я давно говорю, mon cher [1], всех бы *их* на ответственность сельских обществ. Ка-ак же? Подавал проект. Говорю: освободите нас от этих бродяг. Примерно: взял *его* и сейчас по этапу в общество. Оно должно уже уплачивать пересылочные предметы за своего несостоятельно-

---

[1] Дорогой мой *(франц.)*.

го члена. Нормально? Иначе: не пускай или, отпустивши, ручайся всем миром... Нор-рмально?..

— Без сомнения, ваше-ство! — ответил изнутри комнаты какой-то заискивающий шипящий голос, весьма, должно быть, похожий на то шипенье змея-искусителя, с которым он подкатывался к нашей общей прародительнице.

— Но поймите,— продолжал прожектер.— Что за времена? Не приняли — и вот теперь сиди и слушай всякую чушь. Понимаете: я плачу́ — я хочу быть спокоен. Говорят: подати там, заработки какие-то? Я плачу́ больше *их*. С меня, понимаете, косвенные налоги всякие,— я оплачиваю их, никуда не шатаясь, не клянчу, нервы дурацкими песнями никому не расстраиваю...

— Без сомнения, ваш...— снова раздалось змеиное шипенье.

— Это что тут за моралистка такая появилась? — забасил кто-то невидимый из какой-то неопределенной выси, словно бы с облаков.— Эй ты, сволочь! — кричал невидимый, очевидно, впрочем, адресуя свое воззвание к куфарке, старавшейся обратить слепцов к более благой деятельности посредством разбития об их головы ненужного в хозяйстве горшка.— Ты как смеешь, анафема, горшки на двор бросать? Да еще в людей? Вот я тебя к мировому стащу.

— В самом деле,— отозвался на это кто-то другой.— Што ты, Афросинья, над всем домом свою власть показываешь — думаешь, при генеральше служишь, так на тебя и управы нет никакой? Эка ухитрило ее: в слепенького старичка — бац горшком!..

— Вас не спросилась, голь чиненая? — отрезала властительная Афросинья.— Вот еще барыне доложу, чтобы они приказали управляющему вон вас отсюда турить. А то вы тут только черный народ смущаете...

— Утерла носы-то ловко! — слышалось из подвалов.— Не посмотрела, что адвокаты. Онамедни самого господина мирового так-то отчитывала. Они видят: баба-дура, сейчас же от ей штрафами отходить принялись. Она им слово, а они на ее штраф, она заплотит и опять в свои глупости пустится, а они ее опять на штраф, словно бы как лихого кобеля на цепь. Смеху что было... Потом уж в такой доклад к бабе вошли: «Ну теперь, сударыня, ежели вы в случае опять что насчет, то есть, ваших

глупостев, так не угодно ли, к примеру, в тюремное заключение...» Ну, тут она заревела — и в ноги... Больше потому в ей этот форс, што генеральша ее оченно любит: день и ночь с ней все по божеству, все по божеству... К генеральше-то такие-то ли приезжают... Все из этих...

— Слышите вон,— заговорил снова гладко выбритый барин,— как *они* своих заступников аттестуют? Хи, хи, хи! Нет, тут заступничеству-то места нет. А тут вы *его* рубликом, рубликом-то и проберете... И *его,* как *они* говорят, *обчество-то* это самое, рублишком и припугните... Хи, хи, хи! Вот тогда у нас пролетариата-то этого и не будет. И толковать, следовательно, будет не о чем. А то каким-то четвертым сословием страх даже успели нагнать. А тут ларчик-то просто открывается... Хи, хи, хи!

— Хи, хи, хи! — подсмеивалась змейка.— Рублевым ключиком, ваше-ство!.. Хи, хи, хи!

Порывом внезапно налетевшей бури сорвало с уходившего слепца его ухарский картуз. Оторопелый, стоял старик посреди двора, между тем как мальчишка вместе с вихрем крутился по дворику, стараясь поймать дяденькину фуражку. Его белые волосенки трепались по ветру, словно бы те молодые пичуги, которые, сидя на гнезде, бесплодно трепыхают крыльями, совершенно еще неспособными к тому, чтобы унесть своих юных обладателей вслед за их высоко взвившимися родителями.

Полил сильный дождь вместе с какою-то снежною слякотью, от которой музыканты попробовали схорониться под крылечным навесом.

— Нет, уж это, брат, наше вам почтенье! — отнесся дворник к слепцу.— Пошел, пошел отсюда, проваливай! Вы вот тут фатеры-то повысмотрите, а ночкой с приятелем на чердачок. Нет ли, мол, на чердачке-то бельеца какого? Ха, ха, ха! Знаем мы вас!

— Нет, брат, он вас, слепых, разузнал довольно хорошо,— кричала с грохотом мастеровая братия, высовывая на холодок из подвальных окон, залитых пламенем горнов, свои потные лица.— Гони, друг, их! Слижут что-нибудь, скажут на нашего брата — мастерового человека.

— Резонно! — пробурчал кто-то, громыхая форткой.— Нет, тут и без нищих-то тесно пришлось, возьми хоть да живой в землю и закапывайся...

— Скоты! Подлецы! — слышалось из неведомой выси.

— Боже! Боже ты мой! — с естественным во всех слепцах трагизмом проговорил старик.— Пойдем, сынок! Веди, голубь!

— Веди его, белоголовый! — заорал подвал...— Ему тут поблизости... Ха! ха! ха!

— Ах, черт! Недалечко, говоришь, старику-то?

— Недалечко-с! У ихней тут у полюбовницы в нидальних местах усадьба стоит-с. Лыком шита, небом крыта, колышком подперта. Ха, ха, ха!

— Ха, ха, ха! Ах ты, идол эдакой! Завсегда какой-нибудь стих отмолотит...

— А что это, братцы, вдруг этто, то ись, была все жара, жара, и тоже вдруг снежку царь небесный послал. В наших сторонах этого не в примету. Знаменье это, что ли, какое? — задумчиво осведомлялся кто-то у кого-то.

— Эх, голова! — отвечали на задумчивый вопрос.— Какое там знаменье? Просто, братец, я тебе прямо скажу: это ладоцким льдом по Неве тронуло.

— Ладоцкий лед! — послышалась глубокая ирония над высказанным объяснением.— По-нашему: эфто к дубу...

— К дубу?

— Так точно! Взяли ль в ум?

— Задал задачу! Ха, ха, ха!

— Как же это, то ись, к дубу-с,— позвольте узнать-с?

— Ну уж это сами раскусывайте.

— А так мы это раскусываем, што вы самый необразованный человек. Говорить с вами не стоит вниманья.

— Ваш ответ не в текст.

— Напротив! Очень даже мы понимаем ваши глупости...

Произошла общая, громкоголосная галда, из которой только и было слышно:

— Нет, брат, руки коротки!

— Дух вон вышибу!

— Братцы! Бойтесь бога... Усмиритесь вы, ради создателя...

— Не-ет! По нонишним временам, ежели ты так-то своим умом-то будешь шириться... Ум да ум у меня... Подожди! Мы тебя посократим...

— Это ты все с своим умом-то; а я к тебе, напротив, с политикой подошедчи; но ты же, свинья, что со мной

сделал? Вместо приятного разговора вон куда маханул...

— Встряхивай, встряхивай его! Нечего разглядывать-то, не узорчатый... Махай!..

— Эй вы, сволочь! Загорланили! Лишних два часа проморю на работе,— покрыл всю эту свалку грозный командный баритон, звучавший немецким акцентом.

Баталия смолкла, и после нее на петербургском дворике остался только клочок пасмурно-свинцового неба, которое безустанно обсеивало его какою-то полумерзлой, полуталой слякотью, да дворники, сопровождавшие свои старания сместь эту слякоть энергическими поплевываниями на свои руки и ругательствами вроде следующих:

— Нет! Надо полагать, ее отсюда — слякоть-то эту гнилую — один черт выметет!.. Откуда только берется? Шабаш, братцы! Гайда в портерную... Черт ее возьми и с чистотой-то совсем... Кажется бы, на эфдакую мразь и глазам-то обидно глядеть...

II

Ни один из этих петербургских жизненных воплей не мог пробраться в квартиру Ивана Николаевича Померанцева, служившего в одном из присутственных мест столицы. Черная клеенка, которой с наружной стороны была обита дверь Померанцевой квартиры, смотрела на посетителей каким-то мрачным и бесприветным взглядом, как будто говорившим: «Напрасно ты, брат, к нам притащился! Нам и без тебя хорошо!» Колокольчик звякал сердито и хрипло, что весьма походило на ворчанье старого лакея — барского любимца, который, в видах охранения господских интересов, огрызается на всякое, даже самое ласковое слово, сказанное ему посторонними лицами. Оконные рамы никогда не выставлялись, и самые окна, вплотную завешенные белыми сторами, если на них смотрели со двора, представляли собою удивительное сходство с тою не то сердитою, не то страдальческой безжизненностью, которая обыкновенно бывает разлита по лицам слепорожденных.

Впечатление, которое производит на людей Иван Николаевич собственной особой, было не лучше впечатления, производимого его квартирой. Вообще он имел угловатые, так называемые медвежьи манеры, сутулую спи-

ну, угрюмое, обросшее страшной растительностью лицо и черные глаза, с постоянным и крайним недовольством устремленные в землю.

Разговаривать с добрыми приятелями Иван Николаевич был тоже не особенный охотник. Рассматривая по своему обыкновению персть земную, он на все вопросы отсыпал лаконически: «да! нет! отвяжитесь!»

— Душечка!. Померанчик! — подтрунивали над ним его департаментские сослуживцы.— Подари словечком,— я тебя за это в сахарные уста поцелую. Улыбнись, дитятко, покажи зубки. Ну же, показывай — не упрямься! Агу, голубчик, агунюшки!

— Полно вам потешать вашу дурость,— отрезывал Иван Николаевич.— Советую вам скрыть ее поскорее вот в эти бумаги, а то она слишком глаза мозолит порядочным людям. Право, так-то выгоднее будет для вашей неопытной юности.

— Припомните ваши слова, господин Померанцев,— стушевывался насмешник.— С вами по-товарищески пошутить хотели, а вы...

— Отвяжитесь! Я вам вовсе не товарищ,— не повышая и не понижая своего сердитого тягучего голоса, заканчивал Померанцев, и почему-то всегда выходило так, что после этого голоса во всем столе надолго воцарялись те минуты безмолвия и даже как будто какой-то конфузливости, про которые люди говорят, что во время их пролетают тихие ангелы.

Только после долгого времени в какой-нибудь курительной комнате или в уединенном архиве возобновлялись прерванные подобными минутами разговоры:

— Чего это ты, братец, спустил этому скоту — Померанцеву? Как он тебя за простую шутку отделал? Струсил... Да я бы его на твоем месте...

— Да ну его ко всем чертям! Стану я со всяким дикарем связываться. Это дикарь какой-то, а не товарищ. Ни сам никуда не ходит, ни к себе не зовет. Слова по году не дождешься. Подсолить вот ему следует, чтобы он к медведям служить-то из департамента убирался...

Многоразличный пролетариат, присущий каждому петербургскому дому, в виде дворников и поддворников, приказчиков в мелочных лавочках и их подручных, часовых, стоящих около дома, и их подчасков, старых прачек,

отбирающих у давальцев белье, и их молодых помощниц, зараженных неизлечимою страстью часто шататься по одиноким людям с многообещающими улыбками и с вопросами относительно того, «как сударю угодно будет, чтобы груди пущены были — плойкой или в аглицкий трахмал»,— весь этот люд, говорю, злился на Ивана Николаевича гораздо более, чем злились на него его департаментские друзья.

К Ивану Николаевичу является рассыльный из квартала и, переминаясь у притолоки, докладывает:

— К вашему вашескобродию! Одиннадцатого сего месяца пожалуйте к господину надзирателю,— приказали просить.

— Зачем? — спрашивает Иван Николаевич, не глядя на докладчика.

— А по делу, ваше вашескобродие, живущей с вами по суседству солдатской вдовы — девки Христиньи Петровой с господином корнетом Сеноваловым.

— Я ничего не знаю.

— Па-аммилуйте, ваше васкобродие! — воодушевлялся солдатик.— Аны, то есть господин корнет, пришедчи, например, ночным временем в Христинину спальню, изволили избить там палашом какого-то француза. Ах! фамилию-то я забыл евойную,— дай бог памяти! Но только этот француз сам титулярный советник. Господину корнету так поступать не подобало, потому от эфтого от самого шум вышел — это что же всамделе будет такое? Ведь эфто хоть до кого...

— Ну, мне, друг, до этого дела нет.

— Но как нам, вашескобродие, приказ отдан, штобы, то есть, весь дом поголовно... Как же-с! Дознание будет-с... Без эфтого тоже ведь и господам начальникам невозможно-с...

— Некогда мне, братец! Отправляйся-ка с богом; а надзирателю я напишу.

— Счастливо оставаться! — откланивался солдат и, вышедши на лестницу, бормотал: — Вот сволочь-то, а еще барин! Хошь пятачок бы когда, хошь бы рюмку какую для смеху... Прямой пымаранец!

Рои дворников, жужжавшие по высокоторжественным дням свои «проздравления с праздничком, свои желания добрым господам доброго здоровья и всякого благополучия»,— рои, сладко заливающиеся на тему *на чаек*

бы с вашей милости-с, без малейшего внимания к их сладкогласности, были распугиваемы сердитой физиономией Ивана Николаевича и его басистою, отрывистою речью.

— Сколько раз я просил вас, господин старший дворник,— говорил Померанцев,— чтобы вы ко мне ходили не иначе, как первого числа за получением квартирных денег. Вот я перееду из вашего дома и скажу хозяину, что мне от вас покою никакого не было. Ведь вам за это нехорошо будет.

— Ах, ваше высокоблагородие! — защищался дворник с такой умильной улыбкой, которая совершенно обнажала его белые зубы с застрявшей в них вчерашней говядиной.— Ведь какие ноне дни-то-с,— сами изволите знать-с. Другие жильцы насупротив того, сударь... Возьмем теперича из купечества какие, так даже в большую амбицию входят, ежели, так будем говорить, от нашего брата проздравления не получат.

— Ну, я не обижусь. Я обижаюсь на то, когда меня без толку беспокоят.

— Просим прощенья, сударь! Не посетуйте, что, к примеру...

— До свиданья! До свиданья!

— Ах, бес! Ах, леший! — допевал хор свою песню уже на лестнице.— И для такого праздника... А? Ах! И искушенье нам только с этим дьяволом,— сичас умереть! Весь дом от его в смуту вошел...

Пятнадцатилетняя прачка Дуняша, над щеками которой, горевшими здоровьем и юностью, так любовно грохотала вся мастеровая и немастеровая молодежь целого дома, была поставлена в крайний тупик тою штукой, которую, по ее словам, *удрал с нею энтот приказный — повытчик-то...*

— Визу я, милые мои,— картавя, как ребенок, и мило похлопывая пухлыми губками, рассказывала однажды Дуняша про эту штуку многочисленной публике, собравшейся под воротами,— визу я, сто он ходит скусный такой, один завсегда, и думаю: сто, мол, у всех у господ я бываю, со всеми знакома,— дай, мол, и к нему схозу, посмотлю, сто за человек такой,— и посла сдулу-то. Схватила платки его, какие у насей хозяйки в мытье были,— и плисла. Плисла и спласываю: почем вы, судаль, эти платки покупали?

— А он — лицемел эдакой — и говолит мне,— продолжала Дуняша, меняя в этом месте рассказа свой шепелявый, щебечущий голосок на грозный бас: — «А вам какое дело до этого,— закличал он на меня.— Как вам, говолит, не стыдно, такой молоденькой девочке, хвосты по всему дому тлепать? Ко мне не тлепите, а то к хозяйке сведу...» Ха, ха, ха! Вот билюк-то!

— Истинно, бирюк,— подхохатывала Дуняше приворотная компания.— Заместо того, чтобы с молодой барышней *обойдтитца учливо,* штобы, примером, в эфтаких-то статьях как кавалеру поступать подобает? Нет у тебя кофею, угощай чаем али другим каким ни на есть гостинцем...

— Ну это, брат, по человеку глядя,— перебил кто-то, вероятно, более знакомый с условиями, по которым как и кого принимать должно,— это, друг, тоже в эфтих разах и на года смотреть надоть...

— А я к чему? К ему — к подлецу — не какая-нибудь пришла, а девица в соку... Нет, брат, мы знаем... Тут не полштоф... Напротив тово, должон тут гостинец стоять, может, на всех столах. Так-то-ся! А он — подлец — пымаранец эдакой,— право, пымаранец,— эва куда морду-то загнул!..

Дуняша с громким хохотом лебезила уже перед другой группой.

— Ха, ха, ха! — заливалась она своим ребячьим смехом.— Я так-то смотлю на него и визу, сто он совсем полоумный... Как есть бесеный... Ха, ха, ха!

— Да из каких он у вас, черт проклятый?..

— Барышня! Орешков-с?..

— Слышно, быдто он, окаянный... по чернокнижию, што ли, какому...

— Поколно благдалю-с... Каленые? Смотлю, смотлю — визу: как есть полесымсись ума... Ха, ха, ха!

— Эва загнул! По чернокнижию...

— Сказывали... Нам што?..

— Нет! Ежели по-настоящему-то скажем,— вмешался в беседу какой-то лохматый старик с огромною седой бородою, нижняя половина которой была обрызгана зеленою краской,— выдет он тогда, ежели дело будем говорить, вон из каких...

Сказавши это, старик кивнул своей измятой шляпенкой по направлению к Варшавскому вокзалу — и ушел,

продолжая покивывать на этот подозреваемый в чем-то пункт уже затылком своей шляпенки.

— Эге! ге! ге! — раздались вслед за стариком многозначащие междометия.— Тэк! Тэк! Тэк!.. Надо про эфто дело... Так! Так! Так!.. Нужно про эту историю-то... Нет! Эфто, брат, надоть куда следоваить.

— Ха, ха, ха! Нет, сто же? Я плисла... Глязу, глязу: как есть ведьма какая!.. В глазах полоумштво... Ха, ха, ха!

— Барышня! Послшс...с...с...— секретно шептал кто-то из расходившегося компанства, стараясь сделать так, чтобы шепот тот кто-нибудь не услышал.

Таким образом, никто ни ногой в квартиру Ивана Николаевича. Кухарка и парни, нанимаемые им для необходимой прислуги, обыкновенно приходили к нему через какую-нибудь неделю и с крайне обиженным выражением в нахмуренных лицах говорили:

— Пожалуйте, судырь, нам расчет..

— Что? — спрашивает изумленный сударь.— Зачем же расчет? Разве у меня работы много или пища плоха?

— Нет, судырь! Про это что говорить? Еды вволю. А только не приходится нам...

— Отчего не приходится?

— Да так! То есть, быдто, сударь, тятенька нам из деревни отписамши, што, дескать, быть тебе — сыну моему — на старости лет при мне... Для прокорму, надо полагать, ихнего занадобился.

— С богом, ежели так...

Вскорости после такого разговора какой-нибудь Иван стоял уже с своим скудным скарбом под воротами и оживленно рассказывал компанству, что такого идола, как оставленный барин, пройди весь божий свет, не найдешь.

— А-а, брат! — радовалось компанство.— Ведь мы сначала тебе еще говорили: не ходи! Что, друг, напоролся? Ха, ха, ха! Вон он у нас какой помаранчик-то! Пропек небойсь на порядках.

— Пр-ризнаюсь! — соглашался Иван с радостью человека, исхищенного дружеской рукой из страшной бездны.— То есть такого изверга, такого Иуды-христопродавца... н-ну, брацы! Придет себе из присутствия из своего и, ровно ополумелый какой, так и сидит. Ни ты к нему с разговором, ни ты што... И сам тоже, глядя на него,

сидишь в кухне без языка словно. А он, скорфиёнище, механику тебе какую-нибудь ввернет — и ведь все это у него с лаской такою выходит: ты бы, говорит, Иван, погулять пошел. Небойсь знакомые есть. Распалишься тогда на него еще пуще... Д-ды, ч-черрт ты эдакой, думаешь про себя. Д-да, дьявалл!.. Ну, братцы, вот она морда-то где антихристова!..

— Верно! Верно, друг! Говорили тебе с первого маху... Га-вар-рили!.. По дружбе услуживали...

— Н-ну, слава богу! Теперича хошь по крайности... Просим прощенья!

— Будьте здоровы! Всякого благополучия! В случае чего ежели оставьте свой адриц, потому у нас господа часто спрашивают... Хор-рошие господа спрашивают, не такие... Слава богу, довольно даже известны именитым господам...

У Ивана начиналась тогда выпивка с человеком, известным именитым господам; а Иван Николаевич попрежнему оставался одиноким в своей одинокой квартире.

III

И вот эта-то молчаливая квартира знала все тайны Ивана Николаевича, которые исковеркали его жизнь и сделали из него мрачного нелюдима. Не раз ее безмолвные стены были свидетелями того, как человек, приюченный ими, во время бессонных ночей подолгу думал о чем-то и, всплескивая судорожно сжатыми руками, вскрикивал:

— Боже мой! Боже мой! За что же мне все это? Почему?

Никто не отзывался в пустынной квартире на эти полночные крики, за исключением часового маятника, чикавшего с досадным однообразием, да какой-то птички, трепыхавшей сонными крылышками в клетке, привешенной к потолку.

В ночной темноте, в которой, как говорится, хоть глаз выколи, Иван Николаевич как на ладони видел свою далекую родину, цветущую роскошными полями, лесами и реками,— и людей, утонувших в безысходной и совершенно невообразимой нищете. Вон они — эти хилые, вонючие избы, наполненные орущими детьми, которых

старшие вместо хлеба кормят тукманками, вместо ласк ругают чертенятами, вместо свойственных всему живому стремлений поддерживать и воспитывать молодую жизнь желают ей скорой смерти. Тут же и его собственное детство, хилое, бесхлебное, исполненное ругательств, побой, паршей и всякого рода лихих болестей, при одном воспоминании о которых переворачивается все нутро человека, пережившего их.

Шире и шире развертываются воспоминания,— ясность представлений картин прошедшего доходит до осязательности: вот перед ним маленький сутулый ребенок, робкий до содрогания, болезненный до неудержимого желания упасть всей головенкой в колена вон той старушки, которая приютилась в углу комнаты около алебастровой тумбы.

Видит Иван Николаевич, как морщинистые руки старухи ласково гладят голову ребенка, примечает даже, что ребенку сделалось лучше от этого, потому что он успокоился и заснул; но руки всё продолжают гладить его,— и руки те, несмотря на непроницаемый комнатный мрак, так и сверкали в глазах Ивана Николаевича своею прозрачною белизною. Они были такие маленькие, высохшие, по их белому фону узорчато проходили синие, напруженные жилки...

Ребенок этот — он сам, Иван Николаевич Померанцев. Сознавши это, он почему-то засмеялся тихим таким смехом; но тем не менее смех этот довольно звучно прокатился по пустым, одичалым комнаткам. Ему показалось, что комнатки в это время покачали головами, как бы недоумевая, чему это он смеется.

— Как же мне не смеяться? — старается Иван Николаевич объяснить своему жилью причину смеха.— Ведь этот ребенок — я, а старуха — моя бабушка! Да! Она рассказывала мне о том, как Пугач Пензу брал, как его шайки города Ломов, Наровчат и Чембар разоряли.

Эта рекомендация и себя, и своей бабки не вывела, однако ж, квартиру из ее недоумения. Она выслушала рассказ с сердито и печально нахмуренными бровями. Иван Николаевич, как бы приметивши это, вдруг вскочил с дивана и скороговоркой проговорил:

— Нет, это, однако, уже бог знает что! С стенами стал разговаривать. Довольно! Уснем!

Долго и пристально сквозь шторку всматривался в

померанцевскую спальню петербургский месяц своим холодным, сосредоточенным взглядом, и вот какая-то туча, вероятно, сжалившись над бессонными людьми, страдавшими от этого безучастного, неподвижного взгляда, закрыла собою месяц — и бессонные люди уснули; но в квартире Ивана Николаевича, к его ужасу, на том месте, где переливались месячные лучи, теперь стал отец его, сверкая воспаленными глазами...

А вон за дверной драпировкий спряталась его заплаканная мать. Отец кричит что-то насчет какого-то щенка, которого он должен кормить, и потом с скрежетом зубов дает клятву убить и щенка и тех, кто им наделил его...

С проклятиями отца смешивается старческий голос бабки. Она называет зятя злодеем и кровопийцей и выражает несомненную уверенность в том, что гром небесный рано или поздно непременно поразит его за такие богопротивные слова...

Истерический плач Ивана Николаевича прогнал эту галлюцинацию — и он уснул.

Во сне очень долгое время перед ним бесилось коростовое стадо разношерстных ребятишек, голодных и потому воровавших у всякого все, что только попадало под руку; беспризорных и потому по-зверски изодравшихся; без хороших, руководящих примеров и, следовательно, в самом детстве уже обреченных на гибель, как почти без исключения погибают все люди, не приспособляемые с ранних лет к правильным пониманиям и отношениям к жизненной действительности... Пронзительный звон колокольчика загонял это стадо в какие-то смрадные стойла, где большею частью ему говорились какие-то ни в одном слое общественной жизни не употребительные слова. Шипенье гибких двухаршинных розог, рев десятка детей, которых в разных стойлах полосовали ими, звон колокольчика и, наконец, ни от чего этого не прерывавшееся внушение тарабарской гибели сливались в один общий, исполненный самого варварского безобразия, гул и заставляли Ивана Николаевича, как одержимого горячкой, метаться на постели и кричать:

— Боже мой! Боже мой! Что же это за несчастные времена были? Сколько честного и даровитого сгублено ими?..

Болезненное личико сутулого ребенка опять выгля-

нуло на него из этого омута, в котором, как бы в кипящем котле, безразлично варились плачущие дети, свистящие прутья и какие-то мифологические образины, то протяжно певшие: «Сл-ледующий! Приступим: Marci Tullii Ciceronis orationum caput secundum [1]», то снисходившие до сладострастной скороговорки: «Так, так! Поджарь, поджарь кашку-то, lictor [2]! Хе, хе, хе! Не жалей казенненьких-то!.. Их целый воз в прошлую пятницу на базаре куплено. В такт действуй, подлец! Чик, чик, чок, чок! Зайди с другой стороны, чтобы ровнее шли... Я в-вас!..»

Пуще всех истязуют сутулого мальчика, потому что он, по меткому выражению одного из преподавателей татаромудрия, в одно и то же время составлял и красу и безобразие стойла. Красой он был потому, что лучше и легче других умел усвоить себе неусвоиваемое; безобразием — потому что в действительности был некрасив, болезнен и робок. Отсюда происходило то, что мальчишки насмерть заколачивали его из зависти к его красе, а татарщина терпеть его не могла потому, что была лишена всякой возможности представить вниманию гг. ревизоров стойла более представительного и красивого премьера.

С глубоким участием следит сонный Иван Николаевич за судьбой несчастного ребенка и даже, забывши, что это не кто другой, как он сам, говорит в бреду:

— Бедный! Бедный! С ним поступают точно так же, как со мной! Ах, как это похоже одно на другое! Нет! Подождите: я не дам погибнуть ему. Я вырву его из ваших лап!

И вот видится ему, что стойло, всегда смрадное, возможным образом прибрано: его грязный пол усыпан свежим сеном, промозглые стены выбелены; лохматые ребятишки выстрижены наголо, и прорехи на их рванье кое-как стянуты толстыми, суровыми нитками. В притихшем стойле уныло звучит болезненный голосок сутулого мальчика, не без некоторого самодовольствия рассказывавший, как когда-то какой-то illustrissimus dux [3] наголову расколотил целую тьму каких-то paganissimos [4].

С чувством, с толком, с расстановкой и, кроме того, с любовью к изученному делу мальчуган передает в нази-

---

[1] Речи Марка Туллия Цицерона, глава вторая *(лат.)*.
[2] Ликтор *(лат.)*.
[3] Знаменитейший вождь *(лат.)*.
[4] Деревенский житель; деревенщина *(лат.)*.

дание своих сверстников все те симпатии, которые доблестный дееписатель выражает к illustrissimus'у, и равномерно все глубокое отвращение к этой расколоченной ими в пух и прах сволочи — paganissimus'ам.

— И нас, и нас так же и тому же учили,— восклицает во сне Иван Николаевич, словно бы обрадовавшись тождеству образования в разные времена.— Мальчик! Мальчик! — громко кричит он, как бы окликая кого-то, находящегося от него на большом расстоянии.— Брось эту глупую книжонку, мальчик! Изорви ее. Не слушай их. Не учись восторгаться грабежом и убийством победителей, учись любить и помогать побежденным. Ах, злодеи! Испортят они у меня ребенка. Не слышит меня, бедное дитя...

И в действительности, ребенок не мог услышать звавщего голоса, потому что все его внимание было окончательно задавлено последними наставлениями, имевшими целью еще более усилить его познания в татаромудрии. Это был последний муштр, которым муштровали мальчика в стойле, и когда он окончился, Иван Николаевич видел, как сутулый мальчик из ушата, стоявшего на дворе стойла, умывал лицо, раскровавленное нетерпеливой руководительскою дланию, как он заботливо прятал за пазуху какую-то книжку, как переходил отвратительный мостишко, перекинутый через великолепную реку. Потом мальчик потянул в гору по бесконечно длинной дороге, обсаженной двойным рядом густых ветел и залитой дивным сиянием солнца. Иногда он останавливался, вынимал из-за пазухи книгу и с видимою радостью принимался читать ее заглавный лист, на котором было написано следующее: за благонравие и отличные успехи в науках ученику такого-то стойла... и проч.

Вот уже виднеется один только картузишко ребенка с разорванным пополам козырьком. Ивану Николаевичу кажется, что картузишко этот плавает на поверхности хлебного моря, как на настоящей реке остается и долго плавает шапка человека, который спрятался на тенистом речном дне вместе с своим смертельным горем...

Нет более сутулого ребенка! Всего его схоронила эта пустыня, ласковая и величавая.

— Это он домой пошел на вакацию! — шепчет Иван Николаевич.— Ах! Как там хорошо теперь!..

А между тем к двери, обитой черной клеенкой, нет-нет да и толкнется какое-нибудь лицо. Приходила вечно сердитая прачка с тяжелой корзиной на голове и с длинной рыжеватой эспаньолкой, властительно рассевшейся на левой щеке. Позвонивши несколько раз нетерпеливой рукой мастерового человека, дорожащего временем, она находчиво посмотрела в замочную скважину и, когда увидала, что в ней нет ключа, тотчас же принялась спускаться с лестницы, пыхтя под тяжестью своей ноши и бормоча себе под нос, что «ишь-де, с коих пор шуты со двора уносят! Придется ужо из девушек кого-нибудь спосылать к нему. К этому не опасно,— не дозволит заболтаться, медведем лесным глядит...»

Приходил почтальон в разбитых сапогах и в отрепанном сюртучишке, весь пропитанный первейшим полугарным запахом. Он очень долго звонил с такою энергией, с какою звонят у своих собственных квартир только самые нетерпеливые хозяева. Ни до чего не дозвонившись, он стремительно сбежал под ворота и спросил у рыжеватого дворника, мирно созерцавшего, под влиянием только что огорошенной на даровщину косушки, бурное течение петербургской жизни:

— Што у вас нумер тридцать седьмой поколел, што ли?

— А што?

— Звонил, звонил...

Дворник отвернулся от почтальона, не удостоив его ни малейшим ответом.

— Што же ты, леший, ничего не говоришь? Дома нет, што ли?

— Мы об эфтим неизвестны. Мало ль у нас всякого народу живет? Углядишь за ними — как же!

— Так вот возьми письмо.

— Ну, это дело не наше — за всякого по три копейки платить.

«Мы тебя пропекем, пымаранец,— думает дворник после ухода почтальона, по-мышачьи проворно юркнувшего вместе с письмами в ближайший погребок.— Мы тебе дадим письма!»

— Эй, друг! Послушай-ка! — спрашивает дворника

какой-то господин, не сходя с извозчичьих дрожек.— Что, Иван Николаевич Померанцев дома?

— Толички сичас вышедчи, ваше высокоблагородие! — отвечал дворник, держа на отлете снятую шапку.— Вот толички что перед вашим приездом взяли извозчика и в эфту-то вот самую сторону и натрафили.

— Мы тебе удружим! — повторял дворник тихомолком, самолично взбираясь к Ивану Николаевичу с огромной вязанкой дров.— Мы тебе покажем коку с соком.

И на его звонки не отперлась неприветливая дверь, ревниво охранявшая своего хозяина с его думами и видениями.

— И когда его черти унесли только? — недоумевал дворник, сбрасывая дрова у дверей.— Кажись, все время у ворот сидел, а не видел. Ну да ничего! Подбирай покамест дрова-то, пымаранец! Паг-гади! Мы тебе удружим...

— Вам кого угодно? — спрашивал он уже на дворе бравого, седого шеврониста, видимо, отыскивавшего чью-то квартиру.

— Господина чиновника Померанцева,— отвечает ундер.— От господина экзекутора из департамента прислан, чтобы, то есть, изволили они явиться на место своей службы. Который уж день ни сами не являются, ни репортички не шлют. Это што же будет такое?

— Да их уж кое место дома нет,— докладывает дворник.— Многие спрашивали — не вы одни. Да ведь где ж их найдешь? Онамедни еще в двух колясках укатили куда-то, надо так полагать, што за город... Барышни, этта, при их... товарищи... Што вина с собой понаклали, што всякой всячины,— страсть!..

— Что же это? Значит, тово?..— осведомляется ундер, знаменательно пощелкивая себя по тугому воротнику.— Бывает сюда-то?

— Быв-ваит? — удивился дворник.— Да кажинный божий день... То есть такие гулянки, хоть бы графу какому!.. То просители, то мало ли кто... Основой снуют... И сколько нам хлопот с этим господином, б-беда! То и дело в фартал из-за нево... Онамедни, этта, двух девиц р-резь по шшокам!.. Бла-ородных — не каких-нибудь... Так-тось! Бе-ед-довый, умереть на месте!

— Гм! — кашлянул ундер.— Так нет дома?

— Ни б-боже мой...

— А где тут у вас позабористее? Ходишь-ходишь за ними, сбираешь-сбираешь их, совсем с ног собьешься.

— Позабористее? Вот насупротив! Добегем на минутную. Я кстати с вами, господин кавалер, за компанию. У меня, признаться, ноне тоже поясница што-то... Поигрывает быдто... А заведеньице у нас, прямо сказать, хоть бы гыспадам афицерам гулять... Не замараются,— верьте слову...

— Нам все единственно,— сказал ундер, уже на шагу к рекомендованному заведеньицу.— Привыкши ко всяким... В тридцать-то восемь годов... Д-да! Привыкнешь ко всяким, друг!.. Нюхаешь? Сам тер... На березовой золе...

— Больше трубку... А впрочем, потребляем скуки для ради! Ч-чх-хи! О, да какой лютой, волк его зарежь! Так в слезы и вдарил!

— Хе, хе, хе! — засмеялся ундер.— Вдарит как есть! Привычных-то вон какие ежели, так и то... Страсть! Крестются иные... Это, говорят, черт, а не табак! Хе, хе, хе!

Ничего этого не видит и не слышит Иван Николаевич, потому что он снова увидал своего сутулого мальчика, который уже теперь не мальчик, а взрослый юноша, с задумчивым, сосредоточенным взглядом. Как большая часть юношей, он ведет свой дневник — и Иван Николаевич читает этот дневник с самым пожирающим любопытством.

Дневник начинался описанием значительного провинциального города, который своими дивами очень подействовал на впечатлительное воображение ребенка, не видавшего ничего грандиознее двухэтажного дома уездного головы. Тут было и ученье губернского батальона с серьезным, но несколько хриповатым подполковником, то и дело встряхивавшиеся плечи которого так и рассыпали от себя золотые искры. Большая Московская улица занимала в дневнике целые десять страниц: золоченые государственные орлы, распростертые над дверями двух губернских аптек, довели до лиризма младенческий слог сутулого мальчика. Всесветная слава русского орла была воспета едва-едва грамотным поэтом с чувством, делавшим отличную честь его патриотическим стремлениям. Быстро пролетавшие кареты помещиков и разных губернских властей заставляли мальчугана с судорожной поспешностью сдергивать с головы шапчонку и почтительно раскланиваться с восседавшими в них, как говорится

в «Приключениях английского милорда Георга», знатными обоего пола персонажами.

«Но барыни,— сказано было в дневнике,— смеялись надо мной и вслух с громким смехом говорили: ах, какой смешной мальчишка! А я перенял это у нашего священника и у тятеньки, и потому мне было очень обидно, что надо мною смеются. Священник и тятенька поклонятся, бывало, всякому тарантасу, какой по селу проедет. Случалось, что тарантас бывал задернут кожей, но они все-таки кланялись. Я однажды сказал тятеньке: «Ведь барин-то спит, зачем же ты кланяешься?» — «Как зачем? — удивлялся тятенька.— А ежели в случае барин-то проснется да у кучера спросит: што, скажет, кланялись мне в таком-то селе?»

Глубоко, так сказать, трепетавшими штрихами ребенок описывает тот экзамен, которому подвергли его в губернском городе.

«Мой тятенька,— летописал ребенок, — все время крестился и плакал, стоя у растворенных классных дверей. С ним вместе стояло много священников, дьяконов и дьячков. Все они вытирали заплаканные лица красными ситцевыми платками и тоже, как и отец мой, глубоко вздыхали и крестились. Я писал рассуждение на латинском языке: serva ordinem et ordo servabit te[1], но не мог хорошо писать, потому что от страха мне хотелось спать... Отец в это время потихоньку взглядывал на меня из-за дверной притолоки и грозился пальцем, чтобы, то есть, я старался... Я от этого еще пуще пугался...

Подле меня сидел мальчик с большими синими глазами. Он как будто ничего не боялся, а все засматривал в мою тетрадь и все спрашивал у меня, как будет perfectum[2] такого-то глагола, как supinum[3]. Я ему подсказывал, что знал...

Потом мы с ним разговорились шепотом, не глядя друг на друга, чтобы нас не заметили, и он сказал мне: «Напиши мне рассуждение, amice[4]! Я тебе арбуз ужотка куплю». Я ему стал писать, а меня вызвали на середку.

И как я на билеты был очень счастлив, то меня спро-

---

[1] Сохраняй порядок, и порядок сохранит тебя *(лат.)*.
[2] Перфект *(лат.)*.
[3] Супин *(лат.)*.
[4] Друг *(лат.)*.

сили про Китай. Я очень хорошо знал про Китай и стал отвечать, а преосвященный стал смотреть в меня (седой весь!), и глаза у него в это время то смыкались, то открывались, словно бы и ему спать хотелось. Я не мог смотреть ему в глаза и сам от страха зажмурился. Так и отвечал, а сам все думал: как бы меня не спросили из физической географии или из Российской империи. Из них я не понял, как земля совершает двоякое движение — около себя и около своей оси; а из России, кроме как наизусть выучил все губернские и уездные города, ничего не знал,— особенно реки, кроме Волги, ни об одной понятия не имел... Этого я очень опасался...

Однако бог спас. Спрашивали еще из Ост-Индии, и это ответил отлично. Преосвященный изволил благословить меня и сказал: «Хорошо, дитя! Старайся!»

Не помню, как я выбежал к отцу в коридор. Он и дядя стали целовать меня и говорить: «Молодец! Вот так отрезал!» Приметил я, что от них от обоих пахнет водкой. Какие тут стояли другие духовные, все хвалили меня, гладили по голове, а один какой-то благочинный с наперсным крестом и в полинялой бархатной камилавке, во все время ходивший поодаль от других и важно гладивший бороду, подошел к нам, дал мне гривенник и, благословивши, сказал: «Преуспевай, остроумец! Я на тебя надеюсь!» От него и ото всех пахло водкой. Все друг над другом по этому случаю тихомолком подшучивали.

— Што, отец дьякон,— спрашивал мой дядя у входившего в коридор дьякона в зеленой рясе, который торопливо дожевывал крендель,— пропустил малую толику?

— Истинно для смелости, ваше благородие! — отвечал дьякон дяде (а дядя служил столоначальником в консистории),— потому тут как раз можно живота решиться от страху. Скоро теперь моего сынишку вызовут, и вот не стерпел — выпил на шесть копеек. Беда, ежели из арифметики спросят, шабаш! Придется домой назад тащить, потому слаб у меня сын из этой науки. Да что? И смотритель-то ихний сам онамедни мне сознавался: знаю, говорит, только одни именованные числа. Напившись, этта, пьян, со слезами мне толковать принялся: «Где мне все, старику, помнить, дьякон? Представь, говорит, брат: на трех женах женат был... Тут, брат, дьякон, забудешь...» Очень дурашлив в пьяном образе этот смотритель.

Дядя сказал мне, чтобы я скорее дописывал задачу, а потом приходил бы к нему обедать. Я пошел за парту, а там уже не было ни моей задачи, почти уже конченной, ни соседа моего — мальчика с большими синими глазами. Он спешно писал что-то на задней парте и сам посматривал на меня исподлобья. Не нашедши задачи, я принялся плакать, потому что старший уже начал собирать сочинения, и мне нельзя будет успеть написать другое. Приметивши, что я плачу, старший подошел ко мне и спросил: о чем я плачу? Я сказал ему: «Перевод мой пропал, когда я экзаменовался.— Ничего,— сказал старший.— Ты помнишь наизусть все, что там написал? Прочти-ка мне». Я прочел. Тогда он вдруг бросился к мальчику с синими глазами и нашел у него мое сочинение в греческом Завете. Мальчик принялся божиться, что перевод я сам нарочно подложил к нему в книгу из ненависти; но старший ему не поверил и доложил об этом его превосходительству.

Они же только немножко взглянули в нашу сторону и тут же тихим таким голосом изволили сказать: «Исключить!» Потом сейчас взяли перо и толстой чертой, обливщей чернильными брызгами всю страницу, вычеркнули из списка имя и фамилию мальчика с синими глазами.

Ужас тогда напал на всех страшный! В класс стремительно ворвался благочинный с крестом и в полинялой камилавке. Бросившись на колени, он поднял руки кверху и кричал:

— Ваше превосходительство! Пощадите! Простите!

— Сказано! — еще тише сказали его превосходительство, на минутку открывши глаза и легонько стукнувши по столу худощавым пальцем.

Все тогда, кто присутствовал на экзамене, бросились к благочинному и зашептали около него:

— Батюшка! Извольте идти! Батюшка! Не извольте беспокоить! Идите! Идите! И что это вам вздумалось так... вдруг.... без докладу?

— Да ведь дитя!..— рыдал благочинный.— Ведь он у меня единоутробный. Од-дин! Отцы! Помолите за меня... Умру...

И в то время как отец благочиннный рыдал таким образом во весь голос, как сельские бабы рыдают на похоронах отца или мужа, какой-то усталый, больной голос протяжно проговорил:

— Господин экзаменатор! Зовите следующего.

Никто не видал, кто сказал эти слова, потому что у всех были зажмурены глаза...

Обедал я в этот день с отцом вместе у дяди. Он все смеялся над отцом и надо мною, что мы не умеем кушанья брать по-господски. Жена его тоже смеялась над нами и сын. Сын-то все ко мне по-французски приставал; а я ему все по-латыни. Он очень конфузился, что меня не понимает, а я его не конфузился. Fratrem, vel inimicum in te videndum sum?[1] — спрашивал я у него. Он наконец заплакал и пошел жаловаться на меня матери. Я тоже пошел к отцу и дяде, чтобы они не велели ему налетать на меня с французским языком,— я этому французскому-то языку очень скоро сам выучусь. Дядя и отец пили в это время водку и всё надо мною смеялись и экзаменовали меня из разных предметов, и так как я отвечал им очень хорошо, то дядя подарил мне свои старые сапоги и целковый денег.

За обедом было такое угощенье, какого я на светлый праздник у своих помещиков не едал. Угощали сладким вином в высоких таких рюмках, — кипит, как кипяток в чугуне,— одна бутылка, дядя-то сказывал, четыре целковых стоит. Тетка учила меня, как держать нож, вилку и ложку, а дядя говорил мне: «Вот старайся — учись хорошенько,— и у тебя то же будет...»

Меня это очень удивляло, потому что дядя был исключен из училища за леность и неспособность и, следственно, без ученья имел все. Я сказал об этом отцу потихоньку. Отец тоже шепотом закричал на меня: «Молчи, срамец! Разве можно так про старших думать?..»

К концу обеда дядя очень раскуражился и стал бранить отца будто бы за невежество. Говорил: «Произвел бы я тебя в дьякона, брат, но ты, свинья, не стоишь этого». Отец сказал ему: «Ты сам свинья! А я тебе старший брат». Чуть-чуть не подрались, тетка их усмирила и заставила поцеловаться. После этого отец стал говорить многолетие во весь разверт, все служители смотрели на него из другой комнаты и смеялись; а дядя сидел в кресле босой, в красном халате и во все горло, визгливым таким дискантом то пел многая лета, то кукурекал вроде

[1] Брата или недруга должен я в тебе видеть? *(лат.)*

кочета... Я этому очень дивился и думал: барин, а блажит хуже мужика...

Когда все из комнаты ушли спать, я начал читать подаренные мне дядей записки, по которым должен учиться. Он нарочно купил их для меня целый ворох. Мудрены ужас как! В Логике не понял ни слова. Бог знает, что там написано: буквы русские, а слова латинские, например: отношения идеального к реальному, последние абсурды позитивизма и т. д. А то встретил фразу, вся она по-русски написана, но я не понял ее: «Что должно разуметь под словом — признаки предметов? Под словом — признаки предметов должно разуметь признаки признаков предметов, которые заключаются в сих признаках...» Как меня учила мать, стал я молиться святому Наумию, чтобы он меня надоумил понять, но все не понял... С сердцов стал плакать, а потом и совсем уснул... Очень меня напугали эти тетради, так что и во сне все думал: ну, как я из них ничего не пойму — и меня возьмут да исключат...

На другой день мы с отцом встали еще до свету, и он стал говорить мне с искренними слезами, так что всего его в это время лихорадка била,— чтобы я, как можно, старался учиться получше. «Бог даст,— говорил отец,— окончишь курс, поступишь в попы, так, по крайности, поможешь сестрам в честное замужество выйти. Не кончишь курса,— шабаш! Сестры твои шинки откроют, мы с матерью побираться пойдем, потому мы к тому времени все жилы из себя на вас повымотаем — состаримся».

Слушая это, я тоже дрожал как в лихорадке и думал: как это я так не окончу курса? Как это мои сестры шинки откроют, а отец с матерью побираться пойдут? За один раз мне и сердце щемили отцовы слова, и смеяться хотелось от них...»

Страдательно нахмурив густые черные брови, сидит в Петербурге за своим письменным столом Иван Николаевич и, перелистывая какое-то за № 17.803 «Дело об оштрафовании купца Самуила Самойловича за перекур трехсот восемнадцати с семью сотыми ведер полугарного вина», изредка своим густым басом комментирует лепет сутулого ребенка.

— А ведь ребенок-то погибнет,— болезненно хрипит Иван Николаевич.— Точка в точку и со мной было так, он идет по проторенной мною дороге. Я ребенком бога

видел в лесу... А они тут... курс... курс... Шинки и сестры!.. Я, брат, знаю, что такое шинки-то! Куманек, побывай у меня, да вприсядку! Или: не белы-то снеги, да в горючие слезы... Зн-наем.

Э-эх-х, нне б-белы...

— Давно уж это было — и я забыл теперь, как Он шел ко мне из сосновой благоухающей чащи, махая белыми, как снег, крыльями... Я упал в это время, и надо мною пронеслись несказанно сладкие звуки сдержанного лесного ветра... Проснулся, а около меня серый прохладный песок, подернутый зеленым ласковым мхом... На такой почве растут высокие сосны... Вечером из такого места не вышел бы... Я, брат, знаю... Это, брат, храм, а не декорации...

— Сестры! Сестры! — продолжал Иван Николаевич свой монолог.— Нет, этими сестрами-то да благонамерениями пуститься с сумой хоть кого напугаешь. Она, сестра-то, что такое в нашем нищенском быту? Ее вот ребенком-то нянчишь-нянчишь, а и сам-то в это время с клопа весь. Спишь-спишь с ней на полу под лавкой вместе с котятами, все лицо-то тебе она расцарапает, шкур двадцать с рыла-то с твоего сдерут ее когти, прежде чем она в разум войдет, от полу мало-мальски поднимется. А поднимется, станешь ты ее на своих молодых плечах из навозных ям вывозить. И ведь вывозится будто... «Понимаешь ли?» — спрашиваешь. «Понимаю», — шепотом говорит, и видишь, что у ней слезинки на глазах навернулись, по белому лбу ранней дорогой морщинки пошли...

— Думаешь тогда: а-а? Из девочки-то человек выйдет, не коровка. И вдруг приедешь ты домой помогать отцу Христа славить, а она тебя как обухом в лоб ошарашивает: «Милый, говорит, братец! Не смемши, я говорит, доложить родителям, что у нас полковая рота стоит...»— «Н-ну?» — спрашивает брат. «Так вот теперича я замуж выхожу за солдатика одного... Он, почитай, в офицерстве... шинель со сборками носит, на дворянской манер...»

— Ополоумешь, как этакой-то рапорт тебе подсунут о выхождении в замужество за солдатика, носящего сборчатую шинель...

— Конечно, тут до шинка-то рукою подать. А там:

Опоздпился купец
На дороге большой...—

запел Иван Николаевич в своей пустой квартире и со смехом забормотал:

— А вскорости в сих местах должна будет явиться молодая беззаботная бабенка с румянцем во всю щеку, с громким хохотом, с забористой руганью, одним словом, та шибко распространенная по лицу земли русской бесшабашная погань, которая дотла будет опивать останавливающихся в ее шинке мужиков и мещан и за это будет предсказывать им по засаленным святцам дни праздников и предпразднеств, лечить их одурелых жен водой, настоянной на присушном и отсушном корнях, и в случае ежели какое-нибудь *имущенское* начальство не будет брать взяток, так эта бабенка примет на себя поручение *обчества* искусить жену бескорыстного *имущенского* начальника — и искусит ее, чем и оправдает изречение мудрых предков, гласящее, что где черт не сможет, туда бабу пошлет... Вот она какая сестра-то! Радуйся! А впрочем, черт с ними совсем! — неожиданно выругался Иван Николаевич, махнувши рукой.— Нет, брат, мальчик! Ужасаться отцовым пророчествам ты можешь, а смеяться над ними — нет; потому что все именно так и будет, как не хочет сейчас твое молодое сердце: отец твой с матерью побираться пойдут, сестры шинки откроют, а сам ты... уж и дьявол тебя знает, что из тебя будет со временем. Поживем, так увидим. Однако что же это я сержусь? — спросил себя Иван Николаевич.— За что? На кого? Пора бы, кажется, перестать. Ну, мальчик, рассказывай, чему тебя еще поучал отец?

«Кроме того, — рассказывал ребенок, — отец очень сердился на меня за то, что приметил во мне непочтительность к старшим. «Все,— говорит он,— ты делаешь срыву. Ни к кому никакого ласкательства не оказываешь». Я чувствовал за собою этот порок, то есть что ласкаться мне к людям стыдно, подумают, что я у них прошу чего-нибудь, и потому стал плакать, а отец утешал меня и советовал как можно скорее *исправиться*...

Потом я проводил его до заставы. Было холодно, и дождь лил как из ведра. Около заставы стоял кабак, мы вошли в него. Там горела тусклая сальная свечка и сидели мужики с красными, задумчивыми лицами. Отец вынул из-за пазухи кошелек и все деньги высыпал мне.

В кошельке оказалось три серебряных целковых и гривен шесть медных. «Вот, говорит, тебе до Рождества,— кормись! А за квартиру сам заплачу, когда за тобой приеду брать тебя на Рождество». Я стал говорить ему, чтобы он взял у меня рубль; но он отказался от рубля, а отсчитал себе только три гривенника, из которых один тут же и пропил. Я спросил у него:

— Как же ты с двугривенным полтораста верст пройдешь? Что есть будешь?

— Ничего! Как-нибудь пройду... Притворюсь дежурным из консистории,— попадьи, надо полагать, кормить будут... Дай-ка мне еще гривенничек, я выпью.

Я дал ему гривенник... и он выпил. Выпивши, обнял меня, заплакал и, рыдаючи, сказал:

— Несчастные мы! Несчастные! Несчастнее нас, кажется, во всем белом свете нет никого... Всю жизнь, всю-то жизнь жизненскую майся без отдыху... Отвсюду за твой голод и холод насмешки паскудные, брань мерзкая — и ничего не поделаешь!.. то есть никакими средствами не вылезешь... Как бы не вы, ребята, засел бы я в любом кабаке и поколел бы в нем... Блаже мне было бы!.. Ну, прощай! Да будет воля господня! Смотри же, друг, учись, старайся!.. Выручай!..

Он пошел, а я долго смотрел ему вслед,— до тех пор смотрел, пока совсем не закрыли его от меня туманные стены проливного дождя.

У меня так и разрывалось сердце от жалости к отцу, и я едва-едва не убежал вслед за ним...»

V

Все больше и больше вчитывался Иван Николаевич в дневник сутулого мальчика, и именно как будто от этого обстоятельства и сам он, и квартира его делались все страннее и страннее.

Дешевые гравюры с дорогих оригиналов, висевшие по стенам померанцевской квартиры, алебастровые снимки с увековечивших человеческую красоту статуй, расставленные по стенам маленького залика, приняли какое-то странное выражение, напоминавшее тусклый и унылый взгляд человека, который долго был болен, долго страдал и скоро должен умереть.

Купы цветов, в средине которых белели алебастровые

статуэтки, плющ, так красиво обнимавший картинные рамки,— все это покрылось седою пылью и сетчатой паутиной, в которой жалобно жужжали терзаемые пауками мухи, между тем как по головкам статуэток, между извилистыми линиями кудрей, прошла зеленая скользкая плесень...

От птички, клетка которой висела у потолка, давно уже не слышно было никакого голоса. Редким только трепыханьем крыльев она напоминала о себе Ивану Николаевичу, и тогда он подходил к ней и ласково говорил:

— Ну что? Ну что? Одни мы с тобой? А? У тебя водицы нет? Семечка нет? Ну, дело! Я тебе подсыплю, подсыплю — и водицы подолью. Спи! Ты у меня умница! Вот мы с мальчиком так дураки, несчастные дураки... Послушай-ка, что он тут прописывает.

И Иван Николаевич читал скороговоркой, по временам перемежая эту скороговорку то сдержанным смехом, то тем глухим всхлипыванием, каким обыкновенно плачут мужчины, когда не хотят, чтобы люди видели их слезы.

«3 сентября. Как только я, проводивши отца, пришел в класс, ученики прозвали меня франтом, потому что я был в ватной сибирке из желтой нанки и в замшевых перчатках, так как руки у меня дома от работы и от нечистоты закоростевели и отец намазал мне их серой с коровьим маслом. Все меня со смехом принялись бить, плевать в лицо, а за мальчика с большими глазами, который накануне украл у меня задачу, стали звать выслужкой, то есть ябедником. Пришел профессор в коротком сюртуке и в пестрых штанах, которые были на манер ситцевых. Он стал говорить со мной, и тогда весь класс почему-то вдруг громко захохотал, а я стал плакать. Профессор, вместо того чтобы заступиться за меня, подморгнул ученикам и сказал им: «Не тревожьте его, братцы! Это прекрасный молодой человек — сочинение Поль де Кока, роман в двух частях».

Целых полтора часа издевался надо мною профессор, а класс грохотал, и наконец, когда пробили звонок, он сказал мне: «Ну, прощай, дамский портной! ха, ха, ха!»

Так с тем я и остался, и ни от кого мне не было прохода, и имени мне от товарищей другого не было, как только «дамский портной» и «прекрасный молодой человек». Всеми силами старался я подружиться с кем-ни-

будь из них, но все они, обругавши меня и насмеявшись надо мной, уходили от меня.

Декабря 1-е. Дали сочинение: «Весна приятна». Нужно было написать три периода: причинный, уступительный и относительный; но я не понял, как профессор учил сделать это, а просто взял и стал говорить, как приходит весна, как солнце сушит грязь, и вместо нее, встанешь иной раз поутру, увидишь тропинку мягкую такую, белую... Кто протоптал ее за ночь, не знаешь; а потом побежишь по ней... Она криво бежит к лавке, к попу, в кабак, потом в лес, где и прячется в прошлогодней, успевшей уже обтаять траве. В траве вода чистая и холодная, как лед. Руки и ноги, бывало, ужасно как зазнобишь, бродя в этой воде. Они сделаются, бывало, красные, как огонь, а потом посинеют. У кого посинеют руки и ноги, мы тому скажем: у тебя руки и ноги помертвели; потом все бросимся на этого мальчишку или девчонку и станем оттирать, а сами хохочем на весь лес... Около нас шумела глубокая и широкая река, а по ней скоро неслись большие льдины с густым камышом. По ним бегали и жалобно кричали зайцы, а самые льдины сияли на солнце так, что мы жмурили глаза... Мы смотрели на это по целым дням и целые дни смеялись...»

— А, скверный мальчишка! — бормотал Иван Николаевич, покусывая свои бакенбарды.— Из него поэт формируется. Ничего с ним не поделаешь. Колеют ныне такие люди хуже паршивых собак... Посмотрим, что дальше будет?

«Все это я так и написал. И много другого еще про бабочек, про птиц,— потом как у нас однажды в полноводье лодка плыла с мельницы, которую чуть-чуть не затопила вдруг прорвавшаяся плотина. В лодке была мельничиха, сама она правила, отталкивала льдины и кричала, чтобы ей помогли, и дети у ней в лодке ползали и кричали, а кто был на берегу, все молили бога, чтобы он помог ей. Когда же она подъехала к берегу, тогда все бросились целовать ее, а ребятишки, какие тут были, смеялись и плясали...

На другой день пришел в класс профессор и спросил меня: «Кто это тебе, чучело, написал сочинение?» Я ему сказал: «Никто! Это я сам написал»,— и в это время у меня лицо сделалось красное, потому что я на него осерчал, зачем он мне не верит, и мне хотелось плакать. То-

гда он схватил меня за уши и закричал: «Врешь, подлец! Сейчас сознавайся, кто тебе это написал?» Я громко зарыдал, а ученики загрохотали.

Профессор согнал меня в это время с первого места на последнее; а я написал письмо матери, чтобы она приехала ко мне и *исключила* меня, потому что я не могу понять ученья, то есть как писать.

Мать привезла мне сухой малины и орехов; долго плакала, прыскала мне голову святою водой, потому что голова у меня горела как в огне, а потом уехала домой с обратными мужиками, и я остался один...

Перед святой как-то сидели мы в классе, и профессор сказал нам: «Ну, братцы, теперь скоро публичный экзамен будет, и нам нужно навостриться стихи сочинять. Вот они какие бывают, стихи-то»,— и он развернул книгу и начал нам читать стихотворения разных размеров, объясняя при этом, что такое ямб, хорей, дактиль, анапест и др.

И как я у дедушки, у протопопа, таких стихов прежде много читал, то и подумал, что писать их не мудрено... Еще подумал, что, как только я напишу стихи, сейчас меня все полюбят и профессор посадит меня на первое место... «Ну кто же напишет, братцы?» — еще раз спросил он, и тогда я встал с места и сказал, что я могу написать. Он задал мне — «Осень»,— и к концу класса я приготовил вот какие стихи:

ОСЕНЬ

Перезрели в просах зерна,
Перезрели.
Звонким лётом над реками
Птицы пролетели.
Вслед им пущен громкий выстрел
От сенного стога.
«До весны прощайте, птицы,
Путь вам и дорога!» —
Им стрелок сказал, ступая
Топкой колеею;
Был он с потными усами,
С мерзлой бородою!..

— Эдакая скверность! — недовольным тоном пробормотал Иван Николаевич после того, как продекламировал эти стихи.— Поэтишка и есть, как и я. Теперь искалечат и истиранят. Тут не помогут никакие человеческие силы! В другом бы месте... конечно... Э! да ну к черту

все это! Пойду-ка я в департамент. А? Скажите, пожалуйста... Ведь ухитрит же бес...

Был он с потными усами,
С мерзлой бородою...

«От этих стихов мне стало еще хуже. Профессор избил меня за то, что он думал, что я их списал из какой-нибудь книги, и все спрашивал меня, какого они размера, но я не знал этого. Пуще прежнего все возненавидели меня; ученики из других классов останавливали меня на улицах, в коридорах и требовали, чтобы я прочитал им что-нибудь *вдруг из своего ума,* и когда я не мог этого сделать, они били меня и говорили: «Эх ты, сочинитель кислых щей!»

Однажды я попался на глаза инспектору. Он спросил у профессора словесности: «Этот, что ли, у тебя парнишка стихи-то сочиняет?» Профессор ответил: «Так точно-с! Дрянь самая безнравственная... Извольте обратить внимание на морду, ваше-ие! всегда вниз... А это, доложу вам, вернейший признак злохудожной души-с...»

Инспектор долго и свирепо смотрел на меня, потом принялся ощупывать мою голову, стукать по ней в разных местах концами пальцев и кулаком (все говорили, что он отлично умеет узнавать человеческие способности, и потому многие господа привозили к нему для этого своих детей) и потом, обратившись к профессору, сказал:

— У него действительно очень развита шишка сочинительства. Только ты гляди у меня, сочинитель: не пей!.. Знаю я вашего брата. Все вы таковы. Запорю, коли что узнаю... А вы смотрите за ним построже,— за каждый шаг пробирайте... Небойсь остынет; а то ведь это искушение очень сильно... Не всякий с ним совладеет... О-охо-хо!.. Пошел прочь!..»

Прошло целых два года еще такого же бессменного горя, оскорблений, слез, и видно было, что ребенок формируется. Он уже не плакал, а злился и негодовал, и эта злость и негодование были выражены уже не ребячьим лепетом, а жарким слогом юноши, в котором закипело страстное и сильно чувствующее сердце.

«Все бы это опротивело мне до безумия,— писал мальчик,— если бы я не подружился с Васильем Западовым, который однажды заступился за меня, а потом

посоветовал мне, чтобы я сам старался всякому нос сорвать...

— Какого ты черта смотришь на этих подлецов? — говорил Западов.— Колони в морду какого-нибудь мерзавца, сейчас же тебе от этого веселее сделается... Это, брат, верно! Ей-богу! Я это пробовал — и вот, сам видишь, кто теперь на меня налетает? А то ведь и меня, как и тебя, чуть-чуть не заклевали...

Я очень его полюбил, и вчера мы выпили с ним потихоньку от наших квартирных полуштоф сантуринского и потом за полночь читали книгу — «Мертвые души». Я много плакал, смеялся, а в некоторых местах мне делалось до того страшно чего-то, что зубы мои стучали как в лихорадке... В мозгу пробегала какая-то смутная мысль о том, что «вот если бы и мне так-то...». Потом мысль эта вдруг сменялась стыдом и злостью на себя за то, что она шевелится во мне. В груди и голове моей неотступно сидел кто-то и сердито говорил: «Разве ты смеешь желать *этого?»* — и этот говор был настолько слышен мне, что я терял всякую надежду на что-то; а между тем впервые услышанный мною *гром других речей,* которыми поэт живописал людей и природу, лился на меня неизъяснимо увлекавшей музыкой, от которой вздрагивало тело и расширялась грудь, вся переполненная чем-то кипучим и необыкновенно сильным...

Не помню, дочитали ли мы с Западовым всю книгу до конца, выпили ли весь полуштоф, помню только тусклое мерцание оплывшей сальной свечи, большую грязную кухню с уродливыми, пугающими тенями по темным углам, хозяйку нашу — Агафью, толстую и добрую женщину, которая изредка вставала с сундука, подходила к нам и осуждающим шепотом говорила:

— Что это вы расчитались, полуночники? Опять же и винище это, ишь как полосуете, ровно бы взрослые!.. Накося! Полуштоф на две персоны... Ну, тебе, Васенька, ничего, ты силен, бог с тобой! А этот куда тянется? Ты, сова, что глазищи-то на меня пялишь? Ведь ты, дьяволеныш, больной... Нежный... Ну, ты заболеешь, али, боже избави, ополоумеешь от винища-то? Что я с тобой буду делать? Мало ли еще над тобой грохочут жеребцы-то ваши?

— Уйди, Семениха! — сердито заговорил Вася.— Не

твое дело. А кто над ним будет зубы скалить, все скулы тому сворочу на сторону. Читай, читай, Ваня...

И я снова начинал не читать, а как будто идти вслед за чичиковской тройкой по пыльной столбовой дороге. Вот по бокам ее белые церкви, деревни, приютившиеся у опушки дальнего леса, там, дальше, дымится сизо-серебряная, дугообразная лента реки, мы догнали казенный обоз из гремящих бесчисленными винтами и цепями зеленых фур; пьяный солдатик, разгоняя молчанье пустыни, валяет на жидковато, но бойко пиликавшей скрипке, звонко хохочет, свистит и пляшет... Одетая непроницаемыми облаками дорожной пыли, в предшествии, как военные крики, буйных и пугавших все встречное ругательств, мимо нас промчалась курьерская тройка — и моментально скрылась...

— Вставай, Ваня! — говорил мне ласково Чичиков.— Мы приехали к Петуху. Петр Петрович! Вот рекомендую вам Ваню Померанцева. Он приехал к вам рыбу ловить.

На меня повеяло той освежительной влагой пруда, когда его золотит и нежит закатывающееся солнце. Я бросился в него — и поплыл и поплыл...

— Да что ты, чертов сын, когда перестанешь барахтаться-то? — загремел надо мною голос человека, старавшегося связать мои руки.— Ишь! дьяволенок, ишь, здоровый какой! — повторил этот голос. Я открыл глаза и увидел выбеленные стены семинарской больницы, мать, умолявшую фельдшера не бить и не вязать меня и обещавшую за это сейчас же пойти в лавку и отрезать ему сукна на штаны, и Васю Западова.

— Ну, мать, молись богу! — заговорил фельдшер матери.— Очнулся, значит, сто лет проживет. Бежи теперь, тащи мне сукна да прихвати атласцу на галстук аршинчик. Очень я галстуками-то пообносился... Ухвати кстати, маменька, четверточку табачку — жукетцу, мы тут воскурим с твоим птенцом. Теперича ему это очень в пользу пойдет...

Странное дело! Вышел я из больницы с совершенно облезлою головою. Посмотрю на себя в зеркало, толкач толкачом, как есть урод; а между тем никто надо мной не смеялся. Я стал думать, отчего это меня обижать перестали, хотя по-прежнему смотрели недоброжелательно, исподлобья, сумрачно,— и дело объяснилось очень просто: мы всегда и в классе сидели, и по улицам ходи-

ли вдвоем с Западовым, и если на нас налетал кто-нибудь с дракой, мы его колотили до того, что начинали, против воли, истерически хохотать над его болями и бросали тогда уже, когда нам самим делалось нестерпимо больно от нашего смеха...

Потом мы с Западовым стали брать деньги за то, что писали за других учеников сочинения, и на эти деньги покупали красное вино, которое в бане и выпивали. Это еще более увеличило почет, которым мы начинали пользоваться. У нас оказалось много преданных ребят, которым мы писали даром, и они рассказывали всем, что мы необыкновенно умные и добрые, так что к нам стали ластиться из старших классов.

Рассуждая обо всем этом, мы с Васильем очень смеялись над товарищами и говорили друг другу: «Вот скоты! Когда мы им хотели душу отдать, они издевались над нами, как над собаками, а теперь... вон какая штука пошла!..»

Долго мы со своими неопытными умами вертелись около этой штуки — и наконец решились поступать всегда таким образом: пробирать всех и вся, а то самого убьют...

Уж и доставалось же от нас нашим приятелям! Мы состроили себе из двух наших маленьких физических сил одну, о которую разбивались все остальные, а нравственные силы к нам обоим сами пришли... Понявши этот факт, мы смеялись и колушматили, колушматили и смеялись...

— Вот теперь в нас с тобой сидят подлинно злохудожные души! — часто с громким хохотом говаривал Василий, раздавая направо и налево забористые тумаки».

— Вот так подкладка! — говорил Иван Николаевич в своей опустелой квартире.— Нарочно такой не придумаешь! Ребячью теплоту подбили чертовой кожей... Дельно! Полюбуемся!

«Впрочем, когда мы оставались с Западовым одни, мы долго советовались, как бы нам без драки помириться со всеми, и не находили никакого другого средства. Я до слез унывал от этого, а Васютка надвинет, бывало, брови, по лицу у него забегают в это время угрюмые и вместе печальные тени,— и скажет:

— Э! не плачь! Черт с ними! Давай-ка читать...»

— Этот хоть, по крайней мере, последователен,— бор-

мотал Иван Николаевич.— У него душить так душить... Ну давайте, давайте читать... Ах, боже мой! Ведь все это я знаю. Всем этим сладким чадом и моя голова горела... Вот вам «Клятва при гробе господнем», вот «Последний Новик», — ну, «Бусурман», — нну, «Рославлев» наконец,— и какие там есть еще черти и дьяволы?

— Отечественная литература! Классические собрания! — протяжно и злобно толковал Иван Николаевич, тусклыми, бесцельно блуждавшими глазами осматривая свою мрачную квартиру, видимо, не понимавшую, на что он сердится.— Вот тебе и классики! Гибель! О, вы —

Разрозненные томы
Из библиотеки чертей!

— Какая-такая литература? Нравов нет! Есть черт знает что, которое всегда прощать должно, за которое всегда страдать должно, а тем для литературы нет... Следовательно? Ну и ее нет... Смеяться даже лень над этим безысходным никуданегодяйством...

— Ну что там еще? Что у тебя еще есть? — спрашивал у безответно молчавшей стены Иван Николаевич.— Пушкин-то? Приятно слышать! Ха, ха, ха! Руслана и Людмилы я никогда не видал и видеть нужды не имею,— знаю, что кавказских пленников, хоть бы они были расприятелями со всеми княжнами в мире, черкесы отправляли без дальних разговоров коз стеречь,— знаю, что леса наши не в состоянии приютить у себя Дубровского с шайкой разбойников и с пушками, а если и прютили бы, то, к славе нашего доброго отечества, в нем таких горячих субъектов быть не могло. Ибо, как говорил один немец, содержатель зверинца, рекомендуя вниманию публики белого медведя, «по холодному его климату, мы часто обливаем его холодной водой...». Да что, в самом деле? Досадно! Гений унизился до каких-то засад, до пальбы, как есть провинциальная театральная афишка или пошлые романы Дюма. Вот и Сильвио тоже: они некогда состояли в военной службе храбрыми гусарами, честными ремонтерами,— были некоторые из Сильвио шулерами, бретерами, при всякой удобной оказии прятавшими под любой куст свою храбрость,— были они нахалами, развратниками, нелепыми мотами и всякого рода подлецами и дураками: но Сильвио великодушных быть не могло.

— Как об историке, друг Ваня, я о Пушкине и говорить тебе не буду. Он нас обманул своей историей пугачевского бунта.

В этом месте своей литературной критики Иван Николаевич оперся о край стола и с необыкновенной лаской начал говорить стулу, на котором, однако, никто не сидел:

— А впрочем, Ваня, я люблю Пушкина как личность. Я злюсь тогда, когда читаю, что он произвел,— и вот видишь почему (тут Иван Николаевич понизил до шепота свой голос): потому что оно могло быть лучше сделано. Понимаешь, лучше!.. Но ведь, друг мой! Нужно отсекать людей от времен, в которые они действовали... От обстоятельств... Ваня! В этом в одном только, по моему убеждению, заключается разумный интерес жизни: смотреть на дело умершего человека, знать, чего оно стоит, и потом руководствоваться выведенными из всего этого соображениями для пользы своей и ближних... Конечно, ты еще молод... Ну да еще мы поговорим... Успеем...— улыбался Иван Николаевич.— Я, ей-богу, глубоко рад, что ты ко мне приехал; а то, понимаешь? — еще дружелюбнее смеялся Померанцев,— становимся мы стары — и помнишь, как у нас растолковывали по селам про мужиков, какие долго не умирали? Говорили про них, что они колдуны и что им некому передать своего колдовства. Вот я тебе теперь и передам мое колдовство...

Разговаривая таким образом, он жал кому-то руки и спрашивал:

— Ты чаю хочешь или кофе? А то, может, по семинарскому обычаю, водочки прежде, а? Ха, ха, ха!

Часовой маятник отвечал ему металлическим: та, та, та, та!

— Дело, друг! Мы всего сейчас изготовим,— удовлетворился Иван Николаевич и этим ответом — и потом, суетясь по комнатам, снова обратился к истории отечественной литературы:

— А что, голубчик Ваня, Лермонтов там у нас в ходу был, так у него, ха, ха, ха! есть один, как говорили наши губернские барышни, стишок действительно хорошенький. Это —

И скучно, и грустно, и некого в карты надуть
В минуты карманной невзгоды.
Жена? Да что пользы жену обмануть?
Ведь ей же отдашь на расходы.

— Это, друг, очень хороший стишок! Остальное все

вздор, потому что, дорогой мой, мы и без него постоянно спрашиваем:

> На проклятые вопросы
> Дай ответы нам прямые:
> Отчего под ношей крестной
> Весь в крови влачится правый?
> Отчего везде бесчестный
> Встречен почестью и славой?

— Впрочем, Ваня, я его сердечно жалею. Возьмем то одно, сколько ран нанесли ему все эти княжны Мэри и т. д. Сердце-то у него, Ваня, стало словно бы камень какой: ни само не билось, ни того, что другие бьются, не понимало, или, быть может, и понимало, да по-своему, по-особенному... Это, брат, была самая, как говорили у нас в семинариях, злохудожная душа... Ну-ка выпьем сначала, закусим, да вот кофейку...

В молчаливом залике стоял накрытый круглый стол. На нем были графин с водкой, бутылка с вином, кофейник шипел — и около всего этого ходил Иван Николаевич какою-то торопливой походкой, смеялся, потирал руки и, видимо, чему-то глубоко радовался.

— А то у вас, Ваня,— говорил он,— Гоголь был, так ведь это тоже опять беда! Нашему брату, который сам до всего должен додумываться, его и читать-то, по-настоящему, не следует. Околеть можно от этого горького смеха, от этого смертного уныния. «Смехом моим горьким посмеюся!» — написали на его могиле. Славный девиз! Вот герб! Как это, Ваня? «Русь! Русь! Вижу тебя из моего прекрасного далека!» Забыл подлинные слова, коверкать не хочу. Подскажи, Ваня! Он дал нам нравы! Или не то что дал, а научил нас подмечать в людях настоящие нравы. Это основатель русской литературы. Без него мы не поняли бы ни Диккенса, ни Теккерея и все пробавлялись бы дурацкими эпопеями о корнетах Z и о княжнах X.

— А при нем, Ваня, и мы в нашей пошлой жизни испытали кое-что очень хорошее. Вот Пашенька Домби, ребенок, неизвестно почему потухающий при тайном говоре брайтонских волн; вот Флоранс, портреты которой ты видел в изумрудных незабудках, растущих на наших лугах; Вальтер, добрая, всем помогающая сила, которой не растет на наших лугах... Вот капитан Куттль на деревянной ноге, лицо у него все поросло каким-то как бы

печально смеющимся, седоватым мхом; но он все-таки бодро кричит: «Держись крепче, капитан Куттль! Старик Куттль! Распускай все паруса — и полным ходом! Стыдно тебе будет, старичище Куттль, если ты упадешь лицом в грязь».

— А вот и мисс Ребекка Шарп, великая девушка, сначала плюнувшая на лексикон если не великого, зато, по крайней мере, толстого доктора Джонсона, а потом оплевавшая все... Скажу тебе по секрету, Ваня: Ребекка Шарп была моей первой и последней любовью. Я очень жалею, что я не встретился с нею в действительной жизни. Я бы вырвал из нее то, что называется женским тщеславием (ты, друг, конечно, молод и еще не знаешь, что под этим словом разумеются тысячи разнообразных и губительных гнусностей), а она бы из меня вырвала... Ваня! Что бы она из меня вырвала? Ха, ха, ха! Ничего бы она из меня не вырвала...

— Хорошо! Хорошо! — перебивал Иван Николаевич чье-то весьма будто бы торопливое и жаркое возражение.— Поговорим еще... Успеем... Я тебе и об этом скажу. О чем? Да, да, да! Об женщинах? Ну, брат, я никого не хочу оскорблять. С этою вещью ты должен как-нибудь сам познакомиться. Для начала прочти Гейне,— вот он на полке лежит.

Иван Николаевич вдруг запел на мотив «Чтоб мы были без вина?»:

Наша милая жена
На восходе солнца шла...

— А вот тебе, голубчик Ваня, Уэллеры — отец с сыном. Они, в качестве извозчиков, пахнут лошадиным навозом, да ведь лошадиный-то навоз чахотку вылечивает. Что за прелесть эти люди! Я с совершенным счастием вижу, что там рабочая жизнь имеет в своей среде высокие идеалы сознаваемого труда и сознаваемых обязанностей.

— А мистер Пиквик, Ваня! Желал бы нашему обществу побольше таких людей. Конечно, они стерли бы с нас ту печать безразличия и апатии, которая одинаково лежит на наших делах — дурных и хороших... Ну да успеем еще... Поговорим...

Снова Иван Николаевич счел за нужное успокоить кого-то дружелюбными улыбками и рукопожатиями.

— Вот это, Ваня, нравы! И конечно, дорогой мой, и

за это нужно быть благодарным, что не весь свой курс специально провалялся ты в грязи и бедности, а познакомился и с другой стороной человеческой жизни; но ведь, милый, ведь все это из *ненашенской земли,* и потому нужно было *вам* главным образом не это, а вот что...

— Вот, брат, что *вам* нужно было,— указывает Иван Николаевич на шкафы с книгами.— Это, брат, не чета вашим запискам. Как там физику-то начинал читать один остроумный и вечно пьяный человек? Не подумайте, говаривал он, разбойники, что физика научит вас заезжать друг к другу в физики более того, чем вы сами понимаете это искусство. Каков каламбур! Нет, Ваня, тут без каламбуров,— прямо к делу. Есть у меня, Ваня, штук пять знакомых молодцов,— я тебя сведу с ними. Посоветуйся-ка с молодежью-то, определи себя, да с богом и присаживайся! Я с тобой, кстати, на старости лет... Эх, жаль, говоришь ты, что Васютка-то Западов умер! Хорошо бы и его сюда затащить. А ведь у меня тоже был приятель — и звали его, как и твоего, Западовым. Так тот упрям был, как не знаю что: взял однажды грудью и животом лег в весенний, растаявший лед — и стал в этой луже валяться. Спрашиваем: что ты делаешь? А он говорит: не хочу в академию ехать, лучше умереть. В два дня действительно свернулся... Очень упрям был покойник; только я уже стал забывать его. Вот ты напомнил...

— Ну, брат Ваня! Хорошо ты сделал, что приехал ко мне. Теперь я тебя не выпущу. Я был, Ваня, очень несчастлив: у меня, Ваня, кроме, ха, ха, ха! мисс Ребекки Шарп, другой любви не было, дружбы тоже не было, а было гнусное, нищенское бесхлебье, а оттого всякого рода унижения и скверности,— была тоска по годам, с которой сладить не было никаких возможностей,— раздумье какое-то проклятое, которое как бы каким облаком закрывало от меня настоящее жизненное течение; а теперь вот который уже год я заперся от всех, чтобы не получать от жизни новых пинков... Устал!.. обробел!..

«Динь! Динь! Динь!» — порывисто зазвенел в это время колокольчик у черной клеенчатой двери.

— Звони! Звони! — насмешливо отвечал Иван Николаевич этому звону.— Теперь, брат, я не особенно вас боюсь. Я теперь отопрусь и переведаюсь с вами! Весь мой опыт тебе, Ваня! Не дам я тебе, сударику, обманутым быть ни людьми, ни самим дьяволом...

«Динь! Динь! Динь!» — еще тревожнее залился колокольчик, а Иван Николаевич по-прежнему тихонько посмеивался и, поглаживая бакенбарды, говорил:

— Уж это как дважды два верно, спасу. Хоть бы вы треснули там, звонивши. Ежели он вдастся в умственные зигзаги, какие нас в старину заедали, мы его развлекем. Всей своей желчью оплюю я эти зигзаги. С женщиной ежели сойдется,— мы приставим ей голову,— редкие они у нас, бедные, с головами-то... Ах, несчастье! Ах, какое губительное несчастье! Пуще заразы пожирает оно наш молодой народ!.. Но ничего, Ваня! Все бог! Может, как-нибудь и от этого оттолкнемся.

За дверью между тем слышалось:

— Надо налегнуть!..

— Известно, налегнуть,— не отпирает кое место. Кто его знает, што он там?

— Што ж? Налягем, коли ежели...

Вследствие этого решения дверь заскрипела, и потом обе половинки ее грянулись на пол передней.

— Мальчик, прячься! Ребенок, хоронись скорее! — кричал Иван Николаевич, пуская в рыжеусого дворника массивным, парящим в небо ангелом.

— Не извольте буянить, ваше высокоблагородие! — резонно и тихо говорил бравый городовой, усаживая Ивана Николаевича в карету.— Не хорошо! Чин ваш этого не дозволяет...

— Вали! Вали! — кричал с подъезда дворник.— Он, брат, тут у нас весь двор поел... Что с ним еще разговаривать-то?..

— Ваня! Ваня! Берегись! — продолжал кричать Иван Николаевич, выглядывая в каретную дверцу.— Смотри, чтобы они и тебя не съели, как меня... Берегись, друг!..

Кучер, намереваясь ударить по лошадям, хлопнул его по лицу ременным кнутом, и Иван Николаевич пугливо скрылся в глубину кареты и зашептал:

— Ишь, подлецы, ишь! За что он меня? За что?

— Потише там, с кнутом-то!..— крикнул на кучера бравый ундер, и карета тронулась, а Иван Николаевич все шептал что-то, улыбался кому-то, делал самые дружественные и успокаивающие знаки и по временам с совершенно детскою уверенностью, не допускающей никаких невозможностей, спрашивал у сидевшего с ним рядом городового:

— Как думаете: придет ко мне Ваня? А? Нужно бы мне ему еще словечек пару сказать... Так, немножко... Не успел я ему давеча шепнуть... Придет ведь?

— Беспременно, ваше высокоблагородие! — успокоивал его городовой.— Потому им грех будет, ежели они не придут... Они люди молодые!..

— Да! Да! Они люди молодые,— самым радостным образом засмеялся Иван Николаевич.— Придет,— это верно!.. Ха, ха, ха!..

Спустя несколько недель в «Полицейских ведомостях» говорилось:

«Отыскиваются родственники и наследники умершего в доме умалишенных титулярного советника Ивана Николаевича Померанцева, подверженного с давних пор, как оказалось по справкам, чрезмерному употреблению спиртных напитков. Приглашаются равномерно кредиторы означенного Померанцева к оценке оставшегося после него имущества, состоящего из двух пар ветхих сапог, разбитой алебастровой статуи, изображающей парящего в небо ангела, и большой конторской книги, которая, впрочем, к употреблению едва ли окажется годною, потому что вся она исписана одними только этими словами:

— Мальчик, берегись!..»

1869



МОЕ ДЕТСТВО

Я очень рано начинаю помнить себя; но эти ранние воспоминания, как тучей, затемняются множеством серых, обыденных дней будничной сельской жизни, необыкновенно похожих друг на друга. Теперь, пристально всматриваясь в непроглядный туман этих дней, я как будто вижу в нем что-то неясное, неопределенное, но вместе с тем страстно любимое мною: вот, например, под однообразный, но могучий шум большой реки, обтекавшей село с трех сторон, проходит предо мною эта так манящая

меня в настоящую минуту тишина сельской жизни,— идет она, или даже не идет, а тихо-тихо летит, как нечто живое, имеющее свой образ, который в моих глазах имеет совершенно определенные формы. Да, я осязательно ясно вижу, как над молчаливыми сельскими буднями, поднявшись несколько выше светлого креста на новой церкви, на белых крыльях парит вместе с летучими облаками кто-то светлый и тихий, с лицом стыдливым и кротким, как у наших девиц... Так я теперь, отделенный от родного села долгими годами шумно-столичной жизни, исполненной невыразимых страданий, представляю себе мирного гения тихой сельской деятельности...

Но исчезло видение — и опять идут медленные сельские будни. В ушах раздается неразборчивый гул беспрестанного работника — деревенского дня. В какой-то угрюмой печали прислушиваются к этому гулу понурые и растрепанные крыши домов,— время от времени по улице пролетит какая-нибудь лютая помещичья тройка, неистово позванивая валдайским колокольцом и громыхая бесчисленными бубенчиками,— вяло проплетется прощелыга-мещанин из соседнего города с красным товаром,— за тройкой и за мещанином одинаково любопытно прорыщут сельские ребятишки и девчонки — и опять тишь, важная, медленная и человека, желающего поговорить с нею, подметить в ней хоть какие-нибудь признаки жизни, до глубокой тоски мучащая своим хмурым и как бы упрямым молчанием...

Если и нарушается в моих воспоминаниях это молчание, так очень редко и неопределенно. Иногда среди этих страшных морозов, яростно визгливых метелей, среди длинных, как вечность, ночей, когда в избе все слепо от дымной лучины, я вдруг начинал примечать, что лучина горит гораздо светлее, чем в это мучительно длинное *всегда,* лица делались радостнее, веретена и самопрялки полусонных прях вместо однообразного и невыносимо скучного жужжания принимались напевать что-то такое, необыкновенно похожее на песню ребенка... В черную избу глядит морозный месяц, и временем, когда пряха, сидящая подле светца, не успевши заменить догоревшую лучину другою, давала ей погаснуть, тогда темноту избы так чудесно освещали какие-то золотые, плавно волновавшиеся по грязному полу месячные полосы. В полосах отражались четырехстекольчатые окна избы до того яв-

ственно, что я, по рассказам, с младенчества близорукий, начинал думать в это время, не прорубила ли какая-нибудь невидимая рука в нашем полу других окон, чтобы в избе светлее было,— поэтому я вскакивал с лавки и бросался к полосам. Работница между тем уже успевала вздуть огня — и полосы исчезали.

— Где же они? — задумчиво спрашиваю я, смотря по направлению к настоящим окнам, в которые улетели месячные лучи.

— Кто где? — спрашивает меня, в свою очередь, из-за стола отец, оперший над громадною четьи-минеей, которую он перед тем читал своим многочисленным домочадцам.

— А эти...— отвечаю я, не умея назвать должным именем то, что сейчас позолотило наш пол и опять улетело куда-то.— Окно-то... на полу-то были какие сейчас... Где же?..

— Ах ты, дурашка! — позевывая, говорил отец.— Рази это окна? Это месяц.

— Месяц, вон он,— спорю я,— в небушке. А это где? Куда они улетели?.. Откуда взялись?..

В голосе моем слышатся слезливые ноты.

— Глупó! — возвышает отец свой голос, делая ударение на о, за что он считался самым умным человеком и проповедником во всем уезде. (Он был священником в описываемом мною селе.) — Глупó! — повторяет он.— Ступай, сядь на лавку и слушай, в прóтивном случае смóтри у меня: не прóлей сухарной жижки...

И затем он продолжал прерванное чтение.

«И прииде бес к праведному и возглагола ему гласом льстивым: авва! И отвеща ему преподобный: вскую шаташася, бесе!..»

Многознаменательно хмыкает и серьезно задумывается отец над трудными, неудобнопонимаемыми, по его выражению, местами патрологии — и тогда все, что сидит и трудится около него, повертывая жужжащие прялки, ковыряя лапти, починивая узорчатые рыболовные сети, стругая полозья и оглобли, принимается усиленно молчать, ибо понимает, что *батька не в своей тарелке.*

— Тише ты! — слышится в избе,— не видишь рази? Может, он теперича вона какую думу задумывает!.. Может, он про божество...

Многочисленные бабенки, собравшиеся к матери на

попрядух, напрасно сдерживая мучительную зевоту, продолжительными и глубокими вздохами стараются показать, что они не только слушают чтение, но и, так сказать, по отличном вникновении в оное, должным образом его принимают и сочувствуют. Некоторые старушенции, с целью заслужить от батюшки-священника одобрение, довольно громко всхлипывали, то и дело отирая с морщинистых лиц непокупные слезы.

«И приидох вои мнози и взяша его и мечем во главу усекоша»,— уныло тянет отец своим густым, протяжным басом в молчаливой избе, и изба отвечает ему своими не менее протяжными и унылыми возгласами:

— О, господи батюшка! Кормилец ты наш милостливый! Спаси ты нас и помилуй, мать пресвятая богородица!

В моей детской голове в это время как-то смешанно, но неотвязно и властительно засели постоянно одна другою сменяемые думы об улетевших сейчас с пола золотых полосах, о только что оконченном житии святого мученика и о словах отца, которыми он засадил меня на лавку и заставил слушать четьи-минею.

Пристально всматриваюсь я с моего сиденья в темный запечный угол. Оттуда виднеется мне косматая голова Фомы, нашего работника, который орудовал там, при помощи топора и долота, над санными полозьями. Мои глаза почему-то остановились на затылке Фомы и упрямо ищут на нем разъяснения отцовской фразы.

«Не пролей сухарной жижи! — думаю я.— Какой-такой сухарной жижи? Отчего ее нельзя пролить? И ежели, наконец, сухарная жижа стояла бы вот здесь предо мною и я бы разлил ее, что бы мне было за это от тяти? Высек ли бы он меня за это, как онамедни, когда я разбил в горнице стекло, или только отодрал за вихры? Да, наконец, почему же бы отцу не дать мне гостинца за разлитую жижу?»

Ни слова не отвечает мне Фомин затылок на эти вопросы. «А что мне будет, ежели я разорву на себе рубашку? Постой: дай-ка я посмотрю, что будет?..» Вслед за этими словами моя новенькая ситцевая рубашка начинает потихоньку трещать от моих ногтей — и всего меня поглотило внимание отгадать, что́ мне будет за это: гостинцы или экзекуция. Если экзекуция, то какого свойства; если гостинцы, то какие именно и откуда отец их

возьмет: из стекольчатого ли шкафа, который стоит у нас в горнице, или просто-напросто достанет их из кармана своего серого нанкового полукафтанья, где у него обыкновенно хранились всякие сласти вместе с берестовой табакеркой, украшенной разноцветною фольгой.

Наконец детский мозг окончательно выстроил силлогизм, что-де кто разорвет на себе новую рубаху, того родители обыкновенно поощряют к дальнейшим подвигам в этом роде самыми сладкими гостинцами, вследствие чего ногти мои усиленнее работают над прорехой, а дума, сделавшись радостной, идет вперед таким образом.

«Да какой же новый гостинец даст мне отец? Все я их перепробовал. Не хочу я их, пусть он *сделал бы* мне лучше энто... золотое... что у нас на полу лежало сейчас. Он, тятя-то, все умеет делать: и читать, и писать, и в церкви служить... Мужики вон не умеют, а он поп — всех благословляет...»

Фома кивает своим косматым затылком в лад с опускаемым на долото топором, что я считаю за подтверждение моей чудесной мысли и почти слышным шепотом вывожу окончательное решение взволновавшего меня вопроса:

— Да! Так и будет. Тятя — поп, вот он мне завтра и сделает энту... золотую-то... Завтра пристану к нему...

— А что, батюшка, дозвольте вас спросить,— перебивает мои думы одна любопытная старуха,— по нонишним ежели временам бывают по иным царствам мученики, али запрещено?

— Нет! — строго и с тяжким вздохом отвечает отец.— Оскудела вера в нынешних людях, ожесточились сердца их, и не разверзается чрез это для нашего поучения чудодейственная десница господня.

Почуяла изба, что действительно, должно быть, плохи нынешние времена, потому холода эти везде стоят, птица на лету мерзнет,— голода, скотина мрет,— безденежье, человек в три погибели гнется работаючи,— и, почуявши, все, кто дремал в ней до этих слов, встрепенулись,— кто всхлипывал втихомолку — горько заплакал, кто между работой улучил минутку с соседом тихим словцом перемолвиться — замолк и долгой, печальной думой задумался. Столбом стала в избе угрюмая тишь, и снова в тиши этой раздался протяжный голос хозяйский, с ка-

кою-то суровою властью звавший теперь к выслушанию «Жития иже во святых отца нашего Григория Неокессарийского».

И, словно вызванные торжественным отцовым голосом, проходят пред моими младенческими глазами важные образы великих подвижников христианства. С их широких одежд прямо в лицо мне так ласково летят благовония, как бы от киевских кипарисных крестов, которых так много приносили нам наши сельские богомольцы и богомолки,— светлые, как молния ночью, искры сыпались с их круглых золотых венцов и затемняли убогий свет лучины, а вместо тоскливой тишины изба наполнялась несказанно сладкими и звучными голосами...

До истомы замираю я, всматриваясь и вслушиваясь во все это; но глаза мои против воли слипаются, разгоревшаяся голова склоняется на колена матери, и чуть-чуть только сквозь отяжелевшие ресницы видятся еще мне кроткие лица, светлые венцы, но видятся неопределенно, отчего сердце мое начинает мучительно тосковать, и я принимаюсь рыдать...

Помнится, что в это время на горячий лоб мой клались чьи-то необыкновенно теплые и мягкие руки, которые крестили меня,— болезненным голосом шептал кто-то тогда надо мной короткие, но жаркие молитвы, поручавшие меня богу:

— Спаси тебя господь и помилуй, дитя мое!

— Говорил тебе сколько раз,— раздается в моих ушах другая, столь же тихая и ласковая речь,— сколько раз говорил: не пускай на улицу. Такое ли теперь время?.. Вишь, холодищи какие.

— Да усмотришь за ним, что ли?.. Чуть только отведи глаза, сейчас уж он и бегает.

— Не хочу! Не хочу! — кричу я вследствие вдруг налетевшего на меня желанья обругать всех прях, сидевших на лавке, Фому, долбившего полозья, и даже самую эту тихую, угрюмую избу.

— Чего не хочешь?

— Жить с вами не хочу. Я вот с святыми буду жить. Тятя! ссеки мне голову, я сам тогда святой буду, золотой венец на себя надену...

— Уложи, уложи его поскорее! — отвечали мне на мои просьбы, а я с каждой минутой все громче и болезненнее кричал: — Не хочу с вами жить, уйду от вас...—

потому что ряд святых людей так ласково улыбался мне в это время, так нежно звал к себе...

— Хоть што, батюшка,— шепталась какая-то старуха с моим отцом,— а он у вас не жилец. Умрет, пожалуй...

— Бог дал, бог и возьмет,— отзывался отец, и вслед за тем он гулко захлопывал деревянные, оклеенные толстою кожею крышки четьи-минеи и говорил всей избе:

— Ну, довольно, детушки! Слава богу, потрудились на нынешний день, теперь и соснуть пора. Взгляну вот только, какой святой завтра будет.

И, не раскрывая глаз, я видел, как отец брал из кучи книг, лежащих под образами, святцы, раскрывал их и принимался шептать, водя пальцем по листам:

— Априллий... Октомврий... А, а! Вот оно: декабря шестое-надесять... Пророка Аггеа... Священномученика Елевфериа. Евангелие от Луки, глава третья. День же имать часов... нощь же... А, а! день начинает прибывать мало-помалу. Дивны дела твои, господи! В Санктпетербурге одно склонение знаков небесных, в Москве другое, более с нашим сходственное. Так и в мире между людьми, все так... Дивно!..

— Так-то, други мои сердечные! — заканчивал он свои недоразумения, выходя из-за стола.— Девять только дней осталось прожить нам до великого праздника — рождества господа нашего Иисуса Христа!

И вот именно после этих слов наши длинные и до глубокой муки скучные будни, по крайней мере в моих глазах, быстро изменялись. Эти, как сказал отец, девять дней, как молния, сменяли друг друга, и в это время виделось мне, больному страшной горячкой, что на мрачной черноте нашей избы легли какие-то мягкие цветистые тени,— на лицах всех людей, какие жили в избе, вместо всегдашней, обыкновенной печати злой озабоченности лежало тихое и веселое ожидание какой-то редкой и верной радости...

Подходили ко мне эти лица и, улыбаясь, говорили мне:

— Выздоравливай, выздоравливай поскорее! Отец тебя хочет взять с собою по приходу Христа славить.

Внутренний жар между тем так и морил меня. Мне было хорошо видеть, что обыкновенно печальные лица нашей избы так светло изменились, и в то же время мне

хотелось попросить озабоченного отца, чтобы он сделал мне *энту*... золотую-то... С наслаждением смотрел я, как Фома вносил из погреба громадные кадушки с замерзшим молоком, чтобы оно успело растаять до праздника, и тут же мучительная тоска разнимала все мое существо, оттого что я не мог встать с моей постели и улететь вместе с прозрачным сонмом крылатых и увенчанных золотыми, мечущими искры венцами людей, реявших надо мной и звавших меня к себе в далекое небо, усеянное светлыми звездами...

После этого, помню я, что-то чересчур рано меня разбудил особенно громкий и торжественный благовест.

— Маменька! Что это ныне так рано звонят? Я и не уснул еще.

— А рождество ныне, милый! — отвечала мать откуда-то из-за печки, где она, освещенная тусклым светом конопляного масла, зажженного в глиняном ночнике, возилась, приготовляя праздничный обед.— Рождество, рождество ныне,— весело отзывалась она.— Молочко с колокольни к нам прилетело, белое-разбелое, как кипень. Выздоравливай, я тебе пирожка дам.

Но я не выздоровел, а уснул, долго перед тем страдая от мысли, что вот я болен, лежу, а у них праздник, и будут они есть пироги и мерзлое молоко с поджаристыми пенками.

Целый день после этого в уши мне звучал радостный колокольный трезвон. Отец несколько раз подходил ко мне, клал на лоб руку и увещевал поскорее выздоравливать, на том основании, что он меня возьмет с собою славить. Улыбка его была какая-то странная, и пахло от него точно так же, как бывало, пахло от многочисленных гостей, которые собирались к нам на престольный праздник.

Мать ему гневно говорила, когда он подходил ко мне:

— Уйди от ребенка-то! Славить... Наславил нос-то...

На что отец, улыбаясь своей странной улыбкой, отвечал ей, поигрывая блестящей фольгою табакеркой:

— Неважно суть, попадья! На, понюхай табачку,— и тут он принимался хихикать и совать матери табакерку под нос, за что мне почему-то хотелось обругать его так же, как он иногда в сердцах ругал мужиков.

Подходил ко мне также и работник Фома в красной ситцевой рубахе и с блестящей серьгой в левом ухе, ка-

кого украшения прежде я у него не примечал. Он давал мне орехи и невыносимо гудел на гармонике. Улыбался он так же странно, как и отец, и пахло от него точно так же. Я ему с сердитым плачем говорил:

— Отойди, Фома! Я тебя не люблю. Ты вор... Я ведь видел, как ты целовальнику наш овес за вино продавал.

— Ах! — воскликнул Фома в глубоком удивлении, потрясая и серьгой и густо намасленными коровьим маслом волосами.— Когда же это, Алисташа, было? Глаза лопни, ежели я единое зернышко... Кажется, служу... Ах, царь мой небесный! Какая напраслина для праздничка...

Тут Фома покачнулся с очевидною целью грохнуться на меня всем корпусом, но мать удержала его и, оттолкнувши, сказала:

— Убирайся, пьяная морда! Возьму вот кочергу да как примусь возить... Ишь, нализались с хозяином-то...

Фому живо приподняли эти слова. Поправившись, он бойко подошел к матери, схватил и поцеловал ее руку и с глубоким раскаянием проговорил:

— Ах, маменька! маменька! Как вам не стыдно, однава дыхнуть... Для праздника, и такие слова с вашей стороны! А уж кажется, что Фома в грязь себя лицом не ударит... Кажется, изо всей силы-мочи...

Мне почему-то противно было смотреть на это — и я уснул. Будили меня по временам крики матери, разговор Фомы, топанье мужиков, вносивших отца, как и меня больного, в горницу на руках и укладывавших его на постель.

Помню я: одни из мужиков несли самого отца, в руках у других находилась его высокая меховая шапка с зеленоплисовым верхом, третьи держали его красный кумачный кушак, войлочный теплый сапог, обшитый кожей. Все они говорили матери с улыбками, необыкновенно похожими на праздничную улыбку отца:

— Матушка! Извольте принять: все в сохранности. Вот кушак-с, вот шапица, а вот деньгов рупь пять копеек... В цельности все, потому мы не какие-нибудь, а дети духовные,— своего батюшку-свишенника помним и знаем. По рюмочке, матушка, мужичкам для праздничка Христова, ежели ваша милость будет...

— Одних курочек, маменька, тридцать семь,— ласкательно говорил раскрасневшийся Фома, вдруг врываясь в горницу,— четыре петушка, маменька, сто двадцать

шесть хлебцов-с. Вот мы нонешний день-с как с батюшкой орудовали-с... Пожалуйте ручку-с, маменька!

Мужики, смотря на ухарство Фомы, принимались смеяться, закрывая, впрочем, свои рты широкими и закорузлыми ладонями, чтобы попадья не видала их улыбок; а мать кричала на Фому:

— Разбойник! Разбойник! Доколе ты меня мучить будешь? Ведь это ты все батюшку пьянствовать-то назуживаешь. Чем бы поберечь хозяина, а он накась! Ишь как сам нализался. Не просила ли я тебя, бесстыжие твои бельмы, поберечь его, а?.. Просила иль нет, сказывай! Помяни мое слово, Фомка,— после Нового года я тебя в три шеи от себя потурю.

— Ах, биспакойство какое, маменька, с вашей стороны! — восклицал Фома.— Словно бы вам Фома не слуга... Пожалуйте, маменька, ручку-с... Водочки, маменька, для праздничка и Фомке-дураку поднесите-с, зауряд хоша с мужичками православными, потому рази вам, ваше преподобие, Фомка не усердный слуга?.. а? хе-хе-хе! Ах, маменька, извините мои дурацкие речи, ейбогу-с,— дело-то нони праздничное...

— Вон, вон пошел, пьяница! — кричит мать, отмахиваясь от Фоминых стараний схватить и поцеловать ее руку.

— Вон, вон пошел, вор! — кричу и я, подражая матери.

— Цыц, попадья, не сметь! Он мне друг,— командует с постели отец.— Ныне, знаешь, праздник какой? Не сметь!

Мужики дружным и согласным хором жужжат то же самое, то есть, что «ныне, матушка, праздник великий, обижать человека не следствует. Не трожь его — человека-то — по таким временам,— пущай его пьянствует,— на то и праздник самим господом даден...»

Мать махала руками на эти резоны и уходила к отцу, который громко кричал:

— Попадья! пить мне скорей, с клюквой... А то я тебя живо разру-рушу...

Вследствие такого рода событий в развеселенной праздником горнице нашей наставал общий плач всей семьи, от которого утихшие боли мои возобновлялись с новою силой, и я опять засыпал. Проснувшись, я с ужасом видел, что и в наших хороминах и вообще во всем

селе царят прежние серые будни — работающие, унылые, изможденные...

Светлое и как-то болезненно гревшее солнце одним утром подняло меня с моей горячечной постели. Подле моего изголовья в истасканном, линючем платье и с растрепанными волосами сидела моя мать и пахтала в большом горшке масло.

В это время все мое существо вдруг объяли какие-то новые силы, вследствие чего я, вставши, спросил у матери особенно твердым и сильным голосом:

— Прошло, маменька, рождество-то али нет? Ежели не прошло, так давай мне поскорее сюртук. Я пойду с тятей Христа славить...

— Святая, друг, скоро, не токма рождество,— отвечала мать.— Четыре денька только и осталось. Вставай скорей.

Я посмотрел в окно и увидел, что по улице уже бегут протоптанные среди нашей непроходимой степной грязи узенькие дорожки, называемые у нас *стежками*, глядя на которые я сразу заключил, что около церкви взрослые сельские молодцы занимаются теперь постройкою лесов для праздничных плошек, а их маленькие братишки в совсем уже высохшей церковной ограде изо всех сил заваливают в звонкие костяные шашки.

Пришедши к такому заключению, я сразу встал, расчесал пятерней скатавшиеся в продолжение долгой болезни волосы, накинул на себя какой-то тулупишко и стремглав бросился из избы, босой и без шапки...

— Куда ты, куда ты, беспутный? — вслед за мной кричала мать, тщетно стараясь догнать меня.

— Ото-й-дди! — с сердитым плачем отвечаю я ей с полдороги от церкви.— Что тебе за дело? Я играть буду в шашки, плошки буду салом наливать...

Постояла-постояла мать на грязной улице, помахала головой, подняла было с сердитою миной второй палец правой руки, как бы для угрозы, но потом сердитая мина вдруг превратилась в улыбку — и она ушла домой. Все это я очень хорошо помню, а потом уже я помню только то, что какая-то всего меня заставлявшая трепетать полнота охватила мою голову — и я будто вновь до беспамятства заболел, наливая плошки, обтесывая дощечки для их обстановки, воруя из дома коробки с зажигательными спичками и пр. и пр.

Эта боль — была глубокая радость долго болевшего организма при виде начинающейся теплой весны, которая с рассветающего неба вела с собой на наши грустные улицы светлый праздник — *праздник всех праздников...*

1870



ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА

Эпизод из романа «Сны и факты»

Я погибал,
Мой злобный гений
Торжествовал.
Полежаев

В одном из глухих переулков Петербургской стороны, несмотря на позднюю ночь, в окне небольшого двухэтажного флигеля светился огонь. С улицы можно было видеть, что в одной комнате второго этажа за письменным столом сидит и пишет что-то высокий брюнет с длинными кудрявыми волосами, с строгими усами и с тою характерной эспаньолкой, которая все еще продолжает служить отличительным признаком художников при всем том, что ныне завладела ею большая часть коптителей петербургских небес. Помимо, впрочем, эспаньолки, вся обстановка комнаты говорила, что ее обитатель — художник: около раскрытого окна виднелся угол мольберта, накрытого чем-то белым; у двери, в углу, стоял большой скелет; по стенам было прикреплено множество разнообразных гипсов и картин; даже кисея, повешенная на окнах, спускалась вниз не как обыкновенно у всех людей, перетянутая в талии классическим бантом, а какими-то живыми мягко волновавшимися складками, напоминавшими тихое падение снега густыми и белыми хлопьями или полет белых голубей, когда они из далекого поднебесья спешат как можно скорее *колом* упасть на родимую кровлю.

По временам молодой человек вставал из-за стола и принимался ходить по комнате большими шагами, и хотя дым в его студии стоял, как это называется, коромыслом, но он, видимо, не стеснялся им, сжигая папироски самым немилосердным образом. Когда он подходил к окну, можно было видеть, что поздняя работа нисколько не утом-

ляла его: лицо его было свежо и сосредоточенно, как у человека соображающего. И вообще описываемый случай, как слишком обыкновенный в столице, где так много разного рода бессонных тружеников, недолго бы остался в памяти наблюдателя ночных сцен, если бы его внимание не обращали на себя глаза молодого человека, которыми он то с испугом, то как бы с злостью обстреливал спящую улицу с ее гнилыми заборами, вековыми деревьями, краснокирпичными фабриками и т. д.

В этих глазах, накрытых густыми черными бровями, сверкала какая-то странная угрюмость, с лихорадочным и бесцельным проворством перелетавшая с одного предмета на другой. По временам молодой человек порывисто, как бы подтолкнутый кем, бросал свое письмо, поднимал голову и начинал либо пристально вслушиваться в что-то, либо внимательно вглядываться в какую-нибудь, конечно, давно уже знакомую ему вещь, находившуюся в его квартире. Он с разных точек подходил к поразившему его предмету, смотрел на него из-под ладони, как бы пораженный исходившим от него светом, смотрел в согнутый наподобие зрительной трубки кулак, подходил к нему вплоть, ощупывал руками и в конце концов принимался покачивать головою и улыбаться чему-то. В нем, очевидно, были возбуждены беспокойные, тревожащие мысли, потому что после осмотров он часто подходил к раскрытому окну, с наслаждением втягивал в себя свежий ночной воздух и иногда басовито и с улыбкой приговаривал:

— Дело — дрянь! Дрянь — дело!

По грустной иронии, которая слышалась в голосе молодого человека, можно было заключить, что ему более чем невесело. Видимо было, что на душе у него лежит одна из тех убивающих человеческих скорбей, от которых обыкновенно человечество мятется, как береста в печке, а люди, страстно заинтересованные явлениями жизни, лишь только пройдет по ним огонь этих скорбей, сейчас же превращаются в тех апатических молодцов, которые по целым часам стоят на мостах и уныло поплевывают в воду, не без основания полагая, что им можно теперь плевать в колодезь, потому что он не для них...

— Дрянь, дрянь дело! — повторял молодой человек в минуты редкого самообладания и снова погружался в свои бесцельные созерцания, перенося угрюмый блуждa-

ющий взгляд с засеянных грачиными гнездами деревьев на многочисленные тусклые окна безлюдных фабрик, провожая задумчиво плетущегося по улице извозчика и с большим участием прислушиваясь к дребезжанию его убогого экипажа.

Вот в крепости меланхолически прозвучали часы, на ближнем дереве завозился сонный грач, глухо каркая, словно человек в бреду; по забору в лад глухой ночи, тихо мяукая, неслышно проскользнула белая кошка; из близлежащих садов разливался по улице наркотический запах сирени. Эти обыкновенные явления, приобретающие, впрочем, в ночное время характер какой-то особенной, торжественной величавости, заставили вздрогнуть описываемого человека. Словно бы какое-нибудь полночное чудо, разукрашенное всеми фантастическими ужасами, появилось перед ним в это время и заставило его вскрикнуть.

— Боже мой! Да что же это такое? Неужели до такой страшной степени могут обманываться людские чувства? — спрашивал он с нескрываемым ужасом.— Ведь не болен же я, не пьян. Я не дам себя пересилить; это — вздор! Я понимаю этот вздор, рассуждаю о нем; следовательно, сойти с ума я не мог еще. Пойду дописывать письмо: это поможет мне.

Говоря это, молодой человек сел за стол, и перо его быстро забегало по тетрадке, несколько листов которой уже было исписано.

Он писал странные вещи.

«Дорогой друг! (так начиналась тетрадь). По приезде моем в Петербург со мной случилось нечто необычайное, и ты напрасно радовался тому благополучию, которое, по твоим соображениям, меня ожидало здесь! Умные и энергичные провинциальные ребята вроде тебя вообще давно уже привыкли считать Петербург какою-то обетованною страною, кипящею млеком и медом, и отсюда происходит бездна смертельных ошибок. Я в этом имел тысячи случаев убедиться еще до знакомства с тобою, о чем тысячи раз и говорил тебе, в видах предохранения твоего молодого честного лица от тех бесчисленных плевков, которыми столичные люди оплевывают надежды и стремления свежей, не испорченной еще грубой действительностью молодости.

Со стороны столичного общества очень естественно по-

ступать таким образом с молодыми ребятами. Для него необходимо, хотя бы, положим, в видах объединения и единообразного оформления своих членов, чтобы светлая юность поскорее померкла и сделалась такою же бледною и желчною, как большинство этих столичных представителей русского богатства и, наконец, русского так называемого досужества вообще. Надобно тебе заметить, что в Петербурге (впрочем, это свойственно не одному только Петербургу, а всем центральным городам целого мира) нет ни одного самого несчастного шаромыги, который бы не считал себя звездою первой величины на поприще перечисленных сейчас проявлений цивилизованной жизни. Национальные, внестоличные массы думают об этом предмете согласно с центральным оборвышем — и от этого нелепого согласия происходит то, что если где-нибудь на провинциальном горизонте загорится действительная звезда и осветит непроглядную тьму своей родины, то хорошо еще этой звезде, если потехи центральных идолов над ее светом ограничатся только снисходительным подергиванием сухих и острых плеч и сквозь зубы произнесенной остротой. В большинстве случаев бывает несравненно хуже: целым рядом демонских искушений столичный город сманивает звезду с неба, на котором она светила, и устанавливает ее на своих проспектах, вместе с различными фальшфейерами и мертвенно блестящими гнилушками. Бедная! Как она страдает тогда, как беспомощно то на ту, то на другую сторону склоняется ее бледное, как бы испуганное пламя от цинготного дыхания праздных пустоголовых шалыганов, плешивых Мефистофелей, с широкими, тщательно прилизанными рожами, и вообще от всей этой деликатно-злой и стыдливо-нахальной столичной черни, которую, наперекор всякой логике и фактам, остальной люд единодушно почему-то условился называть сливками человечества, науки и искусства. А между тем за передними рядами, в которых твердо установились или буйная наглость, или улыбающееся зверство, царит действительно непроглядная тьма. Там, за первыми рядами — страшное смятение! В этой тьме, пугающей своей мертвенной синевою, прорезанной по всем направлениям свинцово-бледными нервами, примечается бесчисленное множество всклоченных голов, устремляющихся к свету новой звезды, виднеются белые мускулистые руки матерей, которые поднимают над мо-

рем голов своих кудрявых веселых младенцев. Матерям ничего не видно, так что сами они примечаются в крайне смутных очертаниях; но они уже счастливы тем, что их малютки, их ангелы звонко плещут кому-то своими так художественно уродливыми ручонками и радостно смеются чему-то...»

С дороги в освещенное окно видно было, как молодой человек приподнял к свету свою тетрадь и пристально ее перечитывал. Потом он встал, походил по комнате, хлебнул как будто лекарства и, видимо, смеясь над собою, заговорил:

— Что это я ему тут прописываю? Хотел, что называется, констатировать факты, а кончил китом-рыбой. Стыдно-с! А впрочем, чего же стыдиться? Около фактов всегда плавают миллионы китов или, выражаясь газетным языком, уток... Горькую истину всегда украшают тысячи светозарных легенд... Пилюля всегда находится в красивой коробке... И прекрасно-с! Выходит — дело. Выпью-ка я за подслащение пилюль, хотя и без «ура», молчаливо...

Тут наблюдатель ночных сцен мог окончательно видеть, что пишущий уже не хлебнул лекарства, а простонапросто выпил водки из большого графина, ярко блеснувшего на темную улицу; после чего по ней, разукрашенной всеми обаяниями летней ночи, пронесся хриплый кашель, говоривший как будто:

«Недолго я буду возмущать твою тишину, летняя ночь!..»

Громкий и басовитый был этот кашель, могший принадлежать только очень крепкому организму, но вместе с тем в нем слышались крайнее разрушение, досада на что-то, злость на кого-то. Так именно кашляют чахоточные люди, железное здоровье которых подкашивает эта злая болезнь.

Так и было в действительности: молодой человек страдал чахоткой. Едва раздался кашель, как дверь его комнаты тихо и чуть-чуть только приотворилась, и из нее выглянуло доброе старушечье лицо.

— Што это ты, Колюшка, поздно так? — зашептала старуха.— Сестра вон там за тебя беспокоится... кашляешь...

— Прости, мама! Не нарочно как-то... После водки... Спать что-то захотелось, вот я и выпил.

— Брось ты ее хоть ночью-то! Дай-ка я графин-то возьму.

— А я вам, маменька, в свою очередь, скажу,— ласково пошутил молодой человек,— бросьте вы ее, пусть она у меня стоит. Мне веселее с нею. Да опять же ныне я чувствую себя очень хорошо: совершенно свеж и спокоен. Вот приятелю письмо дописываю.

— Ну, господь с тобой, ежели так,— закончила старуха, затворяя дверь с тою же осторожностью, с какою отворила ее.

Кудрявая голова наклонилась к столу, и перо снова забегало по бумаге.

«Признаюсь тебе, что во время моего двухлетнего пребывания в ваших лесистых трущобах я начал было скучать по Петербургу, не потому что мне было у вас худо, а просто потому, что мне думалось: там лучше теперь. И наяву и во сне ежесекундно из этой двухтысячной дали виделся мне чей-то дружественный, зовущий образ, и осязательно доносилось до меня его жаркое дыхание, которое, как будто боясь быть подслушанным враждебным ухом, тихо лепетало мне: «Приходи! иди!»

В шуме елей, сосен и лиственниц, в плеске ваших красавиц — северных рек, в жалобном крике не насмерть подстреленного зайца или рябчика мне все слышался один и тот же шепот: «Иди! иди!»

А ночи — эти длинные зимние ночи, с ревущими метелями, заваливавшими наше жилье вровень с крышей, с завываниями голодных волков,— о, как тяжело было мне проводить их, не смыкая глаз ни на одну секунду! Бывало, смотришь в окно на ваш яркий, насмешливый месяц — до одурения дойдешь! По необозримым снежным равнинам, расстилавшимся за нашей избушкой, забегают, бывало, озолоченные месячными лучами прихотливые, сквозные фигуры,— какие фантастические пляски поднимут они! К самому небу вздымят они снежную пыль, насквозь прохваченную золотом месяца! Какое это было странное сочетание цветов — золотого и серебряного! Я никогда не мог подкараулить их в отдельности один от другого, напротив: в этом-то и состояла их невыразимая прелесть, что они как бы вливались один в другой, постоянно сменяя друг друга. Больше нигде, кроме как у вас на севере, я не встречал такой прелести!

Глухой звук соборного колокола, скованного тридца-

тиградусным морозом, как нельзя более подходил к этим волшебным видениям. Везде была тишина и покой: целый город спал. Разметавшись на полу нашей душной избушки, спали также и маленькие ребятишки-семинаристы, жившие с нами; кто болезненно вскрикивал, кто, напротив, торжественно распевал «Христос рождается», готовясь к скорому отъезду на Рождество в какую-нибудь глухую деревушку, властительно охваченную мрачными объятиями непроходимого леса. Наши закопченные часишки тукали и трещали в это время вовсе не с той молодцеватостью, которая, бывало, с такою развязностью отзванивала нам без отдыху по сту часов, вынуждая нас, таким образом, в деле определения времени руководиться уже не их указаниями, а различными небесными знаками, нагаром свечей, пением петухов, ревом скотины, требующей хозяйку выйти к ней на двор и осведомиться, каков морозец на нем погуливает. Нет! По таким временам даже и часишки стучали как будто тише и сдержаннее, не нарушая своей трескотней важных очертаний ночи, складывавшихся в моих глазах в одно живое существо, никогда не отходившее от меня с своим ласковым, магнетически влекущим призывом: «Иди! приходи!»

Хотя я во время моей жизни в вашем городе и мог бы познакомиться с большею частью губернской знати, но ты очень хорошо знаешь, что я всегда предпочитал хвойные дремучие *волока* твоей родины дубовым домам ваших чиновников с их преферансами, с их спорами, которые начинались прилично и оканчивались выпивкой и скандалами. Таким образом, целых два года я был один — с лесом, с ребятками да с тобою; но и тебе ежели я говорил и доказывал, что в Петербурге должно быть теперь лучше, зато никогда ни одним словом не пытался обрисовать ту жгучую страсть, с какою мне хотелось посмотреть на это лучшее. До того я боялся испугать твою крепкую, верившую юность характеристикой разных болезненных стремлений, неизбежных в человечестве, как прорезь зубов.

Повторяю: как ни было мне это тяжело, но я затаил в себе желание познакомить тебя с этим миром, потому что моя страсть неминуемо охватила бы и тебя, честного и стремительного. Вместе, рука с рукой, ринулись бы мы с тобою действовать в рисовавшемся мне *лучшем* и... и молодое сердце твое разбилось бы, потому что *лучшего*

не было, а у меня очутилось бы более одним гнетущим сознанием — что я, после известной опытности, принял иллюзию за правду, от чего пострадал другой человек. Трудно на белом свете найти что-нибудь мучительнее этого сознания!

Да, друг, ничего нового! Я приехал сюда к старой, как жизнь, истории. Я вновь должен прозубривать Кайдашку и оплакивать погибших героев... У тебя, конечно, гораздо менее мог испариться из памяти сей уважаемый историк, который так плаксиво на каждой почти странице своего труда восклицал: «Итак, сей знаменитый герой, озаривший вселенную лучами своей славы, погиб, не успевши насладиться плодами своих побед!»

Стары, брат, стары и встрепаны темы петербургской жизни, как экземпляры Кайданова, поучающие уездное юношество,— и бог с ними! Не желая больше мозолить ими своих глаз, говорю тебе в виде постскриптума: я умираю. Ты не подумай, что под рукой у меня для этой цели имеются в настоящую минуту какие-нибудь «Лепажа стволы роковые»,— ничуть не бывало! Я просто-напросто сознал, что больше я уже не в силах вновь, как в старину говорилось, проходить Кайданова от доски до доски, из слова в слово, и потому чувствую, что червь этого сознания скоро загложет меня.

Стало быть, ты видишь теперь ту необычайность, которая случилась со мной в Петербурге и о которой я упоминал тебе в начале моего письма. Я, как говорится, на железном даже севере прослывший силачом, умираю, сраженный насмерть незлобивым покойником Кайдановым. Правда, он и прежде несколько раз повергал меня, но не в могилу же, а просто-напросто на грязный училищный пол, под гибкие березовые розги. Одно другого стоит, да еще, пожалуй, последнее горше первого, потому что, ежели бы не было последнего, первое-то очень и очень могло бы быть отдалено... Ну да уж верно, где наше не пропадало? Ляжем и смело примем последнюю жизненную розгу, по возможности осмеявши ее насмешливый и злобный визг над человеческой беспомощностью...»

Все страннее и страннее делался молодой человек, писавший письмо. По временам он, перечитывая тетрадь, ожесточенно бросал ее на стол и насмешливо бормотал:

— Напишешь тут, черта с два, эти, как говорит русская пословица, с три короба? Где мне все написать,—

уже вслух хохотал он,— говорил семнадцатилетний мальчик, едва успевший выучить половину азбуки. А в старину как легко обходились с подобными затруднениями! Наставил побольше точек — и кончено, понимай как знаешь! Я помню, как один мальчуган, товарищ по школе, начитавшись многоточий, описывал летнюю ночь в деревне следующими стихами:

Жалко, слов-то мало,
Беден наш язык!..
Звездочка упала...
Зашумел тростник...

Вот еще приятное воспоминание подвернулось! Мало было приятной беседы с орленком, витающим в архангельских лесах, еще другой подвернулся — и к чему? А между тем ребята очень друг на друга похожие. Желательно, впрочем, чтобы сходства этого было между ними как можно поменьше. Тот сначала так-то ли зашумел в университете, да потом падающей звездочкой и скатился в болото какого-то уездного училища. Слышно, пьет там, как последняя каналья!

Тут молодой человек взял свечку с письменного стола и принялся осматривать многочисленные фотографии, развешанные по стенам.

— Где он у меня тут висит, этот мой милый поэт и вместе с тем страшный позитивист еще с двенадцати лет? Отзовись! — говорил молодой человек, снимая со стены какой-то портрет и освещая его в одно и то же время и дружеской, и какой-то особенно тонкой, саркастической улыбкой.— Здравствуй, брат, вечно трудившийся на других, вечно, как Филарет Милостивый, отдававший всем все на том основании, что ведь «как же быть-то иначе? Ведь не умирать же человеку от каких-нибудь пустяков!». Не в моей бы галерее тебе, по-настоящему, висеть следовало, но ничего! Виси в храме дружбы, если не мог повиснуть в храме славных... Ха, ха, ха! Однако чему же это я хохочу? Глупо...

Сердито сморщив густые брови, со свечой в руках, шел дальше молодой человек по своей галерее.

— Умер! — шептал он по временам, вглядываясь в какой-нибудь портрет.— И этот умер! Клянусь, это — страшная битва! Этот, по слухам, верный до гроба принятым обязанностям, сидит в каком-то захолустье, растолстел, как носорог. Говорят, стал зол, как слон весной.

Злится на то, что его злят, и еще более злится на то, что как это он может злиться на кого бы то ни было. По-моему, лучше бы уж он умирал поскорее. Страшная, страшная битва! Невидимый враг, по выбору, бьет откуда-то насмерть или ранит мучительно... Где он?

Слова эти молодой человек говорил отрывисто, несвязно: порою повышая голос до нот, какими говорит всякий здоровый человек о всяком обыкновенном деле, порою понижая его до едва слышного шепота, совершенно такого же, каким рассуждают сами с собою люди, всецело объятые какой-нибудь засевшей в их мозг мыслью. При последнем вопросе он даже вздрогнул и оглянул комнату.

Так же быстро, как он оглянул ее, и комната моргнула на него всеми своими причудливыми аксессуарами, облитыми полутьмой и полусветом. Видимо было, что хозяин чем-то вдруг поразился; он задумался и с минуту стоял на одном месте, как бы соображая что-то. Потом опять зашептал, но уже энергично и злобно:

— А-а! Опять начинается! Нне-ет! я вас без холодной воды и без всяких медикаментов уложу туда, откуда вы ко мне пристаете. Я знаю, откуда этот голос, знаю, откуда эти лица: закрою эту половину окна, оставлю часы, притворю дверь — и голоса не будет слышно. Останется только один стонущий шум в моей голове, похожий на далекую бурю, я знаю. А когда я поставлю так эту свечку, сниму с нее абажур, мольберт подвину вот так, эту картину лицом обращу к стене, скелет поставлю в переднюю (пусть он стоит там вместо лакея), тогда не будет и лиц... Вот как! А вы думали, что я так же скоро сопьюсь, как мужик в кабаке! Вы, милые, полагали, что я всякой чертовщине после двух полуштофов способен поверить? Ха, ха, ха!..

Весело посмеиваясь, молодой человек быстро сделал то, что хотел сделать, и продолжал прежним насмешливым тоном:

— Я вот нарочно еще выпью, чтобы доказать господину алкоголю, что он не властен в моих воспоминаниях. Сознаюсь: он может их до некоторой степени прикрасить или причернить, но итоги этих воспоминаний запрятаны у меня там, где кончается всякое царство, не только что царство господина алкоголя... Ну-ка, господин алкоголь, выходи на расправу! Не ты меня съешь, а я тебя; по край-

ней мере, сейчас. Вылезай, друг! — смеялся молодой человек, снимая с бокового окна графин, тщательно прикрытый зеленою шторкой.— Посмотрим, как ты помешаешь мне узнать лица, с которыми я сталкивался в моей жизни.

Снова свеча забродила по галерее все чаще и чаще, однако останавливаясь теперь перед боковым окном, прикрытым зеленою шторкой. В ней стали примечаться то какие-то порывистые колебания, как бы оттого, что человек, державший ее, вдруг поскользнулся и упал, то длинные периодические дрожания, показывавшие страшную слабость рук. Несмотря на это, свеча, как казалось, исполняла свое дело с должною удовлетворительностью, потому что осмотр галереи продолжался безостановочно.

— Какие это были нежные и слабые растения! — задумчиво шептал молодой человек, указывая свечой на портреты, на стеклах которых переливались и трепетали столь же разноцветные огни, сколько разнохарактерны были покрытые этими стеклами физиономии.— Словно мороз, валило их долой с копыт первое столкновение с действительностью. На научной почве, разумеется, настолько, насколько она была возделана предшествовавшими пахарями, они держались молодцами; а как только выехали на почву серой капусты — шабаш! Сразу одурманили их забористые запахи отечественных свычаев и обычаев! «Рассказывать, так просто сказки!» Вот, например, этот человек отчего застрелился? Сначала пошло дело у него ходко: он даже и капустную почву скоро разнюхал и сумел усесться в ней эдаким кочаном, кочаном крепким, только силу пробуй над ним, ежели бы, примерно, выдергивать его кому-нибудь понадобилось. А потом прослышал он как-то, что бывший его наставник на старости лет подличать вздумал, так он как бешеный из своего огорода — сюда прямо. Спрашиваем: «Что, друже?» А он: «Правда?» — говорит. «Правда!» — удовлетворили его. «Да как же это?» — зашептал он и по комнате закружил, словно овца полоумная. Эдак его событие возвеселило! «Как? Как же да как же? Отчего да почему?» — и приставал ко всякому наш паренек и сам разрешить старался. Пальцы даже ко лбу приставлял (сам я несколько раз видел, как он эти штуки проделывал!), голову руками обхватывал, словно бы она у него вдребезги разлететься готова была, наконец в одно время обра-

довался: нашелся, изволите видеть, захотел погубившую его гнусность объяснить требованиями времени, соображениями тончайшей и благонамереннейшей дипломатии... Жаль, ненадолго обрадовался, и пуля все разрешила... Вот ты тут и смотри: человек был твердой логики, а самого простого «почему» объяснить не мог... Все толковал: «Да где же люди-то после этого?» А люди около него валом валили, и ежели бы он захотел, так каждую секунду мог бы оглохнуть от их радостных или страдающих воплей!

— Прощай, прощай, бедный! Ты действительно имеешь право спросить теперь: да где же люди-то? — если б только мог встать из своего гроба. Вокруг тебя нет ни одной могилы, приютившей товарища-человека, и пустынное, заваленное грязью пригородное поле, на котором заснули твои муки, не удостоит ни малейшим ответом твоего вопроса...

— Помешаешь ли ты мне забыть погибель этой души, господин алкоголь? — говорил молодой человек, грозя пальцем на графин, который, как бы испуганный этой угрозой, конфузливо старался спрятать за зеленую шторку свое круглое стеклянное брюшко.— Что, брат, спрятаться захотел? Напрасно! Прими-ка вот подобающую казнь за всех отравленных и загубленных тобою!

— А этот вот? Сошел с ума от первой кошачьей выходки своей молодой жены. Ему говорят: «Помилуй, любезный друг, чего ты кипятишься? Да это даже грациозно, это просто-напросто — невинное женское кокетство!» — «Подите вы, говорит, к черту с этими придуманными мерзким умом словами! Какая это грация, ежели ее можно сколько угодно накупить по двугривенному за фунт? Это просто — испорченное мясо, которое думает приправить себя горчицей». Долго он в таком роде сумасшествовал, наконец все бросил и убежал куда-то. В третьем году видели его в оренбургских степях, в киргизских кибитках.

— Господин алкоголь! — пошутил молодой человек.— Как ты думаешь, нашел ли он в тех кибитках женщину, чувствующую свое человеческое достоинство? При современном проникновении цивилизованного света к разным адаевцам и атухайцам надо полагать, что нашел — ну, и выпьем! Скверно! Человек на нашем пустом базаре мог бы очень полезным быть, а он теперь, глядишь, в каком-

нибудь дружественном улусе на кобзе играть учится. Любезное дело! А осудить его нельзя, потому что он, в самом деле, женщины стоил, и ничего другого для осуществления его видов ему больше не надобно было... За одно только я его браню: как человек умный, он должен был знать, что у нас покуда женщин не водится, а как человек с состоянием, он должен был поискать желаемую особу хоть, примерно, на константинопольском базаре. Туда со всех концов света баб свозят! Я ему, впрочем, тогда об этом по-дружески говорил...

Шепот, сыпавший эти насмешки, в то же время дрожал от подавляемых слез, которые наконец вылились наружу истерическими всхлипываниями.

— Прощай, прощай и ты,— каким-то рыдающим, бессвязным лепетом плакал молодой человек.— Ты хотел осилить вечные законы жизни. Ты хотел насадить сады... сады, в которых бы, ха, ха, ха! не было червей... Пром-метей! Ты добивался огня, который бы не жег людских жилищ... Ты рисовал своим друзьям возможность жизни без губительных ран душевных... Прощай! ты, который искренно верил в благодатное лето, которое, по твоим надеждам, скоро должно было собрать на своих цветущих лугах и львов и ягнят...

— Эге! — вдруг прекращая и свой монолог, и свои рыданья, зашутил молодой человек.— Это что же такое? Господин алкоголь начинает входить в дарованные ему законом права и преимущества! Он начинает одолевать меня, он бьет меня по моим ламентационным железам, и я плачу. Господин алкоголь! Уж не возвысились ли вы до назначенных вам природой пределов, что так скоро повергаете меня в скорбь и уныние?.. а? Поистине, меня очень удивило бы обстоятельство, что даже, наконец, и те пакостные места, которые производят вас, надумали выпускать вас в градусах, могущих выдерживать честную и разумную критику. Тогда, друг, я непременно сознался бы, что наше время, в своих стремлениях к гуманности и законности, в действительности одержало блестящую победу, увлекши вслед за своим стремительным полетом пропасть самой антилегальной и античеловеческой сволочи...

Все равно как с живым, наяву присутствующим собеседником, рассуждал таким образом молодой человек с «господином алкоголем», держа рюмку на отлете и при-

стально всматриваясь в нее насмешливо прищуренными глазами. Долго он в каком-то раздумье ждал чего-то, словно ответа от господина алкоголя на свой насмешливый спич; но ответа не последовало, хотя и примечалось что-то очень похожее на него в пронизанной светом рюмке, когда в ней дрожала и переливалась разноцветными тенями сероватая влага.

«Смейся, друг! Смейся теперь! Скоро и на нашей улице будет праздник!» — как бы говорила рюмка, то расцвечаясь светлой, торжествующей улыбкой, то покрываясь сине-багровыми злобными тенями, совершенно как человек, который путем умышленных каверз делает втихомолку приятность за приятностью своему любезному другу. Такие же *измененья милого лица* виднелись и в рюмке. Было очевидно, что и молодой человек примечает эту враждебную подвижность рюмочной физиономии, потому что, смотря на нее и задумчиво покачивая головою, он шептал:

— Какая, однако, странная физиономия! Сколько раз я всматривался в нее, освещая ее на разные манеры. Всегда одно и то же выражение: сторона, обращенная к свечке, искрится улыбкой кокотки, имеющей причины быть в приятном расположении духа, а сторона противоположная — чернеет и дышит так же ужасающе, как на больших реках чернеют и дышат места, называемые *омутами*. Очень похоже! Я видел такие места на Оке и на Волге. Того и смотришь, что вот-вот из этой мрачной, глухо клокочущей глуби выскочит вдруг какое-нибудь толстоголовое и пучеглазое речное чудо и скажет: «А поди-ка ты, друг любезный, сюда!..»

— Так, верно, и останется неоконченною картина, которую я хотел написать на тему: совершенно опустелая комната со столом и стулом. На столе свеча, подле нее рюмка с своей роковой улыбкой; а на стуле спящий человек с бледным, пораженным ужасом лицом и с полуоткрытыми свинцовыми глазами. Он всматривается в реющий над ним рой уродливых видений, которые меняются с рюмкой своими улыбками. Улыбки им нужно было дать такие же, как и у рюмки. Не далась картина!.. Ну и бог с ней! Теперь мне... Забыл, как это читается? Да!

Тише! о жизни покончен вопрос!
Больше не нужно ни песен, ни слез...

Господин алкоголь давал наконец знать себя молодому человеку. Его разговоры делались все тише и тише, периоды внезапно сокращались и притуплялись какой-нибудь икотой или вдруг приспевшей откуда-то необходимостью — поднять упавшие на крутой лоб запотелые волосы и отбросить их густые пряди на самый затылок.

— Черт! — ругался он.— Словно в театре дергает... Даже и невольные движения, рефлексы-то эти — все на балетный манер... Этак ведь, подумаешь, выдрессированы!.. Чего бы, кажется, проще: жди молчаливо, когда перервется жизненная нитка,— и большинство, у которого *на челах* нет *следов страстей глубоких,* а есть только одни болезненно горбатые морщины на желтых лбах, поступает именно таким образом, то есть страдает в молчаливом, поистине завидном терпении. Ну а воспитанный человек этого не может! В большинстве случаев он в такие тяжелые времена на авансцену рвется, руки к сердцу прикладывает и предсмертную партию Травиаты поет... Нравы-с! Одно жаль: осветить эти нравы еще должным образом покуда невозможно!

Говорил это молодой человек и пил. Пил и бормотал что-то насчет северных климатов, в которых выпивка тоже будто бы принадлежит к числу нравов, неизбежно обусловливающих жизнь, и что она физиологически присуща этим климатам; потом он старался припомнить что-то о шведах и норвежцах и об их нравах, вынуждающих этих гиперборейцев сознательно отдаваться какому-то постоянно гложущему их червю, единица за единицей отсчитывать годы, в какие, по частым опытам, червь должен совсем заесть их.

— Да, брат,— уже опершись об стол и схоронивши голову в руки, словно впросонье, говорил молодой человек, видимо, побежденный господином алкоголем.— Да, бр-рат! — рассуждал он, неопределенно указывая куда-то рукою, беспомощно спускавшеюся после этого указания либо на стол, либо на колени.— Н-не-ет, друг, нравы не пересилишь. Они в клим-мате... Побед-дить, брат, их трудновато! Они по тебе, пожалуй... проедутся! Попадешься ежели под их веселый поезд, так они лишь свистнут да гаркнут — и только капельки крови кое-где останутся на рельсах, которые от этих капель не только не перестанут возить дальнейшие поезды, но даже и не заржавеют... Так-то! Ну и что ж из этого? А то, что жизнь —

вот им! Тем, кто прирожденные гасильные способности развил в себе добрым прилежанием и пламенным рвением к делу погашения и напущения разных ядовитых туманов! Ишь! Такова наша жизненная минута, и нет ни малейшей надобности оплакивать эту минуту последней песней Травиаты, потому что... бывают минуты и другого сорта! А теперь точно: жизнь им, этим факельщикам, которые нахально позванивают вырученною за провожание трупов халтурою. Да, вот знамения нашего времени: с одной стороны скорбь и уныние, с другой — безобразная оргия под оглушающий звон балалаек. Вот эта-то оргия и завладела жизнью!

При этих словах белая, худая рука машинально приподнялась, вероятно, с целью указать ту сторону, в которой производится расправа с заполненною жизнью, и затем снова не то чтобы упала, а тихо и безжизненно опустилась.

Упадок сил в молодом человеке, казалось, был полный. В комнате раздавалось какое-то с большим трудом понимаемое бормотанье в одно и то же время и про Видока, и про Иуду Искариотского, которые, по соображениям пьяного человека, деспотически царствуют теперь в наших нравах, позоря, таким образом, почву, на какой он вырос. Из рассказа, хотя и несвязного, понималось, впрочем, что речь шла о каком-то некогда любимом друге, на котором оборвалось множество самых дружеских симпатий.

— Вот этот небось не умрет! — говорил молодой человек, грузно поникнув на стол разгоряченною головою.— *Ай жиловат, собака, не изорвется!* Каждый день ему нужно показать свою каиновскую рожу, по крайней мере, в десяти комитетах, во стольких же заседаниях и у стольких же, если не больше, тех болячек, которые с лакеями высылают нищему свои старые чулки, чтобы он затянул ими свою смертельную, кроваво зияющую рану! В одном месте он «горячо заявляет», в другом «никак не может удержаться, чтобы не отнестись с полным сочувствием», в третьем «благородно негодует», в четвертом «восторженно прочит блистательную будущность положительным наукам» и так далее без конца. Кроме этого, он находит еще время значительно пошептаться о чем-то с многозначительными знакомыми, которых у него целые полки... И так же магически действует этот шепот на мо-

лодых и на старых, как некогда подействовало на пьяниц ауэрбахского погреба пламя, внезапно вызванное заклинаниями Мефистофеля из стола... И долго после этого шепота мятутся старцы и юноши, до тех пор мятутся, пока змея цивилизации снова не всунет в уши их жальца и снова не пошепчет им чего-то, успокоительно изгибаясь всем своим беспозвоночным хребтом.

— Интересный тип! — не то хохотал, не то плакал молодой человек, не поднимая со стола своего лица.— Ну, *там,* положим, такие типы понятны, там они даже нужны, ибо там каждый день предстоит надобность в добром человеке, который мог бы с должною ловкостью преподнесть, кому следует, яблоко от древа познания добра и зла, а у нас? Ха! ха! ха! Какая жалкая имитация! Это очень похоже на московских купцов, которые, как только вздуют кого-нибудь на приличный куш, сейчас же обзаводятся мамзелями из немок или *француженок* на том основании, что это *у всех уж заведение такое...* Московские легенды рассказывают, что часто будто бы такие лоботрясы по целым годам с своими *предметами* слова не скажут, а только деньжищи отваливают! Мерзкие сравнения! Но ничего! Что же делать, если не найдешь предмета, который уподобился бы «лазури ясных облаков». И эти хороши, они как раз идут к заплесневелым нравам. Ободрюсь-ка я и пойду выпью — верно, лучше-то не придумаешь.

Опираясь на столы, стулья и этажерки, словно ребенок или слепой, поплелся молодой человек по направлению к боковому окну, покряхтывая и беспомощно склонивши вниз всклоченную голову. Выпитая рюмка, против всяких ожиданий, произвела в нем какое-то странное оживление: прежней усталости как не бывало, по бледному лицу разлился румянец, согнувшийся было корпус выпрямился. Ожесточенно нашептывая что-то про каких-то предателей, он снял со стены чью-то фотографию и, рассматривая ее, говорил:

— А ведь какой славный в старину был! Сколько он этого холода и голода перенес, и все с песней, со смехом... Караул ли, бывало, заслышит на улице, пожар ли завидит где — сейчас туда устремляется, как самый ретивый квартальный... Генерал-губернатору он опротивел хуже горькой редьки, и в полночь и за полночь влетая к нему с различными докладами о том, что вот-де, ваше

превосходительство, в таком-то и таком-то месте сила солому ломит. Когда, бывало, придешь к нему, вечно сидит за каким-нибудь прошением или докладною запиской и злостно шепчет: «Подождите, други, я вас упеку козам рога править. Я вас проберу! Эх! — начнет лупить скороговоркой.— Не люблю я обивать парадных порогов, ну да делать нечего! Происшествие такое! Представь себе, дружище...» — зальется он, бывало, крепко вцепившись в борт приятельского сюртука, веселенькими отечественными мотивчиками, нескончаемыми, как сказки Шехерезады. Как водолаз, бесстрашно нырял он по самым мрачным столичным глубинам, где гнездились многоразличные человеческие страдания, и много оттуда вытаскивал на божий свет. И теперь еще есть люди, которые с его легкой руки живут по-человечески и поминают его юность, которая спасла их. И что с ним сделалось? Отчего он вдруг такой крутой вольт сделал? Я двадцать раз умолял его об откровенности, просто-напросто хотя бы для того только, чтобы уяснить себе в других людях подобные неожиданности. Ни слова. Ни краски на щеках, ни стыда в глазах, и только на бледном лице, приличном и безжизненном, как у нюрнбергской куклы, светится тонкая, едва приметная улыбка... Новая иголка так светится, валяясь на полу темной комнаты! Откуда у нас эти своеобразные Мефистофели? Какой Гёте и когда именно натворил их? Они народились в промежуток времени гораздо меньший, чем тот, какой нужен сморчкам, чтобы после дождя засыпать луг своими коричневыми и желтоватыми головками. Надобно думать, что и будущность их будет так же кратковременна, как жизнь сморчков, на манер которых они выросли. В противном случае легионы их остановят воздушные течения, которые освежают нашу спаленную атмосферу. Легионы эти апатизируют молодую науку своей притворной апатией, которую они напускают на себя. Точно так же, как кошки притворяются мертвыми для того, чтобы удобнее схватить мышь, и они настроят науку таким образом (да уж и довольно успели в этом), что она концом, венчающим ее усилия, будет считать возможность как можно удобнее и легальнее взмоститься на чужие, неученые плечи!

— А софизмы их,— стуча пальцами по столу, с пафосом объяснял кому-то молодой человек,— софизмы их, это... это что-то ужаснее кайлевских и крупповских усо-

вершенствованных пушек. Те ревут раз-другой — и тысячи людей с их страданиями и счастьями моментально и безболезненно исчезают с лица земли! Их пасти зияют слишком ужасающе, чтобы они могли подманить к себе на нужную дистанцию наивное любопытство незнакомого человека. Наконец гром их гремит издали — и люди имеют время попрятаться от него или как-нибудь иначе ослабить силу его молний. Но с трескотнею современного фокусника ничего не поделаешь! В совершенстве знакомый с самыми мельчайшими жизненными механизмами, он дерзко спихивает с дороги честный ум, нахально становится на его место, привычным взглядом намечает людей, которые со временем могут быть опасны для его развращающей профессии, и начинает убивать их. Видит он пред собою молодость и, зная, что она любит правду, до самой ключицы заворачивает рукава своего фрака и сорочки, говоря: «господа! извольте смотреть! обмана быть никакого не может...» И молодость удовлетворяется, ибо она видит, что руки совершенно голые, и, следовательно, какие же тут могут быть фокусы?

Во время этих разговоров смертная, восковая бледность, постепенно распространяясь по лицу молодого человека, наконец совсем закрыла его; его щеки ввалились внутрь, отчего наружу каким-то лакированным, вроде картонных скелетов, рельефом выставились крутые, покрытые чахоточным румянцем скулы, лоб сделался болезненно желтым и покрылся глубокими синеватыми морщинами, в которых ясно виделась гневная сила, побежденная теперь совершенно, но готовая снова вспыхнуть.

— Прочту-ка я, впрочем, что я ему тут написал? — говорил молодой человек как бы в бреду, с закрытыми, как у сонного, глазами и ощупывая стол длинными худыми пальцами.— На чем тут я остановился — забыл!.. Да, да! На фокусничестве, отравляющем умы. Ну и что же? Большею частью умы эти после дурмана, который напустят в них, трепещут и кружатся в жизни, как рыба в реке, отравленной кукольваном. А фокуснику это и на руку: покамест саисский юноша в ужасе и благоговении приближается к таинственно закрытому божеству, его в это время раз десяток успеют переобуть из кожаных сапог в липовые лапотки... А впрочем, я теперь не могу писать... Я лучше попрошу мать и сестру. Теперь, кажет-

ся, пора разбудить их... Чтобы не сбиваться и не затруднять их, нужно припомнить всю эту программу! Ах! Как это голова болит! Словно сто тысяч мух жужжит и летает там. Но все это — вздор! Быть не может, чтобы я забыл когда-нибудь сделать то, что хочу сделать... Пойду попрошу кого-нибудь сделать то, что хочу сделать... Пойду попрошу кого-нибудь дописать.

Говоря это, молодой человек встал и долго думал о чем-то. Голова его в это время была опущена вниз, а глаза, как и прежде, закрыты. Потом он твердыми, прямыми шагами направился к двери, затем покачнулся и упал на кровать, встретившуюся на дороге. Казалось, что он уснул.

Долго в комнате царило молчание, прерываемое по временам жалобным жужжанием мухи, попавшейся в паутину, унылым боем крепостных часов и тихим шелестом кисейных драпировок, которые изредка вздувал свежий предутренний ветер. Свечи горели сиротливо как-то, словно бы сознавая, что они горят понапрасну; со стен озадаченно и в строгом молчании смотрели светлые фотографии и сумрачные масляные картины...

— Мама! — забредил молодой человек несвязною, горячечною речью.— Ты напиши ему: сын мой упал!.. Скажи ему: брешь, мол, после него открылась — иди! Мама! Он это сразу поймет. Он тебя будет любить, и сестру, и всех, как я. И ни разу он вам ни в чем не солжет, как и я вам никогда не лгал... Мама! Ложь — все! Без нее в мире все было бы вечною, хорошею жизнью! Ну, сестра, пиши же: брешь есть! А я спать хочу... А картины, какие я ему рисовал в письме, это — вздор! Напиши ему: брат писал их больной и пьяный, а то они (так прямо и пиши) на самом-то деле в миллион раз ужаснее! Ну да его не испугаешь... ха, ха, ха! Маша! Маша! Где ты? Да! Ты здесь? Напиши ему еще... Чтобы он меньше верил... Ощупью бы ходил... А то вот и надо мною теперь вьются целые тучи крылатых мерзостей — и все они, как саранча шуршит в поле своими стеклянными крыльями, шепчут мне в уши... Ах! Какие у них безобразные улыбки — и однако! какое между ними строгое, неодолимое согласие! Видишь, видишь, мама, как он кружит около меня и нахально хохочет: «Умирай! умирай! Ты хотел заколоть меня своим карандашом, а я вот все-таки скачу сколько мне угодно, а ты околеваешь...»

— Мама! Отгони от меня этого подлеца,— мечась в постели, кричал молодой человек.— Гони, гони его! Впрочем, он врет, что мой карандаш отскочил от него! Н-не-ет, вр-ре-ет. Я его насмерть решил... Н-не-ет! У всех *его* лакеев моя карикатура на него в кармане всегда находится... Они его мучат своими плотно сжатыми губами, своей постоянной готовностью фыркнуть над ним во всякое время, как меня мучат своим хохотом эти нахальные, уродливые рожи... И жена его мучит в минуты злости, показывая ему клочок этой карикатуры, и знакомые, и даже дети... ха-ха-ха! Н-нет, врете, чтоб я бесполезно умер... Сестра! Так и пиши: брешь есть! Брат упал! Приходи и становись на его место... не страшно!..

Серое, как свинец, петербургское утро любопытно заглядывало в это время в комнату, как бы стараясь понять, о чем в ней разговаривают...

1870



НЕ К РУКЕ

(Шоссейный очерк)

I

Близко то время, когда окончательно вымрут те люди, которые имели случаи видеть буйное движение шоссейных дорог или так называемых каменных дорог тогда, когда железные дороги не заглушали еще своим звонким криком их неутомимой жизни.

Да! Разваливаются теперь эти бесконечные, сверкавшие в хорошую погоду ослепительною белизной, белокаменные дороги, точно так же, как совсем уже развалились здоровенные двухэтажные домищи, которые, называясь постоялыми дворами и белыми харчевнями, составляли некогда честь и славу шоссе.

Глубокие выбоины и колеи безжалостно изранили белую грудь дороги, и ямщик Герасим Охватюхин, в старину известный всем малым ребятам от Москвы до самой Тулы, не прокатит уже по ней на своей залихватской

тройке забубенную компанию купцов, которые из его калужского тарантаса стреляли в проезжий народ бутылками шампанского, с хохотом закуривали трубки ценными ассигнациями и которые наконец, *дуясь в трынку*, воздвигали на кожаных подушках тарантаса целые горы исчезнувших ныне золотых...

Редко-редко когда в теперешнее время проскачет по опустевшему шоссе помещичья тройка, отчасти только напоминающая бешеные охватюхинские тройки, огневая езда которых сопровождалась несказанным гамом купцов, оравших на всю длинную сельскую улицу: «Эх! Была — не была, повидалася! Замирили твою тыщу, да под тебя, выходит дело, еще две подваливаем... Жги по-кульерски, Гараська! Кон возьму, сотельную тебе на чай,— действуй только по-божецкому... Эй вы, бабы! Нуте-ка вот в тарантас к нам, к купцам, к молодцам. Прискучило небось без мужиков-от сидеть?.. Мы бы разутешили, ха, ха, ха!»

Безвозвратно свеял куда-то ветер с широкого шоссе эти возгласы, и вот уже сколько времени прошло, как их совсем не слышно на пришоссейных улицах, потому что большая часть лихачей, одушевлявших каменные дороги своей удалью, перемерла; меньшая, *прогоревши*, превратилась в «Любимов Торцовых», которые забавляют теперь кабачную и рядскую публику изображением грома и молний, стараясь дать своим *поильцам* хоть приблизительное понятие о тех громах и молниях, в сопровождении которых летывали они некогда на тройках Гараськи Охватюхина. Остается еще одна категория купцов; но и та теперь не оживляет шоссе: они *остепенились*, то есть, несмотря на седые бороды, пригласили к своим дочерям молодых гувернанток, сыновей роздали по разным *пользительным* школам и, со свойственною им шельмоватостью всматриваясь в повсюдное обмельчение и проникновение горючих жизненных элементов, улыбаются и шепчут в своих охладевших сердцах: «Такие ль мы были? Эх ты, старина-старинка! Куда-то ты, матушка-старинка, закатилася...»

В самом деле — в какую неведомую даль ушла эта, столь оплакиваемая, матушка-старинка по бесконечному шоссе? В каких, например, далеких захолустьях поживают теперь и что именно поделывают широкобородые извозчики, вечно сновавшие по каменным дорогам на изу-

мительно терпеливых мереньях, которые, громыхая медными бубенцами и наборными сбруями, мерно проходили тысячи верст, таща на себе гигантские грузы. Редко кое-где на конюшнях богатых купцов можно еще встретить некоторое подобие этих исполинских тружеников шоссе, заменяемых ныне локомотивами,— переводится, к сожалению, их могучая природа, как бы нарочно приспособленная к деятельному участию в тяжелых трудах мужика. С исчезновением же этих русских элефантов исчезли целые орды промышленников, главною профессией которых было выковывать для извозчичьих поильцев и кормильцев тяжелые подковы, увешивать их задумчивые головы усыпительно жужжавшими погромками или на *малиновый манер* звеневшими колокольчиками. *Прогорело* и сгибло теперь, за опустением шоссе, это мастерство дорогих уздечек, украшенных серебром с чернетью, таковых же шлей, чересседельников, сафьяновых хомутов, разноцветных шелковых вожжей и высоких, размалеванных всеми цветами радуги дуг. Едет теперь по шоссе на ближний базар мужик или даже сельский торгаш, и в голых руках этих людей, в разгар шоссейного движения знавших замшевые, узорочно вышитые бумагой и даже шелками рукавицы, находятся не крепкие ременные вожжи, сразу обуздывавшие любую лошадиную удаль, а либо мочало какое-нибудь прогнившее, либо веревка, связанная тысячью узлов. Трогает проезжающий самоделковой вожжой свою лошадь, губами ей из всех сил подчмокивает и даже руками так суетливо размахивает, а лошадь никак не может идти быстрее рыси тех людей или, ежели угодно, вообще всех тех живых существ, которые голодом хотя еще совсем и не изморены, но которым никогда тоже вволю покормиться ни разу не приходилось.

Сидит старый ямщик Герасим Охватюхин на приворотной лавочке своего громадного, но теперь, как и сам хозяин, развалившегося постоялого двора — и видит, как мимо него проезжает этот горемыка-проезжий, какого «в свойную утешную Гараськину езду» живо бы лихие шоссейцы спихнули в придорожную канаву вместе с его ободранною клячей и брусяною телегой. Потухшие глаза выжившего из ума старика засветились, в виду этой мочально-веревочной картины, тем бесшабашным смехом, которым он во время своих шоссейных буйств охаивал

всякого встречного и поперечного «за ихнее, например, неуменье обходиться с конем».

Самую середину дороги загородил Охватюхин горемыке-ездоку, оскалил на него свои красные, беззубые десны, подперся руками в бока и, тряся седою кудлатою бородою, с заливным хохотом спрашивал:

— Што, друг, об имени-отчестве твоем неизвестны, расскажи на милость старому ямщику, у какого ты фабриканта вожжу эту самую мочальную покупал, а? Ха, ха, ха! Должно, неинаково вышло дело такое, што как вещь эту из-за границы и по железке к нам привезли,— а? Хе, хе, хе! Для показу, например, нашему брату-неотесу?.. Мы што-то в старину сокровищев таких и не видывали, а, признаться сказать, обхожденье насчет коня не хуже нонишнего ездока понимали... Да уж и работал же нам конь в старину! Мы на коню заработки-то выезживали не в пример пожирнее ваших нонишних чугунных-то... Ха, ха, ха!

— Эх, дедушка Герасим, дедушка Герасим! — чуть-чуть не со слезами говорил мочальный человек, непременно знавший старого Охватюхина.— Ты про ваши заработки старинные и не вспоминай лучше,— нутро болит! У вас-то, бывало, по каменным дорогам калач — не калач, свежина — не свежина...

— Ха, ха, ха! — заливался Охватюхин веселым старческим смехом, необыкновенно похожим на беззаботный детский смех.— Э, друг! Вспомнил небось про свежинку-то про матушку!

— Вспо-омнишь!..— соглашался мочальный человек, потряхивая шапкой, как бы с целью сбросить ее и освежить тем голову, внезапно застрадавшую при вспоминании о матушке-свежинке или о батюшке-калачике с сотовым медом...

— Чуд-да-ак! — несказанно торопясь почему-то, кричал дедушка Герасим.— Мы, бывало, калач-то али там лапшу с гусиным потрохом кажинный день жуем, а у вас-то лапша про свят день до обеда... Где они у вас ноне потроха-то энти, например? Хе, хе, хе...

— Д-ды мы про потроха-то и думать теперича позабыли!..— плаксиво пели гнилые мочала и истрепанные веревки, скреплявшие проезжего человека с его беспотрошной телегой и таковою же лошадью.

Во время этого разговора в лесу, опушавшем шоссе,

раздалось оглушительное, сопровождаемое свистом, грохотание какой-то силы, которая, тяжело отдуваясь дымом и искрами, испугала своим внезапным появлением шоссейные речи. Они прекратились на некоторое время ввиду чего-то страшного, что, визжа и ослепительно сверкая, умчалось куда-то, ужаснувши окрестности своим мощным дыханием.

Из-под обаяния этой непобедимой силы первый освободился старый Герасим Охватюхин. Следя за ее быстро мелькавшими следами своими насмешливо прищуренными глазками, он задумчиво шептал, не относясь, впрочем, в особенности ни к ухабистому шоссе, ни к лесу, безучастно его окаймлявшему, ни к унылому седоку с его гнилой телегой и помертвевшей от голода лошадью.

— Ишь, ишь, как черти несут! Вон она, свежинка-то, где! Нет — не к руке нам эта свежинка!..

Затем вдруг, вышедши из своей нечаянной задумчивости, он снова заливался трясущимся, стариковским смехом и снова принимался трунить над мочальным человеком, настойчиво рекомендуя ему «пришпандорить покрепше коня мочальной вожжой и догнать чугунку».

— Там,— кричал старый насмешник,— беспременно есть потроха са-ам-мые загранишныи,— ха, ха, ха! Только догони чугунку, там в тебя вложут их — самых луччих... Сколько душа пожелает...

— Не рука нам, дед, не рука туда ездить,— сколько раз я тебе толковал насчет эфтова смыслу, и все ты меня, старый, на зубок поднимаешь! — отвечали, в свою очередь, тележная мочала и веревки, влекомые издыхающей лошадью по тому же самому шоссе, по которому некогда скакивал на сердитых тройках удалой Гараська Охватюхин, удивляя прохожих,— как удивляет их теперь молнийный гул железной дороги,— своим разбойничьим свистом, удалою песней и, наконец, своей постоянной насмешкой над человеческими бедами, которые вечно плелись и вечно будут тихо и смирно плестись по узким тропочкам, сторонясь бешеных поездов, паром ли, лошадьми ли бесследно стирающих людские печали и радости с равнодушного к тем и другим лица земного...

II

Таким образом, жизнь современного шоссе главнее всего сосредоточилась теперь в полоумном ямщике Ох-

ватюхине, который различными солонинами, свежинами и вообще, как он говорит, убоиной защищает его старинные, жратвенные традиции, протестуя тем самым против порядков железных дорог, на которых, по его словам, «лба-то перекрестить не дадут человеку как следует, а не то штобы кусок какой-нибудь ужевать с передышкой»...

Со всех концов длинного села соберутся на охватюхинскую приворотную лавочку мужики, шоссейное шаромыжничество которых упразднила железная дорога, проложенная в каких-нибудь двух верстах от каменки, и от нечего делать распевают о кусках, выхваченных чугункой из их ртов и унесенных ею куда-то и зачем-то с быстротою молнии.

В самых причудливых и разнообразных формах выражались эти легендарные сказания о куске, который так недавно еще, на памяти у многих стариков, как ошалелый шатался по шоссе и назойливо совался в рот самому ленивому и пьяному мужичонке, и вдруг от куска этого остались одна беспечная, измошенничавшаяся лень да жесткие булыжники шоссе.

— Тогда еще старики толковали, што железка нам не к руке! — пел какой-нибудь из завсегдателей лавочки Охвáтюхина, раззадоренный его речами о шоссе, текшем некогда молоком и медом.

— Как не говорить? Известно — были разговоры, што ее нам не требуется,— вставлял свое слово другой завсегдатель. — Родитель наш — упокойник — тыщу рублев, на ассигнации по-тогдашнему, становому отвалил, штобы, значит, не мешала она нашим порядкам... Теперь вот и плачься!

— Заплачешь! — слышался в общем хоре третий возглас.— У меня, бывало, солонины одной в осень по тыще пудов на проезжего выходило. Эвона чаны какие, бывало, на дворе настановишь с ей, с матушкой...

— А у нас-то? — раздавались другие азартные ноты.— Да у нас с тятенькой калачу в один день по сту пудов разбирали,— квасу летним днем, ежели, то есть, господь жару посылал, по пяти бочек выпивал богомолец,— кренделю што таперича харчили... Медюки-то, сейчас умереть, родитель и не считал никогда, а так это четверками их мерил аль на пуд...

Эти сердечные сокрушения об утраченных благах ста-

рик Охватюхин выслушивал с невыразимым презрением, потому что они в глазах его не представляли собой ни малейшей ценности в сравнении с тем громадным кусищем, который благодаря железке так быстро и неожиданно соскользнул с его стариковских зуб. Великолепное отношение ко всем этим ничтожным квасам, калачам и медюкам старик дозволял себе нарушать тогда только, когда ему становилось совсем уж невтерпеж, то есть когда соседи пронизывали ему все уши своими сокрушениями о том, что квас ноне — пустое дело, на солонину — наплевать ежели, так греха не будет, а медюк коли захочешь в свой кошель залучить, так прежде подумай об этаком деле с супругой — не поспи ночек пяток, тогда, может, он, медюк-то, ненароком как-нибудь в кошель и затешется к тебе.

Хереса, дреймадеры и даже шампанское напоминали старику эти соседские возгласы о всеобщей испорченности людских вкусов, допустивших вдребезги рашибиться на шоссе «квасной части»; трактирные щи, кулебяки и даже «каклеты» лакомо мелькали в глазах Охватюхина, когда какой-нибудь экс-торговец солониной настойчиво утверждал, что по нонешним временам вряд ли из барто кому придется укусить настоящего, *необдирного* мясца, и, наконец, тусклые медюки, так хвастливо рассыпавшиеся некогда по четверикам, группировались воображением деда в синенькие и беленькие ассигнации, светлые империалы и тяжеловесные платинки, которые в былое время так гулко и беспереводно пошевеливались в его бездонном кожаном кошеле.

Весь охваченный подобного рода роскошными представлениями, старик изредка только удостаивал подлаживать распевавшему около него хору, сердито встряхивая свои седые космы, ядовито улыбаясь и тихо побрюзгивая вроде того, что: «Так! так! Калач был у вас точно што... хе, хе, хе!.. первый сорт! Крупчатка даже елецкая зеленела в нем от посконного масла, как бесы перед заутреней зеленеют... хе, хе, хе!»

— А севрюжина, например, соленая? — сладострастно воет опустелое шоссе.— А сомовина,— эвона, бывало, какие, батюшка! В какой-нибудь праздничек божий заломают это, бывало, бабы пирог с сомовьей главизной,— страсть — сичас умереть!..

— Што про севрюжину толковать? — соглашается

дед своим ироническим шепотом.— Не токма пруды, а речки текучие, так и те вплоть до самого дна высыхали от рыбьего духу... хи, хи, хи! Извозчики-то от вашей рыбины словно деревья в лесу от бури валились...

Но подтрунивая таким образом над соседскими сетованиями, старичина тем не менее никому не давал права заключать, чтобы его симпатии к шоссе были мельче соседских и чтобы его ненависть к чугункам могла уступить чьей-либо другой ненависти к этим дурацким выдумкам новейшего времени. Напротив, добра этого накоплено было в его сердце такое страшное количество, обладание которым оказывалось решительно не под силу всем его соседям в сложности. Те все-таки иной раз снисходили к чугунке, изредка отправляясь по ней в город с коровьим маслом, творогом и яйцами; Герасим же Охватюхин не давал в этом отношении лютому врагу своему никакого пардону, расколачивая, елико возможно, каждый шаг его, быстрый как молния и гремящий наподобие июльского грома!..

Герасиму Охватюхину не было ни малейшей нужды, как он сам постоянно говорит, «подражать, например, разным там немецким затеям, потому как, хе! ежели Гараська Охватюхин не едал хлебов из семи печей, так кто же, кроме его, и ел их,— господи ты боже мой! У Гараськи-то перо одно парадное было на шапке, так и то пятьсот рублев стоило! Вот перушко каково,— ха, ха, ха! Подарил то перушко Гараське московский купец Трепачев, тятенькой нонешним-то трепачевцам приходится, какие теперича, ха, ха, ха! по чугункам-то ездят с мамзелями с разными. Прочугунятся небось — промамзелятся,— подожди!»

— А вы говорите,— в упор уже обращался старик к жалующимся на безвременье соседям,— вы же все, например, толкуете насчет своих квасов алибо главизны сомовьей,— ха, ха, ха! Чем же вы после того супротив меня будете, когда подо мной завсегда тридцать троек битюцкой али аргамацкой породы хаживало,— а? Ха, ха, ха! В самый Киев ведь али даже в Аршаву тройки-то ахватюхинские заезживали,— так-тось, други мои сердечные, а не токма што...

Новый элемент вступается в шоссейные разговоры. Он считает своей обязанностью поддержать хвастливые речи старинного удальца, и поддержка эта оказывается

тем действительнее, что элемент представляется в виде необыкновенно сумрачного субъекта с огромными глазами и с впалыми бледными щеками, сплошь обросшими густыми черными волосами. Унылый бас, нанковый линючий подрясник и порыжелая плисовая шапочка, надетая на кудлатую голову, рекомендовали субъекта за одного из тех странников, которые вечно шатаются из одного монастыря в другой, отдыхая от этих кочевьев у знакомых мужиков, мещан и купцов и платя им за гостеприимство теми чудодейственными рассказами про дива пространного божьего мира, от которых поднимаются дыбом волосы на головах людей, одеревеневших было от нескончаемого однообразия захолустной сельской жизни.

— Полетали на троечках дяди Герасима всласть, аки бы на крилах ветряных летывали,— проговорил сумрачный странник с глубоким вздохом, от которого его унылый бас делался еще унылее и, так сказать, готовнее до глубокой боли ущипнуть суеверные сельские сердца протяжными повествованиями о разнообразном зле, властительно будто бы царящем во всех точках земного шара.

— А, а! — восклицал Охватюхин, по своему обыкновению злорадно подсмеиваясь.— Што же это ты об охватюхинских тройках жалеть принялся? Чего же их жалеть-то, друг,— ха, ха, ха! Вон чугунка под носом,— попроворней, пожалуй, моих конев-то будет, потому она огнем действует...

— И разжеся огнь в сонме их, и в пламень попали грешники,— простонал странник своим зловещим голосом.— Вот какие слова говорю вам насчет чугунки,— торжественно обратился он к приворотным сокомпанейцам,— и слова эти я вам сказываю не от себя. Вот вы их восчувствуйте!..

— Чего там восчувствовать-то? — оживленно и хором гаркнули сокомпанейцы.— Мы от этой железки-то давно уж кушаками животы подтянули, бурчит, на скотину от ней падеж пошел,— собаки даже путевой во всей деревне нет...

— И разгневася яростию господь на люди своя и омерзи достояние свое... Вот она, железка-то, какова!— с глубоким трагизмом отрезонил странник.— Кто настояще,— говорил он, как бы уясняя что-то,— вникает в

Писание, тот понимает, что как и к чему... Дело хвалить нечего, сами вы видите... На ваших, кажется, глазах-то...

— Как не видать? Давно видим, што дело не к руке,— снова запевал хор, оживляясь все более и более своей излюбленной песней о несподручной железке и о различных великих и богатых милостях, раскатывавшихся некогда, в очью всех, по гладко укатанным каменным дорогам на беззаботную и сладкую потребу всех пришоссейных утроб.

Усерднее всех распевали эту песню Герасим Охватютин и странник. Они, в то время, когда разношерстные бороды вытягивали основную песенную поэму насчет маслянистых калачей, забористых квасов и жирных мяс, варьировали ее рассказами о непостижимых для простого ума случаях, решительно невозможных ни на какой другой почве, кроме как на шоссейной.

— По шасе-то какой, бывало, богомолец ходил? — азартно спрашивал странник.— Ноне и нет таких,— все норовят как бы им поскорее в мирское звание, отличиться, потому прельщение везде очень большое пошло. А допрежь того богомолец круглый год странничал по святым местам — и был он сыт, обут и одет, и так надо сказать, што везде принят по милости божией.

— А мы-то, бывало, извозчики-то,— с не меньшею страстностью подхватывал Герасим.— Закатишься эдак, к примеру, в Крым за яблоками али в Сибирь за чаями,— коси малину! Года по три домой-то и не заглянешь совсем.

— Богомолец был в старину настоящий, хороший,— ничуть не слушая Охватюхина, перебивал его речь угрюмый странник.— У нас такие отцы хаживали, такие... В цельную неделю по единой только просвирочке скушивали. Таких подвижников теперича и не найдешь, пожалуй, нигде: рази, может, в затворах где-нибудь пребывают, так ведь они нам, грешникам, ликов своих ни за што не объявят.

Деликатность, с которою Охватюхин выслушивал любопытные эпизоды о таинственных личностях, скрывающих от грешных глаз свои лики за крепкими затворами, нисколько не уступала деликатности самого странника, ничуть, в свою очередь, не интересовавшегося рассказами отставного ямщика про то, «как они в старину закатывались в Крым за яблокми али, например, в Сибирь

за чаями». Одним словом: каждый из них заливался своим собственным мотивом, в финале которого получался рев хора, злобно утверждавшего, что всем вообще певцам не к руке несчастная железка.

Настойчиво преследовала песня свою главную тему. По тем ее вариациям, которые проделывал ямщик, несомненно выходило, что ни от чего другого, как только от железки, обезлюдели шумливые дороги и неизвестно куда девались силачи-извозчики, приподнимавшие за задок телеги стопудовую кладу.

— У нас народ ядреный был,— как бы в сладкой дремоте, зажмурив глаза, распевал Охватюхин.— Куда его ни поверни, он своей чести нигде не потеряет, хоть в пир, хоть в мир, хоть в добрые люди. У нас был один извозчик из Саратова, так тот однажды меру калачей на спор съел да пять фунтов меду. В бане после того двое суток живот-то ему вениками отпаривали и маслом оттирали деревянным, потому мед, словно камень, застыл в нем...

— А в монастырь, бывало, ежели в какой взойдешь,— в необыкновенно нежной задумчивости подтягивал странник,— сичас тебе пища всякая... Братия, например, встречают с поклонами.

— Саратовец-то энтот,—внезапно врезывался Охватюхин в идиллию странника,— возьмет, бывало, лошадь за передние ноги да на спину себе, ровно бы овцу, и взвалит... Вот тебе и чугунка,— ха, ха, ха!

1874



АХОВСКИЙ ПОСАД

СТЕПНЫЕ НРАВЫ СТАРОГО ВРЕМЕНИ

(Отрывок из повести)

Во всем околотке Илюшин отец был известен под именем Сидора Длинного, и он был, действительно, длинен, как береза, и хмур, как дуб осенью. Его длинный казакин весь был пропитам медом, маслом и багровыми кровавыми пятнами.

К хозяйскому сыну, приезжавшему с тяжелою кладью, обыкновенно выбегали из рабочей избы на подмогу различные Евстигнеи, Марки Рыжие, Мишутки Алелюковы и т. д. Не обращая на них ни малейшего внимания, хозяйский сын снимал с головы облезлую баранью шапку, как-то особенно скоро крестился раза три на хоромы и потом, взявши лошадь под уздцы, вел ее к какой-нибудь постройке, где, по его мнению, удобнее было лежать привезенной им поклаже.

— Отойди, отойди прочь, парень! Не твое это дело... Когда до тебя придет нужа, сам кликну...— урчащим, по-медвежьему, басом говорил Длинный, стаскивая с телеги кадушки или вздергивая тяжелого медведя на высокое свежевальное правило.

Подходил затем Сидор Длинный к крыльцу хором, плескал себе на руки несколько капель воды из горшечного рукомойника, висевшего около крыльца, и, ежели здесь же не висело полотенца, он своим обыкновенным, редко когда менявшимся басом спрашивал, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Где жена?

— А что? — спрашивали его в свою очередь седой дед и Илюша, обыкновенно выходившие на крыльцо, когда на двор въезжала телега знакомого пчелинца.

— Да вот утирку... тут... Утирка бы на эвтом месте... Вот здесь бы ей... Как же?.. Ведь я сто раз...

— Сбегаю, сбегаю за утиркой тебе...— суетился дед, конфузливо топчась на одном месте.— Илютка! подикось! Сбегай-кась... Утиральничек тятьке...

— Надо опять разутюжить! — тихо решал Длинный, направляясь в рабочую избу, где, по его соображениям, должна быть теперь жена вместе с утиркой, узорочные концы которой следовало бы развесить на веревочке, как раз рядом с рукомойником.

Удивительные, совсем непонятные теперь штуки проделывал Длинный со своей женой по поводу утирки: когда он отворял дверь рабочей избы, и отворял тихо, ничего никому не говоря,— ужас какой-то, которого и сам он боялся, нападал на всех домочадцев, не исключая даже и могучего Евстигнея. Мужчины все вставали, закладывая руки за пояса или угрюмо почесываясь; женщины горемычно подпирали ладонями левых рук правые

щеки. Чуть живая, трепеща и ужасаясь пуще всех, тут же стояла хозяйка с длинным белым полотенцем.

— Здравствуйте! — говорил хозяин, перекрестившись, по-своему обыкновению, наскоро, раза с три.— Где это там утирка-то?..— обращался он к обомлевшей от ужаса жене.

— Новенькая!. Вот вышила тут без тебя... Не успела...

— Задрожала!..— чуть приметно колыша свой густой бас, говорил муж и ударял супружницу пальцем либо двумя по щеке.

— Молись богу да есть давай!— командовал он после этого, как бы в глубокой задумчивости усаживаясь за стол.

— Агафья! — уже поевши щей или студеня с квасом и хреном, приказывал хозяин какой-нибудь женщине, суетившейся вместе с хозяйкой у печки.— Отнеси на место утирку-то,— повесь!..

Многочисленные усадебные личности, тревожно шнырявшие во время хозяйского обеда около рабочей избы, тихонько подбегали к Агафье, развешивавшей полотенце, и более украдчивыми знаками, чем словами, спрашивали у нее:

— Ну што? Как? Бурён приехал?

— Ничего! Слава богу! — утешительно шептала им Агафья.— Только всего и было, что легохонько по личику двумя пальцами смазал...

— Ну, слава богу! Ну, и слава тебе, господи! — радостно говорили личности, крестясь, и затем, подкараулившы минуту, когда хозяйский сын оканчивал свой обед, они налезали уже в избу к Длинному, всегдашнему заботчику и разрешителю их разнообразных житейских нужд.

Но иногда эти наезды сурового пчелинца на усадьбу баламутили ее до последней степени. С громкими воплями выбегали тогда из рабочей избы Евстигнеи, Марки, Агафьи и Марины и прятались по разным темным углам; те же, которые были похрабрее, стремглав летели в избу Шароварова и, распугивая привыкших ко всегдашней усадебной тишине птиц, кричали:

— Батюшки, бьет! Родимые, колушматит. Мать пресвятая богородица! заступи и помилуй! Остервенился медвежатник-то, беда как! Батюшка-Шароварушка! по-

ди скорей в избу, отбей хозяйку-то. Да нельзя ли как-нибудь самого из хоромин позвать?

Быстрее, кажется, ветра, трепыхавшего длинные седые космы Шароварова и его белую льняную рубаху, летел тогда на заступу ни перед чем не трепетавший старик. Вбежавши в рабочую избу, он храбро спрашивал у великана, так же угрюмо-величавого, как лес, вырастивший его крепкую силу:

— Это што такое? Это на то-то тебе, кровопивцу, господь бог супругу-то дал?

Великан как будто опешивал от этих вопросов. Он отвертывался тогда от жены, которая, лежа на полу, со слезами целовала его пыльные сапоги, и, выходя из избы, потихоньку шептал:

— Квас, например, теперь с мятой... Сам я мяту в лесу собирал, сюда ее привозил... И теперь вдруг в квасу муха... тварь нечистая!.. Это што же за порядки такие! Не так еще надо было разгладить...

Отца, махавшего костылем и топавшего бессильными ногами, Сидор Длинный даже не слушал нисколько, когда тот, весь трясясь от бушевавшего в нем на сына гнева, шамкал ему:

— Ну, детки ноне пошли! Вот вырастил коего лешаго,— прости господи мою грешную душу! Поартачился бы так-то, разбойник, у моего батюшки у покойника, когда мы с ним хаживали на реку Хопер табуны казацкие угонять,— он бы тебе, шельмецу, показал! Он бы тебя, распрошельму, не на дуб, а на осину трясучую вздернуть велел али бы из поганаго ружьишка какого, как щенка, из своих рук пристрелил...

— Уж вы на Хопре-реке!..— презрительно шептал Длинный, запрягая своего битюка.— Наделали вы делов на Хопре-реке... Пропасть добрища там нажили... Свое-то все размытарили... Квас, например, с мятой... муха это в нем — божий дар, и тут, поди-ка... вдруг в нем тварь... муха дохлая... развалила лапы-то, стерва... плавает тоже в квасу-то... Тьфу! Илютка! подь сюда! Што же ты, подлецкая твоя голова, шапку с собой не берешь? Думаешь весь век обаполо матерняго хвоста просидеть? Эх! бить тебя некому, остолопа!..

— Куды, куды он Илютку-то с собой тащит? — кричала мать, забывая обыкновенный страх, внушаемый ей мужем.— Возьми хоть рубашонок-то ему, душегуб! Лап-

тенки-то ему прихвати по лесам-то с тобой, с людоедом, шататься... Сапожонки тоже вон праздничные...

— Стой, стой! Не бери детё в лес,— дитю дома лучше! — вторили матери Шароваров и дед, хватаясь за задок телеги.

— Трогай! — уже опять своим ровным урчащим басом говорил лесной великан, наматывая на руку ременные вожжи, и затем, послушный хозяйской команде, грудастый битюк, звеня «на малиновый манер» наборною сбруей, трогался со двора тою плавною, сильною рысью, которая не раз уносила буйную голову Сидора Длинного от некоторых людей, часто темными ночами спрашивавших у него на больших дорогах: «А что, господин честной, сколько тут считается верст до Ерёминых выселков?..»

* * *

До двенадцати лет дожил Илюша, а ни разу еще не слыхал, чтобы старик Аким Шароваров назвал его сокровищем или наследником,— ни разу не побаловал его ни одним гостинцем, потому что и сам он постоянно ел только один хлеб и запивал его квасом. По собственным словам Акима Шароварова выходило, что он, грешный человек, ест и «убоину, и потребляет всякие сласти, но особых скусу и сытости» в них не находит... Ест же он, Шароваров, все это для одного «прилику», чтобы добрые люди не вошли в грех, осудимши его «за трезорство». Вот-де, скажут люди, и трапезы с нами святой не поделил. Не он ли — Акимка этот — и человек один на всем свете завелся, а мы-то, по его, выходим, должно быть, окаянные все... Точно так же Шароваров, как часто делали это усадебные мужики, никогда не предлагал сокровищу своих хозяев:

— Пожалуй-ка, Илья Сидорыч, смилостивись, хозяинушко молодой! Сядь ко мне на закорки, я тебя по двору покатаю... Хочешь, рысью, а хочешь, так скоком, например, пустим...

Напротив, Шароваров, когда только слышал подобные предложения, непременно подходил к услужливому мужику и, покачивая седою головой, тихо говорил ему:

— Глупый ты, глупый! Ты уж и образ-то человече-

ский задумал на лошадиный сменить... Поди в избу-то, перекрестись там, божий ты человек!..

Неуклюже трепыхая широкою, просмоленною рубахой, услужливый мужик проворно убегал в избу от унылых укоров Шароварова, злобно шепча по дороге:

— Пр-роказ-за!.. Иг-гипицкая, например...

Но несмотря на то, что большинство усадебных людей, в глубине своих сердец, относилось к Акиму как к египетской проказе, Илюша все больше и больше привязывался к нему. Это, впрочем, была даже и не привязанность, а какая-то редкая, почти неразрывная, дружба между старым и малым, которая вечно шаталась по лесным и луговым берегам Воронежа, собирая лекарственные травы, или просто в лице одного Шароварова, славословя бога, «как ризой одевшаго» в дивный свет все это неоглядное раздолье вод, полей и лесов. Даже ненастье редко когда беспокоило друзей в их ежедневных походах, потому что распляшутся ли на песчаном речном откосе длинноногие цапли, выползут ли из своих темных норок на свет божий земляные черви, начнет ли всегда сопровождавший их журавль печально курлыкать и припадать к земле грудью,— Шароваров уже знал, что будет дождь — и дождь не один, а с сильным ветром. И вот старик, поспешая к какой-нибудь кровле, говорил своему питомцу:

— Поспехай, поспехай, Илюша! Скоро дождик пойдет. Успеть бы нам до него к Кузьме-рыбаку в шалаш забраться,— чудесно бы вышло! Вишь, вон червь-то земляной наружу выполз... Ты думаешь, хочется ему потонуть-то?.. Поспехай, поспехай!

— Ну, а это што же? — спрашивал Илюша, поднимая кверху потное, жмурившееся от солнца личико так, чтоб оно, по возможности, стояло в уровень с лицом его старого друга.— Ну, а это цапли-то к чему ж... пляшут это оне, кричат тоже?..— недоумевал ребенок.— Журушка вон крыльями трепыхает в траве... плачет...

— Чудак ты, Илюша! — удивлялся Шароваров.— Как же ему не плакать! Сичас ему буря все перья должна в растопыр пустить... в разные то есть стороны вздуть... Как же? А ты поспехай, все поспехай, Илья! Видишь вон облачко-то: во-во-во! Это оно самое, дитятко, ровно бы пером вокруг себя опушоно... Из него-то и полыснет сичас... Из него-то и хлынет,— ты не гляди, што

оно такое румяное, будто стыдится... Вот он, журушка-то, и засыпает в себя песку, чтобы дождик его до тела не пронял... Побегём! Вишь вон, как застучало!.. А про цаплю не знаю,— неуклюже, по-стариковски шлепая босыми ногами, кричал на бегу Шароваров.— Про што не знаю, тово тебе не скажу... А так это она, по моему разуму, к дождю завсегда пляшет... Должно, любит так-то... плясать это... крыльями махать... Бежи ты, пострел! — поощрял он ребенка, сам, между прочим, оставшись далеко позади его.— Рубаху-то на тебе всю измочит. Рубаха-то вить на тебе, например, коломенковая, дорогая...

Вздрогнули запыленные и засушенные листья деревьев и трав от застучавшего по ним косого золотого дождя. Его золотые брызги упали также в тихую реку и развели по ней плавно расходившиеся серебряные круги. Все шумнее и шумнее слетали на землю дождевые столбы, но из рыбачьего шалаша, повитого сизоватым дымом, уже выставилась черная, волосатая голова рыбака Кузьмы, которая со смехом кричала:

— Акимка! Ты это, брат? Ах, шуты тебя носют! Ха, ха, ха! И журавь с тобой,— ха-ха-ха! И Илютка,— баттюшки! А я заскучал было без народу,— уху с досады-то хотел было наземь вылить... чебурахну, мол, ее в реку,— ну ее! Надоела, значит!.. Ну, теперича ничево,— слава богу! Про всех хватит ухи. Хлеб-то есть при вас? — спрашивал Кузьма у пришельцев, с размаху, на четвереньках вскочивших в низкое отверстие его шалаша.

— И хлеб есть, и соль! — радостно отвечал Шароваров, растягиваясь на сене, устилавшем шалаш.

— То-то! — не менее радовался и Кузьма.— Хорошо это, хлеб-то ежели... А то меня без него, на одной рыбине, так-то ли было тошнить принялось.

Домой странники возвращались тоже в полном покое, нисколько не боясь возобновления только что прекратившегося дождя, потому что гостеприимный Кузьма, проугощавший им всю свою уху и в свою очередь с голодухи поевший у них весь хлеб, прямо сказал:

— Што же, ребята, докелева в шалаше-то у меня вы сидеть будете? Вам домой пора, потому обмеркнет скоро.

— Да вот дождь как бы... опять как бы не припустил! — сомневался Илюша, жалея будить Шароварова, и с боязнью посматривал на далекую серую тучу,

порожденную тем облачком, которое — по словам Акима, ровно бы перьями вокруг себя было опушено.

— Какой же теперь дождь, малюга? — спрашивал Кузьма, видимо досадуя на нелепость ребячьего предположения.— Дождю теперича как же можно итить? Тучу всю вдаль стащило... А кромя тово, ты ослеп, што ли, хозяйский ты сын? Не видишь, как щука-то хвостом по реке застегала? Ведь это все к тому подходит, что мошкара над рекой затолкла... Нам с тобой ту мошкару не видать, а рыбе — видать, потому она ею кормится... Чево на меня зенки-то пялишь,— я не писаный, а сказываю тебе по-божецкому, што мошкара перед дождем толочься на реке не захочет, потому дождик ее с однова маху засечь должон... Так-то-ся! Ты учись, брат! Не махонький боровок вырос,— слава богу!.. Гей, Акимка, вставай! Мне на лодку пора. Прощавайте покамест. Признаться, надоели вы мне таки с журавлем-то со своим... Порядком прискучили... Хлопот тут без них на троих, а они — эва! с хлебом пришли... Без вас-то я, может, сколько бы ее теперича, этой рыбины, нацеплял! Вот што! А он теперь, может, бог его знает, где разгуливает — сом-то... Вить я его тоже другой день в камышах-то караулю, братцы!.. Махонький он кабы ежели был, так по мне, сколько вам требуется, сидите... в шалаше-то... Шалаш про всех сделан...

1874

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании произведения Левитова печатаются в хронологическом порядке. Автографы его сочинений не сохранились, и точное время их написания в большинстве случаев неизвестно. Но, за редким исключением, Левитов сразу отдавал в печать все, что выходило из-под его пера, порой не успевая обработать и даже завершить начатое (как это было с его романом).

Он публиковался во многих газетах и журналах самого разного направления. Чаще других его печатали журналы «Русская речь»—в 1861 г., «Зритель» и «Развлечение» — в 1862 г., «Северная пчела» — в 1863 г., «Искра» — в 1864 г.

При жизни писателя вышло несколько сборников его сочинений: Степные очерки. СПб., 1865, т. 1; СПб., 1866, т. 2; М., 1867, т. 3.

Степные очерки, 2-е изд., исправленное и дополненное. М., 1874, кн. 1 и 2.

Московские норы и трущобы. Собрали М. А. Воронов и А. И. Левитов. СПб., 1866, т. 1 и 2. Авторство каждого в этом издании не обозначено. В 1869 г. «Московские норы и трущобы» вышли вторым изданием в одном томе и содержали только произведения Левитова. В 1875 г. этот сборник (3-е изд.) вышел под названием «Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы А. И. Левитова».

Горе сел, дорог и городов. Повести, рассказы, очерки и картины А. И. Левитова. М., 1874.

После смерти писателя вышли три его собрания сочинений:

Полн. собр. соч. А. И. Левитова. М., 1884, т. 1 и 2. Первому тому в этом издании предпослана пространная статья о жизни Левитова, написанная его другом и биографом писателем Ф. Д. Нефедовым (в том же 1884 г. она была выпущена отдельным оттиском).

Полн. собр. соч. А. И. Левитова. СПб., 1905, т. 1—4 (вступительная статья В. А. Никольского).

Собр. соч. А. И. Левитова. Просвещение, 1911, т. 1—8.

Из советских изданий наиболее полным является двухтомник: А. И. Левитов. Соч. М.— Л., Academia, 1932—1933, т. 1 и 2 (редакция, статья и комментарии И. С. Ежова); однотомник: А. И. Ле-

витов. Соч. в одном томе. М., Гослитиздат, 1956 (вступительная статья и примечания Н. И. Соколова, подготовка текста Н. С. Лебедева и Н. И. Соколова).

В настоящем издании тексты печатаются по последним прижизненным изданиям писателя с исправлением опечаток по ранним публикациям.

СТЕПНАЯ ДОРОГА НОЧЬЮ

Печатается по изданию: Степные очерки, 2-е изд. М., 1874, кн. 1, с. 53—79. Впервые опубликовано в газете «Русская речь» (1861, № 65 и 66) под заглавием «Проезжая степная дорога. Ночь (Очерк)». Включался в другие прижизненные сборники: Степные очерки. СПб., 1865, т. 1 (под первоначальным заглавием) и в книгу: А. Левитов. Соседи. Степные очерки. СПб., 1868.

С. 26. *...войну прошлую.*— Речь идет о Крымской войне 1853—1855 гг.

ПОГИБШЕЕ, НО МИЛОЕ СОЗДАНИЕ

Печатается по изданию: Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы А. И. Левитова, 3-е изд. М., 1875, с. 222—263. Впервые опубликовано в журнале «Зритель» (1862, № 16 и 17) под заглавием «Из московских нравов. Совершенно погибшее, но весьма милое создание». Подпись: Иван Сизой.

С. 43. *«Людская молвь и конский топот...»* — Неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 5, строфа XVII).

С. 58. *«Подвязавши под мышки передник...»* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка».

С. 63. *«И в дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди...»* — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья...»

С. 66. *Кто не имеет тени, тот не должен выходить на солнце... Передо мной заходили фантастические приключения Петра Шлемиля...*— Иван Сизой вспоминает героя романа немецкого писателя Адельберта Шамиссо (1781—1838) «Удивительная история Петра Шлемиля», который продал дьяволу свою тень (душу) и стал отверженным среди людей. По ассоциации и контрасту в представлении Ивана Сизого обитатели Марьиной слободки имеют «неоправданно длинные тени» потому, что они не растратили свои души.

НАСУПРОТИВ!..

Печатается по изданию: Степные очерки, 2-е изд. М., 1874, кн. 2, с. 151—179. Впервые опубликовано в журнале «Развлечение» (1862, № 23 и 24) под заглавием «Дорожный очерк (Степные нравы)». Входил также в состав первого издания «Степных очерков» (М., 1867, т. 3) под первоначальным названием.

Для каждого из этих изданий автор редактировал текст.

Плеханов, делавший пометки на полях сочинений Левитова (в изд. 1884 г.), отчеркнул начало второй главы и строки, следующие ниже: «Иду я — и со мною вместе идет безотвязная дума о мысленном убожестве этой прекрасной стороны...» и т. д., написав: «Отношение Aufklärer'a» (то есть просветителя) (Литературное наследие Г. В. Плеханова. М., Соцэкгиз, 1938, сб. 6, с. 239).

Ниже, против слов: «Вы бы их, сударь, по суслам-то заехали без разговору, небойсь бы всякий пустил» (с. 83. наст. изд.) — Плеханов написал: «Дикости противополагается добровольное холопство» (там же).

РАСПРАВА

Печатается по изданию: Степные очерки, 2-е изд. М., 1874, кн. 1, с. 33—52. Впервые опубликовано в журнале «Зритель» (1862, № 44) под заглавием «Мирской суд».

С. 88. *«Дар Валдая»* — образ из стихотворения Ф. Н. Глинки «Тройка» (1825): «И колокольчик, дар Валдая, гудет уныло под дугой». (В г. Валдае был колокольный завод.)

«КРЫМ»

Печатается по изданию: Жизнь московских закоулков, 3-е изд. М., 1875, с. 110—145. Впервые опубликовано в журнале «Зритель» (1862, № 47 и 48). Подпись: *Иван Сизой.*

С. 105. *Калибер* — рессорные дрожки.

С. 114. *Жолниржи* (польск.) — желнёры — ратники, солдаты.

С. 118. *...о таких общественных ранах я буду заявлять... о которых до сих пор не плакал ни Николай Филиппович Павлов, ни наш тамбовский гегелиянец фон-Чичерин.*— Вышедшие в 1835 г. «Три повести» Н. Ф. Павлова (1803—1864) имели успех у демократического читателя благодаря их социально-обличительной направленности. Б. Н. Чичерин (1828—1904) — историк, юрист, общественный деятель — в конце 1860—1870-х гг. (после ухода из Московского университета) работал в Тамбовском земстве. В своих исторических и политических работах, выступая как идеолог монархического государства и «прусского» пути развития капитализма в России, он опирался на реакционные положения правого гегельянства.

МОЯ ФАМИЛИЯ

(Из воспоминаний временнообязанного)

Печатается по изданию: Горе сел, дорог и городов. М., 1874, с. 73—97. Впервые опубликовано в журнале «Якорь» (1863, № 3) под заглавием «Лирические воспоминания Ивана Сизого. 1. Мои ста-

рики», с подписью: Иван Сизой. В переработанном виде напечатано в газете «Неделя» (1868, № 7 и 8) под заглавием «Моя фамилия (Старый рассказ)».

Г. В. Плеханов в своем разборе первого тома сочинений Левитова (1884 г.) написал о герое этого очерка: «Легко понять, как вырастает озлобление и как поэзия будущего («Zukunftstaat») необходима для устранения этого озлобления». Он отмечал присутствие в очерке «психологии классовой борьбы и ненависти» (Литературное наследие Г. В. Плеханова. М., Соцэкгиз, 1938, с. 239 и 240).

С. 141. *Дюк де Белиль маркиз де Грильон*—выходец из знатного французского рода Белиль (Belle-Ysle).

Темниковская медведица — по названию города Темникова в Тамбовской губернии.

Сморгонская медвежья академия — особая школа в местечке Сморгонь Виленской губернии, где дрессировали медведей.

САПОЖНИК ШКУРЛАН

Печатается по изданию: Степные очерки, 2-е изд. М., 1874, кн. 1, с. 343—355. Впервые опубликовано в журнале «Развлечение» (1863, № 5) с подзаголовком «Степной очерк».

С. 149. *Три земли... поднялись...*—Имеются в виду Англия, Франция и Турция, выступавшие против России в Крымской войне 1853—1856 гг.

ИМЕНИНЫ СЕЛЬСКОГО ДЬЯЧКА

Печатается по изданию: Степные очерки, 2-е изд., кн. 2. Впервые опубликовано в альманахе «Северное сияние, русский художественный альбом». Т. 2. Издание Генкеля. СПб., 1863; М., 1874.

С. 153. *Тропарь апостолам Петру и Павлу* — церковная песнь в честь какого-нибудь праздника или святого.

С. 158. *...я понимаю его априори*.— Здесь в смысле: как само собой разумеющееся.

С. 159. *Регент* — руководитель церковного хора.

С. 160. *Крылос* (клирос) — место для певчих в церкви, на возвышении, по обеим сторонам от царских врат.

ОДИН ДОКТОР

Печатается по тексту газеты «Северная пчела» (1863, № 127, 15 мая), где было опубликовано впервые за подписью: Иван Сизой. В прижизненные сборники не включалось.

С. 164. *Суздальские картинки*—имеются в виду картины и иконы,

выполненные иконописцами Суздальского уезда Владимирской губернии.

С. 166. *Рогожские начетницы* — староверки (на Рогожском кладбище в Москве находится старообрядческая церковь).

С. 167. *...малолетний санкюлот* — здесь: бесштанный.

ЛИРИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА СИЗОВА

Печатается по тексту газеты «Северная пчела» (1863, № 152 и 153 от 10 и 11 июня), где появилось впервые за подписью: Иван Сизой. При жизни писателя не переиздавалось.

С. 175. *...на тему некрасовского школьника.* — Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «Школьник».

С. 176. *Жанлис* (1746—1830)—французская писательница, автор ряда нравоучительных сентиментальных романов.

«Фанфан и Лалотта» — роман французского писателя Дюкре дю Мениля (1761—1819).

Ринальдо Ринальдини — герой романа немецкого писателя Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников».

С. 177. *Виконт д'Арленкур* (1789—1856)—французский писатель: *«Отступник»* — его роман о войне вождя «сарацин» (арабов) с *Карлом Мартеллом* (ок. 688—741) — правителем Франкского королевства.

М. Иверсен, А. Семен — владельцы типографии в Петербурге и в Москве в первой половине XIX в.; выпускали лубочную литературу.

«Юрий Милославский» М. Н. Загоскина (1789—1859) и *«Бусурман»* И. И. Лажечникова (1792—1869) — исторические романы, которые до появления прозы Пушкина и Гоголя были популярны во всех слоях общества.

«Наблюдатель» — журнал «Московский наблюдатель» (1835—1839), с 1838 г. возглавлявшийся В. Г. Белинским.

«Телескоп» — литературно-общественный журнал, в 1831—1836 гг. издававшийся Н. И. Надеждиным.

«Барон Брамбеус» — псевдоним О. И. Сенковского (1800—1858). Ученый-востоковед, писатель и критик, Сенковский в журналистике выступал против передовых течений русской литературы 1830—1840-х гг.

С. 181. *alma mater (лат.)* — здесь имеется в виду университет.

С. 183. *Вакштаф* — сорт табака.

С. 185. *Дворник* — здесь: содержатель постоялого двора.

С. 190. *Жантильом* (франц. gentilhomme) — дворянин.

С. 191. *...одной задумчивой* — скрытая цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон» (1841):

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна...

С. 192. *Платинки* — монеты из платины достоинством в 3, 6 и 12 рублей; чеканились в России в 1828—1832 гг.

С. 193. *Штоф унд крафт.*— Ироническое употребление названия книги Людвига Бюхнера «Kraft und Stoff» («Сила и материя», 1855, русский перевод 1860 г.).

МОСКОВСКИЕ «КОМНАТЫ СНЕБИЛЬЮ»

Печатается по сборнику: Жизнь московских закоулков, 3-е изд. М., 1875, с. 12—109. Впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения» (1863, № 7, 8, 9).

Очерк перепечатывался также в первом и втором изданиях сборника «Московские норы и трущобы» (СПб., 1866, и СПб., 1869).

С. 208. *Томпаковый* — сделанный из медно-цинкового сплава. *Фалбары* — фольбалы — оборки.

С. 216. *Депозитка* — здесь: денежная ассигнация.

С. 221. *...покуривая жуков* — табак фирмы Жукова.

С. 225. *Прокурат* — плут.

С. 242. *Сармат* — здесь: поляк. Этим именем в разное время в литературе назывались разные народы. (В конце II в. до н. э. одно из сарматских племен занимало территорию между Доном и Днепром.)

С. 247. *...при самом Денисе.*— Имеется в виду Д. В. Давыдов (1784—1839) — поэт, герой Отечественной войны 1812 г.

...простой кокоревщины — то есть водки (от имени винного откупщика В. А. Кокорева).

С. 248. *...устроиться в акциз* — в акцизное управление, ведающее акцизными (налоговыми) сборами.

С. 249. *Амфитрион* — здесь: гостеприимный, щедрый хозяин.

С. 251. *Рахиль* — в Библии — мать, оплакивающая своих детей.

С. 253. *...гробы повапленные* (б и б л.) — то есть раскрашенные снаружи.

С. 254. *Драбант* — телохранитель.

...прозванного одними — мистером Скимполем из «Холодного дома», другими — Пляшущим Маколеем.— Мистер Скимпль — персонаж из романа Диккенса «Холодный дом», тип обаятельного денди, живущего на чужой счет. Имя английского историка и политического деятеля Маколея (1800—1859) в 60-х гг. XIX в. стало широко известно в России, так как его «История Англии» в 1860—1865 гг. была издана в русском переводе.

С. 255. *...как процессия попа Никиты на спор по Москве шла.*— В 1660 г. видный деятель раскола Никита Пустосвят добился церковного диспута в Грановитой палате Московского Кремля со сторонниками официальной веры никонианами. После окончания диспута Никита Пустосвят был казнен по приказанию царевны Софьи.

НРАВЫ МОСКОВСКИХ ДЕВСТВЕННЫХ УЛИЦ

Печатается по изданию: Жизнь московских закоулков, 3-е изд. М., 1875, с. 294—324. Впервые опубликовано в журнале «Московские губернские ведомости» (1864 (неофициальная часть), № 4 и 5) за подписью: Иван Сизой, с подзаголовком «Очерки» и эпиграфом:

По Москве девка гуляла,
Красоту теряла,
Красоту она теряла,
В острог жить попала!..

Из народной песни

Перепечатывалось также в прижизненных сборниках: Московские норы и трущобы. СПб., 1866, т. 2; Московские норы и трущобы, 2-е изд. СПб., 1869.

При переизданиях очерк подвергся незначительной переработке.

БАБУШКА МАСЛИХА

Печатается по изданию: Степные очерки, 2-е изд. М., 1874, кн. 1, с. 292—313. Впервые опубликовано в «Современнике» (1864, № 8) с подзаголовком «Степные нравы».

В обоих изданиях перепечатывалось без существенной переработки.

С. 280. ...*молитвами Львова и Бортнянского.*— Львов Алексей Федорович (1798—1870) — композитор и скрипач, директор придворной певческой капеллы (до 1861 г.), автор многих оригинальных сочинений для церкви. Бортнянский Дмитрий Степанович (1751—1825) — русский композитор, известен как автор хоровой церковной музыки.

С. 281. ...*в охотники хочу наниматься* — то есть в солдаты, вместо того, кто должен идти по рекрутскому набору.

С. 282. ...*грозным примером Сарданапала.*— Сарданапал — легендарный ассирийский царь, проводивший жизнь в роскоши и удовольствиях. Его беспечностью воспользовались враги, запершие его во дворце. После двухгодичной осады Сарданапал сжег себя с женами и сокровищами.

ГАЗЕТА В СЕЛЕ

Печатается по изданию: Степные очерки, 2-е изд. М., 1874, кн. 2, с. 180—200. Впервые опубликовано в журнале «Будильник» (1865, № 6, 7) под заглавием «Газета (Степные нравы)».

С. 298. *Требник* — церковная книга, по которой отправляются религиозные обряды — крещение, причащение и т. д.

Вяхирь — плетеная кошелка, котомка.

С. 299. *Клирик* — церковнослужитель.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЛУЧАЙ

(Очерк)

Печатается по изданию: Горе сел, дорог и городов. М., 1874, с. 341—393. Впервые опубликовано в журнале «Дело» (1869, № 10).

Один из наиболее автобиографических очерков Левитова. Прообразом семинариста Василия Западова явился друг Левитова Я. Е. Соколов.

После опубликования очерка в журнале «Библиограф» (1869, № 2, ноябрь) появилась заметка (без подписи), в которой высоко оценивался этот очерк.

С. 307. *...в известной песне опирался на свою саблю гусар.*—Имеется в виду популярная в то время песня на стихи К. Н. Батюшкова «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь...»).

С. 308. *...каким-то необыкновенным смиренным дядей Власом* — по имени героя стихотворения Н. А. Некрасова «Влас».

С. 327. *Marci Tullii Ciceronis...*— Речи римского политического деятеля Марка Туллия Цицерона (106—43 гг. до н. э.) изучались как образец латинского литературного языка и пример ораторского искусства.

Ликтор — почетный страж высших чинов в древнеримской республике; носил с собой пучок прутьев с воткнутым в него топором. В духовных училищах так называли студентов, на обязанности которых лежало наказание розгами провинившихся товарищей.

С. 330. *Шевронист* — то есть имеющий шевроны — нашивки на рукаве мундира.

Экзекутор — чиновник, надзиравший за внешним порядком в канцелярии.

С. 332. *«Приключения английского милорда Георга».*— Имеется в виду очень распространенное в то время лубочное произведение «Повесть о приключении английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики-Луизы», написанное Матвеем Комаровым и опубликованное в 1782 г.

С. 334. *Греческий завет* — Библия на греческом языке.

С. 338. *«Опозднился купец...»* — из песни на стихи А. С. Кольцова «Хуторок».

С. 340. *...прекрасный молодой человек — сочинение Поль де Кока.*— Многочисленные персонажи романов французского писателя Поль де Кока (1794—1871) сводятся к нескольким типам; один из них — добродетельный, но слабый юноша.

С. 347. *«Клятва при гробе господнем»* — роман Н. А. Полевого (1796—1846).

«Последний Новик», «Бусурман» — исторические романы И. И. Лажечникова (1792—1869).

«Рославлев» — исторический роман М. Н. Загоскина (1789—1852).

«Разрозненные томы из библиотеки чертей!» — стих из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 4, строфа XXX).

Сильвио — герой повести А. С. Пушкина «Выстрел».

...О Пушкине... Он нас обманул своей историей пугачевского бунта.— Эта реплика свидетельствует о недостаточной проницательности тех, кто не понял политической остроты и высокого художественного достоинства исторической пушкинской прозы. Белинский и Герцен высоко ценили «Историю Пугачева».

С. 348. *«И скучно, и грустно, и некого в карты надуть...»* — пародия Н. А. Некрасова на стихотворение Лермонтова.

«На проклятые вопросы дай ответы нам прямые...» — из стихо-

творения Г. Гейне «Брось свои иносказанья» («Lasse die heil'gen Parabolen») в переводе М. И. Михайлова.

С. 349. *Пашенька Домби... Флоранс... Вальтер... капитан Куттль* — персонажи из романа Диккенса «Домби и сын».

С. 350. *Ребекка Шарп* — героиня романа английского писателя Теккерея «Ярмарка тщеславия».

...лексикон... доктора Джонсона — «Словарь английского языка», составленный английским ученым Сэмюэлом Джонсоном (1709—1784).

Уэллеры — персонажи романа Диккенса «Записки Пиквикского клуба».

МОЕ ДЕТСТВО

Печатается по изданию: Горе сел, дорог и городов. М., 1874, с. 101—112. Впервые опубликовано в газете «Неделя» (1870, № 1, 4 января, с. 23—29) с подзаголовком «Из степных очерков».

С. 355. *Четьи-минеи* — сборник «Жития святых» православной церкви.

Патрология — наука об отцах церкви.

ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА

(Эпизод из романа «Сны и факты»)

Впервые опубликовано в журнале «Свет» (1879, № 11, с. 274—291). В настоящем издании печатается по этому тексту.

В мае 1870 г. Левитов сообщал своему другу: «Теперь пишу большой роман,— написал листов семь. Остается бездна, но к зиме он кончен будет. Называться будет, кажется, «Сны и факты», а может быть: «Затихшая буря»,— верно еще не знаю» (Нефедов, с. CXII).

Он собирается публиковать роман в «Вестнике Европы», но обстоятельства не дают завершить работу, и Левитов «берет первые главы, соединяет их в нечто целое» и отсылает в журнал (там же, с. CXV). В письме редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу он пишет 5 октября 1870 г.: «Рекомендую Вашему вниманию прилагаемую при письме главу. Этот эпизод назван «Говорящей обезьяной», потому что человек, выведенный в первой главе, в момент его сумасшествия, за отсутствием людей, покупает обезьяну, которая говорит ему вещи, совершенно его удовлетворяющие и потому дающие ему возможность умереть более или менее счастливо. Очерк этот будет большой (до 6 листов), и опасаясь, что начало его Вам не понравится, я прошу Вас в возможно скором времени уведомить меня,— угодно ли Вам будет, судя по началу, его продолжение. К 15 ноября и не дальше 1 декабря я его кончу и вышлю. Вторая глава уже почти готова» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1913, т. 5, с. 249).

Через неделю (13 октября) Левитов отправил еще одно письмо М. М. Стасюлевичу, в котором извиняется за несовершенство посланного отрывка и излагает план всего романа.

«Длиннота монологов 1-й главы меня глубоко озабочивала. Я хотел в ней представить человека крепкого и физически и морально, который сам сознает неизбежность своего сумасшествия и причины этой неизбежности. Я хотел было оживить длинноту этих монологов частыми входами в комнату к молодому человеку сестры и матери,— и, поступая с этой целью, я испачкал много бумаги и увидел, что я ошибся. Сестра и мать своим присутствием всегда выводили этого человека, *готового отдать душу,* чтобы никого, никогда и ничем не обеспокоить (это одно из оснований очерка), из его мира мыслей и воспоминаний на действительную почву — и, следовательно, сумасшествия не получалось. И вот я решился послать главу с ее длинными, характеризующими, впрочем, сумасшествие, монологами, жертвуя беллетристической формой нескольким мыслям, которые иногда показываются в монологах, к сожалению, только слишком маскированные.

Пославши главу и долго думав об ней, я пришел к убеждению, что ее монотонность оживить можно, что я и сделаю в оставшейся у меня черновой. Я впущу к молодому человеку лица, воображаемые им, и заставлю его говорить с ними, злиться на них и т. д., все равно как бы с лицами действительными.

Меня не затруднит никакая переправка, потому что я помню, как Вы сказали мне однажды: не спешите.

2-я глава заключается в спокойной и, так сказать, эпической характеристике свойств, с которыми он родился и воспитывался, в его раннем понимании окружавших его вещей, в раннем противоборстве своей обстановке и в рисовке обстановки. Тот город и тот человек, к которому он писал, так и останутся в темноте,— как они сами, так и причины, заставившие молодого человека жить в северном городке и сдружиться там с кем-то. Главное в этой главе будет следующее: испуганный и измученный до последней степени и до осязательной ясности представлениями, роящимися в заболевшей пьянством (это еще один из мотивов очерка) голове, молодой человек, наконец, поступается всем, что составляло его главный жизненный интерес, и уступает своей матери, которая упрашивает его идти к дяде-генералу и просить у него службы. Она говорит ему: о чем ты беспокоишься, Николушка,— я решительно не понимаю! Что тебе за дело до людей? Ведь они для тебя ничего не сделали. Съезди ты к дяде,— он мне давно говорил об этом. Кстати и предлог для поездки есть — получишь награду за покойника-отца, выданную после его смерти. Дядя потому и не выдает ее, что ты у него не бываешь. Больной еще, молодой человек думает: в самом деле, что мне они? Есть из-за чего биться и страдать так? Вообще он сдается, *но больной.*

Этой главы у меня написано много; но теперь я оторвусь от ней для исправления первой.

В 3-й главе он едет к генералу — и тут между ними происходит сцена, которая окончательно их рассоривает: как люди воспитанные, вслух они говорят друг другу всевозможные любезности, а внутри их, как у людей сметливых, ведется разговор другого сорта: по жестам, по улыбкам они видят, что отношений их не примирит ничто, что все в них радикально-противоположно. Злой выходит от дяди молодой человек и на него, и на свою слабость, которая заставила его пойти к нему. Тут следуют маленькие главки, описывающие пред-

меты, которые раздражают его все больше, это 4-я, трактир Доминика, куда он, переселивши свою злость и притворяясь равнодушным, зашел с одним приятелем по университету, зная, что он шпион. (Я это слово как-нибудь замажу.)

5. Встреча на Невском с женщиной, которая стала негодяйкой и которой он некогда отдал все, что только мог отдать.

6. Уже по дороге домой в одном переулке, где по преимуществу живет самая рабочая бедность, он встречает мужика, который тащит золоченую киоту от иконы на грязном обрывке веревки. За ним идет мальчик — и плачет. Художник останавливает мальчика вопросом: о чем ты плачешь? Мальчик говорит: тятенька бога продал — и меня послал с мужиком на Апраксин расчет за него получить. Нам есть нечего.

Смеется этому художник и говорит: ну теперь дошло до того, что уж и бога продали — и молиться некому,— и идет с мальчиком к его отцу. Тут он спускается в самые глубокие приюты бедности, с которою, с неприметною постепенностью, и начинает оргировать. Разные типы бедности, *их понимания, совершенно противоположные его пониманиям,* все больше и больше его раздражавшие и заставлявшие пьянствовать. Наконец в самый разгар оргии на двор приходит шарманщик, русский, шельма страшная, и у него-то художник покупает обезьяну, вообразивши, что она — именно тот человек, которого ему недоставало. Свои собственные грезы почти в бесчувственном состоянии он принял за окончательное разрешение обезьяной всех своих мучительных вопросов.

Эпилог: ранним утром он уже лежал на Петергофском шоссе, в грязной канаве, разутый и раздетый,— одна рука у него еще в перчатке, как осталась от визита к дяде. Картина шоссе. Пропасть народа и экипажей. Все эти шоссейные толпы в его голове представляются чем-то стройным и необыкновенно согласным, обязанным своею стройностью и своим согласием тому другу, которого он вчера приобрел.

Почти совсем умирая, он при виде масс, увеличенных его воображением, радостно хохочет, хлопает в ладоши, кричит: браво! И громко, в бреду, поет что-то...

Многие из шоссейной публики, остановившись, безучастно смотрят на его странности, стараясь между тем разобрать, что именно он поет; но оказывается, что песня *не на нашенском языке.*

Какой-то молодец подхватил обезьяну к себе на руки и, выждавши, когда народу посвалило, стащил с художника последний сапог...

Вот и вся история в ее программе. Извините, что я затрудняю вас ею, но мне хотелось заранее вас с ней познакомить. Надобно думать, что я сумею сделать ее настолько гладкою, что ее некоторые, слишком неприкрытые, странности никому не покажутся чересчур резкими... При некоторой опытности это достигается...» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. 5, с. 250—252).

Несмотря на глубокую продуманность плана и сюжетных линий, роман остался ненаписанным.

Но из сохранившихся отрывков видна не только автобиографическая основа (мотивы северной ссылки; трагедия художника, не имеющего сил воплотить свой важнейший творческий замысел, и

т. д.), в них прослеживаются те «несколько мыслей», о которых Левитов упоминает в письме М. М. Стасюлевичу: размышления о буржуазной цивилизации (см. вступительную статью), о падении общественной нравственности (Видоки и Иуды «деспотически царствуют теперь в наших нравах»), о цинизме приспособленчества.

В планах мелькает повторяющийся у Левитова сюжет встречи с женщиной, бывшей когда-то дорогим ему человеком и оказавшейся на дне жизни.

Намечались в романе и другие близкие Левитову темы, воплощенные им в очерках о московских нищих, в рассказе «Крым» и др., в частности «разные типы бедности, их понимания, совершенно противоположные его пониманиям».

Эпиграф взят из стихотворения А. И. Полежаева «Провидение».

С. 366. *...в крепости... прозвучали часы...*— куранты Петропавловской крепости.

С. 367. *Фальшфейер* — фейерверк.

С. 371. *Кайдашка.*— Речь идет о И. К. Кайданове (1780—1843), авторе учебников по истории, написанных в казенно-монархическом духе.

«Лепажа стволы роковые» — цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 6, строфа XXV); Лепаж — известный оружейный мастер.

С. 372. *Филарет Милостивый* (702—792) — сын богатого византийского землевладельца, за необыкновенную щедрость и добродетели объявлен церковью святым.

С. 376. *Улус* — становище кочевников, табор кибиток.

Ламентационные железы — железы выделяющие слезы.

С. 377. *Измененья милого лица* — искаженная цитата из стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...» («Ряд волшебных изменений милого лица»).

«Тише! о жизни покончен вопрос...» — цитата из стихотворения И. С. Никитина «Вырыта заступом яма глубокая».

С. 378. *Гиперборейцы* — по древнегреческой мифологии, сказочный народ, живший на Крайнем Севере.

С. 379. *Видок (1775—1857)* — французский сыщик; имя его стало нарицательным.

С. 380. *...пьяниц ауэрбаховского погреба...*— Имеется в виду эпизод из «Фауста» Гете.

С. 381. *Нюрнбергские куклы.*— Город Нюрнберг (на юге Германии) был известен производством игрушек.

...кайлевских и крупповских... пушек.— Имеются в виду пушки, сделанные на военных заводах Кайля и Круппа в Германии.

НЕ К РУКЕ

(Шоссейный очерк)

Печатается по тексту «Ремесленной газеты» (1874, № 10, с. 235—238; № 13, с. 308—309), где и было впервые напечатано.

В прижизненные сборники не включался.

С. 385. *...превратилась в «Любимов Торцовых»* — то есть в бродяг, перекати-поле (по имени героя пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок»).

С. 386. *Элефант* — слон.

АХОВСКИЙ ПОСАД

(Степные нравы старого времени)

Печатается по изданию: Горе сел, дорог и городов. (М., 1874, с. 561—632), где опубликована в наиболее полном виде. Повесть не окончена. Впервые отрывок из повести опубликован в 1866 г. в «Московской газете». В дополненном виде — в 1873 г. в сборнике «Грамотей».

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Жезлова. **А. И. Левитов** 5
СТЕПНАЯ ДОРОГА НОЧЬЮ 25
ПОГИБШЕЕ, НО МИЛОЕ СОЗДАНИЕ . . . 42
НАСУПРОТИВ! 69
РАСПРАВА 88
«КРЫМ» 98
МОЯ ФАМИЛИЯ *(Из воспоминаний временно-обязанного)* 121
САПОЖНИК ШКУРЛАН 143
ИМЕНИНЫ СЕЛЬСКОГО ДЬЯЧКА 152
ОДИН ДОКТОР *(Больничный эскиз)* 163
ЛИРИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА СИЗОВА 175
МОСКОВСКИЕ «КОМНАТЫ СНЕБИЛЬЮ» . . 195
НРАВЫ МОСКОВСКИХ ДЕВСТВЕННЫХ УЛИЦ 258
БАБУШКА МАСЛИХА 278
ГАЗЕТА В СЕЛЕ 292
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЛУЧАЙ *(Очерк)* . . . 306
МОЕ ДЕТСТВО 353
ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА *(Эпизод из романа «Сны и факты»)* 364
НЕ К РУКЕ *(Шоссейный очерк)* 384
АХОВСКИЙ ПОСАД. *Степные нравы старого времени. (Отрывок из повести)* 394
Примечания 402

ИБ № 2047

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЕВИТОВ

ИЗБРАННОЕ

Заведующая редакцией *Л. Сурова*

Редактор *Н. Рыльникова*

Художественный редактор *Э. Розен*

Технические редакторы *Н. Привезенцева, В. Дубатова*

Корректоры *Н. Архипова, Н. Кузнецова, Н. Снитко, В. Чеснокова*

Сдано в набор 27.01.82. Подписано к печати 03.05.82.
Формат 84×108 1/32. Бумага газетная.
Гарнитура «Литературная». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 21,84. Уч.-изд. л. 23,08.
Тираж 200 000 экз. Заказ № 739. Цена 2 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Московский рабочий».
101854, ГСП, Москва, Центр,
Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Трудового Красного Знамени
типография издательства ЦК КП Белоруссии,
220041, Минск, Ленинский проспект, 79.